Морис Дрюон



Яд и корона

Негоже лилиям прясть



Морис Дрюон



Яд и корона

Негоже лилиям прясть

Лениздат · 1981

84.34(4Фр)
Д78

Тексты печатаются по изданию: *Морис Дрюон.* Яд и корона. Негоже лилиям прясть. М., «Прогресс», 1979.

Дрюон М.

Д78 Яд и корона. Негоже лилиям прясть.: Пер. с фр.— Л.: Лениздат, 1981.— 432 с.

Романы являются третьей и четвертой книгами исторической серии известного французского писателя Мориса Дрюона «Проклятые короли».

84.34(4Фр)

Д $\frac{70304 \quad 4703000000-196}{М171(03)-81}$ без объявл.

ЯД И КОРОНА



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

КОРОЛЬ ФРАНЦИИ И НАВАРРЫ	ЛЮДОВИК X, по прозванию СВАРЛИВЫЙ, правнук Людовика Святого, сын Филиппа IV Красивого и Жанны Наваррской, вдовец после смерти Маргариты Бургундской, 26 лет.
ЕГО ВТОРАЯ СУПРУГА	КЛЕМЕНЦИЯ ВЕНГЕРСКАЯ, праправнучка одного из братьев Людовика Святого, внучка Карла II Анжу-Сицилийского и Марии Венгерской, дочь Карла Мартела и сестра Шаробера, короля Венгрии, племянница короля Роберта Неаполитанского, 22 года.
БРАТЬЯ КОРОЛЯ	ФИЛИПП, граф Пуатье, пфальцграф Бургундский, сир Салэнский, пэр Франции, будущий Филипп V, 22 года.
	КАРЛ, граф де ла Марш, будущий Карл IV, 21 год.
ВЕТВЬ ВАЛУА	КАРЛ, брат покойного короля Филиппа Красивого, граф Валуа, носящий титул императора Константинопольского, граф Романьский, пэр Франции, дядя короля Людовика, 45 лет.
	ФИЛИПП ВАЛУА, сын Карла, будущий Филипп VI, 22 года.
ВЕТВЬ д'ЭВРЕ	ЛЮДОВИК, брат Филиппа Красивого, граф д'Эвре, дядя короля, около 41 года.

ВЕТВЬ АРТУА, ИДУЩАЯ ОТ ОДНОГО ИЗ БРАТЬЕВ ЛЮДОВИКА СВЯТОГО	**РОБЕР III АРТУА,** сеньор Конша, граф Бомон-ле-Роже, 28 лет.
	МАГО, графиня АРТУА, его тетка, вдова пфальцграфа Оттона IV Бургундского, пэр Франции, 41 год..
	ЖАННА БУРГУНДСКАЯ, дочь графини Маго Артуа и супруга графа Филиппа Пуатье, брата короля, около 22 лет.
ГЛАВНЫЕ КОРОЛЕВСКИЕ САНОВНИКИ	**ЭТЬЕН де МОРНЭ,** каноник, канцлер.
	ГОШЕ де ШАТИЙОН, коннетабль.
	МАТЬЕ де ТРИ, первый камергер Людовика X.
	ЮГ де БУВИЛЛЬ, бывший камергер Филиппа Красивого, посланный с особым поручением к Неаполитанскому королю.
	МИЛЬ де НУАЙЕ, легист, советник короля, бывший маршал войска графа Пуатье.
СЕМЕЙСТВО д'ИРСОН	**ТЬЕРРИ,** каноник, прево Эйре, канцлер графини Маго Артуа.
	ДЕНИ, его брат, казначей графини Маго Артуа.
	БЕАТРИСА, их племянница, придворная дама графини Маго Артуа.
ЛОМБАРДЦЫ	**СПИНЕЛЛО ТОЛОМЕИ,** банкир из Сиены, обосновавшийся в Париже, 61 год.
	ГУЧЧО БАЛЬОНИ, его племянник, около 19 лет.

СЕМЕЙСТВО де КРЕССЭ	МАДАМ ЭЛИАБЕЛЬ, вдова сира де Крессэ, 41 год.
	ПЬЕР и ЖАН, ее сыновья, 21 и 23 года.
	МАРИ, ее дочь, 17 лет.
ТАМПЛИЕРЫ	ЖАН де ЛОНГВИ, племянник последнего Великого магистра Ордена тамплиеров.
	ЭВРАР, писец, бывший рыцарь-тамплиер.
КОРОЛЕВА МАРИЯ ВЕНГЕРСКАЯ	вдова Карла II Анжу-Сицилийского, прозванного Хромым, мать короля Роберта Неаполитанского и Карла Мартела Венгерского, бабка Клеменции Венгерской, 70 лет.
ЖАК ДЮЭЗ	кардинал курии, будущий папа Иоанн XXII, 70 лет.
ЭДЕЛИНА	первая любовница Людовика X.
ВОССТАВШИЕ СЕНЬОРЫ АРТУА	Комон, Фиенн, Гиньи, Журни, Кенти, Киерес, Лик, Лонгвиллье, Лоос, Недоншель, Суастр, Сен-Венан и Варенн.

Все эти имена подлинные.

ПРОЛОГ

Прошло полгода после кончины короля Филиппа Красивого. Поразительной деятельности этого монарха Франция была обязана благами длительного мира, прекращением плачевных заморских авантюр, созданием мощной сети союзов с государствами и сюзеренствами. Франция в его царствование расширила свои владения, и не завоеваниями, а добровольным присоединением земель, распространила свое экономическое влияние, добилась относительной устойчивости монеты и невмешательства церкви в мирские дела; Филипп сумел обуздать власть денег и влияние крупных частных интересов, привлекал представителей низших сословий к решению государственных вопросов, обеспечил безопасность граждан и упрочил авторитет верховной власти.

Правда, современники не всегда отдавали себе отчет во всех этих улучшениях. Слово «прогресс» никогда не означало идеального совершенства. Выпадали годы, когда Франция не слишком процветала, бывали периоды кризиса и мятежей; нужды народа отнюдь не были удовлетворены. Железный Король умел заставить себе повиноваться, но средства, которыми он этого достигал, не всякому приходились по вкусу, он же больше пекся о величии своего королевства, нежели о личном счастье своих подданных.

Тем не менее, когда Филиппа не стало, Франция была самым первым, самым мощным, самым богатым государством Западного мира.

Целых тридцать лет наследники Филиппа Красивого с усердием, достойным лучшего применения, разрушали дело его рук, тридцать лет чередовались на троне непомерно раздутое честолюбие и предельное ничтожество — в итоге страна оказалась открыта для чужеземных вторжений, общество захлестнула анархия, а народ был доведен до последней степени нищеты и отчаяния.

Среди длинной череды тщеславных глупцов, которые, начиная с Людовика X Сварливого и кончая Иоанном Добрым, носили корону, будет лишь одно исключение — Филипп V Длинный, второй сын Филиппа Красивого, который возродил принципы и методы отца, хотя неистовая жажда власти превратила его в прямого пособ-

ника преступлений и сверх того он установил династические законы, прямо подготовившие Столетнюю войну.

Итак, дело разрушения длилось целую треть века, но надо сказать, что добрая доля этих трудов пришлась как раз на первые полгода.

Деятельность государственных органов была налажена еще недостаточно, и они оказались неспособны выполнить свое назначение без личного вмешательства государя.

Безвольный, слабонервный, несведущий Людовик X, с первых же дней подавленный выпавшим на его долю бременем, охотно переложил все заботы, связанные с властью, на плечи своего дяди Карла Валуа, видимо, неплохого вояки, но бездарного политика, всю свою жизнь гонявшегося за короной, неугомонного смутьяна, нашедшего наконец случай проявить себя в полной мере.

Министры из числа горожан, составлявшие главную опору предыдущего царствования, были брошены в тюрьмы, и скелет самого примечательного из них, Анграна де Мариньи, бывшего правителя королевства, болтался на перекладине Монфоконской виселицы.

Реакция торжествовала; баронские лиги сеяли смуту в провинциях и подрывали королевский престиж. Знатные вельможи, и первый Карл Валуа, чеканили монету, которую пускали в обращение по всей Франции к вящей для себя выгоде. Чиновничество, уже не сдерживаемое твердой рукой, беззастенчиво набивало карманы, и казна окончательно опустела.

Скудный урожай, собранный осенью, за которой последовала небывало суровая зима, привел к голоду. Смертность росла.

Тем временем Людовик X занимался преимущественно восстановлением своей супружеской чести и старался изгладить из памяти людей скандальную историю Нельской башни.

За неимением папы, которого никак не мог избрать конклав и который должен был расторгнуть брак Людовика, новый король Франции, желая жениться вторично, приказал удушить свою первую супругу — Маргариту Бургундскую, узницу Шато-Гайара.

Освободившись такой ценой от супружеских уз, Людовик мог вступить в брак с прекрасной неаполитанской принцессой, которую ему подыскали в жены и вместе с которой он собирался вкусить все блага долгого царствования.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ФРАНЦИЯ ЖДЕТ КОРОЛЕВУ

Глава I
ПРОЩАНИЕ В НЕАПОЛЕ

Стоя у окна в огромном Новом замке, откуда открывался широкий вид на Неаполитанский залив и порт, старая королева-мать, Мария Венгерская, следила взором за кораблем, ставившим последние паруса. Убедившись, что посторонние не могут ее видеть, она быстрым движением сухоньких пальцев утерла слезы, навернувшиеся в уголках глаз, уже давно лишившихся ресниц.

— Ну, теперь можно и умереть спокойно,— пробормотала она.

Не зря прожила королева свою жизнь. Дочь короля, супруга короля, мать и бабка королей, она утвердила за одними своими потомками трон Южной Италии, добилась для других ценою борьбы и интриг трона королевства Венгерского, которое она считала своей наследственной вотчиной. Младшие ее сыновья были кто принцами, кто владетельными герцогами. Две ее дочери стали королевами: одна — на Мальорке, другая — в Арагоне. Ее плодовитость была подлинным благословением для Анжу-Сицилийской ветви, младшей ветви Капетингского древа, которая, укрепив свое могущество, постепенно раскинулась на всю Европу, угрожая перерасти породивший ее ствол.

Мария Венгерская уже похоронила шестерых своих детей, но, по крайней мере, ей осталось то утешение, что они приняли кончину христианскую, в соответствии с тем духом благочестия, в котором взрастила их мать; один из них, тот, что отказался от своих династических прав ради монашеской кельи, в скором времени должен был быть канонизирован. Поскольку королевства мира сего становились тесноваты для этого семейства, повсюду раскинувшего свои щупальца, старуха королева смело посягнула и на Царствие небесное. Недаром же подарила она миру святого угодника.

Теперь, когда Марии Венгерской пошел восьмой десяток, ей оставалось решить последнюю задачу — обеспечить будущее одной из своих внучек, сиротки Клеменции. Но вот и эта задача была решена.

И потому, что Клеменция происходила от первенца Марии, Карла Мартела, для которого королева, не щадя сил, добивалась венгерского трона, потому, что дитя лишилось родителей двухлетней крошкой и воспитанием ее целиком ведала бабка, и потому, наконец, что это была ее последняя забота в жизни, Мария Венгерская питала к Клеменции особую нежность, если только оставалось место для нежности в этой увядшей душе, признававшей лишь силу, власть и долг.

Огромный корабль, готовившийся сейчас, в начале июня 1315 года, поднять якоря под ослепительными лучами солнца, олицетворял в глазах королевы Неаполя торжество ее политики, и, однако, к этому чувству примешивалась грусть — неизбежная спутница свершений.

Ибо для возлюбленной своей внучки Клеменции, для этой двадцатидвухлетней принцессы, имевшей в качестве приданого не земли и золото, а лишь красоту и добродетель, прославленные во всем Неаполе, бабка добилась самого высокого союза, самого лестного брака. Клеменция отбывала, дабы стать королевой Франции. Итак, больше всех обойденная судьбой среди прочих анжуйских принцесс, та, что дольше всего ждала устройства своей девичьей судьбы, получила самое прекрасное королевство и вместе с ним — суверенную власть над всей своей родней. Так наглядно подтверждалась правота евангельской притчи.

Правда, говорили, что молодой король Франции Людовик X не особенно пригож лицом, не особенно приятен нравом.

«Велика беда! Мой супруг, царствие ему небесное, был хром, а я притерпелась,— думала Мария Венгерская.— К тому же королеве вовсе не обязательно быть счастливой».

При дворе намекали, что королева Маргарита умерла как нельзя более кстати в своем узилище — именно тогда, когда Людовик X за неимением папы не мог добиться расторжения своего первого брака. Но разумно ли склонять слух к злословию? Мария Венгерская отнюдь не испытывала жалости к этой женщине, тем паче к королеве, которая нарушила супружеский долг и с таких высот подала столь прискорбный пример всем прочим. Поэтому-то она не видела ничего удивительного в том, что кара господня справедливо сразила бесстыдницу Маргариту.

«Наша прекрасная Клеменция сумеет при француз-

ском королевском дворе возвести добродетель в подобающий ранг»,— думалось ей.

Вместо прощального взмаха она пергаментной своей ручкой осенила крестным знамением сверкающий в солнечных лучах порт; потом, в короне на серебряных волосах, судорожно поводя шеей и подбородком, она скованной, но все еще твердой походкой направилась в часовню; запершись там, она возблагодарила Небеса, помогавшие ей в течение долгих лет исполнять свою королевскую миссию, и вознесла к господу великую скорбь женщины, доживающей отпущенный ей срок.

Тем временем «Святой Иоанн», огромный круглый корабль, белый с золотом, с поднятыми на мачте стягами Анжу, Венгрии и Франции, начал маневрировать, отваливая от берега. Капитан и весь экипаж судна поклялись на Евангелии защищать своих пассажиров от бурь, от варваров-пиратов и от всех опасностей плавания. Статуя святого Иоанна Крестителя, покровителя судна, ярко блестела на корме под лучами солнца. Сотня вооруженных людей: дозорные, лучники, стражники с пращами для метания камней — стояли на положенных им местах, готовые при случае отразить атаки морских разбойников. Трюмы были забиты съестными припасами, а в помещении для балласта стояли амфоры с маслом, бутыли вина и корзины со свежими яйцами. Большие, окованные железом сундуки, где хранились шелковые платья, драгоценности, ювелирные изделия и свадебные подарки принцессы, были выстроены в ряд в специальном отсеке — просторной каюте, устроенной между грот-мачтой и кормой и устланной восточными коврами; тут должны были ночевать неаполитанские рыцари, составлявшие свиту принцессы.

На набережную сбежались все жители города, пожелавшие присутствовать при отплытии корабля, который в их глазах был кораблем счастья. Женщины подымали вверх детей. Из общего гомона, стоявшего над густой толпой, вырывались растроганные и бурные возгласы, на которые так щедры неаполитанцы, фамильярные в обращении со своими кумирами:

— Guardi com'è bella! [1]

— Addío Donna Clemenza! Sia felice! [2]

— Dio la benedica, nostra principessa! [3]

[1] Посмотри, какая она красавица! (*Итал.*)

[2] Прощайте, донна Клеменция! Будьте счастливы! (*Итал.*)

[3] Да благословит бог нашу принцессу! (*Итал.*)

— Non si dimentichi di noi![1]

Ибо в воображении неаполитанцев донна Клеменция жила, окруженная некоей легендой. До сих пор здесь сохранилась память об ее отце, красавце Карле Мартеле, друге поэтов, и особенно божественного Данте, о просвещенном государе, столь же искусном музыканте, сколь доблестном воине, который путешествовал по всему полуострову в сопровождении двухсот французских, провансальских и итальянских дворян, одетых, как и он, в алое и темно-зеленое и сидящих на конях, убранных серебром и золотом. Про него говорили, что он и впрямь сын Венеры, ибо обладал «пятью дарами, кои сами призывают к любви и кои суть: здоровье, красота, богатство, досуг и молодость». Он уже готовился вступить на престол, но в двадцатичетырехлетнем возрасте его в одночасье сразила чума, а его супруга, принцесса Габсбургская, скончалась, когда до нее дошла страшная весть, что немало поразило народное воображение.

Неаполь перенес свою любовь на Клеменцию, которая с годами все больше походила на своего отца. Эту царственную сиротку благословляли в бедных кварталах города, где она щедро раздавала милостыню; любое человеческое горе вызывало ее сочувствие. Художники школы Джотто вдохновлялись красотой ее лица и придавали мадоннам и святым великомученицам на своих фресках черты Клеменции; еще и в наши дни путешественник, посетивший церкви Кампаньи и Апулии, восхищается запечатленными на заалтарных образах золотыми локонами, кротостью светлого взгляда, изящным поворотом чуть склоненной шеи, длинными тонкими кистями рук, не подозревая, что перед ним запечатлена она, красавица Клеменция Венгерская.

Стоя на окруженной зубцами палубе, возвышавшейся над уровнем моря на целых тридцать футов, нареченная короля Франции бросила прощальный взгляд на этот знакомый ей с детства пейзаж, на старый замок Эф, где она родилась, на Новый замок, где она росла, на эту шумную толпу, которая слала ей воздушные поцелуи, на весь этот сверкающий, пыльный и величественный город.

«Спасибо вам, бабушка, спасибо вам, ваше величество,— думала она, обратив взор к окну, за которым уже исчез силуэт Марии Венгерской,— никогда больше я вас не увижу. Спасибо за все, что вы сделали для меня.

[1] Не забывайте нас! (*Итал.*)

Достигнув двадцати двух лет, я уже стала отчаиваться, не имея супруга; я думала, что мне его уже не сыскать и придется идти в монастырь. Но вы были правы, твердя о терпении. Вот теперь я буду королевой великого государства, орошаемого четырьмя реками и омываемого тремя морями. Мой кузен король Англии, моя тетка на острове Мальорка, мой богемский родич, моя сестра, супруга Вьеннского дофина, и даже мой дядя Роберт, царствующий здесь, чьей простой подданной была я до сегодняшнего дня, станут моими вассалами, так как владеют землями во Франции или же связаны многими узами с французской короной. Но не слишком ли тяжело для меня это бремя?»

Она испытывала ликование, радость, смешанную со страхом перед будущим, жгучее смятение, которое охватывает душу при неотвратимых переменах судьбы, даже если сбываются самые смелые мечты.

— Ваш народ сильно любит вас, мадам, и хочет показать вам свою любовь,— произнес подошедший к ней толстяк.— Но ручаюсь, что народ Франции с первого взгляда полюбит вас не меньше и встреча будет столь же горячей.

— Ах, мессир Бувилль, вы всегда были моим другом,— с жаром отозвалась Клеменция.

Ей так хотелось излить на окружающих свою радость, благодарить за нее всех и каждого.

Граф де Бувилль, бывший камергер Филиппа Красивого, посол Людовика X, впервые приехал в Неаполь еще зимой, чтобы просить ее руки для своего владыки; две недели назад он вновь появился в Неаполе с поручением доставить принцессу в Париж, ибо уже ничто не препятствовало бракосочетанию.

— И вы тоже, синьор Бальони, вы тоже мой настоящий друг,— обратилась она к юному тосканцу, который состоял секретарем при Бувилле и распоряжался золотыми экю, взятыми в долг у итальянских банкиров, проживавших в Париже.

Услышав эти ласковые слова, юноша низко поклонился.

И впрямь, нынешним утром все были счастливы. Толстяк Бувилль, слегка вспотевший от июньской жары и то и дело откидывавший за уши длинные пряди пегих волос, чувствовал себя на седьмом небе и гордился тем, что так удачно выполнил свою миссию и везет королю красавицу невесту.

Гуччо Бальони мечтал о прелестной Мари де Крессэ, с которой он обручился тайком от всех и для которой погрузил в трюм целый сундук подарков: шелковые ткани и расшитые шарфы. Теперь он уже не так твердо был уверен, что поступил правильно, попросив себе у дяди банкирское отделение в Нофле-ле-Вье. Пристало ли ему довольствоваться столь скромным положением?

«Впрочем, это только для начала: не понравится, найду лучше, да к тому же большую часть времени я буду проводить в Париже».

Не сомневаясь в поддержке новой государыни, Гуччо уже видел перед собой неограниченные возможности для возвышения; он уже представлял себе Мари придворной дамой королевы, а себя или королевским хлебодаром, или казначеем. Сам Ангерран де Мариньи начинал не с большего. Правда, он плохо кончил... но ведь он не был ломбардцем.

Положив ладонь на рукоятку кинжала, задрав подбородок, Гуччо смотрел на разворачивавшуюся перед ним панораму Неаполя, словно собирался купить город.

Десять галер сопровождали корабль вплоть до выхода в открытое море: еще минута — и неаполитанцы увидели, как удаляется от них эта ослепительно белая плавучая крепость, смело бороздившая морские просторы.

Глава II

БУРЯ

Прошло несколько дней, и от «Святого Иоанна» остался лишь один жалобно скрипевший остов. Лишившись половины своих мачт, корабль блуждал по воле ветра и игравших им огромных валов, и, хотя капитан старался держать судно по волне, по наиболее вероятному курсу в сторону французских берегов, он отнюдь не был уверен, что ему удастся доставить своих пассажиров в порт.

Возле Корсики корабль неожиданно попал в бурю, недолгую, но свирепую; такие шквалы нередко проносятся над Средиземным морем. При попытке встать на якорь против ветра у берегов острова Эльбы было потеряно шесть якорей, и судно чуть было не выбросило на прибрежные скалы. Пришлось продолжать путь среди огромных, стеной встающих волн. День, ночь, еще один день длилось это адское плавание. Многие матросы, стараясь поднять остатки парусов, были ранены. Корзины,

где хранились камни для метания, рухнули со своим смертоносным грузом, предназначавшимся для варваров-пиратов. Ударами топора кое-как освободили проход в каюту, которую завалило упавшей грот-мачтой, и вызволили оттуда неаполитанских дворян. Все сундуки с платьями и драгоценностями, все ювелирные украшения принцессы, все свадебные подарки смыло волной. Устроенный на носу походный лазарет, где орудовал костоправ-цирюльник, был забит людьми. Священник не мог даже справлять «сухой» мессы, ибо дароносицу, чашу, святые книги и церковное облачение унесло волной. Вцепившись одной рукой в веревку, в другой сжимая распятие, он исповедовал тех, кто уже готовился отойти в мир иной.

Магнитная стрелка не могла помочь кормчим, так как без толку кружилась во все стороны на самом дне сосуда, где почти не оставалось воды. Капитан, буйный латинянин, в знак отчаяния порвал свои одежды от ворота до пояса и перемежал слова команды яростными воплями: «Помоги мне, отец небесный!» Тем не менее он, по-видимому, неплохо знал свое дело и как мог пытался выбраться из беды: по его приказу достали весла, такие длинные и такие тяжелые, что только семь человек, изо всех сил вцепившись в весло, могли им действовать; кроме того, он вызвал к себе двенадцать матросов и приказал им навалиться по шестеро с каждой стороны на брус руля.

Когда разыгралась буря, на капитана налетел охваченный гневом Бувилль.

— Эй вы, великий мореплаватель, разве можно так трясти принцессу, будущую супругу короля, моего владыки? — заорал на капитана бывший первый камергер Филиппа Красивого.— Если нас так швыряет, значит, судно плохо нагружено. Вы не умеете ни вести корабль, ни использовать благоприятствующее течение. Если вы не поторопитесь и не исправите дело, я вас по прибытии сразу же прикажу отвести к королевским судьям, и они научат вас плавать по морю на каторжных галерах...

Но гнев его вскоре утих, ибо он слег и целых восемь часов провалялся на восточных коврах, изрыгая принятую накануне пищу, в чем ему подражала почти вся свита принцессы. С бессильно повисшей головой, с мертвенно-бледным лицом, с мокрой шевелюрой, в мокром плаще и мокрых чулках, бедняга Бувилль готовился отдать богу душу всякий раз, когда волна подхватывала

судно; он икал, стонал, жаловался, что не видать ему больше своей семьи и что не такой уж он грешник, дабы страдать столь жестоко.

Зато Гуччо проявлял удивительное мужество. В голове у него не мутилось, на ногах он держался крепко; первым делом он позаботился о том, чтобы хорошенько закрепить ящики с золотыми экю, а в минуты относительного затишья, не обращая внимания на тучи брызг, бегал за водой для принцессы или кропил вокруг нее душистым уксусом, надеясь хоть немного заглушить дурной запах — естественное следствие болезненного состояния ее спутников.

Есть такая порода людей, особенно очень молодых людей, которые инстинктивно ведут себя так, как того ждут от них окружающие. Глядят на такого юнца, скажем, презрительным оком — и он будет вести себя достойным презрения образом. Или, наоборот, проникаешься к нему уважением, веришь в него — тогда он, что называется, из кожи лезет вон и, хотя в душе обмирает от страха, действует поистине героически. Гуччо Бальони отчасти принадлежал к этой породе. В силу того, что принцесса Клеменция с уважением относилась ко всем людям, независимо от того, бедны они или богаты, вельможи они или смерды, а сверх того была особенно любезна с этим юношей, вестником ее счастья, Гуччо почувствовал себя настоящим рыцарем и вел себя куда более достойно и гордо, нежели неаполитанские дворяне из свиты принцессы.

Он был тосканец, а следовательно, способен на любые подвиги, лишь бы блеснуть перед женщиной. В то же самое время он оставался банкиром в душе и по крови и играл с судьбой, как играют на повышении биржевого курса.

«Нет более благоприятного случая войти в близость с великими мира сего, чем минута опасности,— думал он.— Если нам всем суждено пойти ко дну, то стенать, как бедняга Бувилль, все равно бесполезно. Но ежели мы выберемся целы и невредимы, то я завоюю уважение королевы Франции». А думать так в подобные минуты — значит уже проявлять немалое мужество.

Но Гуччо этим летом вообще склонен был считать себя непобедимым: он был влюблен и уверен, что любим. И поскольку голова Гуччо была набита различными героическими историями, все в мозгу этого мальчика перемешалось: и мечты, и расчеты, и честолюбивые при-

тязания,— он знал, что искатель приключений всегда сумеет выйти из любого трудного положения, если только где-нибудь в замке его ждет дама несравненной красоты. Его дама жила в замке Крессэ...

Поэтому-то он против очевидности уверял принцессу Клеменцию, что шторм вот-вот уляжется, клялся, что судно построено на редкость добротно, именно в ту минуту, когда оно угрожающе трещало по всем швам, и вспоминал, что в прошлом году во время переезда через Ла-Манш их трепало куда сильнее, чем сейчас, и, однако, вышел же он из беды цел и невредим.

— Я ездил тогда к королеве Изабелле Английской с посланием от его светлости Робера Артуа...

Принцесса Клеменция тоже вела себя примерно. Укрывшись в «парадизе» — большой парадной каюте, богато убранной для высоких гостей,— она старалась успокоить своих придворных дам, которые, словно стадо перепуганных овечек, жалобно блеяли при каждом ударе волны. Клеменция не выразила ни малейшего огорчения, когда ей сообщили, что сундуки с платьями и драгоценностями смыло за борт.

— Пусть бы вдвое больше смыло,— кротко заметила она,— лишь бы этих несчастных матросов не придавило мачтой.

Ее не так устрашала сама буря, как то дурное предзнаменование, которое виделось ей в бушевании стихий.

«Ну, конечно,— думала она,— этот брак слишком высок для меня, слишком я радовалась и впала в грех гордыни, вот бог и потопит наш корабль, ибо я не заслужила чести стать королевой».

На третье утро, когда судно вошло в полосу затишья, хотя море, казалось, не желало смиряться, а солнце не собиралось выглянуть из-за туч, она вдруг увидела на палубе толстяка Бувилля, босоногого, растрепанного, в затрапезном одеянии. Он стоял на коленях, сложив на груди руки.

— Что вы здесь делаете, мессир? — воскликнула принцесса Клеменция.

— Следую примеру его величества Людовика Святого, мадам, когда он чуть было не утонул у берегов Кипра. Он обещал пожертвовать сорок унций серебра на украшение нефа святого Николая Варанжевилльского, если по милости божьей доберется до Франции. Об этом мне рассказал мессир де Жуанвилль.

— Я присоединяюсь к вашему обету, Бувилль,—

подхватила Клеменция,— и, поскольку наш корабль находится под покровительством святого Иоанна Крестителя, обещаю, если мы останемся в живых и если по благости небес я рожу королю Франции сына, назвать его Иоанном.

Она тоже преклонила колена и стала молиться.

К полудню ярость моря начала стихать и в сердцах людей затеплилась надежда. А затем солнце прорвало пелену туч, показалась земля. Капитан с радостью узнал берега Прованса, а по мере приближения к суше — бухточку Касси. Он не мог скрыть своей гордости, убедившись, что вел судно по заданному курсу.

— Надеюсь, капитан, вы немедленно высадите нас на берег! — вскричал Бувилль.

— Мне, мессир, приказано доставить вас в Марсель,— ответил капитан,— и мы от него не так уж далеко. Впрочем, у меня нет больше якорей, чтобы стать здесь, у этих скал.

Перед вечером «Святой Иоанн», который шел сейчас на веслах, показался в виду Марсельского порта. Была спущена шлюпка, отряженная на берег предупредить городские власти, по распоряжению которых подымали огромную цепь, закрывавшую вход в порт и протянутую между башней Мальбер и крепостью Сен-Никола. На пристань, где свистел мистраль, сбежались городские советники и старшины во главе с губернатором (Марсель в ту пору был еще анжуйским городом), чтобы встретить племянницу их сюзерена короля Неаполитанского.

Чуть поодаль толпились солевары, рыбаки, хозяева мастерских, где готовят весла и рыболовные снасти, конопатчики, менялы, торговцы из еврейского квартала, приказчики генуэзских и сиенских банков, и вся эта толпа в остолбенении глазела на огромный, потрепанный бурей корабль без парусов, без мачт, на матросов, плясавших от радости на палубе, обнимавших друг друга, восславлявших великое чудо.

Неаполитанские дворяне и сопровождавшие принцессу дамы пытались привести в порядок свои туалеты.

Бравый Бувилль, который за время переезда похудел на целых десять фунтов — платье висело теперь на нем как на вешалке,— твердил всем и каждому, что это он первый придумал дать обет, чем предотвратил кораблекрушение, и, следовательно, путники обязаны своим спасением только ему.

— Мессир Юг,— возразил Гуччо, лукаво скосив гла-

за в его сторону,— я слышал, что во время каждой бури кто-нибудь обязательно дает обет вроде вашего, иначе просто не бывает. Чем же вы тогда объясните, что десятки кораблей все-таки идут ко дну?

— Только тем, что на борту корабля находится неверующий вроде вас! — с улыбкой отпарировал бывший камергер.

Гуччо решил первым сойти на берег. Желая показать свое молодечество, он как на крыльях спрыгнул с трапа. И сразу же раздался вопль. За несколько дней путешествия, разгуливая по неустойчивой палубе, Гуччо отвык от твердой земли: он поскользнулся и упал в воду. Его чуть не раздавило между камнями пристани и носом корабля. Вода мгновенно окрасилась в красный цвет, ибо, падая, Гуччо поранил бок железной скобой. Его вытащили из воды окровавленного, почти без сознания и с ободранным до кости бедром. Не теряя зря времени, юношу перенесли в больницу для бедных.

Глава III

БОЛЬНИЦА ДЛЯ БЕДНЫХ

Главная мужская палата была не меньших размеров, чем неф в кафедральном соборе. В глубине возвышался алтарь, где каждый день отправляли четыре мессы, а также вечерню и читали на ночь молитву. Больные познатнее занимали так называемые «почетные комнаты», попросту говоря, ниши, расположенные вдоль стены; все прочие лежали по двое на кровати, валетом, так что ноги одного находились на подушке соседа. Братья милосердия в коричневых рясах с утра до вечера сновали по главному проходу: то они спешили к мессе, то разносили пищу, то ухаживали за недужными. Дела духовные были тесно связаны с делами лекарскими, пению псалмов отвечали хрипы и стоны; запах ладана не мог заглушить запаха гангрены, изнуренных лихорадкой тел; таинство смерти было открыто всем глазам. Надписи, выведенные огромными готическими буквами прямо на стене над изголовьем постелей, поучали больных и немощных, напоминая, что христианину более подобает готовиться к кончине, нежели надеяться на выздоровление.

В течение почти трех недель в одной из многочисленных ниш томился Гуччо, задыхаясь от тягостной летней жары, которая, как правило, обостряет муки и усугуб-

ляет мрачность больничных палат. Печально глядел он на солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь узенькие щелки окошек под самыми сводами, щедро осыпавшие золотыми пятнами это сборище людских бед. Гуччо не мог пошевельнуться, чтобы тут же не застонать от боли; бальзамы и эликсиры милосердных братьев жгли его огнем, и каждая перевязка превращалась в пытку. Никто, казалось, не способен был определить, затронута ли кость, но сам Гуччо чувствовал, что боль гнездится не только в порванных тканях, а много глубже, ибо всякий раз, когда ему ощупывали бедро и поясницу, он едва не терял сознание. Лекари и костоправы уверяли, что ему не грозит смертельная опасность, что в его годы от всего излечиваются, что господь бог творит немало чудес; взять хотя бы того же конопатчика, которого к ним не так давно принесли,— ведь у него все потроха наружу вывалились, и что же! После положенного времени он вышел из больницы еще более бодрым, чем раньше. Но от этого Гуччо было не легче. Уже три недели... и нет никаких оснований полагать, что не потребуется еще трех недель или еще трех месяцев, и он все равно останется хромым или вовсе калекой.

Он уже видел себя обреченным до конца своих дней торчать за прилавком какой-нибудь марсельской меняльной конторы скрюченным в три погибели, потому что до Парижа ему не добраться. Если только он не умрет раньше еще от чего-нибудь... Каждое утро на его глазах выносили из палаты два-три трупа, чьи лица уже успели принять зловеще темный оттенок, ибо в Марселе, как и во всех средиземноморских портах, постоянно гуляла чума. И все это ради удовольствия пофанфаронить, спрыгнуть на набережную раньше спутников, когда они так счастливо избежали кораблекрушения!..

Гуччо проклинал свою судьбу и собственную глупость. Чуть ли не каждый день он требовал к себе писца и диктовал ему длинные письма к Мари де Крессэ, которые затем переправляли через гонцов ломбардских банков в отделение Нофля, а там старший приказчик тайком вручал их молодой девушке.

Гуччо слал Мари страстные признания в напыщенном стиле, изобилующие поэтическими образами, на что такие мастера итальянцы, когда речь заходит о любви. Он уверял, что желает выздороветь лишь ради нее, ради счастья вновь с ней встретиться, лицезреть ее милый облик каждый божий день, лелеять ее. Он молил хра-

нить ему верность, как они в том друг другу поклялись, и сулил ей все блаженства мира. «Нет у меня иной души, как ваша, в сердце моем никогда иной и не будет, и, ежели уйдет она от меня, с нею вместе уйдет и жизнь моя».

Ибо этот самонадеянный ломбардец, будучи теперь из-за собственной неловкости прикован к постели в больнице для бедных, начал сомневаться во всем и боялся, что та, которую он любит, не захочет его ждать. В конце концов Мари надоест возлюбленный, который вечно находится в разъездах, и ей приглянется какой-нибудь юный рыцарь из их провинции, охотник и победитель на турнирах.

«Мне повезло,— думал он,— что я ее полюбил первый. Но прошло уже почти полтора года с тех пор, как мы обменялись первым поцелуем. Она начнет сомневаться. Предупреждал же меня дядя! Кто я такой в глазах девицы благородного рода? Простой ломбардец, то есть существо чуть получше еврея, но все же похуже христианина и уж никак не человек их ранга».

Со страхом глядя на свои иссохшие неподвижные ноги, Гуччо думал, сумеет ли он когда-нибудь ходить, и тем не менее в своих письмах к Мари де Крессэ продолжал описывать сказочную жизнь, которую он ей уготовит. Ведь он вошел в милость к новой королеве Франции и может надеяться на ее покровительство. По его словам получалось, будто это он устроил брак короля. Он рассказывал о «своей миссии» в Неаполе, о буре и о том, как он себя вел, подбадривая потерявший мужество экипаж. Даже несчастье с ним произошло от рыцарских его порывов: он хотел поддержать принцессу Клеменцию, когда та спускалась с корабля, правда стоявшего у причала, но все еще раскачивавшегося на волнах, и тем самым спас ее от падения в воду.

О своих злоключениях Гуччо написал также дяде Спинелло Толомеи; он просил банкира сохранить за ним, Гуччо, отделение в Нофле, а также предоставить ему кредит у представителя банка в Марселе.

Многочисленные посещения ненадолго отвлекали его от черных мыслей и давали прекрасный случай поохать в компании, что куда приятнее, чем охать и стонать в одиночку. Синдик сиенских купцов навестил больного и сказал, что находится в его распоряжении; уполномоченный банка Толомеи окружил Гуччо заботами, и по его распоряжению в больницу доставляли пищу много

вкуснее той, что распределяли среди недужных милосердные братья.

Как-то под вечер Гуччо с радостью увидел своего друга Боккаччо де Челлино, торгового представителя компании Барди, который как раз проездом находился в Марселе. Ему Гуччо мог вдосталь посетовать на свою судьбу.

— Подумать только, чего я лишился,— твердил Гуччо.— Я не смогу присутствовать на бракосочетании донны Клеменции, где мне было уготовано место среди самых знатных вельмож. Столько для этого сделать и вдруг оказаться в числе отсутствующих. И кроме того, я не попаду на коронование в Реймс! Ах, все это погружает меня в глубокую печаль... а тут еще нет ответа от моей прекрасной Мари.

Боккаччо старался утешить больного. Нофль находится не в предместьях Марселя, и письма Гуччо доставляются не королевскими гонцами. Сначала они попадают на перекладных к ломбардцам в Авиньон, затем в Лион, в Труа и в Париж; да и гонцы не каждый день отправляются в путь.

— Боккаччо, друг мой,— воскликнул Гуччо,— ведь ты едешь в Париж, так молю тебя, если только у тебя будет время, загляни в Нофль и повидайся с Мари. Передай ей все, что я тебе рассказал. Узнай, были ли ей вручены мои послания, постарайся заметить, по-прежнему ли она ко мне благосклонна. И не скрывай от меня правды, даже самой жестокой... Как по-твоему, Боккаччино, не приказать ли мне перевезти себя на носилках?

— Чтобы твоя рана снова открылась, чтобы там завелись черви и чтобы ты по пути скончался от лихорадки в какой-нибудь мерзкой харчевне? Чудесная мысль! Ты что, рехнулся, что ли? Тебе же всего двадцать лет, Гуччо.

— Еще нет двадцати!

— Тем более, что значит в твои годы потерять какой-нибудь месяц?

— Если бы только месяц! Так можно и целую жизнь потерять!

Ежедневно принцесса Клеменция посылала кого-нибудь из сопровождавших ее дворян проведать Гуччо и справиться о его здоровье. Раза три приходил толстяк Бувилль посидеть у изголовья юного итальянца. Бувилль изнемогал под бременем забот и трудов. Он пы-

тался привести в пристойный вид свиту будущей королевы еще до отъезда в Париж. Большинство придворных дам, изнуренные плаванием, сразу же по приезде слегли в постель. Ни у кого не оказалось лишнего платья, кроме той грязной и попорченной морской водой одежды, что была на них в день отъезда из Неаполя. Сопровождавшие королеву дворяне и придворные дамы заказывали себе новые туалеты и белье у портных и белошвеек, а платить приходилось Бувиллю. Приданое принцессы, смытое волной, пришлось делать заново; надо было купить серебро, посуду, сундуки, дорожную мебель — словом, все то, что составляет необходимую принадлежность королевского поезда. Бувилль запросил из Парижа денег; Париж посоветовал ему адресоваться в Неаполь, поскольку ущерб был нанесен в тот момент, когда за плавание отвечало еще Сицилийское королевство. Пришлось потормошить ломбардцев. Толомеи переадресовал просьбы Бувилля к Барди, которые были постоянными кредиторами короля Роберта Неаполитанского, чем и объяснялся спешный приезд в Марсель синьора Боккаччо, посланного уладить дело. Среди всей этой суеты Бувиллю очень и очень не хватало Гуччо, и бывший камергер являлся к больному скорее для того, чтобы пожаловаться на свою горькую судьбину и попросить у юного ломбардца совета, нежели для того, чтобы его подбодрить. Бувилль смотрел на Гуччо с таким видом, словно говорил: «Так меня подвести! Меня!»

— Когда вы уезжаете? — спросил Гуччо, с тоской ожидавший минуты расставания.

— О бедный мой друг, не раньше половины июля.

— А вдруг я к тому времени поправлюсь!

— От всей души желаю этого. Постарайтесь, дружок, получше; выздоровев, вы окажете мне огромную услугу.

Но прошла половина июля, а Гуччо еще не вставал с постели, куда там! Накануне отъезда Клеменция Венгерская решила лично проститься с больным. И так уж все товарищи Гуччо по палате завидовали ему: и посещали итальянца чаще других, и ухаживали за ним заботливее, и сразу же удовлетворяли все его требования и желания. Но после того, как двери главной палаты больницы для бедных распахнулись однажды перед невестой короля Франции, появившейся в сопровождении двух придворных дам и полдюжины неаполитанских дворян, вокруг Гуччо начали создаваться легенды,

главным героем которых стал он сам. Милосердные братья, служившие вечерню, удивленно переглянулись и затянули новый псалом слегка охрипшими от волнения голосами. Красавица принцесса преклонила колена, как самая обыкновенная прихожанка, а когда служба окончилась, она, сопровождаемая сотней восхищенных глаз, пошла по проходу между кроватями, вдоль выставленного, словно напоказ, человеческого страдания.

— О бедняжки! — вздыхала она.

Клеменция тут же приказала раздать от ее имени милостыню всем недужным и пожертвовать двести ливров на это богоугодное заведение.

— Но, мадам,— шепнул ей Бувилль, шедший рядом,— так у нас не хватит денег.

— Что из того! Лучше потратить деньги здесь, чем накупать чеканные кубки или шелковые ткани для нарядов. Мне стыдно при мысли, что мы печемся о такой суете, стыдно даже быть здоровой при виде стольких страданий.

Она принесла Гуччо маленькую нательную ладанку, заключавшую в себе кусочек одеяния святого Иоанна «с явно видимой каплей крови Предтечи»,— эту реликвию она приобрела за немалую сумму у еврея, понаторевшего в торговле подобного рода. Ладанка была подвешена к золотой цепочке, и Гуччо тут же надел ее на шею.

— Ах, милый синьор Гуччо,— сказала принцесса Клеменция,— как мне грустно видеть вас здесь. Вы дважды проделали длительное путешествие вместе с мессиром Бувиллем и стали для меня вестником счастья; в море вы оказывали мне помощь, и вот вы не сможете присутствовать на моей свадьбе и всех последующих празднествах!

В палате стояла нестерпимая жара, словно в раскаленной печи. Собиралась гроза. Принцесса вынула из своей сумки для милостыни платочек и отерла блестевшее от пота лицо раненого таким естественным, таким нежным движением, что у Гуччо слезы навернулись на глаза.

— Но как же это с вами произошло? — спросила Клеменция.— Я ничего не видела и до сих пор не понимаю, что случилось.

— Я... я полагал мадам, что вы спуститесь на берег, а так как корабль все еще качало, вот я и решил поскорее сойти и подать вам руку. Уже темнело, видно было плохо и... вот... нога соскользнула.

Отныне Гуччо и сам уже верил в свою полуправду-полуложь. Ему ужасно хотелось, чтобы все произошло именно так! Ведь, в конце концов, он почему-то спрыгнул первым.

— Милый синьор Гуччо,— взволнованно повторила Клеменция.— Выздоравливайте скорее, я буду так этому рада. И непременно дайте о себе знать; двери королевских покоев всегда будут открыты для вас, как для моего верного друга.

Принцесса и Гуччо обменялись долгим, безгрешным, невинным взглядом, ибо она была дочерью короля, а он сыном ломбардца. Если бы судьбе было угодно поставить их со дня рождения в иные условия, возможно, этот юноша и эта девушка смогли бы полюбить друг друга.

Им не суждено было более свидеться, и, однако, их судьбам предстояло так странно, так трагически переплестись между собой, как никогда еще не переплетались человеческие судьбы.

Глава IV

ЗЛОВЕЩИЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ

Недолго продолжалась хорошая погода. Ураганы, грозы, град и ливни, обрушившиеся на запад Европы — их ярость уже довелось испытать принцессе Клеменции во время своего морского путешествия,— вновь разразились в день отбытия королевского поезда. После первой остановки в Экс-ан-Провансе и второй — в Оргонском замке путники под проливным дождем прибыли в Авиньон. С кожаной расписной крыши носилок, в которых путешествовала принцесса, в три ручья стекала вода. Неужели новые прекрасные туалеты будут испорчены, неужели сундуки промокнут насквозь, потускнеют расшитые серебром седла — словом, пропадет зря все это великолепие, не успев даже ослепить своим блеском жителей Франции? И совсем уж некстати мессир де Бувилль схватил простуду. Простудиться в июле месяце — да это же курам на смех! Бедняга кашлял, чихал, из носу у него текло, даже смотреть было страшно. С годами он становился слаб здоровьем, а может быть, просто долина Роны и окрестности Авиньона действовали на него столь пагубно.

Едва только путники успели расположиться в одном из дворцов папского города, как монсеньор Жак Дюэз,

кардинал курии, пожаловал в сопровождении высшего духовенства приветствовать Клеменцию Венгерскую. Старый прелат-алхимик, в течение полутора лет домогавшийся папской тиары, сохранил вопреки своим семидесяти годам до странности юношеские повадки. Он бодро перепрыгивал через лужи под порывами сырого ветра, безжалостно задувавшего факелы, которые несли впереди его преосвященства.

Кардинал Дюэз считался официальным кандидатом Анжу-Сицилийского дома. То обстоятельство, что Клеменция должна была вступить в брак с королем Франции, несомненно, благоприятствовало его замыслам и подкрепляло его позиции. В лице новой королевы он рассчитывал найти себе опору при парижском дворе и надеялся, что с ее помощью ему удастся получить от французских кардиналов недостающие для избрания голоса.

Легкий на ногу, как молодой олень, он одним духом взлетел по лестнице, а вслед за ним тем же аллюром приходилось нестись пажам, поддерживавшим шлейф кардинальской мантии. С собой Дюэз привел кардинала Орсини и двух кардиналов Колонна, столь же ревностно преданных интересам Неаполя,— и все эти священнослужители тоже с трудом поспешали за старцем.

Желая оказать всему этому пурпуру и багрянцу достойный прием, мессир Бувилль, хоть и не отнимал платка от носа и гнусавил, постарался приосаниться, как и подобает королевскому послу.

— Стало быть, монсеньор,— обратился он к кардиналу, как к старому знакомцу,— вас, я вижу, куда легче поймать, когда сопровождаешь племянницу Неаполитанского короля, чем когда приезжаешь к вам с приказом от короля Франции: сейчас, слава богу, мне уже не нужно носиться по полям...

Бувилль мог позволить себе этот любезно-насмешливый тон: кардинал обошелся французской казне в четыре тысячи золотых ливров.

— А это потому, ваша светлость,— отозвался кардинал,— что королева Мария Венгерская и сын ее король Роберт всегда и по всем поводам дарили меня своим доверием, что я почитаю великой для себя честью; и союз их семьи с престолом Франции в лице нашей прекрасной высокочтимой принцессы состоялся лишь потому, что господь бог внял моим молитвам.

Бувиллю уже была знакома эта странная скорого-

ворка, этот надтреснутый, глуховатый, бесцветный голос, и всякий раз ему казалось, что говорит не сам кардинал, а кто-то другой, и говорит с кем-то другим, только не со своим собеседником. Сейчас, например, его слова были адресованы главным образом Клеменции, с которой кардинал не спускал глаз.

— И кроме того, мессир Бувилль, положение тоже в достаточной мере изменилось,— продолжал Дюэз,— и за вами уже не стоит тень его светлости Мариньи, который правил страной слишком долго и готов был всех нас вышвырнуть прочь. Правда ли, что он оказался нечист на руку и ваш молодой король, чья доброта известна всем и каждому, не смог спасти его от праведной кары?

— Вы же знаете, что мессир Мариньи был моим другом,— храбро отпарировал Бувилль.— Он начал свою карьеру у меня в качестве простого конюшего. Думаю, что не так он, как его служащие оказались нечисты на руку. Тяжело мне было видеть, как губит себя мой товарищ, как упорствует он в своей гордыне и всем желает управлять самолично. Я предостерегал его...

Но кардинал Дюэз еще не истощил запас своих коварных любезностей.

— Вот видите, мессир,— подхватил он,— оказалось, совершенно незачем было торопиться с расторжением брака вашего государя, о чем мы с вами как раз и беседовали в тот ваш приезд. Нередко само провидение спешит навстречу нашим желаниям, если, конечно, ему помогает в том твердая рука...

Говоря все это, он не спускал глаз с принцессы. Бувилль заторопился переменить разговор и отвлечь прелата от скользкой темы.

— Ну, а как, ваше преосвященство, обстоят дела в конклаве? — спросил он.

— Никаких перемен, мессир,— иными словами, нового ничего. Монсеньору д'Ошу, нашему уважаемому кардиналу-камерлингу, не удалось нас собрать, а быть может, просто не пожелалось, конечно, из самых благих побуждений, кои известны лишь ему самому. Одни кардиналы сидят в Карпантрассе, другие — в Оранже, мы сами — здесь, Гаэтани — во Вьенне...

Тут он разразился обвинительной речью, правда завуалированной, но убивавшей наповал кардинала Франческо Гаэтани, племянника папы Бонифация VIII и одного из самых опасных своих соперников.

— Любо поглядеть, как он сейчас с беспримерной отвагой защищает память своего покойного дядюшки; мы-то ведь не забыли, что, когда ваш друг Ногарэ прибыл вместе со своей кавалерией в Ананьи с целью осадить папу Бонифация, монсеньор Франческо покинул своего бесценного родича, которому был обязан кардинальской шапкой, и скрылся, переодевшись слугой. Человек этот, как видно, рожден для измен, как другие — для священного сана,— заключил Дюэз.

Глаза его зажглись старческим пылом, ярко заблестели на сухоньком, обглоданном годами личике. По словам кардинала, Гаэтани был способен на любое злодейство, в этом человеке живет сам дьявол, демон...

— ...демон же, да было бы вам известно, с легкостью проникает повсюду; нет для него большей отрады, чем поселиться в одном из наших коллег.

А ведь в ту эпоху упоминание о демоне не было простой метафорой, тогда не произносили походя это слово, за которым следовало обвинение в ереси, пытка и костер.

— Я отлично понимаю,— добавил Дюэз,— престол святого Петра не может бесконечно пустовать без ущерба для всего мира. Но я-то что могу поделать? Я предлагал, хотя отнюдь не склонен взять на себя эту достаточно тяжкую обузу, я соглашался взвалить на себя это бремя, поскольку, по всей видимости, кардиналы сойдутся лишь на моей кандидатуре. Если господу богу будет угодно возвысить менее достойного на высочайшую должность, что ж, я подчинюсь воле божьей. Что я-то могу сделать, мессир де Бувилль?

Вслед за тем кардинал преподнес принцессе Клеменции великолепный экземпляр, с множеством прекрасных миниатюр, своего «Философического эликсира» — прославленный среди алхимиков трактат, из которого принцесса Клеменция вряд ли сумела бы понять хоть строчку. Ибо наш кардинал Дюэз, великий мастер интриг, обладал в то же время всеобъемлющими знаниями и в области медицины, и в области алхимии, и во всех прочих науках. В течение двух последующих веков его труды неоднократно переписывались потомками.

Он удалился в сопровождении собственных прелатов, собственных викариев и собственных пажей: уже и сейчас он жил, как подобает папе, и изо всех своих сил мешал избранию на святой престол любого другого претендента.

На следующий день, когда свита принцессы Венгерской тронулась в путь к Валансу, Клеменция обратилась к Бувиллю с вопросом:

— Что имел в виду кардинал, говоря о той помощи, которую мы оказываем провидению, дабы сбылись наши заветные желания?

— Не знаю, мадам, не припоминаю,— ответил растерявшийся Бувилль.— Думаю, он имел в виду мессира Мариньи, впрочем, я не совсем понял.

— А по-моему, он говорил как раз о расторжении брака моего будущего супруга и о том, как трудно было добиться этого расторжения. Кстати, отчего скончалась королева Маргарита Бургундская?

— Конечно же, от простуды, которую она схватила в тюрьме, и от угрызений совести за свои прегрешения.

И Бувилль начал усиленно сморкаться, чтобы скрыть смятение: слишком хорошо известны ему были слухи, вызванные скоропостижной смертью первой супруги короля, и поэтому он не желал поддерживать беседу.

Клеменция внешне приняла объяснение Бувилля, однако в душе она не была спокойна.

«Итак,— думала Клеменция,— моим счастьем я обязана смерти другой женщины».

Она почувствовала вдруг, что непостижимыми узами связана с той королевой, место которой собиралась занять и чей грех внушал ей столь же сильный страх, сколь сильное сострадание внушала понесенная Маргаритой кара.

Истинное милосердие, нередко чуждое проповедникам оного, гораздо полнее проявляет себя в тех порывах, которые побуждают нас не раздумывая делить с виновным его вину и с судьями — бремя их ответственности.

«Проступок Маргариты стал причиной ее смерти, а смерть ее сделала меня королевой»,— думала Клеменция. Клеменции чудился в том приговор ей самой, и повсюду виделись ей дурные предзнаменования. Буря, несчастный случай с юным ломбардцем, эти дожди, ставшие подлинным бедствием... сколько зловещих признаков разом.

А непогода упорно не желала стихать. Деревни, через которые проезжал их кортеж, являли плачевное зрелище. После голодной зимы дружно зазеленели посевы, суля обильный урожай, и крестьяне было приободрились; несколько дней непрерывного мистраля и

страшных гроз унесли все их надежды. Вода, неиссякаемые потоки воды лились с неба и губили на своем пути все живое.

Реки — Дюранс, Дром, Изер — вышли из берегов. По-весеннему полноводная Рона, вдоль которой лежал их путь, грозила затопить всю округу. Нередко кортеж вынужден был останавливаться и убирать с дороги поваленное бурей дерево.

«Какое удручающее несходство! — думалось Клеменции.— У нас в Кампаньи — лазурные небеса, улыбчивый народ, сады, манящие золотыми плодами, а здесь — опустошенные долины, где, как призраки, бродят тощие фигуры, и поселки, мрачные, наполовину обезлюдевшие после голодной зимы. И чем дальше на север, тем, конечно, будет еще хуже. В суровую же я попала страну».

Клеменции хотелось облегчить людское горе, и она то и дело останавливала носилки, раздавала милостыню всем этим людям, поистине достойным жалости. Бувиллю пришлось наконец вмешаться и умерить ее порывы.

— При таком размахе, мадам, нам, пожалуй, не на что будет добраться до Парижа.

Прибыв во Вьенн к своей сестре Беатрисе, супруге суверена Дофинэ, Клеменция узнала, что король Людовик только что отправился на войну с фламандцами.

— Господи, владыка,— прошептала она,— неужели мне суждено стать вдовой, даже не повидав моего будущего супруга? И неужели мне суждено было прибыть во Францию спутницей бед?

Глава V

ВЗВИВАЕТСЯ КОРОЛЕВСКИЙ СТЯГ

Во время суда над Ангерраном де Мариньи Карл Валуа обвинил бывшего правителя государства в том, что тот продался фламандцам, заключив с ними мирный договор в ущерб интересам Франции.

А ведь не успели вздернуть Мариньи на цепь Монфоконской виселицы, как граф Фландрский тут же нарушил договор. Сделал он это более чем просто: отказался даже под страхом неизбежного королевского гнева прибыть в Париж и принести вассальную присягу новому королю. Одновременно он перестал платить дань и вновь предъявил свои требования на территории Лилля и Дуэ.

Когда до Людовика X дошла эта весть, он впал в

неописуемую ярость. Он был подвержен подобным приступам бешенства, недаром его прозвали Сварливым; в такие минуты все окружающие трепетали, но не столько за себя, сколько за самого Людовика, так как всякий раз он бывал на грани умопомешательства.

И сейчас, узнав о непокорности фламандцев, он впал в такой гнев, какого у него еще не видели. Несколько часов подряд кружил он по своему кабинету, как дикий зверь, попавший в ловушку, со встрепанными волосами, побагровевшей шеей, опрокидывал ударом ноги кресла, скамьи, швырял об пол все, что попадалось под руку, выкрикивал бессмысленные слова. Вопли его сменялись приступами похожего на удушье кашля, сгибавшего короля пополам.

— Обложения! — кричал он.— И тут еще эта непогода! Заплатят они мне и за эту непогоду тоже! Виселиц! Дайте мне виселиц! Кто уговорил меня отказаться от сбора? На колени, на колени, граф Фландрский! И склоните голову под мою стопу! Брюгге? Спалить! Я спалю Брюгге!

С уст Людовика срывались вперемежку имена мятежных городов, сетования на задержку в пути Клеменции Венгерской, страшные угрозы. Но чаще всего на язык ему приходило короткое слово «сбор», ибо как раз за несколько дней до того Людовик X приостановил сбор особого налога, предназначавшегося для покрытия военных издержек минувшего года.

Вот тут-то и пожалели о Мариньи, конечно не смея высказывать своих мыслей вслух; вспомнили, как умел он обходиться в подобных случаях с мятежниками, как, к примеру, ответил он аббату Симону Пизанскому, когда тот сообщил, что фламандцы-де слишком разгорячены: «Сей великий пыл ничуть меня не удивляет, брат Симон, ибо он действие жары. Наши сеньоры тоже пылки и тоже любят войну... И запомните, кстати, что одними словами не развалить королевства Французского, тут потребно иное». Попытались было принять в переговорах с фламандцами тот же тон, но, к несчастью, человека, который умел так говорить, уже не было в живых.

Подстрекаемый своим дядей, ибо в душе Валуа сбывшиеся мечты о власти отнюдь не притушили воинского пыла и жажды бранной славы, Сварливый тоже начал мечтать о подвигах. Он непременно соберет многочисленную армию, какой еще не видала никогда Франция, обрушится, как горный орел, на мятежных фламан-

дцев, раздерет одних на куски, потребует выкуп с других, в течение недели приведет их к повиновению, и там, где Филиппу IV никогда не удавалось полностью добиться успеха, он, Сварливый, покажет, на что способен. Он уже представлял себе, как возвращается с поля брани, впереди несут победные стяги, сундуки с добычей и данью, которой обложат города; и тогда он не только затмит славу покойного отца, но и заставит народ забыть о своем первом браке, ибо, чтобы изгладить память о супружеских злоключениях, требуется не меньше, чем война. Затем среди всеобщего ликования и оваций он — монарх, победитель и герой — поскачет галопом навстречу своей нареченной, поведет ее к алтарю, а затем коронуется.

В общем, этого молодого человека не следовало принимать слишком всерьез, можно было просто его пожалеть, поскольку при всех своих благоглупостях он, вероятно, даже страдал; но, к сожалению, под его властью находилась Франция с ее пятнадцатью миллионами человеческих душ.

Двадцать третьего июня он собрал Совет пэров и столь же злобно, сколь несвязно, объявил о вероломстве графа Фландрского и о своем решении в первых числах августа двинуть «ост», то есть королевскую армию, к Куртре.

Выбор был сделан не особенно удачно. Существуют, по-видимому, злополучные места, как бы созданные для бедствий, и слово «Куртре» для людей тогдашнего времени звучало примерно так, как звучит в наши дни слово «Седан». Разве что Людовик X и его дядя Карл по непомерному своему самомнению выбрали Куртре именно с целью уничтожить память о поражении 1302 года, о битве, пожалуй единственной, проигранной в царствование Филиппа Красивого, когда тысячи рыцарей в отсутствие короля бросились как безумные в атаку, падали в ров и гибли под ножами фландрских ткачей — настоящая резня, к концу которой некого уже было брать в плен.

Для содержания огромной армии, которая должна была послужить воинской славе Людовика X, требовались деньги; Валуа прибег все к тем же крайним мерам, которые применял Мариньи, и в народе заговорили о том, что вряд ли стоило посылать на виселицу бывшего правителя государства, если его преемники действуют теми же методами, и притом неумело.

Решено было отпустить на свободу всех сервов, которые могут внести за себя выкуп; наложили на евреев непосильную дань за право жительства и торговли в столице; потребовали новую подать от ломбардцев, которые отныне начали глядеть на новое царствование куда менее благосклонным оком. Две срочные контрибуции в год — этого они уже никак не желали терпеть.

Задумали также обложить налогами духовенство, но священнослужители, ссылаясь на то, что Святой престол, мол, до сих пор вакантен и за отсутствием папы принимать решений они не уполномочены, отказались платить; после долгих переговоров епископы все же согласились помочь в виде исключения, но воспользовались случаем и испросили себе льгот и освобождений от дальнейших поборов, что в итоге обошлось казне куда дороже, чем полученная единовременно помощь.

Войско собрали легко, без осложнений, даже бароны встретили это с восторгом, так как засиделись без дела и радовались, что можно наконец извлечь на свет божий кирасы и попытать счастья на поле брани.

Простой люд не был склонен ликовать.

— Неужели мало того,— говорили в народе,— что половина из нас уже перемерла с голодухи, теперь еще отдавай наших мужчин и наши денежки потому, что король воевать задумал!

Но народ уверили, что во всех бедах повинна Фландрия; солдат разжигала надежда на добычу и привольные деньки грабежей и насилий; для многих война была единственной возможностью покончить с монотонным ежедневным трудом и заботами о хлебе насущном; никто не желал прослыть в чужих глазах трусом, и, ежели бы нашлись такие, что отказались идти на войну, у короля хватило бы стражников или сеньоров поддержать порядок, украсив придорожные вязы трупами повешенных. Согласно ордонансам Филиппа Красивого, по-прежнему остававшимся в силе, всякий здоровый мужчина от восемнадцати до шестидесяти лет считался военнообязанным, разве что он мог внести за себя денежный выкуп или занимался полезным для государства ремеслом.

В ту эпоху мобилизация проходила по территориальному принципу. Рыцари считались как бы принесшими воинскую присягу офицерами, которым вменялось в обязанность набирать себе войско среди своих вассалов, подданных или сервов. Ни один рыцарь или даже коню-

ший не отправлялся на войну в одиночку. Их сопровождали вооруженные слуги, оруженосцы, пешие ратники. Рыцари считались владельцами своих коней, своего вооружения, равно как и оружия своих вассалов. Простой рыцарь, не имевший собственного знамени, приравнивался примерно к лейтенанту; собрав и вооружив своих людей, он присоединялся к рыцарю более высокого ранга, то есть к своему сюзерену. Рыцарь — обладатель знамени соответствовал примерно капитану; знатные рыцари, имевшие право распускать знамя,— полковнику, а рыцари с двойными знаменами были как бы генералами и командовали крупными соединениями, собранными, по тогдашней юрисдикции, в их графстве или на их баронских землях.

Случалось, что во время битвы всадники, оставив в тылу пеших ратников, соединялись для совместной атаки, что, как известно, приносило иной раз прекрасные результаты.

Под знаменами королевского брата графа Филиппа Пуатье собралось войско, равное по численности целому армейскому корпусу, поскольку в него входили одновременно войска Пуату и войска графства Бургундского, пфальцграфом которого Филипп был по жене; сверх того, под его началом находилось десять рыцарей, имеющих право распускать знамя, и среди них граф д'Эвре, дядя короля, граф Жан де Бомон, Миль де Нуайе, Ансо де Жуанвилль, сын великого Жуанвилля, и даже Гоше де Шатийон, который хоть и был коннетаблем Франции — иными словами, главнокомандующим всеми армиями,— однако ленные его войска были приданы вышеназванному крупному соединению.

Не без умысла Филипп Красивый доверил своему второму сыну, когда тому не исполнилось еще и двадцати двух лет, неограниченную власть над войском, а также объединил под его началом самых верных людей с целью эту власть укрепить.

Под знаменами Карла Валуа шли одновременно войска Мэна, Анжу и Валуа, в числе их находился престарелый рыцарь д'Онэ, отец двух погибших на плахе любовников Маргариты и Бланки Бургундских.

Города, так же как и села, не избежали контрибуции. Париж обязался выставить четыре сотни всадников и две тысячи пеших ратников, содержание коим должно было выплачивать купечество квартала Ситэ каждые две недели, а это доказывало, что, по мнению короля,

война долго не затянется. Необходимые для обоза лошади и повозки реквизировали в монастырях.

Двадцать четвертого июля 1315 года с некоторым запозданием, как и во всех прочих случаях, Людовик получил в Сен-Дени из рук аббата Эгидия де Шамбли, который был также хранителем знамени, орифламму Франции — длинное полотнище красного шелка с золотыми пламенами (отсюда и само название орифламмы: or — золото и flamme — пламя). Полотнище заканчивалось двумя языками и было прикреплено к длинному древку, покрытому позолоченной медью. По обе стороны от орифламмы, почитаемой наравне с главнейшими реликвиями Франции, несли два королевских знамени: одно голубое с вышитыми на нем лилиями и другое с белым крестом.

И вот огромная армия двинулась в поход, ведя за собой пеших ратников, прибывших с запада, с юга, с юго-востока, лангедокских рыцарей, войска Нормандии и Бретани. «Знамена» герцогства Бургундского и Шампаньского, а также Артуа и Пикардии должны были присоединиться к ним по дороге, у Сен-Кантена.

День выдался безоблачный — редкость по нынешнему промозглому лету. Солнечные блики играли на остриях копий, на стальных латах, на кольчугах, на боевых гербах, расписанных яркими красками. Рыцари хвастались друг перед другом новинками по части доспехов: у одного новой формы шлем, у другого забрало надежнее защищает лицо и одновременно дает лучший угол видимости, у третьего нараменник лучше защищает плечи от ударов палицы и по нему, не причиняя вреда, скользит лезвие меча.

Вслед за войском на десятки лье растянулись цугом четырехколесные повозки, груженные съестными припасами, кузнечным оборудованием, запалами и стрелами для арбалетчиков; ехали торговцы самыми различными товарами, получившие разрешение следовать за армией, и целые выводки девок под началом содержателей непотребных домов. Все это продвигалось вперед среди удивительной атмосферы героизма и ярмарочной суеты.

На следующий день снова начался дождь, пронизывающий, упорный, размывавший дороги, углублявший колеи, стекавший по железным шлемам, по кольчугам, оседавший каплями на лоснившихся лошадиных крупах. Каждый человек стал тяжелее фунтов на пять.

И в последующие дни дождь, дождь, дождь...

Войско, идущее на Фландрию, так и не достигло Куртре. Оно остановилось в Бондюи, неподалеку от Лилля, перед разлившимся Лисом, который перегородил путь, затопил своими водами поля, размыл дороги, насквозь промочил глинистую почву. Так как дальше двигаться было невозможно, лагерь разбили тут же, среди потопа.

Глава VI
«ГРЯЗЕВОЙ ПОХОД»

В просторном шатре, сплошь затканном королевскими лилиями, где, однако, при каждом шаге под ногами чавкала грязь не хуже, чем под открытым небом, Людовик X в обществе своего брата Карла, графа де ла Марш, своего дяди графа Карла Валуа и его канцлера Этьена де Морнэ слушал коннетабля Гоше де Шатийона, докладывавшего военную обстановку. Донесение было не из веселых.

Шатийон, он же граф Порсианский и сир Кревкера, был коннетаблем уже с 1286 года, другими словами, с первых дней царствования Филиппа Красивого. Он был свидетелем поражения при Куртре, победы при Монт-ан-Певеле, видел множество битв на северной границе Франции, вечно находившейся под угрозой нападения. Шел он на Фландрию уже шестой раз за свою жизнь. Ему исполнилось шестьдесят пять лет. Казалось, ни годы, ни усталость не имеют власти над этим воином, над этим могучим старцем с тяжелой нижней челюстью. Он производил впечатление человека медлительного, скорее всего потому, что был тугодумом. Его физическая сила, его мужество в бою внушали не меньше уважения, чем его стратегические таланты. Слишком много навоевался он на своем веку, чтобы по-прежнему любить бранные дела, и теперь считал войны лишь политической необходимостью; он говорил все напрямик и не поддавался голосу пустого тщеславия.

— Сир,— начал он,— говядина и другие съестные припасы в армию не поступают, повозки застряли в шести лье отсюда, и, пытаясь вытянуть их из грязи, мы только напрасно рвем постромки. Люди начинают роптать от голода, ожесточаются: тем частям, у которых еще есть пища, приходится защищать свои запасы от тех, у кого уже ничего нет; куда уж дальше — лучники Шампани и Перша схватились врукопашную, и не осо-

бенно-то будет приглядно, если ваши ратники пойдут брат на брата, даже не выдержав битвы с врагом. Я вынужден буду дать приказ повесить кое-кого из этих драчунов, а мне это не по душе. Виселицами людей не накормишь. У нас имеется столько больных, что цирюльники-костоправы не успевают их лечить, а вскоре нам уже не цирюльники будут надобны, а кюре. Вот уж четыре дня, как длится непогода, и не видно ей конца. Еще день-другой — и угроза голода станет всеобщей, а тогда никто не сможет воспрепятствовать людям покинуть поле брани в поисках пищи. Все плесневеет, все гниет, все ржавеет...

Он снял стальную сетку, прикрывавшую голову и плечи, и утер лоб. Король шагал взад и вперед по шатру гневный, встревоженный. Снаружи донеслись дикие крики и щелканье кнутов.

— Пусть немедленно прекратят этот галдеж,— заорал Сварливый,— думать мешают!

Конюший приподнял полу шатра. Дождь не унимался. Пятнадцать пар лошадей застряли в грязи, они выбивались из сил, но не могли сдвинуть с места огромную бочку.

— Кому везете вино? — обратился король к возчикам, скользившим на глинистой дороге.

— Его светлости графу Артуа, государь! — крикнули ему в ответ.

С минуту Сварливый глядел на них своими вытаращенными тускло-зелеными глазами, затем покачал головой и молча отвернулся.

— А что я вам говорил, государь,— заметил Гоше.— Сегодня у нас, пожалуй, еще будет что пить, но завтра пусть и не рассчитывают... Жалею, что я не проявил должной настойчивости, когда имел честь давать вам советы. Я придерживался того мнения, что нам надо было стать бивуаком, укрепиться на какой-нибудь высоте, а не месить здесь грязь. Мой кузен Валуа, да и вы сами настаивали на продвижении вперед. А я побоялся, что меня примут за труса и станут попрекать моим преклонным возрастом, если я буду против продвижения армии. И я был не прав.

Карл Валуа уже приготовился возразить, но король перебил его:

— А фламандцы?

— Они стоят напротив, по ту сторону реки, их тоже достаточное количество, и им так же несладко, насколь-

ко могу судить, однако им легче доставлять припасы и их поддерживает население городов и сел. Если завтра спадет вода, они окажутся более подготовленными к атаке, нежели мы к обороне.

Карл Валуа пожал плечами.

— Ну, ну, Гоше, просто дождь испортил вам настроение,— произнес он.— Нет, вам не удастся меня убедить, что добрая наша конница не разобьет наголову этих ткачей, продвигающихся по способу пешего хождения. Как увидят они сплошную стену брони да целый лес копий, не беспокойтесь, бросятся улепетывать, как зайцы.

Несмотря на покрывавшую его грязь, Карл Валуа был поистине великолепен в своем боевом плаще, расшитом шелком, надетом поверх кольчуги, и, пожалуй, больше походил на короля, нежели сам король.

— Сразу видно, Карл,— возразил коннетабль,— что вы не были в Куртре тринадцать лет назад. Вы ведь тогда воевали в Италии, и отнюдь не ради интересов Франции, а ради папы. Но я-то видел, как эта пехтура, по вашему выражению, причинила немало бед нашим рыцарям, на свое горе слишком поторопившимся.

— Думаю, что произошло это лишь потому, что меня тогда здесь не было,— отрезал Валуа с обычной своей самонадеянностью.— А теперь я здесь.

Канцлер Морнэ нагнулся к молодому графу де ла Марш и шепнул ему на ухо:

— Того и гляди ваш дядя и коннетабль столкнутся лбами, так что искры посыплются,— смотрите, как схватились. От них можно паклю зажигать без всякого огнива.

— Дождь, дождь! — гневно повторил Людовик.— Неужели все всегда будет против меня?

Слабое здоровье, отец — талантливый правитель, перед чьим величием стушевывался Людовик, неверная жена, выставившая его на всеобщее посмешище, пустая казна, нетерпеливые вассалы, готовые взбунтоваться, голод, отметивший первую же зиму его царствования, буря, чуть не сгубившая его невесту... Под каким же зловещим, роковым расположением светил, которое не посмели открыть ему астрологи, появился он на свет божий, если каждое его начинание, каждое его решение наталкивается на непреодолимые препятствия; и вот теперь он был побежден... нет, даже не в честном бою, а водой, грязью, в которую завел свою армию.

В эту минуту ему донесли о приходе делегации баронов Шампани, предводительствуемой рыцарем Этьеном де Сен-Фаллем, которые требовали немедленного пересмотра хартии касательно их привилегии, данной в мае месяце; в противном случае бароны грозились покинуть лагерь.

— Сумели выбрать подходящий день! — завопил король.

В трехстах шагах отсюда сир Жан де Лонгви, сидя в своем шатре, вел беседу с каким-то странным человеком, одетым не то монахом, не то ратником.

— Принесенные вами из Испании вести весьма утешительны, брат Эврар,— говорил Жан де Лонгви,— и мне приятно слышать, что наши братья в Кастилии и Арагоне восстанавливают командорство. Им повезло больше, чем нам, вынужденным действовать втайне.

Жан де Лонгви — коротышка с резко выступавшей нижней челюстью — доводился племянником Великому магистру Ордена тамплиеров Жаку де Молэ и считал себя прямым его наследником и продолжателем его дела. Он поклялся отомстить за кровь своего дяди и обелить его имя. Преждевременная смерть Филиппа Красивого, во исполнение знаменитого тройного проклятия, не насытила его ненависти, он перенес ее на наследников Железного Короля — на Людовика X, Филиппа Пуатье, Карла де ла Марш. Лонгви старался причинить царствующему дому любые неприятности, он был одним из вожаков баронской лиги, в то же самое время он пытался втайне возродить Орден тамплиеров, используя для этой цели огромную сеть своих посланцев, которые поддерживали связи с уцелевшими после расправы братьями.

— Ото всей души я желаю поражения короля Франции,— произнес он,— и к войску я присоединился лишь в надежде увидеть, как Людовика, а также и его братьев сразят добрым ударом меча.

Тщедушный, хромой, с черными, близко поставленными глазами, Эврар, бывший рыцарь-тамплиер, который вышел из застенка с изуродованной ногой, подхватил:

— Да сбудутся, мессир Жан, ваши молитвы с помощью божьей, а нет — так с помощью сатаны.

Тайный глава тамплиеров резким движением поднял полу шатра, желая удостовериться, что никто за ним не

шпионит, и услал по каким-то пустяковым делам двух конюхов, которые без всякого злого умысла скрывались от дождя под навесом. Потом, повернувшись к Эврару, произнес:

— Нам нечего ждать от короля Франции. Один только новый папа может восстановить Орден тамплиеров и вернуть нам наши здешние и заморские командорства. Ах! Какой же это будет счастливый денек, брат Эврар!

Оба собеседника на минуту погрузились в раздумье. Орден был разгромлен всего лишь восемь лет назад, осудили его и того позже, а со смерти Жака де Молэ, погибшего на костре, не прошло и года. Воспоминания были еще свежи, надежды еще живы. В мечтах Лонгви и Эврар видели себя в белых плащах с черным крестом, с золотыми шпорами, вспоминали о своих былых привилегиях и крупных денежных операциях.

— Итак, брат Эврар,— начал Лонгви,— сейчас вы отправитесь в Бар-сюр-Об, где капеллан графа де Бар, который нам близок, даст вам какое-нибудь место, ну, скажем, причетника, дабы отныне вы могли жить не скрываясь. Затем вы поедете в Авиньон, откуда мне сообщают, что кардинал Дюэз — креатура Климента V — имеет шанс быть избранным на Святейший престол, чему мы должны помешать любой ценой. Отыщите кардинала Гаэтани: если его нет в Авиньоне, он где-нибудь неподалеку; он племянник несчастного папы Бонифация и тоже готов отомстить за своего дядю.

— Ручаюсь, что он меня примет хорошо, ведь я тоже помог мщению, отправив Ногарэ на тот свет. Уж не собираетесь ли вы создать особую лигу племянников?

— Совершенно верно, Эврар, совершенно верно. Итак, повидайте Гаэтани и скажите ему, что наши братья в Испании и Англии, а также во Франции, от имени которых я говорю, в сердцах своих давно уже избрали его папой и готовы поддерживать его не только молитвами, но и всеми доступными им средствами. Предоставьте себя в его распоряжение, если вы окажетесь ему нужны. Затем повидайте также брата Жана дю Прэ, который проживает там же и может оказать вам серьезную поддержку. И обязательно постарайтесь разузнать по дороге, нет ли в окрестностях наших бывших братьев. Попытайтесь объединить их в небольшие группы, заставьте повторить известные вам клятвы. Идите, брат мой. Этот пропуск, по которому вы считаетесь ка-

пелланом при моей армии, поможет вам выбраться из лагеря, и ни одна живая душа не задаст вам ни единого вопроса.

Он протянул бумагу бывшему тамплиеру, и тот засунул ее за вырез медной кольчуги, доходившей до бедер и надетой поверх монашеского одеяния из грубой ткани, затем оба собеседника облобызались на прощание. Эврар надел свою железную шапку и вышел из палатки, ежась под проливным дождем и волоча изуродованную ногу.

Войска графа Пуатье были единственным счастливым исключением — у них хватало пищи. Как только повозки засели в грязи, граф Филипп приказал распределить припасы и отрядил на это дело пеших ратников. Те поначалу ворчали, а теперь благословляли своего военачальника. Стража неукоснительно поддерживала дисциплину, ибо граф Пуатье ненавидел беспорядок; но так как одновременно он любил и комфорт, сотня слуг была послана вперед вырыть канавы, по которым стекала вода, а уже затем на настиле из бревен и хвороста поставили графский шатер, где можно было жить, не боясь сырости. Шатер этот, почти такой же роскошный и просторный, как у короля, состоял из нескольких помещений, отделенных друг от друга коврами.

Сидя среди своих военачальников на специальном дорожном сиденье, разложив поблизости от себя меч, щит и шлем, Филипп Пуатье беседовал с одним из своих оруженосцев, исполнявшим секретарские обязанности.

— Адам Эрон, прочли ли вы по моей просьбе книгу этого флорентийца... как бишь его зовут? — обратился он к нему.

— Мессир Данте Алигьери...

— Именно так... Тот, что так бесцеремонно поносит наше семейство. Говорят, ему особенно покровительствовал Карл Мартел Венгерский, батюшка принцессы Клеменции, которая скоро прибудет к нам в качестве королевы. Хотелось бы мне знать, о чем говорится в поэме.

— Я ее прочел, ваше высочество, всю прочел,— ответил Адам Эрон.— В начале своей комедии этот мессир Данте изображает, как он на тридцать пятом году жизни заплутался в глухом лесу и дорогу ему преградили страшные животные, из чего мессир Данте заключил, что, заплутавшись, ушел из мира живых людей...

Бароны, окружавшие графа Пуатье, сначала только дивились. Брат короля вечно что-нибудь да придумает. Ну вот хоть сейчас! Здесь, в военном лагере, среди общего беспорядка у него вдруг появилась охота — как будто нет забот поважнее! — толковать о стихах, словно сидит он у камелька в своих парижских хоромах. Но граф д'Эвре хорошо знал племянника, а теперь, находясь под его командованием, имел не один случай еще больше оценить Филиппа, поэтому он сразу разгадал его намерение. «Филипп старается отвлечь их от этого пагубного бездействия,— подумал д'Эвре,— он не желает, чтобы они горячились до времени, и уводит их в мечту, если уж не может вести их в бой».

Ибо Ансо де Жуанвилль, Гуайон де Бурсэ, Жан де Бомон, Пьер де Гарансьер, Жан де Клермон, устроившись на сундуках, глядели на Адама Эрона горящими от любопытства глазами, слушая, как он своими словами пересказывает Данте. Эти грубые люди, ведущие подчас полуживотное существование, обожали все таинственное и сверхъестественное. Любая легенда зачаровывала их, душа их была открыта для всего чудесного, для сказки. Странную картину являло это сборище закованных в железо людей, со страстным вниманием следивших за мудреными аллегориями итальянского поэта и желавших во что бы то ни стало знать, какова собой была эта Беатриче, любимая столь великой любовью, содрогавшихся при мысли о бедах Франчески да Римини и Паоло Малатесты или вдруг разражавшихся громким хохотом потому, что Бонифаций VIII в компании еще нескольких пап должен, оказывается, попасть в восьмой круг ада — в ров, отведенный для святокупцев, симонистов.

— Славный способ нашел поэт отомстить своим врагам и облегчить свою душу,— смеясь, воскликнул Филипп Пуатье.— А куда же он поместил мою родню?

— В чистилище, ваше высочество,— ответил Адам Эрон, который по общей просьбе пошел за поэмой, переписанной от руки на толстом пергаменте.

— А ну-ка прочтите нам, что он о них говорит, а еще лучше переведите, не все тут понимают итальянский язык.

— Не смею, ваше высочество.

— Да ничего, пустяки, не бойтесь... Мне хочется знать, что думают о нас те, кто нас не любит.

— Мессир Данте выдумал, будто бы он встретил

тень, которая громко стенала. Он спросил эту тень о причине ее горя, и вот какой получил ответ.

И Адам Эрон начал переводить эпизод XX песни.

Я корнем был зловредного растенья,
Наведшего на божью землю мрак.
Такой, что в ней неплодье запустенья.
Когда бы Гент, Лилль, Брюгге и Дуак
Могли, то месть была б уже свершенной;
И я молюсь, чтобы случилось так.

— Эге, да это же прямое пророчество и, главное, полностью соответствует тому положению, в котором мы ныне очутились,— воскликнул граф Пуатье.— Этот поэт хорошо знал наши фландрские докуки. Продолжайте.

Я был Гугон, Капетом нареченный,
И не один Филипп и Людовик
Над Францией владычил, мной рожденный.

Родитель мой в Париже был мясник;
Когда старинных королей не стало,
Последний же из племени владык

Облекся в серое, уже сжимала
Моя рука бразды державных сил... [1]

— А вот это неправда от начала до конца,— прервал чтеца граф Пуатье, вытягивая свои длинные ноги.— Просто глупая легенда, которую пустили в свое время, чтобы нам навредить. Гуго Великий происходит от герцогов Франции.

Все время, пока длилось чтение, Филипп не переставал комментировать поэму, то спокойно, то насмешливо отражая злые нападки итальянского поэта, уже прославившегося в своей стране. Данте обвинял Карла Анжуйского, брата Людовика Святого, не только в том, что тот убил законного наследника неаполитанского престола, но также заточил в темницу святого Фому Аквинского.

— Вот и отделал наших кузенов Анжуйских,— вполголоса произнес граф Пуатье.

Но особенно сильно проклинал Данте, с особенной яростью ополчался он на другого Карла, который разорил Флоренцию и пронзил ее чрево, по словам поэта, «тем самым копьем, которым сразил Иуду».

— Эге, да это же наш дядя Карл Валуа, это его он так расписал! — произнес Филипп.— Вот откуда эта

[1] Перевод М. Лозинского.

злоба итальянцев. Он нажил нам в Италии добрых друзей!

Присутствующие переглянулись, не зная, что сказать. Но они заметили, что Филипп Пуатье улыбается, потирая свой лоб узкой, очень белой рукой. Тогда они тоже осмелились рассмеяться. В окружении графа Пуатье недолюбливали его высочество Карла Валуа!

Лагерь графа Робера Артуа представлял совсем иное зрелище, чем лагерь графа Пуатье. Здесь, словно назло дождю и грязи, царили постоянное оживление и такой беспорядок, какой и нарочно не устроишь.

Граф Артуа сдал сопровождавшим армию торговцам места вокруг своего шатра, заметного издалека благодаря алым полотнищам и развевающимся над ним стягам. Кто хотел приобрести себе новую портупею, заменить пряжку на шлеме, найти железные налокотники или починить порвавшуюся кольчугу, все тянулись сюда. У самого входа в шатер мессира Робера шла непрерывная ярмарка, да и непотребных девок он поселил поближе, так что мимолетные утехи зависели от его милости, и он при желании оказывал соответствующие услуги своим друзьям.

Зато лучники, арбалетчики, конюхи, оруженосцы и сервы были оттеснены от графской резиденции и ютились кто где мог: или в крестьянских домах, выдворив предварительно хозяев, или селились в шалашах, именуемых «листвянкой», или просто устраивались под повозками.

В просторном пурпурном шатре говорили не о поэзии. Тут всегда стояла открытая бочка вина, среди страшного шума по кругу ходили кубки, игроки громко стучали костями, с силой швыряя их на крышку пузатого сундука; игра подчас шла не на деньги, а на честное рыцарское слово, и многие уже успели проиграть больше, чем надеялись получить за свое участие в войне.

Отметим примечательный факт. Поскольку Робер командовал только войсками своего графства Бомон-ле-Роже, большая часть рыцарей Артуа принадлежала к войску графини Маго, однако они постоянно торчали у Робера, хотя военные действия вовсе не требовали их присутствия в развеселом шатре.

Прислонясь к высокой жерди, поддерживавшей шатер, граф Робер Артуа мощным своим торсом возвы-

шался над шумным сборищем. Львиная его грива рассыпалась по алому военному кафтану, а сам он, забавляясь, небрежно жонглировал огромной палицей. Однако что-то щемило сердце этого гиганта, и не без умысла старался он оглушить себя вином и шумной беседой.

— Дорого моим родичам обходятся битвы во Фландрии,— доверительно говорил он окружавшим его сеньорам.— Мой отец граф Филипп, которого многие из вас знали и служили ему верой и правдой...

— Да, да, мы его знали!.. Это был благочестивый человек, храбрец! — хором отвечали бароны Артуа.

— ...мой отец был сражен насмерть в битве под Верне. Мой дед, граф Робер...

— Отважный, добрый сюзерен, вот каков он был!.. Уважал наши славные обычаи!.. Всегда защищал правого...

— ...четыре года спустя его убили как раз под Куртре. А бог троицу любит. Быть может, завтра, сеньоры, вы зароете меня в землю.

Существует два рода людей суеверных: одни стараются никогда не упоминать о несчастьях, а другие постоянно говорят о них, бросая вызов судьбе, в надежде отвести беду. Робер Артуа принадлежал ко второму роду.

— Комон, налей мне еще кубок, выпьем за мой последний денек! — крикнул он.

— Не хотим, не будем! Мы сами прикроем вас своими телами! — заорали в ответ бароны.— Кто же, кроме вас, защитит наши права?

Бароны считали Робера Артуа законным сюзереном, и он в их глазах был чуть ли не кумиром благодаря своей силе, своему задору.

— Вы сами видите, дорогие мои сеньоры, как вознаграждается щедро пролитая за государство кровь,— продолжал Робер.— Потому что мой дед умер позже моего отца — да, да, именно поэтому! — король Филипп нашел случай ущемить меня в правах наследства и отдал Артуа моей тетке Маго, которая так мило с вами обращается, а вся ее свора д'Ирсонов, канцлеры, казначеи и прочие, душат вас поборами, отказываются признавать ваши права.

— Если мы завтра пойдем в бой и кто-нибудь из Ирсонов попадет мне под руку, он получит хороший удар, и фламандцы тут будут ни при чем,— выкрикнул один из собутыльников с толстыми рыжими бровями, по имени сир де Суастр.

Хотя Робер Артуа слегка захмелел, голова у него была ясная. Он с умыслом щедро угощал баронов вином, приглашал к ним девиц, широко тратил деньги. Так он утолял свою злобу и заодно устраивал свои дела.

— Благородные сиры, благородные мои друзья, первый наш долг — война за короля, чьими верными вассалами являемся мы все и который, ручаюсь вам, удовлетворит все ваши справедливые требования. Но когда война закончится, мой вам совет, мессиры, не складывайте оружия. Вам представился удачный случай — вы собрали войска, и все ваши люди с вами; возвратясь в Артуа, пройдитесь по всему краю и отовсюду изгоняйте людишек Маго, секите их всенародно на городских площадях. А я окажу вам поддержку в Королевском совете и, если потребуется, вновь начну процесс в суде, который вынес неправильное решение; и я обещаю вернуть вам старые обычаи, как во времена наших отцов.

— Будет по-вашему, мессир Робер, будет по-вашему! — Суастр широко раскинул руки.— Поклянемся же не разлучаться, пока не удовлетворят наши просьбы и пока любимого нашего сира Робера не вернут нам в графы! — завопил он.

— Клянемся! — подхватили бароны.

За сим последовали крепкие объятия и вновь рекой полилось вино; зажгли факелы, потому что день уже клонился к вечеру. Робер Артуа чувствовал, как по его огромному телу волнами разливается радость. Лига графа Артуа, которую он тайком сколачивал в течение долгих месяцев, наконец-то набиралась сил.

В эту минуту в шатер вошел конюший.

— Ваша светлость Робер, всех военачальников требуют на совет к королю,— произнес он.

Едкий чад факелов смешивался с пронзительными запахами кожи, пота и мокрого железа. Большинство вельмож, сидевших вокруг короля, не мылись и не брились уже целых шесть дней. Никогда еще так долго они не оставались без омовений. Но грязь — вечная спутница войны.

Коннетабль Гоше де Шатийон повторил перед всеми военачальниками свое донесение относительно плачевного состояния армии.

— Сеньоры, вы выслушали коннетабля. Я желаю узнать теперь ваше мнение,— сказал Людовик X.

Натянув на колени кафтан голубого шелка, Карл Валуа заговорил своим обычным приподнятым тоном:

— Я уже высказал вам свое мнение, государь, мой племянник, и повторяю его всем прочим: мы не должны впредь оставаться в этом гиблсм месте, где все подвержено порче — и человеческие души, и лошадиная шерсть. Бездействие причиняет нам не меньше вреда, чем дождь...

Он замолк, ибо король повернулся к Матье де Три и шепнул ему что-то — просто приказал принести драже. Людовику постоянно требовалось что-то жевать и грызть.

— Продолжайте, пожалуйста, дядя!

— Необходимо завтра еще до зари перебраться на новое место,— продолжал Валуа,— найдем переправу через реку, бросимся на фламандцев и еще до вечера опрокинем их.

— Но ведь люди остались без еды, а кони — без фуража,— возразил коннетабль.

— Победа наполняет желудки не хуже хлеба. Продержатся день, не бойтесь, а вот если промешкаем, будет уже поздно.

— А я вот что вам скажу, Карл: вас либо изрубят, либо утопят. Я не вижу иного средства, как приказать отвести армию в Турне или Сент-Аман, расположиться лагерем где-нибудь на возвышенном месте, подождать, пока нам доставят говядину и пока схлынут воды.

Нередко случается, что, когда говорят о молнии, небо отвечает громом, а человек, о котором злословят, неожиданно переступает порог. Можно подумать, что события с умыслом подстерегают нас.

В ту самую минуту, когда коннетабль посоветовал ждать, пока схлынут воды, крыша шатра треснула как раз над Карлом Валуа, его вымочило с головы до ног и забрызгало грязью. Робер Артуа, от которого разило вином, громко расхохотался, сидя в углу шатра, а вслед за ним захохотал и король. Тут уж Карл Валуа зашелся от гнева.

— Сразу видно, Гоше,— закричал он, вставая с места,— что вы получаете по сто ливров в день, когда королевская армия находится в походе, и у вас, конечно, нет никаких оснований желать конца войны!

Задетый за живое, коннетабль возразил:

— Разрешите вам напомнить, что даже сам король не может послать армию на врага без согласия и без

приказа коннетабля. Такого приказа я в нашем теперешнем положении не дам. А если будет иначе, король всегда может сменить коннетабля.

Воцарилось мучительное молчание. Вопрос был слишком важен. Решится ли Людовик в угоду Валуа отстранить от должности своего главного военачальника, как он уже сместил Мариньи, Рауля де Преля и всех прочих министров Филиппа Красивого? Результат получился не особенно-то хороший.

— Брат мой,— вдруг произнес Филипп Пуатье своим спокойным голосом,— я полностью присоединяюсь к совету, который дал вам Гоше. Наши войска не смогут идти в бой, прежде чем не отдохнут хоть с неделю.

— Таково и мое мнение,— отозвался граф Людовик д'Эвре.

— В таком случае нам никогда не удастся проучить этих фламандцев! — воскликнул Карл де ла Марш, младший брат короля, который во всех случаях поддерживал своего дядю Валуа.

Присутствующие заговорили все разом. Отступление или поражение — перед таким выбором стоит французская армия, утверждал коннетабль. Валуа возразил, что не видит никаких преимуществ в плане, предложенном коннетаблем,— отойти на пять лье и гнить там так же, как здесь. Граф Шампаньский заявил, что его войска собраны только на две недели, посему он намерен уйти немедленно, если не дадут боя, а герцог Эд Бургундский, брат убитой Маргариты, воспользовался подходящим предлогом, дабы показать, что он отнюдь не горит желанием служить своему бывшему зятю.

Король колебался, не зная, на что решиться. Вся эта кампания затевалась в расчете на скорый исход. Благополучие казны, личный его престиж зависели от быстрой победы. А теперь мечты о молниеносной войне рухнули. Встать на сторону разума и бесспорной очевидности, раскинуть лагерь в другом месте, выжидать — означало, помимо всего, отложить бракосочетание и коронацию. А что касается плана перебраться через разлившуюся реку и нестись галопом по грязи...

Вот тут-то и поднялся с места Робер Артуа—внушительная масса пурпура и стали — и шагнул на середину шатра.

— Государь мой, кузен,— начал он,— я понимаю вашу озабоченность. У вас не хватает средств поддержи-

вать такую огромную и к тому же бездействующую армию. Кроме того, вас ждет новая супруга, и нам всем тоже не терпится увидеть наконец королеву, равно как и присутствовать на коронсвании. Мой совет вам — не упорствовать далее. Не враг заставляет нас повернуть обратно, а дождь, в чем я вижу перст божий, а перед волей господней каждый должен склониться, как бы он ни был велик. Кто знает, кузен мой, может быть, господь бог пожелал дать вам знамение, что не следует идти в бой прежде, чем вы не будете помазаны на царство? Великолепие этого обряда прославит вас не меньше, чем сражение, данное наудачу. Итак, откажитесь сейчас от мысли наказать этих мерзких фламандцев. И если вы не нагнали на них страху, что ж, вернемся сюда будущей весной, набрав столь же мощную армию.

Это неожиданное решение, исходящее от человека, которого никто не мог заподозрить в отсутствии воинской доблести, получило поддержку у части собравшихся. В эту минуту никто не понял, что Робер преследует свои личные цели и что надежда поднять мятеж в графстве Артуа ближе его сердцу, нежели государственные интересы.

Людовик X был от природы человеком неуравновешенным и слабовольным, из тех, кто, как говорится, любит махать кулаками после драки, особенно если ход событий не совпадает с их желаниями. Поэтому он с радостью ухватился за предложенный ему Робером Артуа выход.

— Вы говорили мудро, мой кузен,— заявил он.— Небеса предостерегли нас. Пусть армия уйдет, коль скоро она не может выстоять. Но клянусь богом,— добавил он, торжественно повышая голос и надеясь этой клятвой поддержать свой престиж,— клянусь богом, что ежели я буду жив в будущем году, то завоюю Фландрию и никогда не заключу с ней соглашения прежде, чем она полностью мне не подчинится.

После чего Людовик начал торопить людей сниматься с места, а сам все свои заботы посвятил подготовке к бракосочетанию и миропомазанию.

Графу Пуатье и коннетаблю лишь с огромным трудом удалось заставить его дать необходимые распоряжения, в частности оставить на границе с Фландрией несколько гарнизонов.

Сварливый так спешил уехать, а вместе с ним и коекто из военачальников, что на следующее утро за

неимением повозок, безнадежно застрявших в грязи, пришлось сжечь шатры, мебель и вооружение. Оставив позади себя огромное пепелище, измученные люди к вечеру добрались до Турне, перепуганные жители заперли городские ворота, и никто не стал требовать, чтобы их открыли. Королю пришлось искать ночлега в каком-то монастыре.

На следующий день, 7 августа, король был уже в Суассоне, откуда он отправил несколько ордонансов, положивших конец этой не слишком блистательной военной эпопее. Он поручил своему дяде Валуа заняться приготовлениями к миропомазанию и отрядил в Париж брата своего Филиппа, дабы тот привез меч и корону. Было условлено, что все действующие лица встретятся по пути между Реймсом и Труа и оттуда двинутся навстречу Клеменции Венгерской.

Сколько раз мечтал Людовик о том, как предстанет он перед своей нареченной героем и рыцарем, теперь же он всячески старался забыть о плачевной экспедиции, которую с тех пор стали именовать не иначе, как «грязевой поход».

Глава VII

ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ

На заре носилки, которые несли мулы и сопровождали двое вооруженных слуг, вступили под высокую арку ворот особняка Артуа по улице Моконсей. Из носилок вышла Беатриса д'Ирсон, племянница канцлера графства Артуа и приближенная графини Маго. Глядя на эту красавицу брюнетку, никто бы не подумал, что со вчерашнего дня она проделала почти сорок лье. Даже платье ее ничуть не помялось. Лицо с выдающимися скулами было гладко и свежо, точно она только что встала ото сна. Впрочем, она отлично проспала полдороги, убаюканная мерным покачиванием носилок, укутавшись в мягкие покрывала. Беатриса д'Ирсон не боялась — редкое качество для женщин тех времен — путешествовать ночью; она видела в темноте, как кошка, и твердо верила в заступничество дьявола. Стройная, длинноногая, пышногрудая красавица зашагала к дому, и казалось, она ничуть не торопится, даже медлит — так ровно и спокойно она выступала. Беатриса направилась прямо в опочивальню графини Маго, которая, сидя у столика, вкушала свой первый завтрак.

— Вот, мадам,— сказала Беатриса, протягивая графине крохотный роговой ларец.

— Ну, как чувствует себя моя дочь Жанна?

— Графиня Пуатье чувствует себя прекрасно, мадам. Пребывание в Дурдане отнюдь не мучительно для нее, а своим кротким нравом она расположила к себе всю стражу. Цвет лица у нее по-прежнему нежный, и похудела она лишь чуть-чуть: ее поддерживают надежда и ваши заботы.

— А волосы? — осведомилась графиня.

— За год еще не успели отрасти; пока не длиннее, чем у мужчины, но мне показалось, что они стали даже гуще, чем прежде.

— Значит, она вполне может показаться на людях?

— В чепчике с оборкой — вполне. И потом она может приколоть фальшивые косы, чтобы скрыть затылок и уши.

— Фальшивые косы снимаются на ночь,— заметила Маго.

Графиня быстро доела гороховую похлебку с салом, поднося ко рту полные ложки, затем, чтобы промочить нёбо, одним залпом проглотила бокал розового вина «полиньи». Потом она открыла роговой ларчик и молча стала разглядывать наполнявший его сероватый порошок.

— Во сколько мне это стало?

— В шестьдесят ливров.

— Ах, чертовы колдуньи, ну и дерут же они за свою науку.

— Зато и рискуют.

— Шестьдесят ливров... а сколько себе оставила? — вдруг спросила графиня, вперив испытующий взор в лицо своей придворной дамы. Беатриса не потупила глаз и с прежней насмешливой улыбкой ответила, растягивая слова:

— Да так, пустяки, мадам. Ровно столько, чтобы купить себе алое платье, которое вы мне обещали, да так и не купили.

Графиня Маго невольно засмеялась: уж больно ловко умела к ней подойти Беатриса.

— Ты, должно быть, совсем проголодалась. На-ка возьми чуточку утиного паштета,— сказала она. И тут же отрезала себе огромный ломоть.

Потом, вспомнив о ларчике, она добавила:

— Я верю в благодетельную силу яда, когда нужно

избавиться от врага, но, признаюсь, не верю в силу приворотного зелья, когда нужно переманить на свою сторону противника. Это твоя выдумка, а вовсе не моя.

— И однако ж, мадам, следует верить,— ответила Беатриса, заметно оживляясь, ибо все, что касалось черной магии, занимало ее превыше всего на свете.— Зелье это надежное, а приготовлено оно вовсе не на бараньих мозгах, а только на травах, при мне его и готовили. Я, значит, отправилась в Дурдан, испросив вашего позволения, и добыла немножко крови из правой руки мадан Жанны. Потом я отнесла эту кровь мадам Изабелле де Ферьенн, а та смешала ее с вербеной, с черным пасленом и зонтичной зорей; после заклинаний мадам де Ферьенн положила смесь на совсем новый кирпич и прожгла его на ясеневых дровах, вот тут-то и получился порошок, который я вам привезла. Теперь осталось только насыпать этот порошок в какое-нибудь питье, дать выпить графу Пуатье, и недели не пройдет, как он влюбится в свою супругу в сто раз сильнее прежнего. Вот сами увидите. Приедет он сегодня, как обещал, или нет?

— Жду. Вчера вечером возвратился из похода, и я просила его меня навестить.

— Тогда я подмешаю порошок к гипокрасу, а вы предложите ему выпить. В гипокрасе много пряностей, да и цвет у него темный, так что порошка заметно не будет. Вот что бы я вам посоветовала, мадам, ложитесь-ка снова в постель, сделайте вид, что вы больны, и под этим предлогом сами не пейте. Вам совершенно ни к чему пить это пойло, а то, чего доброго, влюбитесь в собственную дочь,— смеясь, добавила Беатриса.

— Чудесная мысль притвориться больной и принять его, не вставая с постели,— одобрила графиня.— Легче будет объясниться напрямик.

Графиня не мешкая улеглась в постель, велела убрать столик с остатками завтрака и приказала кликнуть своего канцлера Тьерри д'Ирсона, а также своего кузена Анди де Сюлли, который жил в ее особняке и к которому она в последнее время воспылала страстью,— с обоими она намеривалась заняться делами графства.

Несколько позже доложили о приходе графа Пуатье. Вслед за тем вошел и сам Филипп в темном, по своему обыкновению, платье. Его длинные, как у цапли, ноги были обуты в мягкие сапожки, а голова под шапочкой с пером слегка клонилась на грудь.

— Ах, зятек,— воскликнула Маго таким голосом, словно перед ней появился сам спаситель.— Как же я рада вашему приходу. Знаете, чем я сейчас занимаюсь? Вот велела прочесть мне список моих угодий, чтобы выразить свою последнюю волю. Я такую страшную ночь провела, что не дай бог никому, все нутро изболелось от страха, вот-вот помру. И еще я испугалась, что не увижу вас и не открою вам свои заветные мысли, ведь я вас по-матерински люблю, что бы там ни произошло.

Желая оградить себя от греха лжи, которой она немало успела нагромоздить за одну минуту, графиня незаметно дотронулась до ладанки, висевшей на золотой цепочке; с этой реликвией, заключавшей частицу мощей святого Дрюона, она не расставалась ни на минуту.

Анри де Сюлли отвернулся, боясь расхохотаться, ибо почти всю ночь провел у своей кузины Маго и знал, что если ночью она и не спала, то уж никак не от страхов; графиня Маго не была создана для вдовства — только и всего; у нее, у этой обжоры, был отменный аппетит как за столом, так и в постели.

Впрочем, от графини Маго, удобно раскинувшейся на парчовых подушках, с округлыми и румяными щеками, широкими плечами, пухлыми руками, веяло несокрушимым здоровьем. Пожалуй, единственное, в чем она нуждалась, это чтобы ей пустили одну-две пинты крови.

«Сейчас она начнет разыгрывать комедию,— подумал Филипп Пуатье.— И внешне и внутренне точная копия Робера Артуа. Можно подумать, что они брат и сестра, а не тетка и племянник. Не сомневаюсь, она будет мне говорить о Робере».

Филипп не ошибся. Графиня Маго с первых слов начала поносить подлого своего племянника, упомянула про уловки Робера, его интриги и интриги лиги баронов Артуа, которых он подстрекал против нее, законной их госпожи. Для Маго, так же как и для Робера, весь мир вертелся вокруг графства Артуа, которое они оспаривали друг у друга в течение тринадцати лет; все их мысли, поступки, дружеские связи, союзы, даже любовные приключения имели к этой борьбе то или иное отношение. Если один примыкал к одному клану, то лишь потому, что другой принадлежал к противному клану. Робер готов был поддержать любой королевский ордонанс, если тот был неугоден его тетке. Мадам Маго заранее насторожилась против Клеменции Венгерской только потому,

что Робер помогал Карлу Валуа в устройстве этого брака. Подобная ненависть исключала возможность любого соглашения, любой сделки, давно переросла первоначальные свои мотивы, и можно было подумать, что эта великанша и этот великан питают друг к другу какую-то страсть наизнанку, сами о ней не подозревая, и что утолить ее легче было бы в кровосмесительной связи, нежели в беспрерывных стычках.

— Все подлости, которые он творит, приближают мой смертный час,— жаловалась Маго.— Мне известно, что мои вассалы по наущению Робера принесли против меня клятву. Вот поэтому-то я просто сама не своя, совсем занемогла.

Теперь ей и в самом деле казалось, что она провела ужасную ночь.

— Они поклялись извести и меня также, ваше высочество,— добавил Тьерри д'Ирсон.

Филипп Пуатье повернулся к канонику-канцлеру и заметил, что вовсе не Маго, а тот по-настоящему болен, болен от страха.

— Я собиралась ехать в армию, чтобы навести порядок в своих войсках,— продолжала Маго.— Видите, даже военное платье велела приготовить.

Она указала на внушительных размеров манекен, стоявший в углу комнаты, на который было надето длинное платье, вернее, стальная кольчуга и шелковый плащ, расшитый гербами Артуа; рядом с манекеном лежали шлем и железные перчатки.

— ...Но тут я узнала об окончании этого достославного похода. Недешево обошелся он королевству, а уж чести, во всяком случае, нам не прибавил. Ах! Похоже, что ваш несчастный брат никогда не сумеет покрыть себя славой, каждое его начинание идет прахом. Говорю вам сущую правду, ибо таково мое мнение: вы были бы куда более подходящим для роли короля, нежели он, и для всех нас весьма огорчительно, что вы, зятек, родились вторым. Ваш отец, царство ему небесное, не раз печалился по этому поводу.

После процесса в Понтуазе граф Пуатье встречался со своей тещей только во время приемов и официальных церемоний, например на похоронах Филиппа Красивого или на заседании Совета пэров, но ни разу они не виделись в частной обстановке. Скандал, в который были замешаны дочери графини Маго, в значительной мере отразился и на ней самой. Филипп Пуатье в течение

всего этого времени обращался с тещей более чем холодно. Если сейчас графиня Маго пыталась восстановить прежние отношения, то, пожалуй, она переборщила, не зная меры в лести. Она предложила зятю присесть возле постели. Д'Ирсон и Сюлли направились было к дверям.

— Нет, нет, добрые мои друзья, вы здесь совсем не лишние; вы же отлично знаете, что у меня от вас нет тайн,— заявила она. Но незаметно махнула им рукой, приказывая выйти прочь. Ибо в эту эпоху знатные вельможи, высокопоставленные лица редко принимали визитеров с глазу на глаз. В их опочивальне, в их покоях вечно толпились родственники, домашние, вассалы, приближенные. Беседы происходили поэтому, так сказать, на виду у всех; отсюда и возникала необходимость прибегать к намекам, недомолвкам и предполагалось полное доверие к своему окружению. Когда главные действующие лица вдруг понижали голос или же отходили к амбразуре окна, любой присутствующий невольно задавался вопросом, не его ли судьба решается сейчас этим полушепотом. Любая встреча при закрытых дверях приобретала оттенок заговора. Именно такой оттенок придавала графиня Маго беседе с зятем, желая по возможности скомпрометировать его и тем самым вовлечь в свою игру.

Как только они остались вдвоем, она задала Филиппу вопрос:

— Какие чувства питаете вы к моей дочери Жанне?

Так как Филипп медлил с ответом, она произнесла целую защитительную речь. Конечно, Жанна Бургундская во многом не права, даже очень не права, зачем она не предупредила мужа об альковных интригах, которые бесчестили королевский дом, и тем самым стала соучастницей... вольно или невольно, кто знает? ...скандала. Но сама-то она не совершила плотского греха, не нарушила супружеского долга, это все признали. И даже сам король Филипп Красивый, как уж он тогда гневался, но и то согласился назначить для проживания Жанны особую резиденцию и никогда не говорил, что ее заключили пожизненно.

— Знаю, я сам был на суде в Понтуазе,— отозвался граф Пуатье, которому до сих пор были мучительны эти воспоминания.

— Да и как Жанна могла бы вам изменить, Филипп? Она ведь вас любит. Только вас одного и любит.

Вспомните, как она кричала, когда ее везли на черной повозке: «Скажите его высочеству Филиппу, что я невиновна!» У меня — ведь я мать! — до сих пор разрывается сердце, когда я вспомню, что мне довелось быть свидетельницей этого ужаса. И в течение тех полутора лет, что Жанна живет в Дурдане, она слова против вас не сказала, мне это достоверно известно, я знаю это от ее духовника; только и говорит о своей любви к вам и молит бога, чтобы он вернул ей ваше расположение. В ее лице вы имеете самую верную, самую покорную вашей воле супругу, и поверьте, она уже достаточно жестоко наказана.

Графиня Маго взваливала все грехи на Маргариту Бургундскую с тем большим хладнокровием, что Маргарита была не из их рода, а главное, уже скончалась. Вот Маргарита действительно распутница: это она совратила Бланку, несчастное невинное дитя, она воспользовалась услугами Жанны, злоупотребив ее дружбой... Впрочем, и Маргариту можно понять. Надежда стать королевой — это еще не все, а какая женщина не впадет в тоску при таком муже, какой ей достался! В конечном счете Маго заявила, что если Людовик X стал рогоносцем, то сам первый повинен в своем несчастье.

— Говорят, что ваш брат как мужчина не особенно-то хорош...

— А меня, напротив, уверяли, что с этой стороны он не хуже прочих, хотя несколько дичится или чересчур яростен, когда не нужно, но никаких изъянов у него нет,— ответил граф Пуатье.

— С вами-то женщины не откровенничали, как со мной,— возразила Маго.

Она выпрямилась на подушках, огромная, массивная, и посмотрела зятю прямо в глаза.

— Филипп, давайте поговорим начистоту,— начала она.— Как по-вашему, наследница престола, крошка Жанна Наваррская, рождена от Людовика или от любовника Маргариты?

Филипп Пуатье в раздумье потер подбородок.

— Мой дядя Валуа утверждает, что она незаконнорожденная,— ответил он.— Да и сам Людовик, кажется, придерживается того же мнения, недаром он отдалил от себя девочку. А другие, как, например, мой дядя д'Эвре или герцог Бургундский, считают ее законнорожденной.

— Если с Людовиком произойдет несчастье, а он

ведь не особенно-то крепок здоровьем, это по всему видно, вы будете вторым по праву наследования. Но если крошка Жанна Наваррская будет объявлена незаконнорожденной, в чем мы все уверены, вы станете первым и взойдете на престол. Вы созданы царствовать, Филипп.

— При том условии, если новая супруга короля, прибывшая из Неаполя, не поспешит принести моему брату наследника.

— Если только он способен произвести его на свет, что весьма сомнительно. И если у него на это хватит времени.

В эту минуту в спальню вошла Беатриса д'Ирсон, неся на подносе кувшин гипокраса, червленые кубки и сласти — словом, угощение, вполне достойное гостя. Маго нетерпеливо шевельнулась на своих подушках. Помешать ей в такой момент! Но Беатриса, ничуть не смутившись, разлила пряное вино с обычной своей медлительностью и протянула кубок Филиппу. Маго машинально потянулась тоже, как всегда она тянулась за едой и вином, находившимися поблизости, и чуть было не схватила второго кубка. Но Беатриса так на нее взглянула, что она поспешно отняла руку.

— Нет, я слишком плохо себя чувствую, от любой еды воротит,— пояснила она.

Пуатье размышлял. Слова тещи не были для него неожиданностью. Эти последние недели он и сам не раз думал о случайности наследования. Маго открыто обещает ему свою поддержку в случае кончины Людовика. Но какую цену попросит она за свой союз?

— Ах, Филипп, спасите мою дочь Жанну от верной гибели, заклинаю вас! — трагически воскликнула Маго.— Она ничем не заслужила такой участи.

— Кто же ей угрожает?

— Робер, всегда и везде Робер,— отрезала Маго.— Мне стало известно, что он был в заговоре с королевой Англии, когда та приезжала в Понтуаз обличать своих невесток. Что, кстати сказать, отнюдь не принесло счастья самой Изабелле, ибо армия ее женоподобного муженька была сразу же вслед за тем разбита под Баннокберном, и Изабелла и Эдуард потеряли Шотландию — это ли не кара божия!

Маго вдруг замолкла, потому что Пуатье взял кубок и поднес его к губам, но тут спохватилась и вновь затараторила:

— А этот сатана Робер сделал и того лучше. Знаете ли вы, что в тот день, когда Маргариту обнаружили мертвой в ее темнице, Робер как раз проезжал утром через Шато-Гайар, хотя считалось, что он сидит у себя дома в Конше?

— Неужели правда? — сказал Пуатье и от изумления даже застыл на месте, так и не донеся до губ кубок.

— Бланка, которая была заперта в верхнем зале, все слышала. Бедное дитя, с тех пор она словно помешанная, я получила от нее на этих днях весточку... Послушайте меня, Филипп, он загубит моих девочек одну за другой. Ясно, к чему он клонит. Он хочет заполучить мое графство. Желая умалить меня и ввести в немилость, он начал с того, что бросил моих дочерей в темницу. Желая стать всемогущим при особе короля, своего кузена, он избавил его от супруги, мешавшей Людовику вступить во второй брак, просто удушил ее. Сейчас он ополчился на мое потомство. Я одна, я вдовица, сын мой слишком мал, чтобы быть мне опорой, и я трепещу за его жизнь не меньше, чем за жизнь дочерей. Такие муки и вечный страх сведут в могилу любую женщину! Бог свидетель, я не хочу оставлять своих детей на милость этого шакала. Молю вас, верните к себе супругу, защитите ее и тем самым покажите всем, что у меня есть союзник. Ибо, если я потеряю Жанну,— при этих словах Маго снова тронула свою ладанку,— и если у меня отберут Артуа, а к этому все ведет, я вынуждена буду просить, чтобы моему сыну вернули пфальцграфство Бургундское, которое было принесено вам в приданое в обмен на Артуа.

Пуатье не мог не восхититься ловкостью, с какой его теща метнула последнее свое копье. Итак, условия торга были недвусмысленно ясны: «Или вы вернете Жанну, а я помогу вам взойти на престол, ежели он освободится, дабы дочь моя стала королевой Франции; или, если вы откажетесь от примирения с супругой, я рву с вами и, поступившись графством Артуа, постараюсь оттягать от вас графство Бургундское».

С минуту он молча глядел на свою тещу, огромную и величественную под парчовым пологом, спускавшимся с потолка пышными складками.

«Она хитра, как лисица, упряма, как кабан, руки ее обагрены кровью, и все-таки она вызывает во мне дружеские чувства. В ее ярости, равно как и во лжи, есть какая-то умилительная наивность».

Желая скрыть улыбку, невольно тронувшую его губы, Филипп осушил червленый кубок.

Он ничего не обещал, ничего пока не решал, ибо по натуре был человек обдуманных решений, да и не видел необходимости торопиться. Теперь ему есть что противопоставить в Совете пэров влиянию Валуа, которое Филипп считал пагубным.

На прощание он сказал только:

— Вернемся, матушка, к этому разговору на коронации, где мы с вами вскоре увидимся.

И, услышав слово «матушка», которое Филипп употребил впервые за последние полтора года, Маго поняла, что ее партия выиграна.

Как только за Филиппом захлопнулась дверь, в спальню вошла Беатриса и первым делом заглянула в кубок.

— Осушил почти до дна,— сказала она с удовлетворенным видом.— Вот увидите, его высочество граф Пуатье отправится прямо в Дурдан.

— Я вижу другое,— ответила Маго,— Филипп будет настоящим королем, ежели мы потеряем теперешнего.

Для всякого, кто знал графиню Маго, было ясно — участь короля Людовика X решена.

Глава VIII

СЕЛЬСКАЯ СВАДЬБА

Во вторник 13 августа 1315 года на самой зорьке жители маленького городка Сен-Лиэ в Шампани были разбужены лошадиным топотом: одна кавалькада прибыла с севера по Седанской дороге, другая — с юга, из Труа.

Первыми примчались на полном галопе королевские квартирьеры и, сопровождаемые свитой конюших, оруженосцев и слуг, скрылись под сводами замка. Затем показался длинный обоз с мебелью и посудой, которым командовали мажордомы, обойщики и серебряных дел мастера, и, наконец, верхами на мулах явилось все городское духовенство, а за ним следом итальянские торговцы, которые вели в Труа особенно оживленную торговлю по причине близости знаменитых Шампаньских ярмарок. В церквах зазвонили во все колокола: через несколько часов король должен был сочетаться браком в Сен-Лиэ.

Тогда поселяне принялись кричать: «Слава!», и жен-

щины по собственному почину побежали в поле нарвать цветов и разбрасывали их затем охапками на пути следования новобрачных, а тем временем королевские люди рассыпались по окрестностям, отбирая у жителей съестные припасы — яйца, мясо, птицу, рыбу из садков.

К счастью, дождь перестал, но погода стояла серенькая, душная; сквозь пелену облаков пятнами падал солнечный свет. Королевские люди утирали вспотевшие лбы, а старожилы, поглядывая на небо, сулили грозу сразу после вечерни. Из замка доносился дробный стук молотков — это орудовали обойщики; из кухонных труб уже подымался дымок, а во дворе разгружали огромный воз соломы, которую расстилали в залах прямо на полу, готовя ночлег для слуг и даже для сеньоров.

Давно уже Сен-Лиэ не видал подобной суматохи, разве что в тот день, когда Филипп-Август в начале прошедшего века явился сюда, дабы торжественно вручить епископату города Труа этот замок. Событие произошло сто лет назад. Не мудрено, что за такой долгий срок оно изгладилось из памяти людей.

В десять часов король вместе со своими братьями, обоими дядьями, вместе с кузенами Филиппом Валуа и Робером Артуа галопом проскакал через городок, не отвечая на приветственные крики жителей, сминая копытами коня охапки цветов, устилавших путь. Он спешил навстречу своей новой супруге.

Не успел он проехать одно лье, как вдруг показался кортеж принцессы Клеменции Венгерской во главе с епископом города Труа. А принцесса, подняв занавески носилок, спрашивала графа Бувилля, кто из ехавших им навстречу всадников будущий ее муж. Толстяк Бувилль, немного уставший от путешествия и взволнованный предстоящей встречей с королем, пробормотал что-то невнятное, и Клеменция поначалу приняла за своего жениха графа Пуатье, потому что он был самый высокий из трех принцев, скакавших впереди свиты, и потому, что держался он в седле с прирожденным величием. Но королем оказался самый невзрачный из трех всадников, он спешился первым и направился к носилкам. Бувилль, соскочив с коня, бросился к королю, поймал его руку, прижался к ней губами и, преклонив колено, сказал:

— Сир, вот принцесса Венгерская.

Только тогда прекрасная Клеменция взглянула на молодого человека и заметила, что он сутулится, что

глаза у него большие и блеклые, а цвет лица желтоватый, и поняла, что именно с ним волею судеб и силою дворцовых интриг ей суждено делить участь, ложе и власть.

Людовик X уставился на свою нареченную таким ошеломленным взглядом, что в первое мгновение Клеменция решила, что не понравилась жениху. Поэтому-то она и нарушила молчание.

— Государь мой,— произнесла она,— отныне и навеки я ваша верная служанка.

Эти слова, казалось, вернули Сварливому дар речи.

— Я боялся, кузина, что портрет, посланный вами, лжет мне и льстит вам,— сказал он,— но я вижу в натуре больше изящества и красоты, нежели на изображении.

И он повернулся к свите, как бы желая похвастаться своей удачей.

Затем последовало представление членов королевского дома.

Жирный, тяжело дышавший сеньор, весь в золоте, словно он собрался на турнир, расцеловал Клеменцию, назвав «племянницей», и заявил, что видел ее в Неаполе еще ребенком. Клеменция догадалась, что это Карл Валуа, главный устроитель ее брака. Филипп Пуатье сказал ей «сестра моя», как будто она уже соединила свою судьбу с его братом и бракосочетание было лишь пустой формальностью. Вдруг лошади шарахнулись. Что-то огромное, массивное надвинулось на Клеменцию, заслонив на мгновение своей массой дневной свет — Клеменция из своих носилок могла разглядеть гиганта лишь до плеч,— и принцесса услышала: «Ваш кузен граф Робер Артуа».

Кортеж тут же двинулся в путь, и король приказал епископу города Труа монсеньору Жану д'Оксуа скакать вперед и сделать все необходимые приготовления к венчанию.

Клеменция ждала, что встреча произойдет совсем иначе. Ей представлялось, что в назначенном для свадьбы месте будут заранее воздвигнуты шатры, что герольды обеих стран заиграют на трубах, что она, сойдя с носилок, сядет за стол, где будет накрыт легкий обед, и так постепенно начнет знакомиться со своим нареченным. Думала она также, что свадьбу отпразднуют через несколько дней, что после бракосочетания последует череда празднеств, в течение двух-трех недель будут

происходить состязания на копьях, пригласят жонглеров и менестрелей, как и подобает на королевских свадьбах.

Она дивилась этой внезапной встрече в лесу, на нехоженой тропе, этому отсутствию всякой пышности. Можно было подумать, что просто на охоте произошла неожиданная встреча. И еще сильнее смутилась она, узнав, что свадьба состоится через час в соседнем замке, где они проведут ночь, а назавтра отправятся в Реймс.

— Дорогой мой государь,— обратилась она к королю, ехавшему рядом с носилками,— вы вернетесь на войну?

— Конечно, мадам, вернусь... в будущем году. Если я не преследовал фламандцев нынешний год и лишь нагнал на них страху, то поступил так единственно с целью ускорить наше свидание и сыграть свадьбу.

Эти лестные слова показались Клеменции столь тяжеловесными, что она не сразу нашла ответ. Удивление ее росло с каждой минутой. Король, который так рвался ей навстречу, что даже распустил целую армию, теперь предлагает ей сыграть чуть ли не сельскую свадьбу!

И хотя жители кидали им под ноги охапки цветов и приветствовали их ликующими криками, замок Сен-Лиэ — небольшая крепость с толстыми стенами, вся в пятнах сырости, накопившейся за три века,— показался неаполитанской принцессе на редкость мрачным. За оставшийся час она едва сумела переодеться и попыталась сосредоточиться перед началом торжественной церемонии, если только можно было сосредоточиться в комнате, где работали обойщики, еще не успевшие прибить шпалеры, расшитые попугаями, и где вокруг принцессы кружил, точно огромный золотой шершень, граф Валуа, приговаривая, что он сразу узнал племянницу, и старался поведать Клеменции как можно больше о французском дворе, особенно же напирал он на то, какое важное положение занимает при особе короля он сам, Карл Валуа.

Так Клеменция узнала, что Людовик X, хоть и обладает всеми качествами примерного супруга, однако наделен не одними лишь достоинствами, особенно в политике. Он весьма подвержен чужим влияниям, каждый его добрый порыв нуждается в поддержке, но главное — это охранять его от дурных советчиков. Взять хотя бы поход во Фландрию. Валуа утверждал, что Людовик не захотел его слушать, а склонил слух к советам

коннетабля, графа Пуатье и даже Робера Артуа. Что касается избрания папы... Ведь Клеменция проезжала через Авиньон? Кого она там видела? Кардинала Дюэза? Ну, конечно же, именно Дюэза и следует выбрать... Клеменция должна понять, почему он, Валуа, настаивал, чтобы выбор короля пал на нее, и как он по этому поводу хлопотал; он сильно рассчитывает на ее благотворное присутствие, на ее обаяние и ее мудрость и надеется, что она поможет ему, Валуа, управлять королем. Пусть Клеменция доверится ему во всем, пусть ничего от него не скрывает. Разве не он самый ближайший ее родственник при французском дворе: ведь первым браком он был женат на тетке Клеменции; и разве не заменил он отца молодому государю? Клеменция и Валуа должны отныне заключить самый тесный союз.

По правде говоря, Клеменцию просто укачало этим потоком слов, пересыпанных именами, утомило неестественное оживление этого расшитого золотом новоявленного родича, который не переставая суетился вокруг нее. Слушая дядю, она спрашивала себя, кто же коннетабль, не Робер ли Артуа, и который из двух братьев короля, представлявшихся ей, носил имя Филиппа Пуатье. Слишком много впечатлений, новых лиц, которые она еле успела разглядеть, мешались в ее голове. И к тому же через несколько минут ее поведут к венцу. Клеменция была убеждена, что все относятся к ней благожелательно, а граф Валуа просто растрогал ее своим участием. Но ей очень бы хотелось подготовиться душой к предстоящему событию. Разве такими бывают королевские бракосочетания?

Все же она набралась храбрости и спросила, почему так торопятся со свадьбой.

— Потому что в воскресенье вам следует быть уже в Реймсе, где Людовик будет помазан на царство, а он хочет сначала вступить в брак, дабы вы были с ним,— пояснил Валуа.

Он умолчал, что расходы на свадьбу уплачивались из государственной казны, тогда как все расходы по коронованию брало на себя духовенство Реймса. А государева казна после позорного провала «грязевого похода» окончательно опустела. Отсюда и эта спешная свадьба без всякой торжественности. Пускай на увеселения раскошеливаются жители Реймса.

Потребовав к себе исповедника, Клеменция Венгерская отчасти обрела душевный мир. Она уже исповедо-

валась нынче утром, но ей хотелось быть твердо уверенной, что она придет к алтарю полностью отмытой от прегрешений. Не совершила ли она в эти последние часы какого-нибудь смертного греха? Может быть, ей не хватило смирения, когда она удивилась этой малоторжественной встрече или же не хватило милосердия к ближнему, когда она в глубине души пожелала, чтобы его высочество Валуа перестал вертеться вокруг, и посулила ему черта.

Зато Людовику X было в чем покаяться, когда он исповедовался накануне доминиканцу, на коем лежала забота о спасении королевской души.

Пока шли последние приготовления к свадьбе, Юга де Бувилля остановил во дворе замка мессир Спинелло Толомеи. Главный капитан ломбардцев в Париже, попрежнему подвижный, несмотря на свои шестьдесят лет и округлое брюшко, тоже решил отправиться в Реймс, куда он договорился поставить для коронации крупную партию товаров, а кстати посмотреть, как работают его люди. Он стал расспрашивать Бувилля о своем племяннике Гуччо.

— Какая ему была надобность бросаться в воду? Ах, как же мне его недостает! Не мне, а ему следовало бы носиться сейчас по дорогам,— жалобно твердил Толомеи.

— А мне, по-вашему, легко было без него в пути? — возразил Бувилль.— Свита израсходовала двойную сумму против той, в какую нам обошлось бы путешествие, если бы Гуччо был у нас казначеем.

Толомеи казался озабоченным. Плотно прикрыв левый глаз, опустив нижнюю губу, он бормотал что-то, жалуясь на дела. Вопреки тому, что обещал ему лично граф Валуа, с ломбардских банкиров потребовали новый налог; теперь при любой продаже, при заключении контракта или обмене золота и монеты и той и другой стороне приходится платить по два денье с каждого ливра, да еще собираются назначить повсюду королевских фискалов с целью контролировать сделки и взимать подати. Словом, весьма похоже на ордонансы короля Филиппа Красивого.

— Зачем же тогда нас уверяли, что все переменится?..

Бувилль отделался от Толомеи и присоединился к свадебному кортежу.

К алтарю невесту торжественно вел его высочество

Карл Валуа. Людовику X пришлось шествовать одному. На церемонии не оказалось ни одной женщины королевского рода, чтобы составить ему пару. Тетка короля Агнесса Французская, дочь Людовика Святого, отказалась прибыть на бракосочетание, и все понимали причину ее отказа: она была родной матерью Маргариты Бургундской. Графиня Маго сослалась на неожиданные трудности, вызванные брожением в Артуа. Она поедет прямо в Реймс на коронацию. Что касается графини Валуа, которой супруг категорически приказал явиться на церемонию, она то ли опоздала, то ли сбилась с дороги со всем выводком своих дочек, а может быть, просто сломалась ось в экипаже,— так, во всяком случае, утверждал камергер, которому поручили сопровождать дам.

Монсеньор Жан д'Оксуа, с митрой на голове, совершал обряд. Во время всей службы Клеменция корила себя за то, что ей вопреки горячему желанию никак не удается сосредоточиться. Она пыталась вознестись мыслью к небесам, моля бога даровать ей во все дни ее жизни добродетели супруги, достоинства правительницы, сладость материнства; но взор ее помимо воли обращался к стоявшему с ней рядом человеку, чье тяжелое дыхание она слышала над ухом, чьи черты не успела даже разглядеть и с которым нынче вечером ей предстояло разделить ложе.

Каждый раз, когда приходилось преклонять колена, Людовик коротко кашлял нервным лающим кашлем; две глубокие складки шли от углов рта к срезанному подбородку, а ведь он еще совсем молодой! Губы у него были тонкие, с опущенными уголками, волосы длинные, прямые, какого-то неопределенного цвета. И когда этот человек, с которым сейчас ее свяжут навеки, обращал на нее большие блеклые глаза, Клеменция смущалась под этим взглядом, устремленным на ее руки, грудь, губы. Она удивилась, что не испытывает вновь того безграничного счастья, которое переполняло ее в день отъезда из Неаполя.

«Господи, не дай мне познать неблагодарность после всех тех благодеяний, коими ты, милостивец, меня осыпал!»

Но не всегда можно управлять своими чувствами, и Клеменция в самый разгар свадебного обряда поймала себя на мысли, что, если бы ей дано было право выбирать себе супруга из троих французских принцев, она, без сомнения, предпочла бы Филиппа Пуатье. Ее

охватил ужас, и она едва удержалась, чтобы не крикнуть: «Нет, не хочу, я недостойна!» Но в ту же самую минуту она услышала слово «да», произнесенное незнакомым ей голосом, хотя знала, что голос этот был ее собственный, в ответ на вопрос епископа, желает ли она взять себе в супруги Людовика, короля Франции и Наварры.

Первый удар грома раздался, когда на ее палец надели слишком широкое кольцо; присутствующие переглянулись, и многие осенили себя крестным знамением.

Крестьяне, в посконных рубахах, с обмотанными тряпьем ногами, ожидали у паперти выхода свадебного кортежа. Клеменция невольно воскликнула:

— Разве им не будут раздавать милостыню?

Она просто подумала вслух, и многие заметили про себя, что первое слово королевы было словом милосердия.

Желая угодить супруге, Людовик приказал своему камергеру Матье де Три швырнуть в толпу несколько пригоршней мелкой монеты. Крестьяне бросились подбирать, и перед глазами молодой новобрачной разыгралась дикая драка. Слышно было, как трещат посконные рубахи, как ударяются соперники лбами, глухо ворча, словно кабаны. Бароны от души забавлялись, глядя на эту свалку. Один из крестьян, выше и крепче всех прочих, наступал пяткой на чужие руки, успевшие схватить монету, и те невольно роняли добычу.

— А этот смерд, видать, умеет взяться за дело,— с хохотом воскликнул Робер Артуа.— Чей он? Я бы его охотно купил.

И Клеменция с неудовольствием заметила, что Людовик X тоже смеется.

«Разве так надо творить милостыню? — подумала она.— Ничего, я его научу».

Начался дождь, и кулачный бой продолжался в грязи.

По всей огромной зале замка были расставлены столы. Трапеза длилась добрых пять часов. «Вот я и королева Франции»,— время от времени напоминала себе Клеменция. Она еще не привыкла к этой мысли. Впрочем, она еще ни к чему не могла привыкнуть. Обжорство французских сеньоров ее поражало. Вино лилось рекой, и голоса становились все громче. Единственная женщина на этом пиршестве вояк, Клеменция то и дело улавливала взгляды, обращенные к ней, и понимала, какого рода беседы ведутся в дальнем конце залы.

Время от времени кто-нибудь из пирующих удалялся.

Матье де Три, первый камергер, кричал вслед уходившему:

— Король не желает, чтобы мочились на лестнице, по которой он изволит спускаться!

После четвертой перемены кушаний — причем каждая перемена состояла из шести блюд, в том числе целая свинья на вертеле и павлин, в гузку которого были воткнуты его же перья,— двое конюших внесли огромный пирог и водрузили его перед королевской четой. Пирог разрезали, и из него под восторженные вопли выскочила живая лисица и спрыгнула на пол. За отсутствием сахарных замков, на изготовление которых требовалось несколько дней, повара решили развлечь пирующих другим способом.

Обезумевшая лисица металась по зале, подметая рыжим пушистым хвостом каменные плиты, и в ее блестящих темных глазах застыл страх.

— Ату, ату ее! — вопили вельможи, вскакивая со своих мест.

Началась охота. Зверька поймал Робер Артуа. Все повернулись в его сторону, а он, наклоняясь, нырял между столами и вдруг стремительно поднялся во весь свой рост, держа в вытянутой руке добычу — лисица взвизгивала, ее черные ноздри подергивались, обнажая узкие клыки. Затем Робер не спеша сжал руку; слышно было, как хрустнули ребра, глаза лисицы остекленели, и гигант хладнокровно распростер мертвого зверька на столе — свой дар королеве.

Клеменция, придерживая большим пальцем свое слишком широкое обручальное кольцо, спросила, неужели во Франции обычай запрещает родственницам короля присутствовать на его свадьбе. Ей объяснили, как все произошло, и добавили, что те дамы, которые отправились в путь, не успели прибыть вовремя.

— Но моей супруги, сестрица, вам все равно не пришлось бы увидеть здесь,—заметил граф Пуатье.

— Как так... братец? — осведомилась Клеменция, которая с интересом слушала все, что говорил Филипп, и почему-то испытывала неодолимое смущение, когда ей приходилось ему отвечать.

— Коль скоро она до сих пор содержится в заключении в замке Дурдан,— ответил Филипп Пуатье.

Потом он повернулся к королю.

— Государь, брат мой,— проговорил он,— в этот столь счастливый для вас день прошу вас снять кару, наложенную на мою супругу Жанну, и разрешить мне воссоединиться с ней. Вы знаете, что она не совершила преступления против чести, и было бы несправедливо, государь, заставлять ее расплачиваться и далее за чужие ошибки.

Сварливый наморщил лоб. Видно было, что он не знает, что ответить, на что решиться. Чем он угодит Клеменции: проявив великодушие или, напротив, показав себя в ее глазах непреклонным; какое из двух этих равно королевских качеств придется ей по вкусу? Он поискал глазами дядю Валуа, рассчитывая спросить у него совета, но тот как раз вышел освежиться. Робер Артуа находился на противоположном конце залы и с жаром объяснял Филиппу Валуа, сыну Карла, как надо хватать лисицу, чтобы она не успела цапнуть вас за палец. Впрочем, Сварливому не очень хотелось вовлекать в это дело Робера, который и так уж приложил к нему руку.

— Государь, супруг мой,— произнесла Клеменция,— ради вашей любви ко мне согласитесь на просьбу Филиппа. Сегодня такой день — день нашей свадьбы, и мне хотелось бы, чтобы все женщины в королевстве разделили мою радость.

Клеменция так близко приняла к сердцу просьбу Филиппа, молила за него с таким жаром, будто ей стало легче при мысли, что у Филиппа есть супруга и он хочет вновь воссоединиться с ней.

Она глядела на Людовика, она была прекрасна; ее голубые, широко открытые глаза под светлыми ресницами устремлены были на него, и взгляд их был красноречивее любых слов заступничества.

Кроме того, Людовик плотно пообедал и осушал свой кубок чаще, чем требовалось. Близилась минута, когда он сможет насладиться этим красивым телом, от которого веяло спокойствием и которому он отныне господин. А что касается политических последствий, которые может повлечь за собой исполнение просьбы Филиппа, то сейчас ему было не до этого.

— Нет на свете того, моя душенька, чего бы я не сделал, лишь бы угодить вам,— ответил он.— Брат мой, можете вернуть себе мадам Жанну и появиться с ней при дворе, когда вам будет угодно.

Самый красивый и самый младший из всех трех при-

нцев, юный граф де ла Марш, внимательно прислушивался к этому диалогу и наконец не выдержал:

— А мне, брат мой, не дадите ли вы разрешение... насчет Бланки?

— Насчет Бланки — никогда! — отрезал король.

— Только разрешите съездить повидаться с ней в Шато-Гайар и перевести ее в монастырь, где с ней будут обращаться не так сурово...

— Никогда! — повторил Сварливый тоном, пресекавшим дальнейшие просьбы.

Страх, как бы Бланка, выйдя из крепости Шато-Гайар, не рассказала об обстоятельствах смерти Маргариты, подсказал Людовику это внезапное и бесповоротное решение.

И Клеменция, почувствовав, что следует удовольствоваться первой победой, не осмелилась присоединить свой голос к просьбе Карла.

— Значит, я навсегда лишен права иметь супругу? — настаивал Карл.

— Предоставьте судьбе идти своим ходом, брат мой,— ответил Людовик.

— Однако судьба, по-видимому, более благоприятствует Филиппу, чем мне.

И с той минуты Карл де ла Марш затаил неприязнь, но не против короля, а против графа Пуатье, с которым они вообще не сходились характерами, а теперь к этому чувству добавилась еще злоба за то, что король лучше относится к Филиппу, нежели к нему, Карлу.

К исходу изнурительно длинного дня королева так устала, что брачная ночь прошла для нее как будто в каком-то ином мире. Ни страха, ни муки, ни особого блаженства. Она просто покорилась тому, что должно было произойти. Прежде чем погрузиться в сон, она слышала, как супруг нашептывал ей на ухо какие-то слова, которые позволили ей надеяться, что она сумела ему угодить. Будь она не столь невинна в делах любви, она поняла бы, что приобрела, по крайней мере на время, неограниченную власть над Людовиком X.

А он и впрямь был в восхищении, обнаружив у этой дочери короля покорность, которую доныне знал только лишь у служанок. Унизительный страх поражения, который когда-то охватывал его перед ложем Маргариты, вдруг исчез. Возможно, что он просто не был создан для брюнеток. Сегодня четырежды торжествовал он над этим прекрасным телом, слегка отливавшим перламут-

ром при свете маленькой масляной лампы, висевшей под балдахином, и оно полностью отдавалось на его волю. Никогда еще он не совершал подобного подвига.

Когда он поздним утром вышел из спальни, голова у него кружилась, но он нес ее высоко. Взгляд его приобрел уверенность, и можно было подумать, что брачная ночь изгладила память о воинских неудачах. То, что он потерял на поле брани, было завоевано на поприще любви...

Впервые в жизни Сварливый мог, не чувствуя стыда, отвечать на соленые шуточки Робера, который слыл при дворе самым могучим и неутомимым кавалером.

Затем, к полудню, стали собираться в путь на север. Клеменция обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на этот замок, где она пробыла всего лишь сутки,— она уже знала, что вряд ли сумеет когда-нибудь восстановить в памяти очертания этих стен и башен.

Через два дня кортеж прибыл в Реймс. Жители города, не видавшие коронации уже тридцать лет — другими словами, зрелище для большей части населения было новым,— толпились у дверей домов и вдоль улиц. Крестьяне прибыли из соседних деревень, кто пешком, кто верхами. Съехались в город вожаки медведей, жонглеры; стражники и придворные суетились с таким озабоченным видом, словно на каждом лежало бремя управления государством.

Жители Реймса не могли даже вообразить, что им придется видеть эти великолепные кавалькады и раскошеливаться еще трижды за ближайшие четырнадцать лет.

Никогда еще порог Реймского собора не переступал король Франции в сопровождении трех преемников, которых дала ему история. Ибо позади Людовика X шествовали граф Пуатье, граф де ла Марш и граф Филипп Валуа— другими словами, будущий король Филипп V, будущий король Карл IV, будущий король Филипп VI. Двум Филиппам — Пуатье и Валуа — было по двадцать два года, Карлу де ла Марш — двадцать один. Прежде чем последнему исполнится тридцать лет, корона поочередно будет возложена на все эти три головы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОСЛЕ ФЛАНДРИИ — ГРАФСТВО АРТУА

Глава I

СМУТЬЯНЫ

Из всех видов человеческой деятельности власть над себе подобными — хотя и вызывает наибольшую зависть — наиболее разочаровывает, ибо она не дает уму ни минуты роздыха и требует постоянных трудов. Булочник, вынув из печи хлеба, дровосек, повалив дуб, судья, вынесши приговор, зодчий, видя, как делают конек, венчающий крышу, художник, положив кисть, могут хотя бы в течение одного вечера вкусить преходящее умиротворение, даваемое доведенным до успешного конца усилием. Правители — никогда. Едва только одно политическое затруднение кажется улаженным, уже встает другое, как раз в то время, когда улаживали первое, и требует к себе неотложного внимания. Генерал еще долго пользуется плодами своей победы, принесшей ему славу, но премьер-министру приходится сталкиваться с новой ситуацией, порожденной самой победой. Ни одна проблема не терпит, чтобы тянули с ее разрешением, ибо та, что кажется сегодня второстепенной, завтра приобретает трагическую значимость.

Носителя власти можно сравнить лишь с врачом: обоим в равной степени знаком этот неудержимый ход событий, где главное — не промедлить и неусыпно наблюдать за самыми безобидными недугами, ибо они могут стать симптомами недугов грозных, и, наконец, обоим знакомо вечное сознание ответственности за такие сферы, где последнее слово остается все же за будущим! Равновесие общественного организма, так же как и организма человеческого, не может быть установлено окончательно, и труды на этом поприще никогда не могут считаться полностью завершенными.

Передышка приходит к государственному деятелю только лишь вместе с неудачей, в горьких, в тревожных размышлениях по поводу свершенного, а подчас и перед лицом прямой угрозы. Отдых от власти дается только при поражении.

То, что правильно для наших дней, когда управление нацией требует почти сверхчеловеческих сил и способностей, было бесспорно правильно и во все времена; ремесло короля, когда короли еще правили сами, было непрерывным рабством.

Едва только Людовику X после злополучного похода удалось отложить до лучших времен фландрские дела, смирившись с мыслью, что раз уж он не смог разрешить их сразу, то будь что будет, едва только коснулось его таинственное дыхание власти, которую дает правителю коронация, каким бы жалким ни был этот монарх, как тотчас же новая смута вспыхнула на севере Франции.

Бароны графства Артуа, как и обещали Роберу, не сложили оружия, вернувшись из похода. Они носились по всей округе под развевающимися знаменами, стараясь склонить на свою сторону население. Вся знать была на их стороне, а тем самым, следовательно, и деревня. Мнение городских жителей разделилось: Аррас, Булонь, Теруан пошли вслед за смутьянами; Кале, Авен, Бапом, Эр, Ланс, Сент-Омер хранили верность графине Маго. Весь край находился в состоянии брожения, близкого к прямому восстанию.

Вожаками были Жан де Фиенн, сиры де Комон и де Суастр, а также Жерар Киерес, самый ловкий из всех прочих, ибо он умел составлять петиции и вести тяжбу в королевском суде.

Их поддерживал, направлял, снабжал деньгами Робер Артуа, и благодаря ему бароны имели опору в лице графа Валуа и реакционной клики, группировавшейся вокруг Людовика X.

Их требования были двоякого рода. С одной стороны, они просили вернуть обычаи Людовика Святого, желая возвратить былые порядки, когда баронство подчинялось лишь местному правосудию, вело войны, когда заблагорассудится, и почти не платило налогов. С другой стороны, они требовали заменить местных правителей, и, в частности, убрать канцлера графини Маго Тьерри д'Ирсона, бывшего для них вечным жупелом.

Если бы эти требования были приняты, графиня Маго лишилась бы всякого влияния в своих владениях, на что и рассчитывал ее племянник Робер.

Но не такой женщиной была Маго, чтобы безропотно позволить обездолить себя. Хитростью, спорами, по-

сулами, которые так и оставались посулами, притворно соглашаясь сегодня, дабы оспорить завтра свое собственное согласие,— любой ценой она пыталась выиграть время. Обычаи? Конечно, лично она за старые добрые обычаи. Но ей необходимо провести опрос, дабы точно установить, какие именно обычаи были в каждой сеньории. Ее управители? Если они не справились или, не дай бог, злоупотребили своей властью, она сама их покарает, и покарает беспощадно. Но и здесь без опроса не обойтись... Кончалось тем, что споры переносились в Королевский совет, и королю Людовику приходилось выслушивать длиннейшие речи, уснащенные юридическими терминами, в которых он ничего не смыслил, да еще притворяться внимательным, думая о своем. Графиня Маго благосклонно приняла жалобы Жерара Киереса, давая этим очевидное свидетельство своей доброй воли. Как только она получше осведомится обо всех этих вопросах, можно будет встретиться в Бапоме... Почему именно в Бапоме? Да потому, что Бапом принадлежал ей и там у нее стоял целый гарнизон... словом, она настаивала на Бапоме. А затем в назначенный день она не явилась в Бапом, так как поехала в Реймс на коронацию... Коронация прошла, а она забыла о назначенной встрече. Она непременно прибудет в Артуа, попозже прибудет, пусть спокойно ждут. А опросы тем временем шли своим чередом, и сводились они к тому, что стражники, состоящие на содержании графини, заставляли людей под угрозой кнута, тюрьмы или виселицы подписывать свидетельство в пользу Маго и ее капеллана канцлера Тьерри д'Ирсона.

Кровь ударила баронам в голову; они открыто поднялись и передали Тьерри, находившемуся в Париже при графине, чтобы тот не смел появляться в Артуа под страхом смерти. Затем они вытребовали к себе второго д'Ирсона — Дени, казначея, который имел глупость явиться; приставив ему меч к горлу, бароны заставили казначея отречься от своего брата и принести в том клятву.

Политический конфликт становился простым сведением счетов. События приняли столь опасный оборот, что Людовик X самолично ездил в Аррас. Он пытался сыграть роль арбитра. Но ничего путного не получилось, поскольку армии у него уже не было, а единственное «знамя», оставшееся в качестве воинской единицы, как раз и взбунтовалось.

Девятнадцатого сентября люди Маго решились потихоньку схватить сира де Суастра и сира де Комона — двух молодцов, прекрасно дополнявших друг друга: один был завзятый краснобай, а другой — отменный рубака, и оба, по-видимому, руководили мятежом. Суастра и Комона бросили в тюрьму. Робер Артуа тут же принес королю жалобу.

— Государь, кузен мой,— заявил он,— к этому делу я непричастен, вы сами знаете, что меня подло лишили наследственных земель, где теперь управляет моя тетка Маго, и управляет, скажем прямо, весьма дурно. Но если Суастр и Комон останутся в тюрьме, тут уж, поверьте, в Артуа начнется настоящая война. Высказываю же я свое мнение лишь потому, что от всей души желаю вам добра.

Граф Пуатье тянул в противоположную сторону.

— Возможно, было и не совсем ловко арестовывать этих двух сеньоров, но еще более неловко получится, если их немедленно выпустят на свободу. Этим самым вы поощрите всех мятежников в вашем государстве, а в результате, брат мой, пострадает ваш авторитет.

Карл Валуа даже задохнулся от гнева.

— Довольно уж того, мой племянник,— завопил он, обращаясь к Филиппу Пуатье,— довольно и того, что вам вернули вашу жену, которая на этих днях выходит из Дурдана! Так не держите же руку ее матери. Неблагородно просить короля выпустить на свободу тех, кто вам по душе, а тех, кто вам неугоден, бросать в темницу.

— Не вижу никакой связи, дядя! — ответил Филипп.

— А я вижу, и боюсь, что вашими действиями руководит непосредственно графиня Маго.

В конце концов Сварливый дал приказ графине Маго освободить двух пленных сеньоров. В клане графини сразу пошла в ход довольно неудачная острота: «Наш государь Людовик — сама Клеменция», намекая на одинаковое звучание имени Клеменция с французским словом «clémence» — «милосердие».

Суастр и Комон вышли из заключения через неделю, окруженные ореолом мучеников. Двадцать шестого сентября они созвали в Сен-Поле всех своих сторонников, которые отныне приняли наименование «союзники». Суастр говорил много и долго, и соленые его шутки, более чем дерзкие предложения, увлекли слушателей. Отныне необходимо окончательно отказаться от выплаты нало-

гов, вешать всех прево, всех сборщиков и всех соглядатаев, стражников и иных представителей графини, и начинать, конечно, следует с семейства д'Ирсон.

Король направил двух своих советников, Гийома Флотта и Гийома Помье, наказав им настаивать на умиротворении и договориться о новой встрече в Компьене. Союзники дали в принципе согласие, но едва только оба Гийома покинули заседание, как появился посланный от Робера Артуа, обливаясь потом и тяжело дыша после бешеной скачки. Он принес баронам весть: графиня Маго под покровом глубокой тайны прибыла в Артуа, завтра она направляется в замок Виц к Дени д'Ирсону.

Когда Жан де Фиенн довел эту новость до всеобщего сведения, Суастр воскликнул:

— Теперь мы знаем, сеньоры, что нам следует делать.

Всю ночь напролет на дорогах Артуа раздавались громкий конский топот и бряцание оружия.

Глава II

ГРАФИНЯ ПУАТЬЕ

Огромный дорожный дормез, весь в резьбе, позолоте и гербах, катил между деревьями. Был он так непомерно длинен, что порой приходилось брать дорожные повороты в два приема, а порой на крутых тропках конюшие соскакивали наземь и подталкивали сзади тяжелую колымагу.

Хотя громадный дубовый ящик стоял прямо на рессорах, в экипаже толчки не особенно чувствовались, до того щедро был он устлан внутри подушками и коврами. Шесть женщин, сидевших в экипаже, удобно расположившись, словно у себя в комнате, болтали, играли в кости или загадывали друг другу загадки. Слышно было, как ветви деревьев царапают по медной крыше экипажа.

Жанна Пуатье отодвинула занавеску, расшитую лилиями, с тремя золотыми за́мками — изображением герба семейства Артуа.

— Где мы? — спросила она.

— Сейчас проезжаем Оти, мадам,— ответила Беатриса д'Ирсон.— А проехали мы Окси-де-Шато. Меньше чем через час будем в Вице у моего дяди Дени, он нас ждет и будет счастлив вас принять. А возможно, к тому

времени туда прибудет мадам Маго вместе с вашим супругом.

Жанна разглядывала открывавшуюся из окошка картину: деревья, покрытые не по-осеннему свежей листвой, луга, где крестьяне косили реденькую отаву под безоблачным небом, ибо, как то часто бывает после дождливого лета, конец сентября выдался на диво прекрасным.

— Мадам Жанна, прошу вас, не выглядывайте так часто из окошка,— проговорила Беатриса.— Мадам Маго настойчиво советовала вам быть поосторожнее и не показываться, пока мы не достигнем Артуа.

Но ничто в мире не могло удержать мадам Жанну. Смотреть! Всю эту неделю, прошедшую по выходе из темницы, она только и делала, что смотрела. Как человек, долго голодавший, уже не верит, что он когда-нибудь сумеет насытиться, и ест до отвала, так и она жадно впивала взглядом окружающий мир. Листья на деревьях, легкие облачка, колоколенки на горизонте, птица, вспорхнувшая с ветки, трава на пригорках — все это казалось ей умилительно прекрасным потому, что она была свободна.

Когда ворота замка Дурдан распахнулись перед нею, а командир гарнизона с низким поклоном пожелал ей счастливого пути и заверил, что никогда не забудет, что ему выпала честь приютить столь высокую гостью, Жанну охватило сладостное головокружение.

«Сумею ли я вновь привыкнуть к свободе?» — думалось ей.

В Париже Жанну ждало первое разочарование. Ее мать, графиня Маго, укатила в Артуа по неотложным делам. Но она оставила для дочери дорожный дормез, а также несколько дам из своей свиты и множество слуг.

Пока портные, портнихи и вышивальщицы срочно готовили Жанне новый гардероб, она сама, воспользовавшись недолгой остановкой, обегала в сопровождении Беатрисы всю столицу. Она чувствовала себя в Париже иностранкой, приехавшей с другого конца света, и восхищалась всем, что видела. Улицы! Она не уставала любоваться парижскими улицами. Выставка товаров в Гостиной галерее, лавки на набережной Орфевр!.. Ей хотелось все потрогать, все купить. Хотя она по-прежнему хранила свой обычно сдержанный, холодный вид, глаза горели, все тело трепетало от чувственной ра-

дости, когда ее пальцы касались парчи, жемчугов, драгоценностей. И, однако, она не могла прогнать обступивших ее воспоминаний: ведь эти лавки она посещала с Маргаритой Бургундской, с Бланкой, с братьями д'Онэ...

«Я твердо поклялась в тюрьме, что если когда-нибудь выйду на свободу,— думала она,— то не стану терять времени на разные пустяки. Впрочем, никогда раньше я ими и не увлекалась. Откуда же эта теперешняя моя ненасытность?»

Она разглядывала туалеты дам, подмечая последние ухищрения моды и те изменения, которые претерпели за этот период головные уборы, платья, верхняя одежда. Она ловила взгляды встречных мужчин, стараясь понять, может ли нравиться по-прежнему. Безмолвные знаки восхищения с их стороны, особая манера молодых людей глядеть ей вслед полностью ее успокоили. Она даже находила лицемерное оправдание для своего кокетства. «Нужно же мне знать,— думала она,— буду ли я по-прежнему привлекательна в глазах моего супруга...»

По правде говоря, длительное заключение почти не коснулось ее внешнего облика. Пребывание в Дурдане даже отдаленно нельзя было сравнить с режимом, установленным в Шато-Гайаре. Жанна очень побледнела, но это даже в какой-то мере способствовало ее красоте, так как прежние веснушки совершенно исчезли. Фальшивые косы спускались на шею («Все женщины, у которых жидкие волосы, носят накладные косы»,— утешала ее Беатриса д'Ирсон), на самую красивую шею во всем французском королевстве, на которой грациозно сидела небольшая головка, а с широкоскулого лица сияли голубые глаза, слегка приподнятые к вискам. Своими повадками она напоминала гибкую берберийскую борзую. Жанна мало чем походила на мать, разве что несокрушимым здоровьем, а унаследовала свою внешность от покойного отца, пфальцграфа, который слыл весьма изящным мужчиной.

Чем ближе был конец путешествия, тем сильнее Жанну охватывало нетерпение; эти последние часы казались ей нескончаемо длинными, длиннее даже, чем минувшие месяцы. Уж не сбавили ли лошади ход? Нельзя ли сказать кучерам, чтобы они подхлестнули коней?

— Ах, мадам, и мне тоже не терпится добраться до

дому, только по иным причинам, чем вам,— отозвалась одна из придворных дам, сидевшая в противоположном углу экипажа.

Дама эта, звавшаяся мадам Бомон, была на седьмом месяце беременности. Дорога вконец утомила ее; она то и дело опускала взор к своей пополневшей талии и так глубоко вздыхала, что все остальные дамы отвечали ей дружным хохотом.

Жанна Пуатье вполголоса спросила Беатрису:

— Ты наверное знаешь, что у моего мужа за это время не было никакой привязанности? Ты не лжешь?

— Нет, нет, мадам, не было. Поверьте мне! Да, впрочем, если бы его высочество и решил поволочиться за другой, он все равно не смог бы, недаром же он выпил любовное зелье, он предан теперь вам всей душой. Ведь испросил же он у короля вашего освобождения!

«Если даже у него есть любовница, я и с этим примирюсь. Лучше иметь полмужа, чем сидеть в тюрьме»,— подумала Жанна. И она снова отодвинула занавеску, как будто надеясь ускорить бег лошадей.

— Молю вас, мадам,— обратилась к ней Беатриса,— не высовывайтесь вы так. Здесь нас не особенно любят теперь.

— Однако здешние жители на первый взгляд весьма радушны. Поселяне кланяются нам с такими приветливыми лицами.

Она опустила занавеску. И не увидела поэтому, как трое низко поклонившихся ей крестьян, едва только экипаж проехал мимо, со всех ног бросились в перелесок, отвязали лошадей и галопом понеслись куда-то.

Через несколько минут экипаж уже въезжал во двор замка Виц. Терпение графини Пуатье подверглось здесь новым испытаниям. Жанна надеялась попасть прямо в материнские объятия, а главное, уже готовилась обрести вновь своего супруга, но Дени д'Ирсон, приветствуя высокую гостью, сообщил, что ни графиня Маго, ни граф Пуатье не прибыли и что ожидают они ее в замке Геден, в десяти лье отсюда к северу. Жанна побледнела.

— Что это значит?— обратилась она к Беатрисе, отведя ее в сторону.— Может быть, меня просто не хотят видеть и прибегают к различным уловкам?

И ее внезапно охватил страх. А что, если все это путешествие, пинта крови, взятая из ее руки, любовное зелье, почести, оказанные ей комендантом Дурдана, а что, если все это лишь комедия, разыгрываемая с по-

мощью мошенницы Беатрисы? Ведь сама Жанна еще не получила никаких доказательств, что супруг требует ее к себе. А не везут ли ее просто из одной темницы в другую и по каким-то неведомым причинам делают вид, что едет она свободно? Жанна задрожала, представив себе самое страшное — а вдруг, прежде чем она исчезнет навеки, ее, свободную и получившую помилование, просто решили показать Парижу и графству. Беатриса рассказывала, при каких обстоятельствах погибла Маргарита Бургундская. И Жанна невольно задавалась вопросом, уж не хотят ли расправиться также и с ней, только обставив иначе ее кончину.

Поэтому-то она едва прикоснулась к трапезе, устроенной в ее честь Дени д'Ирсоном. То состояние счастья, которое не оставляло ее в течение последней недели, внезапно сменилось отчаянной тревогой, и она старалась прочесть на лицах сотрапезников ожидавшую ее судьбу. Красавица Беатриса и казначей, ее дядя, по видимости прекрасно ладили между собой; при встрече они поцеловались, затянув поцелуй чуть-чуть дольше, чем положено между родственниками. И затем присутствовали два сеньора — сир де Лик и сир де Недоншель, оба сидели за столом с достаточно смущенным видом, и их представили Жанне в качестве ее спутников до Гедена. Уж не на них ли возложено ужасное поручение, которое они выполнят где-нибудь на глухом повороте?

Никто и словом не упомянул о пребывании Жанны в тюрьме; все делали вид, что она вообще не была в заключении, но даже это обстоятельство лишало ее последней уверенности. Разговоры, которых она не понимала, вертелись вокруг положения дел в Артуа, старинных обычаев, о которых шли споры, встречи в Компьене, которую обещали устроить посланные короля, смут, разжигаемых Суастром, Комоном и Жаном де Фиенном.

— А вы не заметили, мадам, волнения на вашем пути или скопища вооруженных людей? — обратился Дени д'Ирсон к Жанне.

— Ничего такого я не видела, мессир Дени,— ответила она,— деревни как раз показались мне очень спокойными.

— И однако, нас известили, что со вчерашнего дня и с нынешней ночи начались волнения; сегодня утром напали на двух наших прево.

Жанна все больше и больше убеждалась, что эти разговоры ведутся с единственной целью усыпить ее по-

дозрения. Ей казалось, что невидимые сети все туже сжимаются вокруг нее. Удастся ли ускользнуть, и каким образом сделать это, думала она. Но куда идти? Кто ей поможет? Она одинока, до ужаса одинока! И, обводя глазами присутствующих, графиня Пуатье старалась найти того, кто согласится стать ее союзником, и не находила.

Беременная дама кушала с редкостной жадностью и по-прежнему громко вздыхала, искоса поглядывая на свой живот.

— Графиня Маго вынуждена будет уступить, уж поверьте мне, мессир Дени,— проговорил сир де Недоншель, сутулый человек с длинными зубами и желтым цветом лица.— Постарайтесь на нее воздействовать. Пусть пойдет хотя бы на частичные уступки. Пусть отречется от вашего брата, простите нам нашу прямоту, или сделает вид, что отрекается, ибо союзники ни за что не пожелают вступить с ней в переговоры, пока он состоит в должности канцлера. И мы тоже, поверьте, сильно рискуем, храня верность графине и одновременно делая вид, что заодно со всеми прочими баронами. Чем больше она будет тянуть, тем больше завоюет себе сторонников ее племянник Робер.

В эту минуту в залу, еле переводя дыхание, вбежал стражник с непокрытой головой.

— Что случилось, Корнийо? — спросил Дени д'Ирсон.

Корнийо, все так же прерывисто дыша, прошептал на ухо хозяину несколько слов. Дени д'Ирсон побледнел, откинул полотно, прикрывавшее его колени, и вскочил со скамьи.

— Простите, мессиры, мне тут необходимо повидать...— пробормотал он.

И он со всех ног бросился к низенькой дверце, а за ним по пятам несся Корнийо. Присутствующие услышали крик:

— Давай меч, меч давай...

Потом поспешный топот ног утих на лестнице.

Через минуту, даже прежде чем сотрапезники успели прийти в себя от изумления, со двора донесся оглушительный шум. Можно было подумать, что в ворота на полном галопе ворвалась целая армия. Жалобно заскулила собака, которую, очевидно, пнули сапогом. Сеньоры Лик и Недоншель бросились к окнам, а придворные дамы графини Пуатье испуганно сбились в угол, как

стайка цесарок. Возле Жанны остались только Беатриса д'Ирсон и беременная дама, лицо которой приняло землистый оттенок.

«Это ловушка»,— подумала Жанна. Однако, видя, как Беатриса с трясущимися руками приближается к ней, Жанна поняла, что та, бесспорно, не состоит в заговоре с нападающими. Но положение от этого не стало более легким, да и времени на размышления не оставалось.

Створки двери с грохотом распахнулись, и человек двадцать баронов во главе с Суастром и Комоном ворвались в залу, держа в руках обнаженные шпаги и неистово вопя:

— Где предатель? Где предатель? Где он прячется?

Но при виде открывшейся им картины они в замешательстве остановились на пороге. Прежде всего их поразило отсутствие Дени д'Ирсона, которого они надеялись застать здесь и который исчез словно по волшебству. И затем эта плотно сбившаяся стайка стрекочущих, чуть не падающих в обморок дам, уверенных, что им суждено стать жертвами насилия. Но особенно их потрясло присутствие де Лика и де Недоншеля, которых бароны считали своими сторонниками; еще позавчера в Сен-Поле оба этих рыцаря были в числе заговорщиков, а теперь преспокойно сидят за столом в доме врага.

Перебежчиков оскорбляли долго и умело: у них допытывались, сколько они получили за свое клятвоотступничество, уж не продались ли они д'Ирсонам за тридцать сребреников; Суастр своей железной перчаткой ударил по длинному желтому лицу де Недоншеля, и изо рта у того хлынула кровь.

Сеньор Лик пытался объяснить причины их появления здесь, оправдаться:

— Мы же явились сюда по нашему общему делу, мы хотели избежать смертоубийства и ненужных раздоров. Мы надеялись добиться словом больше, нежели мечом.

Его заставили замолчать, осыпая грубыми ругательствами. Со двора доносился рев остальных союзников, поджидавших конца схватки. Их собралось не меньше сотни.

— Не называйте моего имени,— шепнула Беатриса графине Пуатье,— ведь они желают разделаться с моими дядьями.

С беременной дамой началась истерика, и она повалилась на скамью.

— Где графиня Маго? Пусть она нас выслушает... Мы знаем, что она находится здесь, мы ехали следом за ее экипажем,— вопили бароны.

Жанна Пуатье начала понимать, что эти крикуны охотятся не за ней и что требуют они не ее головы. Испуг, охвативший ее в первую минуту, прошел, и гнев окрасил ее бледные щеки; хотя Жанна провела в заключении шестнадцать месяцев, кровь Артуа вновь закипела в ее жилах со всей яростью, свойственной этому семейству.

— Я графиня Пуатье, и это я приехала в экипаже моей матери!— вскричала она.— И я не могу одобрить вашего шумного вторжения туда, где нахожусь!

Так как мятежники еще не знали, что Жанна вышла из тюрьмы, новость эта лишила их дара речи. Их, что называется, поджидал сюрприз за сюрпризом. Те, кто имел случай видеть Жанну до заключения, узнали ее.

— Потрудитесь назвать ваши имена,— продолжала Жанна,— ибо я привыкла говорить с людьми, чьи имена мне известны, а кто вы такие, я под вашими доспехами не разгляжу.

— Я — сир де Суастр,— заявил вожак мятежников, здоровенный малый с густыми рыжими бровями,— это мой соратник Комон, вот эти — Сен-Венан и Жан де Фиенн, тот — мессир де Лонгвиллье; а ищем мы графиню Маго...

— Как? — прервала его Жанна.— Я слышу имена дворян? Вот бы не поверила, судя по вашей манере обращаться с дамами, коих вам надлежит защищать, а не бросаться на них с оружием в руках! Взгляните на мадам Бомон, она в тягости, того и гляди родит, а из-за вас она совсем обомлела. Как же вам не стыдно!

Какое-то движение, выдававшее нерешительность, прошло по рядам баронов. Жанна была красива, и она так величественно бросала им вызов, что невольно внушила к себе уважение. К тому же она доводилась невесткой королю и, по-видимому, снова находилась в милости. Арно де Лонгвиллье поспешил уверить Жанну, что они, мол, не желают причинить дамам никакого зла, кипят же они яростью только против Дени д'Ирсона, который поклялся отречься от брата, а клятву не сдержал.

Они надеялись заманить графиню Маго в ловушку и силой принудить согласиться на их требования, и теперь, когда их план провалился, многие приуныли. Кое-кто из баронов, вскочив на коня, отправился разыскивать по деревням казначея, а другие, желая рассчитаться за свою неудачу, принялись грабить его жилище.

В течение часа по всему замку Виц раздавалось громкое хлопанье дверей, слышался треск вспарываемой мебели, звон посуды, сброшенной на пол. Со стен сорвали все ковры и обивку, из поставцов похитили все серебро.

Затем, вволю натешившись, но все еще грозные, мятежники усадили Жанну и ее дам в экипаж, который уже успели заложить. Суастр и Комон стали во главе кортежа, и колымага тронулась по дороге на Геден среди позвякивания стальных кольчуг.

Теперь союзники были уверены, что их допустят прямо к графине Маго.

Проехав одно лье, уже при выезде из городка Иверньи кортеж остановился. Только что поймали Дени д'Ирсона, в тот момент, когда он пытался по болотам выбраться из Оти. Весь забрызганный грязью, избитый, окровавленный, с закованными в цепи руками и ногами, спотыкаясь и хромая, шел он меж двух конных баронов.

— Что они собираются с ним делать? Что они с ним сделают? — шептала Беатриса.— Как же они над ним издеваются!

И она вполголоса стала творить загадочные свои молитвы, не имевшие никакого смысла ни по-латыни, ни на французском языке.

После долгих споров бароны пришли к единодушному соглашению: сохранить Дени д'Ирсона в качестве заложника и держать до поры до времени в ближайшем замке. Но жажда убийства обуревала их и требовала жертвы. И таковая нашлась.

Стражника Корнийо взяли одновременно с Дени. На его горе, вышло так, что как раз он, Корнийо, десять дней назад задержал Суастра и Комона. Поскольку жизнь стражника не представляла никакой ценности в смысле обменных операций, с ним решили кончить немедля. Но, с другой стороны, его казнь должна была послужить уроком всем людям Маго и заставить их призадуматься. Одни требовали, чтобы Корнийо повесили, другие настаивали на четвертовании, а третьи заявляли, что его нужно зарыть живым в землю. Состязаясь

в жестокости, бароны спорили в присутствии несчастного, какой смерти его предать, а он, стоя на коленях, с лицом, покрытым потом, вопил, что невиновен, и умолял сохранить ему жизнь. Наконец Суастр внес предложение, устроившее всех присутствующих, за исключением самого подсудимого.

Принесли лестницу. Корнийо обвязали под мышками веревкой и вздернули на дереве; когда он немного повисел в таком положении для потехи баронов, веревку перерубили, и несчастный грохнулся вниз. Пока ему рыли могилу, он лежал на земле с переломленными ногами и вопил не переставая. Его зарыли стоя, оставив снаружи только голову.

Экипаж графини Пуатье все еще ожидал сигнала к отправлению, и придворные дамы зажимали себе уши, чтобы не слышать криков мученика. Уж на что крепка была сама Жанна, и то она почувствовала, что лишается сил. Вмешаться она не осмелилась из боязни, как бы гнев баронов не обернулся против нее. Зато Беатриса д'Ирсон, хотя ей грозила непосредственная опасность, с каким-то странным любопытством наблюдала за сценой казни.

Наконец Суастр протянул свой меч одному из слуг. Над самой землей ярко блеснула длинная полоска стали, голова Корнийо покатилась по траве, и из перерезанных артерий струей брызнула кровь.

Когда колымага тронулась с места, у беременной дамы начались схватки; она неистово закричала и, откинувшись на подушки, подобрала свои юбки. И все поняли, что ей не доносить ребенка до положенного срока.

Глава III

ВТОРАЯ КОРОЛЕВСКАЯ ЧЕТА

Геден, довольно грозная крепость, обнесенная тройным кольцом крепостных стен, перерезанная рвом, ощетинившаяся боковыми башнями, густо застроенная внутри различными службами — конюшнями, амбарами, кладовыми,—была связана подземными ходами с соседней деревушкой. Гарнизон, насчитывавший восемь сотен лучников, мог свободно выдержать многомесячную осаду именно благодаря этим подсобным помещениям, где хранились все необходимые припасы. Посреди третьего двора находилась главная резиденция графов Артуа, состоявшая из нескольких строений; три поко-

ления накопили здесь несметные богатства: мебель, ковры, картины и изделия искусных ювелиров.

— Пока Геден в моих руках,— любила повторять графиня Маго,— подлым баронам меня не сломить. Придется им попотеть, прежде чем падут стены крепости, и напрасно мой племянничек Робер Артуа тешит себя надеждой, что я отступлюсь ради него от своих владений.

— Геден принадлежит мне по праву наследования,— заявлял в свою очередь Робер Артуа,— а моя тетушка Маго украла его вместе со всем моим графством. Но я уж сумею отнять у нее Геден, а заодно и ее гнусную душонку.

На закате союзники, по-прежнему эскортировавшие экипаж Жанны Пуатье, добрались до первой крепостной стены — к этому времени ряды их значительно поредели. Сир де Журни покинул кортеж под тем предлогом, что ему необходимо лично принять у крестьян сено, а сир де Живанши последовал его примеру, заявив, что не может дольше оставлять в одиночестве свою супругу. Те, чьи замки были расположены поблизости, на расстоянии стрелы и даже виднелись с дороги, решили поужинать в домашнем кругу, пригласив к трапезе ближайших друзей и уверив остальных, что тотчас же догонят их. В конце концов, осталось только тридцать упрямцев, скакавших трое суток без передышки. Стальные доспехи казались им все тяжелее и тяжелее, а главное, им хотелось почистить одежду и помыться.

Гнев свой они уже сорвали на Корнийо, чью голову, нацепленную на острие пики, везли с собой как трофей.

Они вели нудные и долгие переговоры со стражей, охранявшей первое кольцо стен, и только после этого их впустили внутрь. Потом пришлось еще ждать между первым и вторым кольцом, и Жанне тоже вместе со всеми.

Высоко в небе, еще по-вечернему светлом, висел серпик молодого месяца, но во дворе крепости уже сгущался мрак. Все было спокойно, даже, пожалуй, чересчур спокойно, с точки зрения баронов. Они только дивились, сколь малочисленна здешняя вооруженная стража. Жеребец, стоявший в конюшне, почуял присутствие чужих лошадей и громко заржал.

Спускалась вечерняя прохлада, и Жанна вдыхала знакомые ей с детства, родные запахи. Мадам Бомон все еще стонала и твердила, что умирает. Бароны стали

совещаться. Кое-кто утверждал, что они и так уж сделали немало, что все это весьма смахивает на ловушку и лучше вернуться сюда на днях, набрав побольше людей. Жанна ясно представила себе, как в разгар ночной битвы ее уведут в качестве заложницы или захватят в плен.

Наконец опустился второй подъемный мост, за ним — третий. Бароны стояли в нерешительности.

— А ты уверена, что моя мать здесь? — шепнула Жанна на ухо Беатрисе д'Ирсон.

— Клянусь своей жизнью, мадам, поверьте, мне тоже хочется поскорее очутиться под ее крылом.

Жанна высунулась из окошка.

— Эй, мессиры,— крикнула она,— вам так не терпелось поговорить с вашей госпожой, чего же вы медлите... Или вам в последнюю минуту изменило мужество?

Эти слова подстегнули баронов, и, не желая показать себя трусами в глазах женщины, они двинулись вперед, на третий двор, где и спешились.

Как бы долго человек ни готовился к тому или иному событию, оно всегда происходит совсем не так, как представлялось воображению.

Жанна Пуатье на десятки ладов представляла себе первое свидание с родными. Она приготовилась ко всему: к холодному приему, какого заслуживает прощенная грешница, к торжественной сцене официального примирения, к теплой встрече среди всеобщего ликования и родственных объятий. Для каждого из таких случаев она заранее придумала соответствующую манеру поведения и нужные слова. Но она даже вообразить себе не могла, что вернется в родной замок среди неурядиц гражданской войны, а в углу ее экипажа будет стонать придворная дама, ожидая выкидыша.

Когда Жанна вошла в большую залу, где при свете свечей стояла графиня Маго, скрестив на груди руки, поджав губы и не спуская глаз с баронов, она первым долгом сказала:

— Матушка, необходимо срочно оказать помощь мадам Бомон, которая, боюсь, разродится прежде времени. Это ваши вассалы нагнали на нее такого страха.

Графиня обернулась к своей крестнице Маго д'Ирсон, родной сестре Беатрисы, тоже находившейся при особе владелицы замка Геден (как, впрочем, и все семейство д'Ирсон: Пьер был бальи в Аррасе, Гийом —

хлебодаром, и только троим племянникам и племянницам пока не были подобраны синекуры), и скомандовала:

— Сбегай за мэтром Эрманом и мэтром Павильи (за приватными «целителями» графини) и вели им немедленно позаботиться о больной.

Затем, засучив рукава, она обратилась к баронам:

— Уж не считаете ли вы, негодные сиры, что, обращаясь таким образом с моей благородной дочерью и с ее придворными дамами, сумеете меня запугать? Понравилось бы вам, если бы с вашими женами и вашими юными дочерьми обращались так же, когда они путешествуют одни по дорогам? А ну отвечайте, скажите мне, в чем вы видите оправдание вашим злодеяниям, покарать кои я не премину попросить короля!

Бароны вытолкнули вперед Суастра, шепча ему на ухо:

— Говори же! Скажи ей все начистоту...

Суастр откашлялся, чтобы прочистить горло, и потер подбородок, на котором пробивалась трехдневная щетина. Он столько уже произнес речей, столько проклятий, громов и молний обрушивал на голову врага, столько раз выступал перед союзниками, что сейчас, в решительный момент, не знал, что и сказать.

— Так вот, мадам,— начал он,—просим вас сказать, решитесь ли вы когда-нибудь отречься от вашего бесчестного канцлера, который душит нас поборами, и согласитесь ли признать наши древние обычаи, какими были они во времена Людовика Святого?..

Вдруг он замолк, в комнату вошло новое действующее лицо, и лицом этим был граф Пуатье. Склонив голову к правому плечу, он шел спокойным, размеренным шагом. Бароны, все мелкопоместные дворянчики, пугливо сбились в кучу: они никак не ожидали, что перед ними вдруг появится брат короля.

— Мессиры,— произнес граф Пуатье. Заметив Жанну, он вдруг запнулся... Затем он приблизился к ней и поцеловал ее в губы перед лицом всех присутствующих, как будто они расстались лишь накануне, очевидно, с целью показать, что супруге его вернули милость и что отныне для него интересы графини Маго суть интересы семейные.

— Итак, мессиры,— сказал он,— вы недовольны. Что же, мы недовольны тоже. Но ежели обе стороны будут упрямиться и применять насилие, нам никогда не удаст-

ся прийти к взаимно выгодному решению. Ах, да это вы, мессир де Байанкур, я встречал вас в армии. Ну, как ваше здоровье, надеюсь, хорошо?.. Насилие — это последнее прибежище людей, не умеющих мыслить... Приветствую вас, мессир де Комон!

С этими словами Филипп прошел среди расступившихся перед ним баронов. Глядя им прямо в глаза, Филипп здоровался, называя по имени тех, кого помнил в лицо, и протягивал руку — ладонью книзу, чтобы удобнее было припасть к ней почтительным поцелуем.

— Если бы графине Артуа было угодно покарать вас за то, что вы поступили с ней так дурно, ей легко было бы это сделать. Взгляните-ка, мессир де Суастр, в окошко и скажите мне, много ли у вас шансов выбраться отсюда невредимым?

Кое-кто из баронов невольно приблизился к окнам и увидел, что над всеми стенами вдруг выросла вторая стена — стена медных шлемов, четко вырисовывавшихся в полумраке. Рота лучников выстроилась во дворе, и стражники готовы были по первому знаку поднять мосты и опустить подъемные решетки.

— Бежим скорей, пока еще есть время,— прошептал кто-то из баронов.

— Нет, мессиры, не стоит,— сказал граф Пуатье,— если даже вы и пуститесь в бегство, дальше второй крепостной стены вам все равно не уйти. Еще раз повторяю, прибегать к насилию мы не желаем, и я прошу вашу госпожу не применять против вас оружия. Не так ли, матушка?

Графиня Маго утвердительно кивнула головой.

— Давайте попытаемся иным путем положить конец нашим распрям,— продолжал граф Пуатье, садясь в кресло.

Он знаком предложил баронам сесть и велел подать вина.

Так как кресел для всех не хватило, кое-кто из прибывших уселся прямо на пол. Эта быстрая смена угроз и милостей окончательно сбила с толку смутьянов.

Филипп Пуатье говорил долго. Он доказывал баронам, что гражданская война принесет одни лишь беды, что они — подданные короля, а потом уж графини Маго, а посему и обязаны подчиняться монаршей воле. А король послал к ним двух своих людей — мессира Флотта и мессира Помье — с целью заключить перемирие. Почему же они отказались от этого предложения?

— Мы не верим графине Маго,— заявил Жан де Фиенн.

— Перемирие было предложено вам от имени короля, следовательно, вы оскорбили самого государя, подвергнув сомнению его слова.

— Но его светлость Робер Артуа нас заверил...

— Ага! Так я и знал! Остерегайтесь, славные мои сиры, следовать советам его светлости Робера, который слишком легкомысленно разрешает себе говорить от имени короля и хочет вашими руками жар загребать. Возможно, он и не жалеет денег, но себя-то жалеет, и очень. Наш кузен Артуа проиграл процесс против графини Маго уже шесть лет назад, и мой покойный отец — царство ему небесное! — сам вынес такое решение. Все, что происходит в графстве, касается лишь вас, графини Маго и короля.

Жанна Пуатье украдкой наблюдала за своим супругом. С радостью улавливала она в его голосе уверенные, спокойные нотки. Узнавала его манеру внезапно широко открывать глаза, как бы затем, чтобы подчеркнуть смысл произносимых слов, узнавала эту непринужденность, которая свидетельствовала о скрытой силе. Он показался ей удивительно повзрослевшим, зрелым. Черты лица Филиппа стали резче. Тонкий длинный нос выдавался еще сильнее, скульптура лица определилась. В то же самое время Филипп как бы приобрел особую властность, точно после смерти отца какая-то доля природной мощи покойного перешла к сыну.

К концу переговоров, длившихся битый час, Филипп Пуатье добился всего, чего хотел, или, по крайней мере, почти всего, чего можно было добиться. Дени д'Ирсона освободят, Тьерри временно не будет показываться в Артуа, но люди графини Маго до окончания опроса останутся на местах. Голову Корнийо немедленно выдадут родным, дабы похоронить его останки по христианскому обычаю...

— Ибо,—сказал граф Пуатье,— действовать так, как действовали вы, могут лишь безбожники, а не защитники подлинной веры. Подобные поступки породят череду преступлений, жертвами коих в первую очередь явитесь вы сами.

Сира де Лик и сира де Недоншель отпустят с миром, поскольку они желали лишь добра и стремились избежать ненужного кровопролития. Дамы и девицы будут окружены всяческим уважением, как то и подобает в

рыцарской стране. И наконец, все соберутся в Аррасе через две недели — другими словами, седьмого октября, дабы заключить перемирие, вслед за которым наконец-то состоится пресловутая встреча в Компьене, столько раз откладывавшаяся, и которая теперь твердо назначается на пятнадцатое ноября. Коль скоро обоим Гийомам — Флотту и Помье — не удалось объединить баронов, как того желал король, в Артуа пришлют новых представителей.

— Подписывать сегодня бумаги нам нет никакой надобности, я полагаюсь, мессиры, на ваше слово,— сказал граф Пуатье, который знал, что лучший способ завоевать доверие противника — это делать вид, что полностью ему доверяешь.— Все вы люди благородные; я убежден, что вы, Байанкур, и вы, Суастр, и вы, Лоос, да и все здесь присутствующие не пожелаете меня разочаровать и не заставите меня попусту обращаться к королю. И я рассчитываю на вас и надеюсь, что вы сумеете убедить ваших друзей прислушаться к голосу мудрости и уважать наш договор.

Словом, Филипп так ловко повел дело, что бароны на прощанье поблагодарили графа как своего самого надежного защитника. Затем, вскочив на коней, они пронеслись по трем подъемным мостам и исчезли в ночи.

— Дорогой мой сын,— воскликнула графиня Маго,— вы меня спасли! Никогда в жизни мне не хватило бы терпения с ними так говорить.

— Я выторговал для вас две недели,— ответил Филипп, пожимая плечами.— Обычаи Людовика Святого... Они уже порядком надоели мне со своими обычаями Людовика Святого! Можно подумать, что моего отца вообще не существовало на свете. И в самом деле, стоит только великому королю двинуть свою страну вперед, непременно найдутся глупцы, которые упорно будут тащить ее назад. А мой брат еще их поощряет!

— Ах, какая жалость, Филипп, что не вы король! — вздохнула Маго.

Филипп ничего не ответил, он следил взором за своей женой. А Жанна, когда все страхи уже миновали и когда после долгих месяцев наконец-то сбылись ее мечты, вдруг почувствовала, что силы оставили ее, и с трудом сдерживала слезы, невольно навертывавшиеся на глаза.

Желая скрыть свое волнение, она медленно прошлась по комнате, как бы заново знакомясь с местами,

где прошло ее детство, но каждый предмет, который она узнавала, лишь усугублял ее смятение. Обнаружив шахматную доску с фигурами из яшмы и халцедона, она вспомнила, что именно за этой доской ее обучали играть в шахматы.

— Как видишь, ничего не изменилось, — сказала Маго.

— Да, ничего не изменилось,— повторила Жанна глухим голосом, поворачиваясь к шкафчику, где хранились книги.

В шкафчике стояло с дюжину томов — это была одна из самых обширных частных библиотек, имевшихся в то время во Франции... «Детство Ожье», «Роман о Розе», Библия на французском языке, «Жития святых», «Роман о Лисе», «Тристан»... Сколько раз вместе с сестрой Бланкой рассматривала она прекрасные миниатюры, исполненные на пергаменте! А одна из придворных дам графини Маго читала девочкам вслух.

— Вот смотри, ты, кажется, уже видала эту книжку, я давно ее купила. Заплатила триста ливров,— похвасталась Маго, показывая на «Путешествие в страну Великого Хана», сочинение мессира Марко Поло.

Графине хотелось рассеять тягостное смущение, охватившее всех участников этой сцены.

В эту минуту карлик графини Маго, по прозвищу Жанно Дурачок, вошел в залу, таща за собой на поводу деревянную лошадку, на которой ему полагалось гарцевать по всему дому. Ему уже перевалило за сорок, глаза у него были большие, собачьи, и крохотный курносый носик; ростом он доходил как раз до стола, носил вышитое платьице и круглую шапочку.

Заметив Жанну, он вздрогнул, затем открыл от изумления рот и, вместо того чтобы кувыркаться, что входило в его обязанности, молча кинулся к молодой женщине, упал на пол, прижавшись губами к ее ботинку.

Вся стойкость Жанны, все ее самообладание разом исчезли. Она зарыдала, повернулась к графу Филиппу и, увидев на его лице улыбку, бросилась в его объятия с криком:

— Филипп!.. Филипп!.. Наконец-то, наконец-то я снова с вами.

Уж на что была жестокосердной графиня Маго, и та почувствовала легкий укол в сердце, ибо дочь бросилась

не к ней, а к мужу, чтобы в его объятиях рыдать от счастья.

«Но ведь я сама этого хотела,—подумала Маго.— Главное, чтобы они помирились, чего же мне еще. Слава богу, дело успешно завершено».

— Филипп, ваша супруга устала,— произнесла она.—Отведите ее в ваши апартаменты. Ужин вам подадут туда.

И когда молодые люди прошли мимо нее, она тихо добавила, обращаясь к одному только Филиппу:

— Я ведь говорила, что она вас любит.

Графиня Маго следила взглядом за молодыми супругами, которые направились к двери, тесно прижавшись друг к другу. Затем она махнула рукой Беатрисе, приказывая ей незаметно следовать за ними.

Глубокой ночью, когда графиня Маго, желая вознаградить себя за пережитые волнения и усталость, доканчивала свою шестую и последнюю трапезу, к ней в спальню, сдержанно улыбаясь, вошла Беатриса.

— Ну? — спросила Маго.

— Ну, мадам, приворотное зелье подействовало сильнее, чем мы могли надеяться. Сейчас они спят.

Маго задумчиво откинулась на подушки.

— Слава тебе, господи,— произнесла она.— Вот мы с тобой и воссоединили вторую королевскую чету.

Глава IV

ДРУЖБА СЛУЖАНКИ

И начались недели, принесшие королевству относительный покой. Враждующие партии встретились сначала в Аррасе, затем в Компьене, и король обещал вынести свое решение относительно графства Артуа еще до рождества. Северные бароны, временно утихомиренные, разъехались по своим замкам. Поля лежали черные, пустынные; в овчарнях жались в кучу озябшие овцы. В безмолвии зимы дремали французские деревни.

Наступили самые короткие в году дни; декабрьские зори расползались над землею дымом, словно где-то поблизости нехотя горел лес, еще одетый зеленой листвой. Ночной мрак рано спускался на королевскую резиденцию в Венсене, со всех сторон окруженную бором.

Послесбеденные часы Клеменция посвящала вышиванию. Она дала обет вышить напрестольную пелену,

изображавшую рай. Праведники разгуливали среди апельсиновых и лимонных деревьев под безупречно лазоревым небом; рай этот до странности походил на неаполитанские сады.

«Королевой становятся не для того, чтобы быть счастливой»,— часто думала Клеменция, повторяя про себя слова своей бабки Марии Венгерской. Не то чтобы она была несчастлива в прямом смысле этого слова, даже оснований быть несчастной у нее не имелось. «Просто я поддаюсь дурному чувству,— твердила она себе,— и, неблагодарная, еще смею не возносить хвалу нашему создателю за все, что он мне дал». Но Клеменция не могла понять, откуда эта усталость, эта печаль, эта тоска, не оставлявшая ее с утра до вечера.

Разве ее не окружили тысячью забот? Рядом с ней постоянно находилось не меньше трех придворных дам, выбранных из самых благородных семейств королевства, и они выполняли любое ее желание, предупреждали любое ее движение, подавали, вдергивали нитку в иголку, держали перед ней зеркало, причесывали ее, набрасывали ей на плечи накидку, как только становилось прохладнее...

Самые прославленные менестрели, сменяя друг друга, рассказывали ей о приключениях короля Артура, рыцаря Ланселота и Золотую легенду, повествующую о житии святых.

Десяток гонцов несли лишь одну службу: они скакали из Неаполя в Венсен и обратно и отвозили ее письма к бабке, к дяде — королю Роберту и прочим родственникам.

В своем распоряжении она имела четверку белых иноходцев, ходивших в серебряной упряжи, вожжи были шелковые с вплетенными в них золотыми нитями, а когда она сопровождала короля, ездившего на встречу с баронами в Компьен, то для нее приготовили особый дормез с колесами, блестевшими, как солнце, такой красивый, такой огромный, такой богатый, что по сравнению с ним дорожная карета графини Маго казалась просто деревенской повозкой для сена.

И разве Людовик не был самым примерным в мире супругом? Ведь достаточно ей было сказать, когда они вместе посетили Венсен, что замок пришелся ей по душе и что хорошо бы жить здесь, как Людовик оставил Париж и переселился в Венсен. И сразу же все знатные сеньоры начали скупать замки вокруг Венсена и стро-

иться. Говорили даже, что мессир Толомеи немало помог многим сеньорам в приобретении земель и что благодаря ему этот край начал обогащаться. И Клеменция, не представлявшая себе, что такое венсенская зима, не смела теперь признаться, что предпочла бы снова переехать в Париж. Но ей не хотелось обмануть чаяния всех этих людей, которые вошли в расходы, лишь бы жить в ее близости.

И впрямь король осыпал ее благодеяниями! Дня не проходило, чтобы он не приносил ей нового подарка, так что она иной раз даже смущалась.

— Я хочу, душенька,— твердил Людовик,— чтобы вы могли затмить всех дам на свете.

Но разве ей так уж необходимы три золотые короны: одна — украшенная десятью огромными рубинами, другая — с четырьмя большими и шестнадцатью мелкими изумрудами и с двумя дюжинами жемчужин и третья — тоже с жемчугом, тоже с изумрудами и рубинами?

Для стола Людовик купил ей дюжину червленых кубков с эмалью, украшенных гербами Франции и Венгрии... И так как она была глубоко верующей, а он восхищался ее религиозностью, то преподнес ей ценный ковчежец, за который уплатил восемьсот ливров,— с изображением честного креста господня. С ее стороны было бы непростительно обескураживать великодушные порывы супруга, сказать ему, например, что с таким же успехом можно творить молитву где-нибудь в саду и что самая прекрасная чаша в мире вопреки всем ухищрениям искусных ювелиров, всем королевским богатствам — это солнце, какое блещет у них на Средиземноморье.

В прошлом месяце Людовик сделал ей еще дар — земли, которые она даже не успела посетить: дома и замки в Маневилле, Эбикуре, Сен-Дени-де-Фермане, Варде и Дампьере, а также Леонские и Брейские леса.

— К чему, милый мой государь,— сказала она ему тогда,— вы отказываетесь от стольких угодий в мою пользу, ведь я только ваша служанка и могу пользоваться всеми этими благами лишь через вас.

— Вовсе ни от чего я не отказываюсь,— возразил Людовик.— Все эти сеньории принадлежали Мариньи, у которого я отобрал их через суд и могу ими распоряжаться как мне заблагорассудится. Я хочу, если со мной случится беда, чтобы вы остались самой богатой дамой во всем королевстве.

И хотя ей была неприятна даже мысль наследовать имущество повешенного, могла ли она отказаться от этого дара — дара любви; и о любви этой по настоянию Людовика было объявлено в дарственной записи:

«Мы, Людовик X, милостью божьей король Франции и Наварры, доводим до сведения живущих ныне и будущих поколений, что мы, принимая во внимание радостное и приятное общение, каковым дарит нас смиренно и прелюбезно Клеменция, в силу чего она и заслуживает нашего сердечного дара...»

Можно ли с большей деликатностью сказать о своих чувствах в государственном документе? И вдобавок он дал ей в собственность дома в Корбейе и Фонтенбло. Казалось, каждая ночь, проведенная с ней, стоила замка. О, да! Мессир Людовик сильно ее любит. Ни разу в ее присутствии он не был «сварливым», и она даже не понимала, как могла пристать к нему эта кличка. Ни разу они не поссорились, ни разу на него не накатил приступ ярости. Господь бог поистине послал ей хорошего супруга.

И вопреки всему этому Клеменция скучала. Она не слушала менестрелей и вздыхала, расшивая золотыми нитями свои райские лимоны.

Напрасно она понуждала себя интересоваться делами графства Артуа, о которых ежевечерне размышлял вслух Людовик, меряя крупными шагами ее опочивальню.

Ее пугали сентенции, которые время от времени бросал граф Робер таким голосом, что казалось, сейчас взлетят на воздух крыши венсенского замка; он называл ее «кузиной», будто скликал свору борзых, и уверял, что мадам Маго и дочь ее, мадам Пуатье, настоящие шлюхи, чему Клеменция просто отказывалась верить.

Раздражал ее и граф Валуа, который непрерывно вертелся вокруг нее и допытывался:

— Ну-с, племянница, когда вы подарите престолу наследника?

— Когда богу будет угодно,— скромно отвечала она.

Но друзей у Клеменции не было. Обладая тонким умом и отнюдь не тщеславная, она понимала, что все знаки внимания оказывались ей неспроста. Она усвоила ту истину, что королей никто не любит как таковых, и те, что преклоняют перед ними колена, думают лишь

об одном: как бы подобрать крохи могущества, падающие с их уст.

«Королевой становятся не для того, чтобы быть счастливой; возможно, именно королевский престол и мешает счастью»,— снова повторяла про себя Клеменция в эти послеобеденные часы, когда вдруг в комнату ворвался его высочество Валуа с такой стремительностью, будто он только что оттеснил врага от границ государства.

— Племянница,— начал он,— я принес вам весть, которой предстоит изрядно взволновать двор: наша невестка, мадам Пуатье, в тягости. Бабки окончательно удостоверились в этом нынче утром. А ваша кузина Маго уже успела разукрасить флагами свой замок Конфлан, словно в день процессии в честь праздника господня.

— От души радуюсь за мадам Пуатье,— проговорила Клеменция.

— Надеюсь, она выразила вам свою благодарность,— подхватил Карл Валуа,— ибо только вам одной она обязана своим теперешним положением. Ежели бы вы не вымолили ей прощение в день вашей свадьбы, не думаю, чтобы Людовик когда-нибудь согласился ее освободить.

— Значит, бог пожелал показать мне, что я совершила благое дело, коль скоро он благословил этот союз.

Валуа, гревшийся у камина, повернулся так круто, что пола его плаща мелькнула в воздухе, будто реющий по ветру стяг.

— Похоже, что господь бог не так уж торопится благословить ваш союз,— отрезал он.— Когда же вы, дорогая племянница, решитесь последовать примеру вашей невестки? И впрямь весьма прискорбно, что она опередила вас. Разрешите мне, Клеменция, поговорить с вами, как родному отцу. Вы же знаете, что я не люблю намеков и всегда режу правду-матку. Шепните-ка мне на ушко, хорошо ли Людовик выполняет свой долг по отношению к вам?

— Людовик так внимателен ко мне, как только может быть внимателен супруг.

— Да нет, племянница, выслушайте меня хорошенько: я говорю о христианских обязанностях супруга, или, если угодно, о плотских обязанностях.

Краска бросилась в лицо Клеменции. Она пробормотала:

— Я не понимаю, на что вы намекаете, дядя. У меня мало опыта в таких делах, но я не вижу, в чем тут можно упрекнуть Людовика. Я замужем всего пять месяцев и думаю, что вам еще рано тревожиться.

— Но удостаивает ли он своим посещением ваше ложе?

— Почти каждую ночь, дядюшка, если вам это угодно знать. Я же могу быть лишь верной его служанкой, когда он того желает, большее не в моих силах.

— Ну что ж, будем надеяться! Будем надеяться! — подхватил Карл Валуа.— Но поймите и меня, дорогая племянница, ведь это я устроил ваш брак. И я не желаю, чтобы меня упрекали в плохом выборе.

Тут Клеменция впервые почувствовала, как в ее душе нарастает гнев. Она отбросила вышивание, поднялась с кресла, выпрямилась, и в голосе ее прозвучали нотки, унаследованные от старой королевы Марии Венгерской:

— Вы, должно быть, забыли, мессир Валуа, что моя бабка, королева Венгерская, произвела на свет тринадцать детей, что моя мать, Клеменция Габсбургская, родила троих, хотя умерла в моем возрасте или около того. Женщины нашего рода плодовиты, дядюшка, и ежели ваше желание исполнилось не сразу, то не по вине нашего рода. И кроме того, мессир, сегодня хватит говорить об этом — и сегодня, и впредь.

Клеменция вышла из комнаты и заперлась в своей опочивальне.

Обнаружила ее там часа через два первая дворцовая кастелянша Эделина, пришедшая постлать на ночь постель: Клеменция сидела у окна, за которым уже сгустился ночной мрак.

— Как так, мадам,—воскликнула Эделина,— вас оставили без света! Сейчас пойду кликну людей!

— Нет, нет! Я никого не хочу видеть,—слабым голосом отозвалась Клеменция.

Кастелянша раздула угасающее пламя, сунула в огонь смолистую веточку и зажгла от нее свечку, воткнутую в железный подсвечник.

— Ох, мадам, да вы плачете! — вскрикнула она.— Неужели кто-нибудь осмелился вас обидеть?

Королева утерла мокрые глаза. Вид у нее был отсутствующий, растерянный.

— Эделина, Эделина,— воскликнула Клеменция,— дурное чувство мучит меня: я ревную.

Кастелянша изумленно уставилась на королеву.

— Вы, мадам, ревнуете? Да какие же у вас для этого основания? Я уверена, что наш государь Людовик даже в мыслях вас не обманывает.

— Я ревную к мадам Пуатье,— призналась Клеменция.— Вернее, завидую ей, ведь у нее будет ребенок, а я... я все не дождусь. О, конечно, я счастлива за нее, я за нее рада, но я не знала, что счастье другого может причинить человеку такую боль.

— Ах, мадам, счастье другого — оно как раз и может причинить человеку премного страданий!

Эделина произнесла эту фразу странным тоном, не как положено служанке, безоговорочно подтверждающей слова госпожи, а как женщина, перенесшая те же муки и понимающая, как могут они быть тяжелы. Этот тон не ускользнул от слуха Клеменции.

— У тебя тоже нет ребенка? — спросила она.

— Есть, мадам, как не быть. У меня дочка, зовут ее так же, как и меня, и ей уже одиннадцать лет.

Эделина повернулась спиной и начала озабоченно взбивать постель, оправлять парчовые одеяла и подбитые беличьим мехом покрывала.

— А ты давно служишь здесь? — продолжала Клеменция.

— С весны. Как раз перед самым вашим приездом. А до того служила во дворце Ситэ, на моем попечении было белье нашего государя Людовика, а сначала целых десять лет состояла при его покойном батюшке, короле Франции.

Воцарилось молчание, и слышно было только, как похлопывают ладони Эделины по пуховым подушкам.

«Она знает все тайны этого дома... а также и альковные тайны,— подумала королева.— Но нет, я ее ни о чем не спрошу, ни о чем не стану допытываться. Некрасиво расспрашивать служанок... это просто недостойно меня».

Но кто же тогда может сообщить ей нужные сведения, если не служанка, другими словами, существо, которое причастно к интимной жизни королей, не будучи причастно к их славе? Никогда у нее, Клеменции, не хватило бы духу расспрашивать принцев крови обо всем, что жгло ее душу после разговора с Карлом Валуа; впрочем, она заранее знала, что не получит правдивого ответа. Знатных придворных дам она не дарила настоящим доверием, ибо ни одна из них не питала к

ней настоящей дружбы. Она чувствовала себя чужеземкой, которую осыпают льстивыми похвалами, но за которой следят, за которой наблюдают и чья малейшая ошибка, малейшая слабость не будет никогда прощена. Поэтому-то она и могла позволить себе откровенность только со служанками. Эделина, по-видимому, заслуживала всяческого расположения: взгляд прямой, держит себя просто, движения у нее спокойные, уверенные, и к тому же первая дворцовая кастелянша с каждым днем относилась к Клеменции все заботливее и предупредительнее, причем делалось это не назойливо, не напоказ.

Вдруг Клеменция решилась.

— Правда ли,— спросила она,— что крошка Наваррская, которую держат вдали от двора и которую мне показали всего только раз, рождена не от моего супруга?

И в то же время про себя она думала: «Разве не должны были открыть мне раньше все эти дворцовые тайны? Бабушке следовало бы просветить меня, а то выдали замуж, оставив в неведении».

— Эх, мадам,— ответила Эделина, продолжая взбивать подушки, и по голосу кастелянши слышно было, что вопрос королевы не особенно ее удивил.— Я так полагаю, что никто этого по-настоящему не знает, даже наш государь Людовик. Каждый говорит так, как ему выгодно: одни утверждают, что крошка Наваррская — дочь короля, и им это на руку, а другие твердят, что она, мол, незаконнорожденная. Есть и такие, как, скажем, его высочество Валуа. Они что ни месяц меняют свое мнение, как будто тут можно по-разному думать. Единственная особа, которая могла бы ответить точно, была Маргарита Бургундская, да теперь ее уста забиты сырой землей...

Эделина вдруг прервала речь и взглянула на королеву.

— Вы тревожитесь, мадам, потому что не знаете, может ли наш государь...

Она снова замолчала, но Клеменция, выразительно взглянув на кастеляншу, заставила ее продолжать.

— Успокойтесь, мадам,— произнесла Эделина.— Его величеству Людовику ничто не мешает иметь наследника, хотя люди злоязычные в королевстве да и при дворе утверждают обратное.

— Ты-то откуда знаешь? — спросила Клеменция.

— А вот знаю,— медленно произнесла Эделина.— Тут уж постарались сделать так, чтобы только я одна и знала.

— О чем ты говоришь?

— Говорю чистую правду, мадам, потому что у меня на душе тяжкая тайна. Конечно, лучше бы мне помолчать... Но такая дама, как вы, столь высокого происхождения и столь милосердная по природе, не оскорбится, если я признаюсь, что я в молодости имела от его величества Людовика ребенка, а было это одиннадцать лет тому назад...

Королева глядела на Эделину с безграничным удивлением. То обстоятельство, что у Людовика была первая супруга, не вносило никаких осложнений, разве что чисто династического порядка. Этот брак не выходил за пределы установленных обычаев. У Людовика была супруга, которая вела себя недостойным образом; тюрьма, затем смерть разлучили их. Но в течение пяти месяцев своего брака с королем Франции Клеменция ни разу не задумывалась над вопросом, какова была интимная жизнь Людовика с Маргаритой Бургундской. Их супружеская жизнь не вызывала в ней никаких мыслей, не будила любопытства; брак и любовь в данном случае вещи совершенно различные. И вот любовь, любовь, не освященная таинством брака, встала перед ней в образе этой бело-розовой пышной тридцатилетней красавицы; и воображение Клеменции лихорадочно заработало.

Эделина расценила молчание королевы как знак неодобрения.

— Не я этого захотела, мадам, поверьте мне, тут он свою власть проявил. Он был такой молоденький, еще несмышленыш, и побоялся бы какой-нибудь важной дамы.

Клеменция махнула рукой, как бы желая сказать, что никаких объяснений ей не требуется.

— Значит, как раз об этом ребенке ты сейчас и говорила? — спросила она.

— Да, мадам, о моей Эделине.

— Я хочу ее видеть.

Лицо кастелянши исказилось от страха.

— Конечно, мадам, вы можете ее увидеть, можете увидеть, ведь вы королева. Но, молю вас, не делайте этого, а то узнают, что я с вами говорила. Она так похожа на своего отца, на его величество Людовика, что он испугался, как бы вам не было неприятно ее видеть,

и велел отдать ее перед вашим приездом в монастырь. Я и сама вижусь с ней только раз в месяц, а когда девочка подрастет, ее постригут в монахини.

Первые душевные движения Клеменции всегда диктовались великодушием. На минуту она совсем забыла о своей собственной драме.

— Зачем? Зачем это делать? — вполголоса произнесла она.— Кому пришло в голову, что этим можно мне угодить? Хороши, должно быть, женщины, с какими привыкли иметь дело принцы Франции! Значит, бедняжка Эделина, из-за меня у тебя отобрали дочь? Прости меня, прости!

— О мадам,— возразила Эделина,— я же отлично знаю, что вы тут ни при чем.

— Я тут ни при чем, но сделано это из-за меня,— задумчиво возразила Клеменция.— Каждый из нас ответствен не только за свои собственные скверные поступки, но также за все зло, причиной которого он стал неведомо для себя.

— А меня, мадам,—продолжала Эделина,— а меня, хотя я была первой кастеляншей во дворце Ситэ, его величество Людовик отослал сюда, в Венсен, и положение у меня теперь по сравнению с тем, что я занимала в Париже, совсем скромное. Против королевской воли не пойдешь, но вот за молчание мое не особенно-то меня отблагодарили, что верно, то верно. Меня его величество Людовик тоже хотел подальше упрятать; разве могло ему в голову прийти, что вы предпочтете эту лесную глушь, когда в Париже у вас такой огромный дворец.— Теперь, когда Эделина вступила на стезю признаний, она уже просто не могла остановиться.

— Сейчас я вам все скажу,— продолжала она,— вот когда вы приехали сюда, я, конечно, готова была вам служить только по долгу, а уж никак не по своей охоте. А вы оказались настоящей благородной дамой — и душой добрая, и лицом красавица, вот я и почувствовала к вам любовь. Вы и представления не имеете, как маленькие люди вас любят: вы бы послушали, что говорят о королеве на кухне, на конюшнях, в прачечных. Вот они, по-настоящему преданные вам души, а не бароны да графы. Вы наши сердца завоевали, и даже мое, хотя я долго крепилась, а теперь нет у вас служанки преданнее меня,— заключила Эделина, опускаясь на колени и припав поцелуем к руке королевы.

— Я велю вернуть твою дочь,— произнесла Клемен-

ция,— я возьму ее под свое покровительство. Я поговорю о ней с королем.

— Не делайте этого, мадам, богом вас молю! — воскликнула Эделина.

— Король осыпает меня дарами, которых я у него и не прошу совсем! И конечно, согласится сделать мне подарок, чтобы меня порадовать.

— Нет, нет, молю вас, не делайте этого,— повторила Эделина.— Пусть уж лучше я увижу свою дочь в монашеском клобуке, чем в земле.

Впервые в течение этого разговора Клеменция улыбнулась, даже засмеялась.

— Значит, во Франции люди твоего положения так боятся короля? Или до сих пор жива еще память о короле Филиппе, который, говорят, не знал пощады?

Эделина по-настоящему полюбила королеву, но затаила глубокую обиду против Сварливого. И сейчас ей представлялся прекрасный случай удовлетворить одновременно оба этих чувства.

— Вы еще не знаете его величества Людовика, как каждый из нас его знает, он еще не показал вам изнанку своей души. Никто не забыл,— добавила она, понизив голос,— как наш государь Людовик после суда над мадам Маргаритой приказал пытать слуг Нельского отеля, и возле Нельской башни выловили из реки восемь искалеченных и изуродованных трупов. Что же, по-вашему, случайно они попали в Сену? Вот я и не желаю, чтобы нас с дочкой тоже случайно столкнули в реку.

— Все это сплетни, которые распускают враги короля...

Но, произнося эти слова, Клеменция вдруг вспомнила намеки кардинала Дюэза и то, как отвечал на лионской дороге толстяк Бувилль на ее вопросы относительно обстоятельств смерти Маргариты. Клеменция вспомнила также, как ее зять Филипп Пуатье говорил обиняками о пытках и приговорах, которыми в обход законов погубили бывших министров Филиппа Красивого.

«Неужели мой супруг жестокосерд?»— подумала она.

— Зря я вам тут лишнего наговорила,—продолжала Эделина.—Дай бог, чтобы никогда вы не узнали худого и по вашей доброте оставались в неведении.

— А что худого я могу узнать? Мадам Маргарита... действительно?

Эделина с грустным видом пожала плечами.

— При дворе только вы одна, мадам, можете в этом сомневаться, а если вам еще ничего не сообщили, значит, люди подстерегают подходящую минуту, чтобы вам же хуже сделать. Он велел ее задушить, это всем известно...

— Боже мой, боже мой, нет, это немыслимо!.. Неужели он решил ее убить для того, чтобы жениться на мне! — простонала Клеменция, закрывая лицо руками.

— Ах, только не плачьте, мадам,— сказала Эделина.— Скоро ужин, и вы не можете показаться на люди в таком виде. Надо умыть лицо.

Эделина принесла таз холодной воды и зеркало, намочила полотенце и отерла щеки королевы, а заодно поправила ее растрепавшиеся белокурые волосы. Делала она все это мягкими движениями, в которых чувствовалась покровительственная нежность.

В эту минуту лица обеих женщин отразились рядом в зеркале — одинаково бело-розовые, с теми же большими голубыми глазами.

— А ты знаешь, мы похожи,— заметила королева.

— Большего комплимента мне еще никогда не делали, а уж как бы мне хотелось, чтобы так оно и было,— ответила Эделина.

И столь велико было волнение этих двух женщин и так велика потребность их в дружбе, что супруга короля Людовика X и его бывшая любовница в невольном порыве потянулись друг к другу и обнялись.

Глава V

ВИЛКА И СКАМЕЕЧКА

Высоко задрав подбородок, улыбаясь и переваливаясь по-утиному, Людовик X в накинутом на ночное белье беличьем халате вошел в спальню Клеменции.

Он с удивлением заметил, что королева просидела весь ужин с непривычно мрачным, рассеянным видом; казалось, она даже не слышала обращенных к ней слов и отвечала на вопросы с запозданием; но король не особенно-то встревожился. «Настроения женщин подвержены таким переменам,— подумал он.— А подарок, который я нынче утром приобрел для нее, сразу же вернет ей веселое расположение духа». Ибо Сварливый принадлежал к числу мужей, лишенных воображения, ко-

торые придерживаются не слишком высокого мнения о женщинах и считают, что любая их обида проходит от подарка. Поэтому-то он и явился к Клеменции с самым любезным, на какой только был способен, видом, держа в руке небольшой продолговатый ларчик, на крышке которого был выбит герб королевы.

Но, увидев Клеменцию, стоявшую на коленях на скамеечке перед образом, он смутился. Обычно королева заканчивала вечерние молитвы до его прихода. Людовик махнул ей рукой, что означало: «Не обращайте на меня внимания, молитесь с миром»,— и остался стоять в углу комнаты, смущенно вертя в руках ларчик.

Шли минуты, Людовик подошел к кубку с сладостями, стоявшему на столике возле постели, и с хрустом разгрыз драже. Клеменция все еще не подымалась с колен, и Людовик нашел, что время тянется чересчур медленно. Он приблизился к супруге и только тут заметил, что она не молится. Клеменция молча смотрела на него.

— Глядите, душенька,— начал он,— поглядите, какой я вам приготовил сюрприз. О нет, это не драгоценность, просто редкая вещица, изобретение одного золотых дел мастера. Поглядите-ка скорее...

Он открыл ларчик, вынул оттуда какой-то блестящий предмет с двумя заостренными кончиками, и Клеменция, преклонившая колени на своей молитвенной скамеечке, испуганно отшатнулась.

— Нет, нет, душенька,— засмеялся Людовик,— не бойтесь, этим человека ранить нельзя; это особая вилка для груш. Посмотрите, какая прекрасная работа,— добавил он, кладя на деревянную скамеечку вилку с двумя стальными острыми зубцами, вделанными в рукоятку из слоновой кости с золотыми инкрустациями.

Людовик почувствовал досаду: королева и впрямь не проявила особого интереса к его подарку и не оценила новизны предмета.

— Она изготовлена,— продолжал он,— по поручению мессира Толомеи, который заказал ее у одного флорентийского ювелира. Говорят, во всем мире существует не больше пяти таких вилочек, и вот мне захотелось, чтобы и у вас тоже была одна, чтобы вы не пачкали ваши хорошенькие пальчики, когда едите фрукты. Это как раз предмет для дам; никогда мужчины не осмелятся, да и не научатся пользоваться этим ценным орудием, разве только наш обабившийся Эдуард Анг-

лийский, мой зять, у которого, по слухам, тоже есть вилочка, и, представьте, он не стыдится пользоваться ею за столом.

Рассказывая Клеменции эту забавную историю, Людовик надеялся отвлечь ее от печальных мыслей. Но его попытка не удалась. Клеменция даже не пошевелилась и по-прежнему пристально глядела на мужа; никогда еще она не казалась ему такой прекрасной с распущенными золотыми волосами, падающими до пояса. Темы для дальнейшей беседы решительно не находилось, и Людовик прибег к последнему ресурсу.

— Ах да,— продолжал он,— мессир Толомеи как раз сообщил мне, что его юный племянник, которого я посылал к вам в Неаполь вместе с Бувиллем, окончательно поправился и скоро приедет в Париж. В каждом своем письме к дяде он превозносит доброту, которую вы к нему проявили.

«Да что с ней, в конце концов? — думал король.— Даже не поблагодарила». Будь на месте Клеменции любой другой человек, Людовик уже давно бы впал в ярость, но ему не хотелось доводить дело до первой супружеской сцены. Он овладел собой и снова попытался завести разговор.

— Думаю, что на этот раз положение в Артуа уладится,— заявил он.— Я очень рад, что дело улаживается. Встреча в Компьене, куда вы так мило согласились меня сопровождать, принесла желанные результаты, и вскоре я соберу Большой совет, дабы вынести окончательное решение и заключить договор между графиней Маго и ее баронами.

— Людовик,— вдруг прервала его Клеменция,— отчего скончалась ваша первая супруга?

Людовик подался вперед всем телом, как будто ему нанесли удар под ложечку, и с минуту ошалело глядел на Клеменцию.

— Она умерла... она умерла,— произнес он, нервно двигая руками,— умерла от грудной лихорадки, от которой задохлась, как мне передавали.

— Людовик, можете ли вы поклясться в этом перед богом?

— В чем я должен клясться? — Сварливый повысил голос.— Не в чем мне клясться. Чего вы добиваетесь, что хотите знать? Я вам сказал то, что сказал, и прошу этим удовольствоваться, больше вам знать нечего.

С этими словами он торопливо зашагал по опочи-

вальне. Шея, открытая до ключиц глубоким вырезом ночной сорочки, побагровела; большие тусклые глаза заблистали тревожным блеском.

— Не желаю! — заорал он.— Не желаю, чтобы со мной о ней разговаривали! Чтобы никогда не разговаривали! А уж вы — во всяком случае! Запрещаю вам, Клеменция, хоть когда-нибудь произносить в моем присутствии имя Маргариты.

Приступ кашля прервал его вопли.

— Можете ли вы поклясться мне перед господом богом,— повторила Клеменция, и голос ее был отчетливо слышен во всех уголках опочивальни,— можете ли вы поклясться, что ее кончина совершилась без вашей воли?

Гнев у Людовика обычно затемнял разум. Вместо того чтобы просто отрицать факты или скрыть смущение притворным хохотом, он яростно выкрикнул:

— А если бы и так? Уж кому-кому, а вам меня упрекать совсем не пристало. Это не моя вина, во всем виновата Мария Венгерская!

— Бабушка? — пробормотала Клеменция.— При чем тут моя бабушка?

Сварливый понял, что совершил оплошность, и это лишь подстегнуло его гнев. Но было слишком поздно идти на попятный. Он почувствовал себя в ловушке.

— Конечно же, во всем виновата Мария Венгерская,— повторил он,— это она требовала, чтобы свадьбу сыграли еще до лета. Ну, а я пожелал, слышите, только пожелал... чтобы Маргарита до этого времени померла. Пожелал вслух, а меня услышали — вот и все! Если бы я тогда не высказал своего желания, не быть бы вам королевой Франции. Не стройте из себя невинность и не упрекайте меня за что не следует; вас это вполне устраивало и вознесло так высоко, как вы и надеяться никогда не могли.

— Ни за что бы я не согласилась, знай я только, какой ценой все это куплено!— закричала Клеменция.— Из-за этого преступления, Людовик, бог и не дает нам с вами ребенка!

Людовик круто обернулся и застыл, как оглушенный, на месте.

— Из-за этого преступления и из-за всех остальных, совершенных вами,— продолжала королева, поднимаясь со скамеечки.— Вы велели убить вашу жену! Вы велели повесить на основании ложных доносов мессира де

Мариньи и заточили в темницу советников вашего отца, которые, как меня уверили, были честными его слугами. Вы велели пытать тех, кто имел несчастье вам не угодить. Вы посягали на жизнь и свободу чад божьих, и вот почему бог сейчас карает вас, препятствуя дать жизнь собственному чаду.

Людовик, оцепенев, смотрел, как она приближается к нему. Итак, оказывается, на свете имеется еще третий человек, которого не трогают его вспышки, который умеет обуздывать его ярость и торжествовать над ним. Отец, Филипп Красивый, подавлял его своим авторитетом, брат, граф Пуатье,— своим умом, и вот вторая жена — своей верою. Мог ли он даже вообразить себе, что судья предстанет перед ним в их супружеской спальне в облике прекрасной женщины, чьи волосы разметались по плечам, как хвост кометы?..

Лицо Людовика жалобно скривилось, сейчас он напоминал ребенка, готового разреветься.

— А что мне прикажете делать? — спросил он пронзительным голосом.— Мертвых я воскрешать не умею. Вы не знаете, что значит быть королем! Ничто не делается полностью по моей воле, а вы меня во всем вините. Чего вы хотите добиться? К чему корить меня в том, чего уже нельзя поправить? Ну что же, разойдитесь со мной, уезжайте обратно в Неаполь, если вам так уж отвратителен мой вид. И ждите, когда выберут папу, и просите у него расторгнуть наш брак!.. Ах, этот папа, которого никак не удается избрать! — добавил он, сжимая кулаки.— А ведь вы и представить себе не можете, чего я только не делал... Ничего бы не случилось, будь у нас папа.

Клеменция положила обе руки на плечи мужа. Она была немного выше его ростом.

— Я вовсе не собираюсь разлучаться с вами,— произнесла она.— Я стала вашей супругой, надеясь при всех обстоятельствах делить ваши беды и ваши радости. Единственное, чего я хочу,— это спасти вашу душу и внушить вам мысль о раскаянии, без которого не бывает прощения.

Он взглянул ей прямо в глаза и увидел в них только доброту и безграничное сострадание. Людовик с облегчением вздохнул: он так боялся ее потерять... Он привлек ее к себе.

— Душенька моя, душенька,— пробормотал он,— вы лучше меня, насколько же вы лучше меня... Я просто не

знаю, как смогу без вас жить. Обещаю вам исправиться и вечно буду оплакивать причиненное мною зло.

С этими словами он припал к ней и коснулся губами того места, где линия шеи мягко переходит в плечо.

— Ах, моя душенька,— продолжал он,— какая же вы хорошая! Как вас хорошо любить! Я буду таким, каким вы хотите, обещаю вам. Конечно же, я испытываю угрызения совести и иной раз сам пугаюсь содеянного. И забываюсь я только в ваших объятиях. Идите, душенька, в мои объятия.

Людовик пытался подтащить ее к кровати, но она стояла неподвижно и как-то вся сжалась под его руками, противясь ему.

— Нет, Людовик, нет,— произнесла Клеменция еле слышно.— Вы непременно должны покаяться.

— Но мы покаемся, душенька. Давайте будем поститься, если вам так угодно, три раза в неделю. Идите же, я истосковался по вас!

Клеменция высвободилась из его объятий, а он все тянул ее к себе, вдруг ткань ее ночного одеяния порвалась. Треск раздираемого шелка испугал Клеменцию, и она, прикрыв обнажившееся плечо рукой, бросилась к своей скамеечке, надеясь укрыться за ней, спрятаться.

Это пугливое бегство вызвало у Людовика новый приступ гнева.

— Но что же вы хотите в конце концов,— заорал он,— и что требуется делать, чтобы вам угодить?

— Я не хочу вам принадлежать, прежде чем не отправлюсь в паломничество к святому Иоанну, который уже спас меня на море. И вы тоже пойдете со мной вместе, и пойдем мы пешком; тогда мы хоть будем знать, простил ли нас господь, послав нам ребенка.

— Лучшее паломничество для таких целей — вот оно! — сказал Людовик, указывая на кровать.

— Ах, не издевайтесь над верой! — воскликнула Клеменция.— Таким путем вы никогда меня ни в чем не убедите.

— Странная у вас вера, если она велит вам отказывать супругу. Неужели вам никогда не говорили, что существует долг, от которого нельзя отказываться?

— Людовик, вы меня не поняли!

— Нет, я вас отлично понял! — завопил он.— Я понимаю, что вы мне отказываете. Я понимаю, что не нравлюсь вам и что вы поступите со мной, как Маргарита...

Глаза короля уставились на вилочку с отточенными зубцами, которая так и осталась лежать на скамейке. И тут Клеменцией овладел настоящий страх. Осторожным движением она протянула руку, чтобы взять вилочку раньше, чем он ее схватит. Но, к счастью, он не заметил ее жеста. Его целиком поглотил собственный страх, собственное беспредельное отчаяние.

Людовик мог проявлять свои мужские качества, только встречая полную покорность со стороны женщины. Когда он чувствовал, что его не хотят, не терпят, он отступал; отсюда-то драма его первого брака. А что, если проклятая слабость снова овладеет им? Нет больше горя, чем не быть в состоянии владеть тем, чего желаешь сильнее всего на свете. Как втолковать Клеменции, что для него кара предшествовала преступлению? Его ужасала мысль, что все так и пойдет, беда к беде: отказы, бессилье, а затем ненависть. Он пробормотал, словно говоря с самим собой:

— Неужели я проклят, неужели я осужден навеки не быть любимым теми, кого люблю?

Тогда, повинуясь скорее чувству жалости, нежели страха, Клеменция вышла из-за своей скамеечки и произнесла:

— Хорошо, я поступлю, как вы того желаете.

И она хотела потушить свечи.

— Пусть горят,— воскликнул Сварливый.

— Вы действительно, Людовик, хотите...

— Снимите ваши одежды.

Решившись теперь во всем повиноваться мужу, Клеменция разделась донага с таким чувством, будто предает себя дьяволу. Людовик привлек к постели это прекрасное тело, по которому четким рисунком пробегали тени, это прекрасное тело, власть над которым он снова почувствовал. Желая отблагодарить Клеменцию, он прошептал:

— Обещаю вам, душенька, обещаю освободить Рауля де Преля и всех легистов моего отца. В сущности, все ваши желания совпадают с желаниями моего брата Филиппа!

Клеменция решила, что ее потворство прихотям короля будет вознаграждено добрыми делами и что, хотя покаяние не состоялось, невинные все же получат свободу.

И этой ночью потолок королевской опочивальни отразил громкий крик. Хотя Клеменция была замужем

уже пять месяцев, только этой ночью узнала она, что королева не обязательно должна быть несчастлива и что врата супружества могут вести к неизведанному блаженству.

Долгие минуты лежала она без сил, тяжело переводя дух, переполненная восхищением, не чувствуя своего тела, словно родное море выбросило ее на золотистый берег. Она даже положила головку на плечо Людовика и уснула, а он сам, растаяв от благодарности за ту усладу, что принес, и чувствуя себя куда больше королем, нежели в день миропомазания, впервые узнал, что можно провести бессонную ночь, не боясь назойливых мыслей о смерти.

Но этому блаженству, увы, не суждено было повториться. На следующий день Клеменция, даже не обратившись к исповеднику, вообразила, что наслаждение неотделимо от греха. И, будучи по натуре слишком впечатлительной, чего никак нельзя было заключить по ее внешнему виду, она стала отныне испытывать при близости с супругом невыносимые муки, не могла отвечать на королевские желания — и не потому, что сознательно этого не хотела, а из страха перед нестерпимыми физическими страданиями. Она искренне печалилась, просила у короля прощения, делала над собой напрасные усилия, дабы утолить ненасытную страсть Людовика.

— Поверьте мне, добрый мой супруг, поверьте мне,— твердила она,— если мы не отправимся в паломничество, я никогда не смогу быть прежней.

— Хорошо, мы пойдем, душенька, скоро пойдем, куда вам угодно пойдем, и, если пожелаете, пойдем с веревкой на шее, но дайте мне сначала уладить дела в графстве Артуа.

Глава VI

ТЯЖБА

За два дня до рождества в самом просторном зале Венсенского замка, переоборудованного на сей случай под зал судебного заседания, уже собрались и ожидали выхода короля самые знатные вельможи Франции и огромное множество легистов.

Ранним утром прибыла делегация баронов Артуа во главе с Жераром Киересом и Жаном де Фиенном, и в числе их неразлучная пара — Суастр и Комон. Каза-

лось, дело не затянется надолго. Королевские посланцы потрудились на славу, хлопоча о перемирии противных сторон; граф Пуатье подсказал своей теще немало мудрых решений и посоветовал уступить в ряде пунктов, дабы установить мир в своих владениях и по-прежнему остаться их госпожой.

Повинуясь указаниям короля, по правде сказать достаточно туманным по форме, но вполне ясным по смыслу: «Не желаю дальнейшего пролития крови; не желаю более, чтобы безвинных людей держали в темнице; хочу, чтобы каждому было воздано по его правам и чтобы доброе согласие и дружба царили повсюду»,— канцлер Этьен де Морнэ составил длиннейшее послание, и, когда зачитал его королю, тот безмерно возгордился, словно сам продиктовал всю бумагу от первой до последней строчки.

Тем временем Людовик X освободил Рауля де Преля и шестерых других советников своего покойного отца, которые томились в темнице с апреля. По-видимому, Людовик уже не мог остановиться в своем великодушном порыве: он вопреки яростным протестам Карла Валуа помиловал жену и сына Ангеррана Мариньи, которые тоже находились в заключении.

Подобным переменам дивился весь двор, но никто не мог объяснить их причины. Король простер свою милость до того, что принял юного Луи де Мариньи, облобызал его в присутствии королевы и вельмож, промолвив:

— Прошлое забыто, мой крестник.

Сварливый употреблял теперь эти слова по любому поводу, словно желая убедить самого себя и убедить других, что отныне начался новый этап его правления.

И когда сегодня утром на него возложили корону и накинули на плечи пышную мантию, расшитую лилиями, он почувствовал, что совесть его спокойна.

— А скипетр, где скипетр? — сказал он.— Принесли ли мой скипетр?

— Эта длань правосудия, государь, особенно пригодится вам сегодня,— ответил первый королевский камергер Матье де Три, протягивая Людовику скипетр — большую золотую руку с двумя поднятыми перстами.

— Какая же она тяжелая,— заметил Людовик,— в день коронации она показалась мне куда легче.

— Ваши бароны в сборе, государь,— продолжал камергер.— Примите ли вы сначала мэтра Мартэна, кото-

рый только что прибыл из Парижа, или увидитесь с ним на Совете?

— Как, мэтр Мартэн здесь?— воскликнул Людовик.— Я хочу видеть его немедленно. И оставьте нас вдвоем.

Вошедший оказался человеком лет пятидесяти, довольно тучным, смуглым и с мечтательным взором. Одет он был более чем скромно, почти в монашеское одеяние, а в его фигуре, в каждом его жесте, одновременно вкрадчивом и уверенном, в его манере забрасывать полу плаща на сгиб локтя чувствовалось что-то восточное. Мэтр Мартэн много путешествовал на своем веку, добирался даже до берегов Кипра, до Константинополя и Александрии. Никто не мог с уверенностью утверждать, что он всегда носил имя Мартэн, под которым его знали люди.

— Изучили ли вы вопрос, который поручил я вам задать? — спросил король, оглядывая себя в ручное зеркальце.

— Изучил, государь, изучил и горжусь великой честью, оказанной мне.

— И что же? Скажите мне всю правду. Пусть мне предстоит выслушать даже самое худшее, я не испугаюсь.

Любой астролог, имевший, подобно мэтру Мартэну, немалый опыт, знал, что́ следует думать о подобной преамбуле, особенно когда исходит она от короля.

— Государь,— ответил он,— наше знание несовершенно; планеты никогда не лгут, но человеческий разум может впасть в заблуждение, наблюдая за ними. Однако я не вижу никаких оснований для вашего беспокойства, и ничто, на мой взгляд, не мешает вам иметь потомство. Светила, под которыми вы рождены, скорее, благоприятствуют этому, и расположение их говорит в пользу отцовства. И в самом деле, Юпитер стоит выше созвездия Рака, что сулит нам плодородие, и, кроме того, Юпитер, под знаком которого вы рождены, образует благоприятный треугольник с Луной и планетой Меркурием. Следовательно, вы не должны отказываться от надежды зачать дитя, ни в какой мере не должны. Противостояние Луны и Марса указывает, что жизнь дитяти, которое вы произведете на свет, пройдет гладко, но с первых дней рождения его необходимо окружить самыми бдительными заботами и самыми верными слугами.

Мэтр Мартэн приобрел громкую славу, предсказав задолго, правда в весьма туманной форме, что смерть короля Филиппа Красивого наступит в ноябре 1314 года в связи с затмением солнца. Он писал тогда: «Могущественный владыка Запада...», не пожелав уточнить, какого именно владыку имеет в виду. Людовик X, считавший смерть отца счастливейшим событием своей жизни, с тех пор возымел к мэтру Мартэну огромное уважение. Но будь он более проницательным, он уловил бы в сдержанных словах астролога, что тот, изучая светила, без сомнения, прочел в небесах куда больше, чем сказал вслух.

— Ваше мнение мне весьма ценно, мэтр Мартэн, и ваши слова меня ободряют,— произнес Сварливый.— А не уловили вы наиболее благоприятный момент для зачатия наследников, коих я жду?

Мэтр Мартэн на мгновение задумался.

— Будем говорить лишь о первом, государь, ибо относительно последующих я не смогу ответить вам с такой же уверенностью... Мне не хватает часа рождения королевы, которого она сама не знает, как вы говорили, и никто не смог мне его сообщить; но думается, я не допущу особо грубой ошибки, сказав, что ребенок родится, когда Солнце войдет в созвездие Стрельца, а следовательно, зачатия его следует ждать примерно в середине февраля.

— Значит, мы успеем совершить паломничество к святому Иоанну Амьенскому, чего так желает королева. А когда, по-вашему, мэтр Мартэн, мне следует вновь начать войну против фламандцев?

— Думаю, что в этом вопросе лучше всего положиться на голос мудрости. Вы сами наметили примерную дату?

— Полагаю, что мне не удастся собрать войска раньше будущего августа.

Мечтательный взгляд мэтра Мартэна скользнул по лицу короля, по его короне, по длани правосудия, которая, по-видимому, мешала Людовику, и он держал ее на плече, как садовник держит свою мотыгу.

«До августа бывает июнь, надо еще пережить июнь...»— подумалось астрологу.

— Возможно, что в будущем августе, государь,— произнес он вслух,— фламандцы уже перестанут вас тревожить.

— Охотно верю,— вскричал Сварливый, придавая

словам астролога благоприятный для себя смысл.— Ибо минувшим летом я нагнал на них страху, и они, понятное дело, сдадутся на милость победителя еще до начала кампании.

Странное чувство должен испытывать человек, смотрящий на другого человека и знающий почти наверняка, что тот, другой, скончается через полгода, да еще и слушать, как он строит планы на будущее, которого ему не суждено видеть. «Разве что он дотянет до ноября...» — снова подумал Мартэн. Ибо, помимо грозного предзнаменования на июнь месяц, астролог не мог не знать еще одного рокового знака: зловещего прохождения Сатурна в дни, когда королю исполнится двадцать семь лет и сорок четыре дня. Несчастье может произойти с ним самим, с его женой или с его ребенком, если таковой появится на свет. Во всяком случае, такие вещи в глаза не говорятся.

Однако уже подойдя к двери и взвешивая на ладони увесистый кошелек, пожалованный королем, мэтр Мартэн снова заколебался, охваченный угрызениями совести.

— Государь, еще одно слово по поводу вашего здоровья. Остерегайтесь яда, особенно в конце весны.

— Стало быть, мне придется отказаться от груздей, лисичек и сморчков, до которых я так охоч, но, помнится, и впрямь они не раз причиняли мне мучительные боли в желудке, к которым я вообще склонен.

Потом вдруг тревожно добавил:

— Яд? Может быть, вы намекаете на укус гадюки?

— Нет, государь, я говорю только о пище.

— Хорошо, благодарю вас, мэтр Мартэн, я буду настороже.

И прежде чем отправиться в Совет, Людовик приказал своему камергеру усилить надзор за кухней, распорядиться, чтобы к столу подавали только самые свежие припасы и проверяли, откуда они поступают, и главное, чтобы каждое блюдо, прежде чем попасть к королю, пробовали не один раз, а дважды.

Когда Людовик вошел в залу, присутствующие поднялись с мест и стояли до тех пор, пока он не уселся под балдахином.

Удобно устроившись на троне, аккуратно натянув полы мантии на колени и уперев длань правосудия в сгиб левой руки, Людовик вдруг почувствовал, что равен величием Иисусу Христу, распространяющему сияние на

церковном витраже. Разглядывая своих баронов, стоявших ошую и одесную и склонившихся в почтительном поклоне, видя, как они покорны его воле, Людовик подумал, что в иные дни быть королем даже приятно.

«Вот,— думалось ему,— сейчас я провозглашу свое решение, и каждый будет с ним сообразовываться, и я восстановлю среди моих подданных мир и доброе согласие».

Перед ним предстали участники тяжбы, которых ему предстояло помирить. С одной стороны — графиня Маго, тоже в короне, на целую голову возвышалась над своими советниками, державшимися возле нее. С другой стороны — делегация союзников Робера Артуа. Каждый союзник нацепил на себя свою самую лучшую одежду, к сожалению уже вышедшую из моды, и поэтому все вместе они производили впечатление пестроты и неуместного щегольства. От этих мелкоземельных сеньоров так и несло провинциальным безвкусием. Суастр и Комон вырядились словно на турнир — оба явились в гигантских шлемах: у одного шлем был увенчан орлом с распростертыми крыльями, а у другого — женской поясной фигуркой. Они понимали теперь, что перестарались, и неуверенно косились на соседей из-под стальных забрал.

Вельможи — участники Совета были благоразумно и в равном количестве выбраны из сторонников обеих партий. Карл Валуа и его сын Филипп, Карл де ла Марш, Луи Клермон, сир де Меркэр, граф Савойский и, конечно, Робер Артуа граф Бомон-ле-Роже поддерживали союзников. Известно было, что, с другой стороны, Филипп Пуатье, Людовик д'Эвре, Анри де Сюлли, граф Булонский, граф Форезский и мессир Миль де Нуайе держат руку графини Маго.

Канцлер Этьен де Морнэ сидел чуть впереди короля, разложив на столике свои пергаменты.

— In nomine patris et filii...[1]

Присутствующие удивленно переглянулись. Впервые король открывал свой совет молитвою и просил господа умудрить его при решении дел.

— Да нам его подменили,— шепнул Робер Артуа своему кузену Филиппу Валуа,— теперь он вообразил себя епископом, проповедующим с амвона...

— Дорогие мои братья, дорогие мои дядья, дорогие

[1] Во имя отца и сына... (*Лат.*)

мои сеньоры и возлюбленные мои подданные,— начал Людовик X.— Мы горячо желаем, следуя долгу, возложенному на нас господом богом, поддерживать мир в нашем королевстве и осуждаем распри между нашими подданными.

Так говорил Людовик, обычно бормотавший при слушателях что-то невнятное, говорил, правда, медленно, зато четко; поистине он чувствовал себя вдохновленным свыше, и присутствующие, слушая его в тот день, решили, что из него получился бы превосходный сельский священник.

Людовик повернулся сначала к Маго и попросил ее следовать его советам. Поднявшись с места, Маго ответила:

— Государь, я всегда так поступала и всегда буду так поступать.

Затем король обратился к союзникам и сказал им то же самое.

— Будучи добрыми и покорными вашими подданными, государь,— ответил Жерар Киерес,— униженно просим вас творить свою волю.

Людовик оглядел своих дядьев, братьев и кузенов с победоносным видом, словно говоря: «Вот видите, как я все хорошо уладил».

Потом он приказал канцлеру де Морнэ прочитать решение арбитража.

Канцлер Этьен де Морнэ, человек еще не старый, был слаб зрением. Приблизив к глазам толстый пергаментный свиток, он начал:

— «Прошлое забыто. Ненависть, оскорбления и злоба прощены как той, так и другой стороной. Графиня Маго признает свой долг в отношении подданных; она обязуется отныне поддерживать добрый мир на землях Артуа, не чинить никакого зла и никаких подлостей союзникам и не искать к тому поводов. По примеру короля она подтвердит силу обычаев, которые были приняты в Артуа во времена Людовика Святого и пользу коих докажут ей лично достойные доверия лица, рыцари, священнослужители, горожане, легисты...»

Людовику X надоело слушать. Продиктовав первую фразу, он решил, что сделал все. Теперь речь шла о юридических тонкостях, в которых он не разбирался. Он высчитывал про себя, загибая пальцы один за другим: «Февраль, март, апрель, май... стало быть, мой наследник родится к ноябрю...»

— «Что касается гарантий,— продолжал Этьен де Морнэ,— то, ежели на графиню поступит жалоба, король установит через своих посланцев, обоснованна она или нет, и в случае, если графиня откажется повиноваться правосудию, король ее к тому принудит. С другой стороны, графиня обязуется объявлять сумму взысканий, налагаемых за то или иное нарушение. Графиня обязуется вернуть сеньорам земли, присвоенные ею без всякого на то основания».

При этих словах Маго нервно задвигалась, но братья д'Ирсон, сидевшие с ней рядом, поспешили ее успокоить.

— В Компьене этот вопрос даже не затрагивали! — твердила Маго.

— Лучше потерять в малом, чем все потерять,— шепнул ей на ухо Дени.

Воспоминания о веселенькой прогулке, которую он совершил в цепях в день казни стражника Корнийо, настроили его на миролюбивый лад.

Маго засучила рукава и, с трудом сдерживая клокотавший в ее душе гнев, терпеливо продолжала слушать.

Чтение длилось уже четверть часа. Время от времени Киерес поворачивался к союзникам и кивал им головой, как бы говоря, что все, мол, идет своим чередом.

Когда, читая решение, канцлер назвал имя Тьерри д'Ирсона, присутствующие встрепенулись. Все взоры с любопытством обратились к канцлеру графини Маго и его братьям.

— «...Что касается мэтра Тьерри д'Ирсона, которого союзники решили предать суду, то король постановляет, что свои обвинения они должны изложить епископу Теруанскому, которому Тьерри подчинен как Эйрский прево, но он не может обратиться за защитой в Артуа, ибо упомянутый выше Тьерри зело ненавидим в этом краю. Его братья, сестры и племянники тоже не могут жить в Артуа, пока епископ Теруанский не вынесет своего решения, одобренного королем...»

Услышав эти последние слова, д'Ирсоны сразу утратили желание идти на мировую.

— Посмотрите на вашего племянника, видите, как он торжествует!

Робер Артуа и в самом деле обменивался понимающими улыбками с Карлом и Филиппом Валуа.

Такое подчеркнутое бесстыдство глубоко уязвило

графиню Маго. Махнув обеими руками в сторону д'Ирсонов и приказывая им замолчать, она произнесла вполголоса:

— Последнее слово еще не сказано, друзья мои, еще не сказано. Разве я когда-нибудь лишала вас своего покровительства, Тьерри? Наберитесь терпения!

Монотонный голос канцлера Морнэ замолк; чтение документа было закончено. Епископ Суассонский, который тоже участвовал в переговорах, шагнул вперед, держа в руках Евангелие, и подошел к баронам; они дружно поднялись с места и вытянули вперед правую руку, а Жерар Киерес поклялся от их имени на Священном писании, что впредь они будут свято соблюдать волю короля. Затем епископ направился к Маго.

А король тем временем блуждал мыслями по дорогам Франции. «Конечно, мы совершим паломничество в Амьен, но пешком пройдем одно только последнее лье. Весь путь проделаем в экипаже, укутавшись теплыми покрывалами. Надо бы заказать теплые ботинки на меху, я велю сшить для Клеменции горностаевый плащ, она накинет его на шубку, а то еще простудится... Будем надеяться, что она исцелится от своих недугов, мешающих нашей любви». Уйдя в свои мечты, он рассеянно вглядывался в золотые пальцы длани правосудия, когда вдруг услышал чей-то зычный голос:

— Я отказываюсь присягать, я не скреплю этого жестокого решения!

В зале воцарилось молчание, и все взгляды обратились к Сварливому. Дерзкий отказ, брошенный прямо в лицо королю, испугал своей неправдоподобной смелостью даже самых отчаянных. Каждый ждал, какие страшные угрозы сорвутся сейчас с королевских уст.

— Что такое происходит? — спросил Людовик, наклонившись к канцлеру.— Кто отказывается? А я полагал, что решение мое правильное.

Блеклыми выпученными глазами он медленно обвел ряды присутствующих, и многие из них, видя, как далеко унесся мыслями их государь, как безразлично ему все, что здесь происходит, подумали про себя: «Да, ничтожный достался нам владыка».

Тут поднялся Робер Артуа, с грохотом отодвинув кресло; он направился к королю, и половицы заходили, запели под его красными сапогами. Он глубоко вздохнул, словно вобрал в себя весь воздух, наполнявший зал, и воскликнул своим громовым голосом:

— Государь, кузен мой, долго ли вы будете терпеть публичные дерзости и открытое неповиновение? Мы, все ваши родичи и ваши советники, не намерены этого сносить. Полюбуйтесь, как злоупотребляют вашим великодушием! Вы знаете, что я лично противился полюбовному соглашению с мадам Маго, более того, я стыжусь, что в наших с ней жилах течет одна кровь, ибо малейшую благожелательность она принимает за проявление слабости и, осмелев, пускается на самые последние подлости. На сей раз вы поверите мне, мессиры,—продолжал он, призывая присутствующих в свидетели и ударяя себя в грудь, на которой еле сходилось пурпуровое полукафтанье,— на сей раз, надеюсь, вы поверите, что не зря я твержу, не зря доказываю в течение долгих лет, что я ограблен, разорен, предан, обворован этим чудовищем в женском облике, которое не желает признавать ни воли короля, ни власти господа бога! Но стоит ли удивляться подобным поступкам женщины, которая, нарушив волю своего умирающего отца, присвоила не принадлежавшее ей добро и, воспользовавшись моим младенчеством, обобрала меня, сироту!

Графиня Маго, стоя во весь рост, скрестив на груди руки, презрительно глядела на племянника, а в двух шагах от нее мялся на месте епископ Суассонский, держа в руках тяжелое Евангелие.

— Знаете ли, государь,— продолжал Робер,— знаете ли вы, почему графиня Маго отказывается признать сегодня ваш приговор, с которым она согласилась вчера? Потому что вы добавили параграф, обращенный против мэтра Тьерри д'Ирсона, против этой продажной и проклятой души, против этого мошенника, которого стоило бы разуть, дабы убедиться, не копыта ли у него вместо ног! Это он по приказу графини Маго похитил и спрятал с ней вместе завещание, оставленное моим дедом графом Робером II, где тот отказывал мне свое графство и свое имущество и передавал мне свои права вершить суд. Тайна этой кражи связала их обоих; и вот почему графиня Маго осыпает благодеяниями братьев, да и всю родню Тьерри, а они вымогают последние гроши у несчастного народа, некогда благоденствовавшего и столь обнищавшего ныне, что нет ему иного выхода, кроме бунта.

Бароны Артуа стояли, гордо выпрямившись, и по их освещенным радостью лицам видно было, что еще минута — и они наградят ликующими криками Робера, как

если бы он был прославленным менестрелем, исполнявшим песнь о герое.

— Если вы осмелитесь, государь,— продолжал Робер, переходя от яростных обвинений к насмешкам,— если вам достанет храбрости затронуть интересы мэтра Тьерри, отнять у него хоть частицу украденного, если вы тронете хоть ноготь на мизинце самого последнего из его племянников, это будет с вашей стороны, государь, непростительной неосторожностью! Графиня Маго уже сейчас выставила когти и готова плюнуть в лик божий. Ибо клятвы, которые она произносила при вашей коронации, и уважение к вам, которое она не раз выказывала, преклонив колено,— звук пустой по сравнению с верноподданническими чувствами в отношении мэтра Тьерри, ибо, по сути дела, он, и только он, настоящий ее владыка!

Робер закончил свою тираду. Графиня Маго не пошевелилась. Тетка и племянник впились друг в друга взглядом.

— Ложь и клевета текут из твоих уст, Робер, подобно слюне,— спокойно произнесла графиня.— Берегись, как бы тебе не прикусить собственный язычок, а то чего доброго помрешь.

— Замолчите, мадам! — вдруг заорал Сварливый, которому не хотелось уступить в накале ярости своему кузену.— Сейчас же замолчите! Вы меня обманули! Запрещаю вам возвращаться в Артуа, прежде чем вы не скрепите своей подписью соглашение, которое я принял, и весьма хорошее соглашение, как все утверждают. Повелеваю вам до тех пор жить только в Париже или в Конфлане и нигде более. На сегодня хватит. Совет закрывается.

Сильный приступ кашля прервал его речь, и он скрючился на троне.

«Сдохни же!» — прошипела Маго сквозь зубы.

Граф Пуатье не произнес ни слова. Он сидел, покачивая ногой, и задумчиво поглаживал подбородок.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СРОК КОМЕТЫ

Глава I

НОВЫЙ ХОЗЯИН НОФЛЯ

Во второй четверг после дня богоявления, когда обычно начинаются ярмарки, в отделении банкирского дома Толомеи, что в Нофле-ле-Вье, царила великая суета. Весь дом от чердака до подвалов чистили и мыли, словно ожидая посещения августейшего гостя; деревенский живописец толстым слоем краски покрывал входные двери; протирали мелом железные уголки сундуков, заблестевшие ярче серебра; прошлись щеткой по всем закоулкам, смахнув паутину; белили известкой стены, натирали воском прилавки; и приказчики, обслуживая клиентов, гневались, не находя на привычных местах книг записей, весов и бирок для счета.

Молоденькая девица лет семнадцати, статная, красивая, с румяным от мороза личиком, переступила порог и остановилась, удивленная всей этой суматохой. Камлотовый песочного цвета плащ, окутывавший ее стройную фигурку и скрепленный у ворота серебряной пряжкой, свидетельствовал, как и все ее манеры, что девушка эта была из благородной семьи. Завидев ее, толпившиеся в конторе горожане скинули шапки.

— Ах, мадемуазель Мари! — воскликнул Рикар, главный приказчик отделения.— Честь и место! Входите, входите, погрейтесь. Ваша корзиночка, как и всегда, ждет вас, но со всеми этими уборками я запер ее от греха в соседней комнате.

И, обратившись к здоровенному крестьянину, который просил обменять ему луидор на мелкую серебряную монету, он добавил:

— Хорошо, хорошо, сейчас вами займутся, мэтр Гиймар.

Он обернулся к своему подручному и крикнул:

— Питон! Займись-ка мэтром Гиймаром.

Рикар провел девушку в соседнюю комнату, общий зал для служащих банка, где сейчас ярко пылал камин. Из стенного шкафа он извлек ивовую корзинку, прикрытую холстом.

— Орехи, масло, свежее сало, пряности, пшеничная мука, сухой горошек и три большие колбасы,— перечислял он.— Пока у нас имеется хоть кусок хлеба, вам тоже будет что покушать, таков приказ мессира Гуччо. И все это я, как договорено, занес на счет... Зима что-то затянулась, и боюсь, чтобы к весне не начался голод, как в прошлом году. Но сейчас мы хоть будем иметь провизию.

Мари взяла корзиночку.

— А письма нет? — спросила она.

Главный приказчик — наполовину итальянец, наполовину француз, звавшийся в действительности Рикардо,— с притворно грустным видом покачал головой.

— Нету, мадемуазель, на сей раз нету письма!

Увидев разочарование, отразившееся на личике Мари, он добавил с улыбкой:

— Письма нету, зато есть хорошая новость!

— Он выздоровел? — воскликнула девушка.

— А ради чего же, скажите на милость, мы в середине января взялись за уборку, когда, как вам известно, покраску и побелку раньше апреля не делают.

— Рикар, неужели это правда? Ваш хозяин приезжает?

— Конечно же, Santo Dio [1], приезжает; он уже в Париже и известил нас, что прибудет сюда завтра. Уж больно ему не терпится попасть в наши края, он, слыхать, едет даже без остановок.

— Как я счастлива! До чего же я рада, что снова его увижу!

Но тут Мари спохватилась — подобное проявление радости могло быть сочтено за нескромность — и поспешно добавила:

— Вся наша семья будет рада вновь его увидеть.

— Это уж само собой разумеется, да только у меня что-то ухо нынче разболелось, а тут еще эта ярмарка. Ни к чему мне лишние заботы! Подождите-ка, мадемуазель Мари, я хочу знать ваше мнение насчет горницы, которую мы ему приготовили, и вы мне откровенно скажите: по вкусу она вам или нет?

Он провел Мари во второй этаж и, открыв дверь, показал ей довольно просторную горницу, правда низкую, зато с навощенными до блеска потолочными балками. В горнице стояла топорно сделанная дубовая ме-

[1] Святый боже (*итал.*).

бель, узенькая кроватка, покрытая красивым покрывалом из итальянской парчи, немного оловянной посуды и подсвечник. Мари внимательно оглядела комнату.

— По-моему, очень мило,— произнесла она.— Но я думаю, я надеюсь, что ваш хозяин вскоре переберется в замок.

Рикар снова улыбнулся.

— И я тоже надеюсь,— ответил он.— Все вокруг, уверяю вас, заинтригованы неожиданным приездом мессира Гуччо и его намерением здесь поселиться. Со вчерашнего дня народ к нам под любым предлогом валом валит и беспокоят нас по пустякам, будто никто в городе не может отсчитать на су двенадцать денье. А все затем, чтобы поглазеть на наши хлопоты и в сотый раз спросить, почему, мол, мы все это затеяли. Надо вам сказать, что с тех пор, как мессир Гуччо прогнал отсюда прево Портфрюи, от которого мы все немало натерпелись, его в наших краях очень полюбили. Готовятся устроить ему встречу, и я по всему вижу, что он будет настоящим хозяином Нофля... после ваших братьев, разумеется,— добавил Рикар, провожая гостью до садовой калитки.

Никогда еще дорога от Нофля до замка Крессэ не казалась Мари такой короткой. «Приезжает... приезжает... приезжает,— перепрыгивая через колеи, твердила она про себя, словно припев.— Он приезжает, он меня любит, и скоро мы поженимся. И он будет хозяином Нофля». Корзинка с припасами стала вдруг совсем невесомой.

Во дворе усадьбы Крессэ она встретила своего брата Пьера.

— Приезжает! — крикнула Мари, бросившись ему на шею.

— Кто приезжает? — ошалело осведомился Пьер, высокий крепкий малый.

Впервые за много месяцев он видел, что его сестра радуется от души.

— Гуччо приезжает!

— Вот это добрая новость! — воскликнул Пьер де Крессэ.— Он славный парень, и я с удовольствием вновь увижу его у нас.

— Он будет жить в Нофле, дядя отдал ему их контору. А потом...

Мари запнулась, но, не в силах дольше скрывать свою тайну, притянула к себе голову брата и, прижавшись к его небритой щеке, прошептала:

— Он будет просить моей руки.

— Вот те на! — отозвался Пьер.— Откуда ты это взяла?

— Ниоткуда не взяла, я знаю... знаю... знаю...

Привлеченный их разговором, Жан де Крессэ, старший брат, вышел из конюшни, где он как раз чистил своего коня. В руках он держал пучок соломы.

— Жан, похоже, что из Парижа прибывает наш зятек,— обратился к нему младший Крессэ.

— Какой еще зятек? Чей зятек?

— Как какой? Наша сестрица нашла себе супруга!

— Что ж, хорошее дело! — отозвался Жан.

Он тоже решил принять участие в игре и благодушно поддерживал разговор, казавшийся ему просто ребяческой шуткой.

— А как же зовется,— продолжал он,— сей высокородный барон, которому не терпится войти во владение нашими обвалившимися башнями и нашим достоянием, сиречь нашими долгами? Хочу надеяться, сестрица, что он по крайней мере богат, ибо это-то нам и требуется.

— О да, он богат,— ответила Мари.— Это же Гуччо Бальони.

Но, поймав взгляд старшего брата, она поняла, что готовится драма. Ей вдруг стало холодно, и в ушах у нее зазвенело.

Жан де Крессэ, правда, еще старался обратить дело в шутку, но в голосе его послышались строгие нотки. Он захотел узнать, на основании чего, в сущности, сестра говорит о близкой перемене в своей судьбе. Испытывает ли она к Гуччо особую склонность? Вела ли она с ним беседы, выходящие из рамок благопристойности? Не писал ли он ей тайком от их семьи?

На каждый из этих вопросов Мари отвечала «нет», но смятение ее росло с каждой минутой. Пьер тоже почувствовал себя не совсем ловко. «Эх, и свалял же я дурака,— думал он,— лучше бы было промолчать».

Все трое, не обменявшись ни словом, вошли в зал, где их мать мадам Элиабель сидела возле очага за прялкой. В последние месяцы почтенная владелица замка вновь приобрела присущую ей пышность форм, чему немало способствовали припасы, которые со времени прошлогодней голодовки по распоряжению Гуччо доставляла Мари.

— Подымись в свою комнату,— приказал Жан де Крессэ сестре.

В качестве старшего брата он заменял главу семьи, и Мари беспрекословно ему повиновалась.

Когда на верхнем этаже хлопнула дверь, Жан рассказал матери о том, что только что стало ему известно.

— Да ты уверен ли, сынок? Возможно ли это? — воскликнула та.— Кому же это может прийти в голову мысль, что девушка нашего круга, предки которой уже в течение трех веков были рыцарями, пойдет за ломбардца? Я уверена, что этот самый Гуччо — впрочем, весьма миленький мальчик, и держится он с достоинством,— уверена, повторяю, что он даже не помышляет об этом.

— Не знаю, матушка, помышляет или нет,— отозвался Жан.— Знаю только, что Мари помышляет, даже очень.

Пухлые щеки мадам Элиабель залил румянец.

— Эта девчонка невесть что забрала себе в голову,— проговорила она.— Если этот молодой человек навещал нас и неоднократно доказывал нам свою дружбу, то, полагаю, действовал он так скорее ради вашей матери, чем ради вашей сестры. О, конечно, все это вполне благопристойно,— поспешила она добавить,— и никогда ни одно слово, могущее оскорбить мою женскую честь, не сорвалось с его губ. Но женщина всегда догадается об отношении к ней, и я сразу же поняла, что он заинтересован мной.

При этих словах почтенная дама выпрямилась на стуле и выпятила свою мощную грудь.

— Я не желаю подвергать ваши слова сомнению,— отозвался Жан де Крессэ,— однако, матушка, я не совсем уверен в вашей правоте. Вспомните-ка, что в последний приезд Гуччо мы несколько раз оставляли его наедине с Мари, когда она, казалось, была так больна, а с тех пор, смотрите, как она поправилась.

— Возможно, потому, что с того времени она начала есть досыта, да и мы тоже,— заметил Пьер.

— Верно, но прошу учесть, что мы получали сведения о Гуччо только от Мари — путешествие в Италию, перелом ноги и прочее. Ведь почему-то именно Мари сообщал Рикар все эти новости, а не нам. А как она настаивала, чтобы самой ходить в Нофль за припасами! Поверьте мне, здесь кроется какая-то хитрость, которую мы с вами проморгали.

Мадам Элиабель отодвинула прялку, смахнула с юбки приставшие шерстинки и, поднявшись со стула, заявила оскорбленным тоном:

— И впрямь, со стороны этого желторотого юнца большая подлость пользоваться своим богатством, неизвестно как нажитым, чтобы совратить мою дочь, и он еще смеет воображать, что за несчастный кусок сала и штуку материи можно купить согласие нашей семьи, когда за одну честь называться нашим другом надо платить и платить.

Пьер де Крессэ единственный в семье умел рассуждать здраво. Был он человек простой, честный и без предрассудков. Подобная неблагодарность, помноженная на пустое тщеславие, выводила его из себя. «Они просто завидуют Мари, каждый по-своему, а завидуют»,— подумал он, переводя взгляд с матери на брата, которые взаимно распаляли друг друга.

— Вы оба, верно, забыли,— вслух произнес он,— что до сих пор должны его дяде триста ливров, которых он с нас пока не требует, равно как и проценты, а они продолжают нарастать. И если прево Портфрюи не арестовал нас и не прогнал отсюда, то и этим мы обязаны только Гуччо. И вспомните-ка, что лишь благодаря провизии, доставленной по его приказу, за которую с нас, кстати сказать, не берут ни гроша, мы избежали голодной смерти. Прежде чем его гнать, подумайте лучше, чем бы ему отплатить за все добро. Гуччо богат и с годами будет еще богаче. У него сильные покровители, и если он приглянулся даже самому королю Франции, который направил его вместе с посольством в Неаполь за новой королевой, то пристало ли нам так чиниться.

Жан пожал плечами.

— А кто нам все это рассказывал — опять-таки Мари,— заметил он.— Послали его как купца, чтобы он там торговался.

— И пускай король посылает его в Неаполь, а дочку свою он за него небось не выдаст!— воскликнула мадам Элиабель.

— Насколько я знаю, матушка, Мари не королевская дочка,— возразил Пьер.— Конечно, она красавица...

— Я не продам сестру за деньги! — заорал Жан де Крессэ.

Одна надбровная дуга выступала у него сильнее другой, и в гневе асимметричность черт становилась особенно заметной.

— Не продашь, а подыщешь ей какого-нибудь старикашку, и тебя не будет оскорблять то, что он богат, при

том условии, конечно, если он носит шпоры на своих подагрических ножках. Если она любит Гуччо, то какая же это продажа? Знатное происхождение! Ба, нас с тобой, слава богу, двое, и мы уж как-нибудь постоим за себя в этом отношении. Заявляю вам, я лично смотрю на этот брак благосклонно.

— Значит, ты будешь смотреть благосклонно, как твоя сестра поселится в Нофле, в нашем ленном владении, и будет торчать за прилавком, отвешивая серебро и торгуя пряностями? Ты бредишь, Пьер, и я диву даюсь, откуда это в тебе так мало уважения к нашему семейству,— воскликнула мадам Элиабель.— Во всяком случае, пока я жива, никогда я не соглашусь на этот неравный брак, да и твой брат тоже. Верно ведь, Жан?

— Конечно, матушка, хватит нам спорить, и прошу тебя, Пьер, никогда не заводи таких разговоров.

— Ладно, ладно, ты ведь старший, поступай, как считаешь нужным,— ответил Пьер.

— Ломбардец! Ломбардец! — причитала мадам Элиабель.— Приезжает Гуччо, говоришь? Тогда предоставьте действовать мне, дети мои. Мы не можем закрыть перед ним дверей, мы ведь стольким ему обязаны, да и долга пока не уплатили. Что ж, мы его хорошо примем, даже очень хорошо, но, если он станет хитрить, если у него столь коварные намерения, я отплачу, я отобью у него охоту появляться в наших краях, ручаюсь вам.

Глава II

МАДАМ ЭЛИАБЕЛЬ ПРИНИМАЕТ ГОСТЯ

На заре следующего дня лихорадка, охватившая контору в Нофле, казалось, перекинулась в замок Крессэ. Мадам Элиабель загоняла служанку и вызвала шестерых соседей-крестьян для поденной работы. На мытье полов не пожалели воды, расставили столы, словно готовилась свадьба, по обеим сторонам камина сложили охапки дров; конюшню застлали свежей соломой, подмели двор березовой метлой, а в кухне на вертеле уже жарились целиком барашек и молодой кабан, в печь посадили пироги; и по деревне прошел слух, что Крессэ готовится к встрече королевского посланца.

Воздух был морозный, легкий, и скупое январское солнце играло на голых ветвях, роняя в дорожные лужи капельки света.

Гуччо, в плаще, подбитом дорогим мехом, в широком зеленом капюшоне, кончик которого свисал ему на плечо, приехал ближе к полудню верхом на прекрасном сытом гнедом коне в наборной сбруе. За ним следовал слуга, тоже верхом на лошади, и за версту чувствовалось, что едет человек богатый.

Мадам Элиабель и оба ее сына вышли навстречу гостю в праздничных одеждах и буквально очаровали его своим приемом. Во всем ему виделись добрые предзнаменования — и в богатом убранстве стола, и в усердии слуг, и в нежных объятиях мадам Элиабель, и во всеобщей радости при встрече. Само собой разумеется, Мари посвятила семью в их замыслы, и, конечно, все теперь радуются. Здесь знают, зачем он явился, и обращаются с ним уже как с женихом. Один только Пьер де Крессэ казался смущенным.

— Добрые мои друзья,— воскликнул Гуччо,— как же я рад вновь с вами увидеться! Но не стоило входить ради меня в такие расходы. Обращайтесь со мной, как с родным.

Слова эти не понравились Жану, который обменялся с матерью многозначительным взглядом.

За время разлуки Гуччо сильно переменился внешне. Правда, после неудачного падения он слегка приволакивал правую ногу, но это придавало его походке какое-то высокомерное изящество. За те месяцы, что он провалялся в больнице, он повзрослел, как сразу взрослеют юноши, он даже вырос чуть ли не на целый фут, черты стали резче, а лицо обрело серьезное, более строгое выражение — естественный след тяжелых физических страданий. Он вышел из юношеского возраста и приобрел облик мужчины.

Ничего не потеряв из былой самоуверенности, даже, напротив, укрепившись в ней, Гуччо теперь без особых стараний со своей стороны внушал к себе уважение. Его французская речь стала чище: меньше чувствовался итальянский акцент, говорил он медленнее, чем прежде, хотя не избавился от привычки жестикулировать при разговоре.

Гуччо оглядывал стены замка с таким видом, словно уже стал его хозяином. Он осведомился о планах Пьера и Жана. Не собираются ли они починить замок? Какие намереваются произвести улучшения, чтобы приспособить свое жилище к требованиям современной моды?

— В Италии я видел,— разглагольствовал Гуччо,— расписные потолки, они очень бы здесь подошли. А вы не думали о том, чтобы переделать вашу мыльню? Нынче их делают небольшого размера, что много удобнее, и, на мой взгляд, забота о чистоте тела просто необходима для порядочных людей.

Под этими словами подразумевалось: «Я готов оплатить все расходы, ибо так я привык жить». У Гуччо имелись также свои соображения насчет меблировки, насчет цветных шпалер, от которых в комнатах станет веселее. Слушая Гуччо, Жан начал не на шутку злиться, да и толстяк Пьер находил, что гость слишком торопит события: сам едва явился, а на словах уже успел переделать все их жилье.

Гуччо сидел у Крессэ уже полчаса, а Мари все еще не показывалась. «Может быть,— думал он,— мне сначала нужно было бы объявить...»

— Буду ли я иметь удовольствие видеть мадемуазель Мари? Надеюсь, она составит нам компанию во время обеда.

— Конечно, конечно, она одевается, сейчас она сойдет,— ответила мадам Элиабель.— Только предупреждаю, вы найдете в ней большие перемены: она вся под обаянием своего нового счастья.

Гуччо поднялся с места, сердце его забилось, а смуглое лицо потемнело еще сильнее. В тех случаях, когда другие краснели, он становился темно-оливковым.

— Вот как? — воскликнул он.— О мадам Элиабель, как же вы меня обрадовали.

— Да и мы все, мы тоже рады похвалиться доброй вестью перед таким другом, как вы. Наша дорогая Мари обручена...

Она сделала паузу и с явным удовольствием взглянула в изменившееся лицо Гуччо.

— ...обручена с одним нашим родственником, сиром де Сен-Венан, человеком старинной дворянской фамилии из графства Артуа, который в нее влюблен, да и она тоже влюблена в него.

Чувствуя на себе пристальные взгляды присутствующих, Гуччо усилием воли преодолел минутную слабость и спросил:

— А когда состоится свадьба?

— В самом начале лета,— ответила мадам Элиабель.

— Так что можно считать, что дело уже сделано.

Обе стороны дали свое согласие,— подтвердил Жан де Крессэ.

Гуччо был как в тумане, он стоял, не в силах вымолвить ни слова, и машинально вертел в пальцах золотую ладанку, подаренную ему королевой Клеменцией и выделявшуюся ярким пятном на его двухцветном, по последней итальянской моде, полукафтане. Точно во сне услышал он, как Жан де Крессэ открыл двери и кликнул сестру. И когда послышались легкие шаги Мари, гордость помогла ему даже улыбнуться ей навстречу.

Вошла Мари, словно вся застывшая, чужая, но глаза у нее были красные. Еле шевеля губами, она приветствовала гостя.

Он постарался поздравить ее самым естественным образом, а она постаралась с достоинством выслушать пожелание счастья. Она с трудом удерживала рыдания, но никто об этом не догадался. И ей так хорошо удалось сыграть свою роль, что Гуччо принял за подлинную холодность боязнь Мари выдать себя и подвергнуться строгой каре, которую сулили ей домашние.

Обед, весьма обильный, тянулся мучительно долго. Мадам Элиабель, наслаждаясь собственным вероломством, веселилась, правда не совсем натурально, и усиленно потчевала гостя, заставляя отведать каждое блюдо, то и дело приказывая слугам подносить Гуччо новую порцию барашка или кабана на ломте хлеба.

— Неужели вы потеряли аппетит во время ваших долгих странствований?— восклицала она.— Ну, ну, мессир Гуччо, в ваши годы следует хорошо питаться. Может быть, вам барашек не по вкусу? Тогда отведайте паштета!

А Гуччо так и подмывало швырнуть ей в физиономию свою миску.

Ни разу не удалось ему встретиться взглядом с Мари. «Видать, она не особенно горда тем, что отреклась от своих клятв,— думал Гуччо.— Неужели я только затем избег смерти, чтобы пережить такой афронт! Ах, как же я был прав, боясь и отчаиваясь во время моего пребывания в больнице! А письма, которые я ей слал! Но зачем же она тогда отвечала мне через Рикара, что пребывает все в том же расположении чувств и томится, поджидая меня... а сама дала слово другому! Это прямая измена, и никогда я ей не прощу! Ох, что за мерзкий обед! Первый раз в жизни я с таким отвращением сижу за столом».

В яростных мыслях о мести мы подчас забываем о своих печалях. Гуччо перебрал в уме десятки способов унизить тех, кто нанес ему оскорбление. «Можно, конечно, потребовать, чтобы они немедля уплатили долг; и это поставит их перед такими трудностями, что они вообще откажутся выдавать ее замуж!» Но этот план показался ему отвратительно низким. Будь на месте де Крессэ обыкновенные горожане, Гуччо, возможно, и осуществил бы свои намерения; но, имея дело с дворянами, которые старались подавить его своим благородством, он хотел сразить их тоже по-дворянски. Ему не терпелось доказать им, что он, Гуччо Бальони, более важный сеньор, чем все де Крессэ и все Сен-Венаны мира.

Вот какие мысли занимали его за десертом — на стол подали бланманже и сыр. Когда обед уже подходил к концу, Гуччо вдруг решился — он отцепил свою ладанку и протянул ее молодой девушке со словами:

— Вот, прекрасная Мари, мой свадебный подарок. Королева Клеменция,— последнее слово Гуччо старательно выделил голосом,— королева Франции своими руками надела мне эту ладанку на шею за все услуги, оказанные ей мною, в знак дружбы, которой она меня удостаивает. Эта ладанка содержит частицу мощей Иоанна Крестителя. Я не собирался с нею расставаться, но думается мне, что можно без сожаления расстаться с тем, что дорого, ради того, кто дороже всего на свете... и я буду счастлив, если вы не расстанетесь с моим подарком, дабы он стал вам защитой, равно как и вашим детям, которых я желаю вам иметь от вашего дворянина из Артуа.

Гуччо не нашел иного способа выразить свое презрение. Недешево обошлась ему эта фраза, сказанная, правда, весьма к случаю. Решительно всякий раз, когда он бывал у де Крессэ, у которых за душой и гроша ломаного не водится, ему почему-то приходилось оплачивать золотом любой благородный порыв души. И, являясь в замок Крессэ, чтобы брать, он неизменно уезжал в роли дарителя.

Если Мари в ту минуту не залилась горючими слезами, то лишь потому, что страх перед матерью и старшим братом был еще сильнее, чем угнетавшее ее горе; но ее пальцы предательски дрожали, когда она принимала ладанку из рук Гуччо. Она поднесла его дар к губам; она могла позволить себе это — ведь в золотом футляр-

чике лежала частица святых мощей. Но Гуччо не заметил ее жеста. Он сразу же отвернулся.

Сославшись на свою недавнюю рану, на дорожную усталость и на необходимость завтра же быть в Париже, Гуччо поспешил распрощаться с хозяевами, кликнул слугу, закутался в меховой плащ, вскочил в седло и выехал из замка Крессэ с твердым намерением никогда больше сюда не возвращаться.

— А теперь все же не мешало бы написать кузену Сен-Венану,— сказала мадам Элиабель Жану, когда за Гуччо закрылись ворота замка.

Возвратившись в нофльскую контору, Гуччо до вечера не раскрывал рта. Он велел принести все книги и сделал вид, что погружен в проверку счетов. Приказчик Рикар, вспоминая, как радостно поскакал Гуччо поутру в Крессэ, догадался, что случился какой-то конфуз. Гуччо объявил ему, что уезжает завтра на заре; он, видимо, не склонен был к излияниям, и Рикар рассудил, что самое благоразумное — воздержаться от расспросов.

Гуччо провел бессонную ночь в той самой горнице, которую с такими заботами приготовили для его постоянного пребывания в Нофле. Теперь уже он жалел о подаренной ладанке и клял себя за свое бессмысленное прекраснодушие. «Не заслужила она этого, а я просто глупец... Как-то дядя Спинелло примет мое решение? — думал он, вертясь на жестких простынях.— Конечно, он скажет, что я сам не знаю, чего хочу, ведь я так умолял его отдать мне здешнее отделение... Нет уж, хватит с меня, довольно. Подумать только: я мог бы поступить в свиту королевы и добиться прочного высокого положения при дворе, а я поскользнулся на пристани, поспешив спрыгнуть, и целые полгода провалялся в больнице. Я мог бы вернуться в Париж и трудиться для своего благосостояния, а помчался в этот захолустный городишко с целью жениться на деревенской девице, с которой носился два года, как будто нет на свете других женщин!.. И все это для того, чтобы она предпочла мне какого-то болвана из благородных! Bel lavoro! Bel lavoro! [1] Это послужит мне хорошим уроком. Ну что ж, молодость кончилась». Когда забрезжил свет, Гуччо уже успел убедить себя, что судьба оказала ему добрую услугу. Он крикнул слугу, велел сложить вещи и седлать коня.

[1] Хорошенькое дело! (*Итал.*)

Когда перед самым отъездом он наспех завтракал чашкой бульона, в отделение вдруг явилась служанка, которую он вчера заметил в замке Крессэ, и заявила, что хочет поговорить с хозяином наедине, без свидетелей. Пришла она с поручением: Мари удалось ненадолго выскользнуть из дома, и сейчас она ждет Гуччо на полдороге из Нофля в Крессэ на берегу Модры. «В том самом месте, которое вы знаете»,— добавила служанка.

Поскольку Гуччо видел Мари вне дома только один-единственный раз, он сразу понял, что речь идет о поле, обсаженном яблонями, на самом берегу реки, где они обменялись первым поцелуем. Но Гуччо ответил посланнице, что, по-видимому, произошло недоразумение, что ему лично не о чем беседовать с мадемуазель Мари, напрасно она беспокоилась и пошла в поле, чтобы с ним встретиться.

— На мадемуазель Мари просто смотреть жалко,— твердила служанка.— Поверьте, мессир, вам непременно надо с ней встретиться; если вас оскорбили, она-то здесь при чем?

Не удостоив наперсницу Мари ответом, Гуччо вскочил в седло и понесся по Парижской дороге. «Марсельская набережная! Марсельская набережная! — твердил он про себя.— Нет, хватит глупить; еще неизвестно, что меня ожидает, если я вновь с ней увижусь. А если ей охота плакать, пусть в одиночестве глотает слезы».

Метров двести проскакал он по направлению к Парижу, потом внезапно на глазах изумленного слуги круто повернул коня, поднял его в галоп и помчался прямо через поля.

Спустя несколько минут Гуччо уже был на берегу Модры: он увидел поле, а под яблонями — поджидавшую его Мари.

Глава III

ВЕНЧАНИЕ В ПОЛНОЧЬ

Когда Гуччо, вскоре после того как отошла вечерня, соскочил с седла перед банкирской конторой Толомеи на Ломбардской улице, конь его был весь в мыле.

Гуччо бросил поводья слуге, прошел через галерею, где стояли прилавки, и, забыв о поврежденном бедре, стал быстро подыматься по лестнице на второй этаж, где помещался дядин кабинет.

Он открыл двери; в комнате было темно — широкая

спина Робера Артуа заслоняла вечерний свет, льющийся в окно. Артуа обернулся.

— Ага, вас, дружище Гуччо, посылает мне само провидение! — воскликнул он, раскрывая вошедшему объятия.— Я как раз просил у вашего дяди порекомендовать мне расторопного и дельного человека, чтобы немедленно отрядить его в Аррас к Жану де Фиенн. Но тут требуется осторожность, молодой человек,— добавил он наставительно, словно Гуччо уже дал свое согласие.— Добрые мои друзья д'Ирсоны не дремлют и натравят своих псов на любого моего посланца.

— Ваша светлость,— проговорил Гуччо, еще не отдышавшись от бешеной скачки,— ваша светлость, в прошлом году я чуть было не отдал богу душу, когда ездил по вашему поручению в Англию, сейчас я полгода провалялся в постели, возвращаясь из Неаполя, где был по поручению короля, и все эти поездки не принесли мне счастья. Разрешите же мне на сей раз отказать вам, ибо у меня есть свои собственные дела, не терпящие отсрочки.

— Поверьте, вы не пожалеете, ваши услуги будут щедро оплачены,— заявил Робер.

— Денежками, которые мне придется вам ссудить,— кротко вставил Толомеи, сидевший в темном углу, сложив руки на животе.

— Я и за тысячу ливров никуда не поеду, ваша светлость,— воскликнул Гуччо.— А в Артуа особенно.

Робер повернулся к Толомеи.

— Скажите, дружище банкир, слыхали вы когда-нибудь подобные речи? Если уж ломбардец отказывается от тысячи ливров, которых я ему, кстати, и не предлагал, значит, тут дело серьезное. Уж не подкуплен ли ваш племянник мэтром Тьерри... забери его господь со всеми потрохами!

Толомеи рассмеялся.

— Не опасайтесь, ваша светлость, подозреваю, что мой племянник влюблен и даже завоевал сердце одной знатной особы.

— Эге, если речь идет о том, чтобы услужить даме, я отступаюсь и не посетую на отказ. Но мне все равно нужен человек, который выполнил бы известное вам поручение.

— Есть у меня подходящий человек, не беспокойтесь, надежный гонец, и он тем вернее будет служить вам, что вас не знает. К тому же монашеское одеяние не так бросается в глаза на дорогах.

— Монах?— проговорил Робер, недовольно морщась.

— Да, итальянский монах.

— Это уже лучше... ибо, видите ли, Толомеи, я затеваю крупное дело. Коль скоро Людовик запретил моей тетушке Маго выезжать из Парижа, я решил воспользоваться этим обстоятельством и захватить с помощью союзников ее замок Геден — вернее, мой собственный замок Геден! Я подкупил...— да, да, с помощью вашего золота, как вы, кажется, собирались заметить! — ...словом, подкупил двух стражников нашей милой графини, двух мошенников, у нее в услужении все мошенники, все как один продажные; они впустят моих друзей в замок. И если я не мог воспользоваться тем, что принадлежит мне по праву, то уж не беспокойтесь, пограбить мы сумеем, а вам я поручу распродать добычу.

— Эге, ваша светлость, вы, видно, хотите вовлечь меня в славное дельце!

— Ну что ж, падать — так с большого коня! Ведь вы банкир, а следовательно, вор, и нечего вам бояться укрывательства краденого, я прошу у людей только таких услуг, которые соответствуют их чину и званию.

После арбитража Робер Артуа пребывал в самом радужном расположении духа.

— Прощайте, дружище, я вас очень люблю. Ах, совсем забыл... имена тех двух стражников. Дайте-ка мне листок бумаги.— И, написав записку, Робер добавил: — Только в собственные руки сиру де Фиенн, и никому другому. За Суастром и Комоном слишком следят.

Робер поднялся, застегнул золотую пряжку, придерживавшую плащ у ворота, положил свои огромные лапищи на плечи Гуччо, отчего тот согнулся чуть ли не пополам, и прогремел:

— Вы совершенно правы, мой милый, развлекайтесь со светскими дамами, на то она и молодость. Вот когда вы станете чуть постарше, вы узнаете, что они такие же шлюхи, как и все прочие, и что те же самые удовольствия можно получить за десять су в любом непотребном доме.

Он вышел, но еще долго слышался его громовой смех, от которого сотрясалась лестница.

— Ну, племянничек, когда же свадьба? — спросил Толомеи.— Я, признаться, так скоро тебя не ждал.

— Дядюшка, дядюшка, вы должны мне помочь! — воскликнул Гуччо.— Знайте же, что эти люди — чудови-

ща, что они запретили Мари со мной видеться, что их кузен с севера просто урод, чучело... и что они ее непременно уморят!

— Какие люди? Какой кузен? — спросил Толомеи.— Боюсь, сынок, что твои дела идут не так хорошо, как тебе хотелось бы. Расскажи мне все, только по порядку.

Тут Гуччо рассказал дяде о своем посещении Нофля. Он даже сгустил краски, повинуясь истинно латинской склонности все драматизировать. Молодую девушку заточили, и она, рискуя жизнью, побежала к Гуччо через поля и леса, умоляя о спасении. Семейство Крессэ, узнав о планах Мари, намеревается силой выдать ее за дальнего родственника, человека, наделенного всеми физическими и моральными уродствами.

— За сорокапятилетнего старика! — заключил Гуччо.

— Благодарю тебя,— отозвался Толомеи.

— Но Мари любит лишь меня одного, она мне об этом сама сказала, она подтвердила это. Она не хочет другого супруга, и я отлично знаю, что, если ее принудят выйти замуж за другого, она умрет. Дядюшка, помогите мне!

— Но как же, дружок, я могу тебе помочь?

— Помогите мне похитить Мари. Я увезу ее в Италию, мы там поселимся до лучших времен.

Спинелло Толомеи, плотно прижмурив один глаз и широко открыв другой, поглядел на племянника с полуозабоченным, полунасмешливым видом.

— Я же тебе говорил, сынок, что это будет не так-то легко и что напрасно ты увлекся девушкой из знатной семьи. У этих людей нет лишней рубашки, и едят-то они только благодаря нам...— да, да, мне все известно! — ...даже кровать, на которой они спят, и та принадлежит нам; но, если наш молодой человек задумает лечь в эту кровать, они ему в лицо плюнут. Лучше забудь ты о ней. Если нас оскорбляют, то обычно потому, что мы сами суемся куда не следует. Выбери себе какую-нибудь красивую девицу из наших, у которой и золота много и которая принесет тебе славных ребятишек, а проезжая в карете, забрызгает грязью твою деревенскую красотку.

Вдруг Гуччо осенило.

— Ведь Сен-Венан, если не ошибаюсь, тоже из союзников Робера Артуа? — закричал он.— Если я повезу послание от его светлости Робера, я могу отыскать этого

самого Сен-Венана, заставлю принять мой вызов и непременно убью его.

И Гуччо схватился за кинжал.

— Доброе дело,— заметил Толомеи,— и главное, шуму не будет. А затем твои Крессэ подберут дочке другого жениха из Бретани или Пуату, и тебе придется скакать туда и убивать следующего претендента. Много же тебе придется поработать!

— Я женюсь на Мари или вообще не женюсь, дядюшка, и никому не позволю на ней жениться.

Толомеи воздел к небесам обе руки.

— Вот она, молодость! Через пятнадцать лет твоя супруга, уж не взыщи, станет уродливой, figlio mio, и, глядя на ее морщинистое лицо и отвислые груди, ты сам будешь удивляться: неужели ради всего этого я так хлопотал в свое время?

— Неправда! Неправда! И потом, я вовсе не собираюсь заглядывать на пятнадцать лет вперед, я живу сегодняшним днем, и ничто на свете не может мне заменить Мари. Она меня любит.

— Она тебя любит? Что ж, мальчуган, если она тебя так сильно любит...— только не повторяй моих слов нашему доброму другу архиепископу Санскому —...так вот, если она тебя так сильно любит, не обязательно венчаться, чтобы быть счастливыми. Я бы на твоем месте только радовался, что ей выбрали уродливого мужа, больного подагрой и без единого зуба, как ты утверждаешь, хотя ни разу его не видел... Твои дела идут как нельзя лучше.

— Schifoso! Queste sono parole schifose! Vengono da un uomo che non conosce Maria[1]. Вы не знаете, до чего она чиста, как глубоко религиозна. Она будет моей, лишь повенчавшись со мной, и никогда не будет принадлежать никому, кроме того, с кем ее соединили перед лицом господа бога... Ну что ж, если так, обойдусь без твоей помощи, и мы будем скитаться по дорогам, как нищие, и твой племянник умрет от холода где-нибудь на горном перевале.

Итальянские и французские слова, местоимения «ты» и «вы» мешались в речах Гуччо, и при разговоре он сильнее обычного размахивал руками.

— Кроме того, я и не нуждаюсь в твоей помощи,— продолжал он,— я пойду прямо к королеве.

[1] Какая гнусность! Какие гнусные слова! Их может сказать тот, кто не знает Мари! (*Итал.*)

Толомеи негромко прихлопнул ладонью по столу.

— А теперь помолчи,— сказал он, не повышая тона, но его левый, всегда плотно зажмуренный глаз внезапно широко открылся.— Никуда и ни к кому ты не пойдешь, и особенно к королеве. С тех пор как она здесь, наши дела идут не слишком блестяще, и не хватает только скандала, который привлек бы к нам внимание. Королева — сама доброта, само милосердие, сама набожность. Знаю! Знаю! Она походя творит милостыню, но с тех пор, как она приобрела безграничную власть над королем, из нас, несчастных ломбардцев, всю кровь высосали. Ведь милостыню-то раздают из наших средств! Знатные господа упрекают нас в ростовщичестве, а сами, когда приходится туго, бегут к нам и заставляют нас расплачиваться за совершенные ими глупости. Взять хотя бы его высочество Валуа, который нас жестоко разочаровал. Королева Клеменция не пожалеет добрых слов и благословений, но вокруг нее имеется немало людей, которые будут рады тебя схватить и примерно наказать как соблазнителя благородных девиц, хотя бы для того, чтобы досадить мне. Уж не забыл ли ты, что я главный капитан ломбардцев в Париже? Пока тебя здесь не было, ветер переменился. Лучшие друзья Мариньи, которые меня не особенно-то жалуют, освобождены из тюрьмы и группируются вокруг графа Пуатье...

Но Гуччо ничего не желал слушать — что ему были все ордонансы, все налоги, все легисты, а также борьба за власть. Он упорно держался за свой план — похитить Мари без посторонней помощи.

— Segnato de Dio! [1] — произнес Толомеи, постучав себя по лбу, как бы говоря, что перед ним юродивый.— Но, несчастный дурачок, вы же и десяти лье не успеете сделать, как вас схватят. Твою девицу упрячут в монастырь, а тебя... Ты хочешь на ней жениться? Ладно! Женись, коль скоро это единственный способ тебя исцелить... Я тебе помогу.

И он прикрыл левый глаз.

— Как видишь, безумие заразительно, но ничего не поделаешь, я предпочитаю не бросать тебя в беде, так оно будет спокойнее,— добавил он.— Но все-таки почему я должен быть в ответе за все глупости, которые совершают мои родные!

[1] Дурачок! (*Итал.*)

Он позвонил в колокольчик, на звук которого вошел один из служащих банка.

— Поезжай немедленно в монастырь братьев августинцев,— приказал ему Толомеи,— и привези с собой фра Винченцо, который вчера вечером прибыл из Перузы.

Через два дня Гуччо направился в Нофль, на сей раз в сопровождении итальянского монаха, который должен был передать баронам Артуа послание от его светлости Робера. Путешествие было оплачено более чем щедро, поэтому фра Винченцо без колебаний согласился сделать крюк и оказать банкиру Толомеи две услуги вместо одной.

Впрочем, банкир сумел внушить монаху, что его миссия вполне невинна. Гуччо, мол, соблазнил одну девицу, совершившую с ним плотский грех, и он, Толомеи, не желает, чтобы дражайшие чада продолжали и далее жить во грехе. Но действовать следует осторожно, чтобы не возбудить подозрений семьи.

Когда эти вполне здравые соображения были подкреплены кошельком с золотом, фра Винченцо окончательно признал их убедительность. Тем более что, подобно всем своим соотечественникам, даже носящим монашескую рясу, он был всегда готов помочь любовной интриге.

К ночи Гуччо вместе с монахом прибыл в замок Крессэ. Мадам Элиабель с домочадцами уже собиралась отойти ко сну.

Юный ломбардец попросил ее приютить их на ночь, сославшись на то, что не успел предупредить Рикара и что отделение в Нофле недостаточно хорошо, дабы там можно было бы принять духовное лицо. Так как Гуччо и раньше не раз ночевал в замке, и даже по приглашению самих хозяев, его просьба не вызвала подозрений: напротив, вся семья старалась как можно радушнее принять путников.

— Мы с фра Винченцо охотно ляжем в одной комнате,— заявил Гуччо.

У фра Винченцо была круглая физиономия, внушавшая к нему доверие, пожалуй, не меньше, чем его ряса; кроме того, он говорил только по-итальянски, что позволяло ему не отвечать на нескромные вопросы.

Прежде чем приняться за предложенную ему трапезу, он долго и благочестиво молился.

Мари не осмеливалась взглянуть на Гуччо, но молодой человек, воспользовавшись мгновением, когда она проходила мимо, успел шепнуть ей:

— Не спите эту ночь.

Когда пришла пора ложиться спать, фра Винченцо обратился к Гуччо с непонятной для хозяев фразой на итальянском языке, в которой повторялись слова chiave cappella [1].

— Фра Винченцо спрашивает,— перевел Гуччо, адресуясь к мадам Элиабель,— не могли бы вы ему дать ключ от часовни, так как завтра он уезжает рано и перед отъездом хотел бы отслужить мессу.

— Ну конечно,— ответила хозяйка замка,— кто-нибудь из моих сыновей подымется с ним вместе и поможет ему совершить службу.

Гуччо горячо запротестовал: совершенно незачем беспокоить хозяев. Фра Винченцо подымется чуть свет, а он, Гуччо, сочтет за честь помочь монаху в качестве причетника. Пьер и Жан отнюдь не настаивали.

Мадам Элиабель вручила монаху свечу в подсвечнике, ключ от часовни и ключ от шкафчика, где стояла дарохранительница, вслед за тем присутствующие разошлись по своим комнатам.

— Этот Гуччо, о котором мы так строго судили,— сказал Пьер, прощаясь с матерью на ночь,— весьма привержен святой религии.

В полночь, когда весь замок был погружен в глубокий сон, Гуччо и монах на цыпочках вышли из своей комнаты. Юноша тихонько стукнул в двери спальни Мари, и молодая девушка немедленно появилась на пороге. Не говоря ни слова, Гуччо взял ее за руку, они спустились по винтовой лестнице и прошли позади кухни.

— Смотри, Мари,— шепнул Гуччо,— сколько звезд... Фра Винченцо сейчас соединит нас.

Мари, по-видимому, не удивилась. Гуччо обещал ей вернуться — и вернулся; обещал с ней обвенчаться — и сейчас обвенчается, не важно, при каких обстоятельствах. Она полностью, целиком ему покорилась. Зарычала собака, но, признав Мари, тут же затихла.

Ночь стояла морозная, однако ни Мари, ни Гуччо не чувствовали холода.

Они вошли в часовню. Фра Винченцо зажег свечку в лампаде, свисавшей над алтарем. Хотя никто не мог

[1] Ключ, часовня (*итал.*).

их услышать, они по-прежнему говорили шепотом. Гуччо перевел Мари вопрос священника, осведомлявшегося, исповедовалась ли невеста. Мари ответила, что исповедовалась только позавчера, и священник дал ей отпущение грехов, которые она могла совершить с тех пор; впрочем, он сделал бы это, даже если бы Мари признала себя виновной во всех смертных грехах, ибо не понимал французской речи. А Гуччо святой отец недавно исповедовал в их общей спальне.

Через несколько минут еле слышное «да» соединило перед богом, если не перед людьми, племянника главного капитана ломбардцев и красавицу Мари де Крессэ.

— Мне бы так хотелось устроить для вас более пышную свадьбу,— шепнул Гуччо.

— А по мне, мой любимый, мой родной, нет бракосочетания прекраснее,— ответила Мари,— поскольку сочеталась я с вами.

Когда они собирались уже покинуть часовню, монах вдруг заволновался.

— Che caso? [1] — шепотом осведомился Гуччо.

Фра Винченцо сказал, что двери часовни во время церемонии были наглухо заперты.

— E allora? [2]

Монах объяснил, что бракосочетание считается законным лишь в том случае, если двери открыты,— формальность, означающая, что любое постороннее лицо могло быть свидетелем обетов, данных в соответствии со священными обрядами и без принуждения. В противном случае мог возникнуть предлог для расторжения брака.

— Что он говорит? — спросила Мари.

— Советует нам поскорее уходить отсюда,— ответил Гуччо.

Они вошли в дом, поднялись по лестнице. У дверей спальни монах, окончательно успокоившийся, полуобнял Гуччо за плечи и легонько подтолкнул его к порогу...

Вот уже два года Мари любила Гуччо, вот уже два года она думала лишь о нем и жила одним желанием — принадлежать ему. Теперь, когда совесть ее была спокойна и она не боялась более вечного проклятия, ничто не вынуждало ее сдерживать страсть.

Выросла Мари в деревенской глуши, без людей, без кавалеров и ухаживаний, порождающих, в сущности,

[1] Что случилось? (*Итал.*)
[2] Ну и что же? (*Итал.*)

ложную стыдливость. Она жаждала любви и, узнав ее, отдалась своим чувствам со всем простодушием, в ослеплении счастья.

Болезненные ощущения, испытываемые девушками, сплошь и рядом вызываются скорее страхом, нежели естественными причинами. Мари не ведала этого страха! И хотя Гуччо еще не было двадцати, за плечами у него имелся достаточный опыт, чтобы избежать неловкостей, но не такой уж богатый, чтобы прежние его радости могли охладить любовный пыл. Он сделал Мари счастливой, и, так как в любви человек получает только в той мере, в какой одаривает сам, он и сам был на вершине счастья.

В четыре часа монах разбудил молодых, и Гуччо пробрался в свою комнату, расположенную в противоположном конце замка. Затем фра Винченцо спустился с лестницы, изо всех сил топоча ногами, прошел через часовню, вывел из конюшни своего мула и исчез в ночном тумане.

При первых проблесках зари мадам Элиабель, почувствовав вдруг смутные подозрения, приоткрыла двери горницы для гостей и заглянула внутрь. Мерно дыша, Гуччо спал; его смоляные кудри рассыпались по подушке; на лице застыло какое-то ребячески-безмятежное выражение.

«Ах, что за прелестный кавалер!» — со вздохом шепнула про себя мадам Элиабель.

Гуччо спал как убитый, так что хозяйка замка осмелилась на цыпочках приблизиться к постели и запечатлела на челе юноши поцелуй, вложив в него всю сладость греха.

Глава IV

КОМЕТА

В конце января, в то же самое время, когда Гуччо тайно сочетался браком с Мари де Крессэ, король, королева и часть придворных отправились в паломничество в Амьен.

Помесив сначала немало грязи на дорогах, кортеж приблизился к собору и на коленях прополз через неф; здесь пилигримы застыли в благоговейном созерцании святыни, хранившейся в промозглой сырости часовни,— перед реликвией Иоанна Крестителя, вывезенной в прошлом веке, в 1202 году, из Святой земли неким Валло-

ном де Сарту, так звали крестоносца, который прославился розысками священных останков и привез с собой во Францию три бесценных сокровища: главу святого Христофора, главу святого Георгия и часть главы святого Иоанна.

Амьенская реликвия содержала лишь лицевые кости; была она заключена в позолоченную раку в форме скуфьи, что должно было возместить отсутствие макушки святого. Череп его, почерневший от времени, казалось, улыбался из-под сапфировой с изумрудами короны и наводил на окружающих благоговейный ужас. Над левой глазницей виднелась дыра — согласно преданию, то был след от удара кинжалом, нанесенного рукой Иродиады, когда ей принесли отрубленную голову Предтечи. Все это сооружение покоилось на золотом блюде.

Клеменция, погруженная в молитву, казалось, не замечала холода, и сам Людовик X, тронутый ее рвением, простоял неподвижно всю церемонию, блуждая мыслями в таких высотах, каких ему раньше никак не удавалось достичь. Зато толстяк Бувилль застудил грудь и только через два месяца встал с постели.

Результаты паломничества не замедлили сказаться. К концу марта королева почувствовала определенные признаки, доказывавшие, что небеса вняли ее мольбам. Она усмотрела в них благодетельное заступничество святого Иоанна перед господом богом.

Однако лекари и повивальные бабки, наблюдавшие Клеменцию, не могли еще вынести окончательного суждения и заявляли, что только через месяц смогут с уверенностью подтвердить предположение королевы.

Чем тягостнее тянулось время ожидания, тем больше король подпадал под влияние своей мистически настроенной супруги. Желая заслужить благословение небес, Сварливый жил и правил теперь так, словно твердо решил быть непременно сопричисленным к лику святых.

По-видимому, не следует побуждать людей преступать пределы их натуры; пусть уж лучше злой остается при своей злобе, нежели превращается в агнца. Король, и впрямь задумав искупить все свои прегрешения, первым делом выпустил из тюрьмы злоумышленников, что вызвало в Париже волну преступлений, и никто уже не смел выйти ночью на улицу. Грабежей, нападений, убийств совершалось теперь больше, чем за предыдущие

сорок лет, и стража сбивалась с ног. Непотребных девок загнали в особый квартал, границы коего твердо определил еще Людовик Святой; тайная проституция процветала в тавернах и особенно в мыльнях, где самый добропорядочный мужчина подвергался плотскому соблазну, представавшему перед посетителем без всяких покровов.

У Карла Валуа голова шла кругом, но так как и он стал к вящей для себя выгоде поборником религии и древних обычаев, то не мог противиться принятию мер, подсказанных высоконравственными соображениями.

Ломбардцы, чувствуя, что на них косятся, с меньшей охотой брались за ключи от своих сундуков, когда речь шла о нуждах королевского двора. А тут еще бывшие легисты короля Филиппа Красивого воссоздали оппозиционную партию, группировавшуюся вокруг графа Пуатье, во главе с Раулем де Прелем, и коннетабль Гоше де Шатийон открыто принял их сторону.

Клеменция простерла свое великодушие до того, что обратилась к Людовику с просьбой взять у нее обратно подаренные земли, ранее принадлежавшие Мариньи, и восстановить в правах наследства родственников бывшего правителя королевства.

— Вот это, душенька моя, я сделать не в состоянии, такие вопросы нельзя пересматривать, король не может быть не прав. Однако обещаю вам, как только наша казна пополнится, установить моему крестнику Луи Мариньи достаточно щедрую пенсию, которая покроет все его потери.

В Артуа дела все еще не налаживались. Вопреки всем демаршам, договорам и предложениям графиня Маго оставалась непреклонной. Она жаловалась, что бароны собираются нахрапом захватить ее замок. Измена двух стражников, которые обязались открыть союзникам ворота, была вовремя обнаружена; и два скелета на устрашение прочим болтались в петле на зубчатой стене замка Геден. Тем не менее графиня, вынужденная подчиниться решению короля, не показывалась в Артуа после венсенского арбитража, а вместе с ней и все семейство д'Ирсонов. Таким образом, великое смятение царило на землях, прилегавших к Артуа, каждый по собственному желанию мог объявить себя сторонником графини или Робера; любое слово увещевания отскакивало, как горох, от баронских кирас и производило столь же малое действие.

— Не нужно больше кровопролития, милый мой супруг, не нужно кровопролития,— советовала Людовику Клеменция.— Приведите их к благоразумию силой молитвы.

Это отнюдь не мешало литься крови на дорогах Северной Франции.

Запасы терпения, приобретенные Сварливым лишь недавно, стали истощаться. Возможно, ему и удалось бы уладить дело, но для этого требовались усилия, между тем уже примерно с Пасхи все внимание короля было поглощено бедой, постигшей самое столицу.

Лето 1315 года оказалось роковым для произрастания злаков, равно как и для военных подвигов. Ежели ливни и грязь помешали пожать плоды военной победы, те же ливни и грязь помешали крестьянам убрать урожай. Однако, наученные горьким опытом прошлого года, крестьяне, как бедны они ни были, не пожелали поделиться даже за деньги скудным запасом зерна с горожанами. Голод переместился из провинции в столицу. Никогда еще съестные припасы не достигали такой цены, и никогда еще люди не доходили до такого истощения.

— Боже мой, боже мой, пусть их немедленно накормят,— твердила Клеменция, видя, как бродят вокруг Венсена орды изголодавшихся людей, выпрашивая кусок хлеба.

Голодных было столько, что приходилось не раз защищать замок от нападения толпы. Клеменция посоветовала духовенству устроить торжественную процессию на улицах Венсена и предложила всему двору поститься после Пасхи столь же строго, как и во время великого поста. Его высочество Валуа охотно подчинился воле королевы и велел распространить эту весть в народе, дабы люди знали, что сеньоры также делят с ними их беду. А сам вовсю торговал зерном из закромов своего графства.

Робер Артуа, отправляясь в Венсен, всякий раз предварительно съедал обед, которого хватило бы на четверых, сготовленный верным его слугой Лорме; глотая кусок за куском, он твердил свою любимую поговорку: «Живем не тужим, сытенькими помрем». После чего, сидя за королевским столом, он без труда разыгрывал роль постника.

В разгар этой недоброй весны на парижском небе появилась комета и простояла над столицей трое суток.

В годину бед людскому воображению нет удержу. Народу было угодно видеть в комете предзнаменование еще горших бедствий, как будто недостаточно было тех, что уже обрушились на Францию. Панический страх охватил тысячи людей, во всех концах страны вспыхивали смуты, неизвестно против кого и против чего направленные.

Канцлер посоветовал королю возвратиться в столицу хотя бы на несколько дней и показаться народу. Итак, в те самые дни, когда вокруг Венсена зазеленели леса и Клеменция впервые не без приятности проводила здесь время, весь двор перебрался в огромный дворец Ситэ, показавшийся королеве враждебным и холодным.

Здесь-то и произошел совет лекарей и повивальных бабок, которые должны были подтвердить предположение королевы.

В то утро, когда собрался лекарский совет, король был встревожен сверх всякой меры и, желая обмануть нетерпение, решил сыграть в саду дворца несколько партий в мяч. Площадка для игры помещалась как раз напротив Еврейского острова. Но два года — достаточный срок, чтобы поблекли воспоминания; и Людовик, уверенный, что своим нравственным очищением искупил все, бегал за кожаным мячом без малейшего угрызения совести, и как раз на том самом месте, где они с отцом два года с месяцем назад слушали проклятия, изрыгаемые устами, к которым уже подбирался огонь...

Король обливался потом и раскраснелся от гордости, ибо сеньоры дали ему возможность выиграть очко, как вдруг он заметил спешившего к нему Матье де Три, первого своего камергера. Людовик остановился и спросил:

— Ну что, в тягости королева или нет?

— Еще не известно, государь, еще только приступили к обсуждению, но вас спрашивает его высочество Пуатье, он просит немедленно пожаловать во дворец. Он заперся там с вашими родичами и мессиром Нуайе.

— Я приказал, чтобы меня не беспокоили, не время сейчас!

— Но вопрос важный, государь, и его высочество Пуатье говорит, что дело прямо вас касается. Не угодно ли вам лично присутствовать при их беседе? Это крайне необходимо.

Людовик с сожалением бросил взгляд на кожаный мяч, утер лицо, накинул на рубаху полукафтан и крикнул:

— Продолжайте, мессиры, без меня!

Потом направился ко дворцу и по дороге наказал своему камергеру:

— Как только что-нибудь станет известно, Матье, немедленно сообщите мне.

Глава V

КАРДИНАЛ НАСЫЛАЕТ ПОРЧУ НА КОРОЛЯ...

У человека, стоявшего в глубине залы, были черные, близко посаженные глазки, бритый, как у монаха, череп, все лицо его дергалось от нервического тика. Был он высок, но, так как правая нога у него была значительно короче левой, казался ниже ростом.

По обе стороны стояли не стражники, как при обычном посетителе, его стерегли два конюших графа Пуатье — Адам Эрон и Пьер де Гарансьер.

Людовик лишь мельком взглянул на незнакомца. Он кивнул головой, и кивок этот равно относился к его дяде Валуа, двум его братьям Пуатье и де ла Марш, кузену Клермонскому, а также к Милю де Нуайе, зятю коннетабля и советнику парламента. Все поименованные поднялись при появлении короля.

— О чем идет речь? — спросил Людовик, садясь посреди комнаты и жестом приказывая остальным занять места.

— Речь идет о ворожбе, дело серьезное, как нас уведомляют,— насмешливо ответил Карл Валуа.

— Разве нельзя было поручить это дело хранителю печати, а не беспокоить меня в такой день?

— Как раз об этом я и твердил вашему брату Филиппу,— отозвался Валуа.

Граф Пуатье спокойным движением сплел свои длинные пальцы и уперся в них подбородком.

— Брат мой,— начал он,— дело слишком серьезно, и не потому, что оно связано с ворожбой — это вещь обычная,— а потому, что ворожбой на сей раз занимаются в самом конклаве, и, таким образом, мы можем убедиться, какие чувства питают к нам кардиналы.

Еще год назад, услышав слово «конклав», Сварливый зашелся бы от гнева. Но после смерти Маргариты он полностью перестал интересоваться этим вопросом.

— Человека этого зовут Эврар,— продолжал граф Пуатье.

— Эврар...— машинально повторил король, желая показать, что слушает.

— Он причетник в Бар-сюр-Об, а раньше принадлежал к Ордену тамплиеров, где состоял в ранге рыцаря.

— Ах вот как! — воскликнул король.

— Две недели назад он предался в руки нашим людям в Лионе, а те переслали его сюда к нам.

— К вам переслали, Филипп,— уточнил Карл Валуа.

Граф Пуатье, казалось, пренебрег этим замечанием. А оно свидетельствовало о небольшой размолвке между власть имущими, и Валуа был явно обижен, что дело прошло мимо него.

— Эврар говорит, что хочет сделать кое-какие разоблачения,— продолжал Филипп Пуатье,— и мы обещали, если он чистосердечно признается во всем, не причинять ему зла, что и подтвердили здесь. По его признаниям...

Король не спускал глаз с двери, ожидая появления своего камергера. В эти минуты возможное отцовство, будущий наследник занимали все его мысли. У короля Людовика как правителя имелся весьма досадный недостаток — ум его бывал занят чем угодно, только не тем, что требовало августейшего решения в данную минуту. Он неспособен был управлять своим вниманием — порок, непростительный для носителя власти.

Воцарившееся в зале молчание вывело его из состояния мечтательности.

— Ну, брат мой...— произнес он.

— Я не хочу мешать ходу ваших мыслей. Я просто жду, когда вы кончите думать.

Сварливый слегка покраснел.

— Нет, нет, я слушаю внимательно, продолжайте,— сказал он.

— Если верить Эврару,— продолжал Филипп,— он явился в Валанс, где рассчитывал на покровительство одного кардинала, который повздорил со своим епископом... Кстати, надо бы выяснить поточнее это дело...— добавил он, обращаясь к Милю де Нуайе, который вел допрос.

Эврар расслышал эти слова, но даже бровью не повел.

— Таким образом, по его утверждению, Эврар случайно свел знакомство с кардиналом Франческо Гаэтани...

— С племянником папы Бонифация,— вставил Людовик, желая доказать, что он внимательно следит за докладом.

— Именно так... и он вошел в близкие сношения с этим кардиналом, приверженным алхимии, поскольку у него, по словам Эврара, имеется особая комната, вся заполненная тиглями, ретортами и где хранятся различные снадобья.

— Все кардиналы так или иначе причастны к алхимии, это уж их страсть,— заметил Карл Валуа, пожимая плечами.— Его преосвященство кардинал Дюэз, говорят, даже написал какой-то алхимический трактат.

— Совершенно справедливо, дядюшка, я читал его — не весь, конечно, и, признаюсь откровенно, мало что понял в этом трактате под названием «Искусство трансмутаций», хотя он пользуется известностью. Но нынешний случай слишком труден для алхимии, впрочем вполне полезной и уважаемой науки... Куда ей! Кардиналу Гаэтани требовалось найти человека, который умеет вызывать дьявола и напускать порчу.

Карл де ла Марш в подражание дяде Валуа произнес насмешливым тоном:

— От этого кардинала так и несет жареным еретиком.

— Пусть тогда его и сожгут,— равнодушно сказал Сварливый, поглядывая на дверь.

— Вы хотите его сжечь, брат мой? Сжечь кардинала?

— Ах, он кардинал! Тогда нет, не стоит.

Филипп Пуатье устало вздохнул и заговорил, выделяя отдельные слова:

— Эврар сказал кардиналу, что он знает одного человека, который добывает золото для графа де Бар...

Услышав это имя, Валуа в возмущении вскочил с места.

— И впрямь, племянник, мы зря теряем время! Я достаточно близко знаю графа де Бар и уверен, что не станет он заниматься такой ерундой! Это прямой навет, ложное обвинение в сношении с дьяволом, таких оговоров бывает по двадцать в день, и незачем нам преклонять свой слух к разным басням.

Как ни старался Филипп хранить спокойствие, но тут он потерял терпение.

— Однако вы весьма охотно преклоняли слух к наветам и обвинениям в колдовстве, когда дело касалось Мариньи,— сухо возразил Филипп.— Соблаговолите же по крайней мере выслушать рассказ. Прежде всего речь

идет не о вашем друге графе де Бар, как вы узнаете из дальнейшего. Эврар не отправился на поиски нужного человека, а привел к кардиналу Жана де Пре, бывшего тамплиера, который случайно тоже находился в Валансе... Так я говорю, Эврар?

Допрашиваемый молча склонил свой выбритый, иссиня-черный череп.

— Не считаете ли вы, дядюшка,— сказал Пуатье,— что слишком много случайностей разом и слишком много тамплиеров в самом конклаве, и именно в окружении племянника папы Бонифация?

— Пожалуй, пожалуй,— пробормотал уже более миролюбиво Карл Валуа.

Повернувшись к Эврару, Филипп Пуатье в упор спросил:

— Знаком тебе мессир Жан де Лонгви?

Лицо Эврара исказилось обычной нервной гримасой, и его длинные пальцы с плоскими ногтями судорожно вцепились в веревку, перепоясавшую рясу. Но голос его прозвучал уверенно:

— Нет, мессир, не знаю, разве что по имени. Знаю лишь, что он племянник в бозе почившего Великого магистра.

— В бозе... вот уж тоже сказал! — негромко фыркнул Валуа.

— Значит, ты настаиваешь, что никогда не поддерживал с ним никаких отношений? — продолжал Пуатье.— И не получал через бывших тамплиеров никаких указаний от него?

— Я слышал стороной, что мессир де Лонгви старался наладить связь с кем-нибудь из наших, а больше ничего не знаю.

— А тебе не сообщил, скажем, тот же Жан де Пре имени бывшего тамплиера, который прибыл во фландрскую армию с целью доставить послания сиру де Лонгви и отвезти от него послание?

Оба Карла — Валуа и де ла Марш — удивленно переглянулись. Положительно Филипп был осведомлен в ряде вопросов лучше всех прочих, но почему же он держит подобные сведения в тайне?

Эврар стойко выдержал взгляд графа Пуатье. А тот тем временем думал: «Уверен, что это он самый и есть, все приметы сходятся, таким мне его и описывали. К тому же еще колченогий...»

— Тебя пытали в свое время? — спросил он.

— Нога, ваше высочество, моя нога может ответить за меня! — воскликнул Эврар, дрожа всем телом.

Сварливый тем временем начал тревожиться. «Эти лекари слишком уж медлят. Просто Клеменция не в тягости и мне боятся об этом сообщить». Вдруг его вернули к действительности вопли Эврара, который на коленях подползал к нему.

— Государь! Смилуйтесь, не велите снова меня пытать! Клянусь богом, что скажу всю правду!

— Не надо клясться, это грех,— наставительно заметил король.

Конюшие силой подняли Эврара с колен.

— Нуайе, следовало бы разобраться в вопросе об этом посланце в армию,— обратился Пуатье к советнику парламента.— Продолжайте допрос.

Миль де Нуайе, мужчина лет тридцати, с густой шевелюрой и двумя резкими морщинами между бровями, спросил:

— Ну что же, Эврар, вам сказал кардинал?

Бывший тамплиер, еще не оправившийся от испуга, быстро заговорил, и все поняли, что теперь он не лжет.

— Кардинал сказал нам — Жану де Пре и мне,— что он хочет отомстить за своего дядю и стать папой, а для этого необходимо уничтожить врагов, которые чинят ему препятствия; и он посулил нам триста ливров, если мы возьмемся ему помочь. И назвал нам двух главных своих врагов...

Эврар в замешательстве взглянул на короля.

— Ну, ну, продолжайте,— проговорил Миль де Нуайе.

— Он назвал короля Франции и графа Пуатье и добавил, что был бы не прочь видеть, как их вынесут ногами вперед.

Сварливый машинально взглянул на свои туфли, потом вдруг с криком подскочил на кресле:

— Ногами вперед? Но, стало быть, этот злой кардинал ищет моей смерти?!

— Совершенно справедливо,— с улыбкой добавил Пуатье,— и моей тоже.

— Разве ты не знаешь, хромой, что за эдакие злодеяния тебя сожгут живьем на этом свете, а на том тебя ждет преисподняя? — продолжал Сварливый.

— Государь, кардинал Гаэтани уверил нас, что, когда он будет папой, он отпустит нам грехи.

Подавшись всем телом вперед, положив на колени руки, Людовик с ошалелым видом уставился на бывшего тамплиера.

— Неужели меня так ненавидят, что даже хотят извести? — спросил он.— А каким же образом кардинал намеревался отправить меня на тот свет?

— Он сказал, что вас слишком зорко охраняют и поэтому нельзя вас извести ядом или поразить сталью и что поэтому необходимо прибегнуть к порче. Он велел выдать нам фунт чистого воска, который мы распустили в баке с теплой водой в той самой комнате, где стоят тигли. Затем Жан де Пре очень искусно смастерил фигурку с короной на голове...

Людовик X поспешил осенить себя крестным знамением.

— ...а затем другую, поменьше, и корону тоже поменьше. Пока мы работали, кардинал приходил несколько раз нас проведать; он был очень доволен, даже засмеялся, увидев первую фигурку, и сказал: «Слишком уж ему польстили по мужской части».

Карл Валуа, не выдержав, громко фыркнул.

— Ладно, оставим это,— нервно сказал Сварливый.— А что вы сделали с этими изображениями?

— Положили им внутрь бумажки.

— Какие бумажки?

— Бумажки, которые обычно кладутся в такие фигурки: на них пишут имя того, кого они изображают, и слова заклятия. Но клянусь вам, государь,— воскликнул Эврар,— мы ни вашего имени не написали, ни имени мессира Пуатье! В последнюю минуту мы перепугались и написали имена Жака и Пьера Колонна.

— Двух кардиналов Колонна? — переспросил Пуатье.

— Да, да, потому что кардинал говорил, что они тоже его враги. Клянусь, клянусь, я не лгу!

Теперь Людовик X старался не проронить ни слова из рассказа тамплиера и время от времени вскидывал глаза на младшего брата, как бы ища у него поддержки.

— Как по-вашему, Филипп, говорит он правду или нет?

— Сам не знаю,— ответил Филипп.

— Пускай-ка им хорошенько займутся пытальщики,— произнес король.

Казалось, слово «пытальщики» имело над Эвраром

зловещую власть, ибо он снова упал и на коленях пополз к королю, сложив на груди руки, твердя, что его обещали не пытать, если он чистосердечно во всем признается. Полоска белой пены выступила на его губах, а в обезумевшем взгляде читался ужас.

— Уберите его! Не позволяйте ему меня трогать! — завопил Людовик X.— Он одержимый!

И трудно было сказать, кто из двух — король или чернокнижник — испугался больше.

— Пытками вы от меня ничего не добьетесь! — вопил Эврар.— Из-за пыток-то я и отрекся от господа бога.

Миль де Нуайе принял к сведению это признание, непроизвольно сорвавшееся с губ бывшего тамплиера.

— Ныне я повинуюсь голосу совести и потому раскаиваюсь,— вопил Эврар, не подымаясь с колен.— Все скажу... У нас не было елея, а без него окрестить фигурки нельзя. Мы сообщили об этом потихоньку кардиналу, который находился в соборе, и он велел нам обратиться к одному священнику в церковь за мясной лавкой и сказать, что елей, мол, нам нужен для больного.

Теперь уже не было надобности задавать Эврару вопросы. Он сам называл имена доверенных лиц кардинала. Так он назвал капеллана-аудитора Андрие, священника Пьера и брата Боста.

— Потом мы взяли обе фигурки, и две освященные свечи, и еще горшок святой воды, спрятали все это под рясы и пошли к кардиналову ювелиру — звать его Бодон, у него молодая пригожая супружница; так вот они должны были быть восприемником и восприемницей при крестинах. Фигурки мы окрестили в тазу цирюльника. После чего отнесли их кардиналу, он нас щедро отблагодарил и саморучно пронзил у обеих фигурок сердце и все животворные части.

Среди воцарившегося молчания вдруг приоткрылись двери и Матье де Три просунул в щель голову. Но король движением руки приказал ему убираться прочь.

— А дальше что? — осведомился Миль де Нуайе.

— А дальше кардинал велел нам заняться другими,— ответил Эврар.— Но тут я забеспокоился, потому что слишком много людей было посвящено в тайну, отправился в Лион, отдался в руки королевских стражников, и меня привезли сюда.

— А триста ливров вы получили?

— Получил, мессир.

— Черт возьми! — воскликнул Карл де ла Марш.— На что причетнику триста ливров?

Эврар потупил голову.

— На непотребных девок, ваше высочество,— тихо проговорил он.

— Или на нужды Ордена,— произнес как бы про себя граф Пуатье.

Король молчал, ежась от тайного страха.

— В Пти-Шатле! — приказал Пуатье, указывая конюшим на Эврара.

Тот безропотно позволил себя увести. Казалось, он внезапно потерял последние силы.

— Похоже, что среди бывших тамплиеров развелось немало колдунов,— заметил Пуатье.

— Не надо было сжигать Великого магистра,— буркнул Людовик X.

— А я что говорил! — воскликнул Валуа.

— Правда, дядюшка, вы это говорили,— отозвался Филипп.— Но сейчас не о том речь. Бросается в глаза другое — уцелевшие тамплиеры широко раскинули свои сети и готовы на все, лишь бы услужить нашим врагам. Этот Эврар сказал лишь половину правды. Вы сами понимаете, что его исповедь была приготовлена заранее и что только к концу он себя отчасти выдал. Так или иначе, этот конклав, который вот уже два года мечется из города в город, к вящему позору для христианского мира, начинает вредить и королевской власти; и кардиналы, в жажде заполучить тиару, ведут себя так, что вполне заслуживают церковного отлучения.

— Уж не кардинал ли Дюэз,— заметил Миль де Нуайе,— подослал к нам этого человека, дабы повредить Гаэтани?

— Все возможно,— ответил Пуатье.— На мой взгляд, Эврар принадлежит к той породе смутьянов, которые готовы кормиться из любой кормушки, пусть даже овес будет с гнильцой.

Он не успел досказать своей мысли, как вдруг Карл Валуа с торжественно-важным, даже озабоченным видом прервал его.

— А не думаете ли вы, Филипп,— произнес Карл,— что вам следовало бы самолично побывать на конклаве, дела которого столь хорошо вам известны, и навести там порядок, дав миру нового папу? По моему мнению, вы для этого прямо-таки предназначены.

Филипп не мог сдержать улыбки. «Каким, должно

быть, хитрецом считает себя сейчас наш дядюшка Карл,— подумал он.— Наконец-то ему представился случай удалить меня из Парижа и послать в это осиное гнездо...»

— Ага! Вы и впрямь, дядюшка, даете нам мудрый совет! — воскликнул Людовик X.— Конечно, Филипп должен оказать нам эту услугу, он один только и может добиться успеха. Брат мой, я не сомневаюсь, что вы охотно согласитесь... и сумеете разузнать все о бумажках, вложенных в фигурки: окрестили их нашими именами или нет? Да, да, надо сделать это как можно скорее, впрочем, вы сами заинтересованы не меньше меня. А скажите, как с помощью религии отвратить от себя злые чары? Ведь бог сильнее сатаны.

Внешний вид короля не подтверждал этой его уверенности.

Граф Пуатье задумался. В общем-то, предложение соблазнительное. Покинуть на несколько недель двор, где он бессилен воспрепятствовать бесчисленным глупостям и вынужден вступать в конфликты со здешней кликой... лучше уж отправиться на конклав и сделать хоть одно полезное дело. С собой он возьмет верных людей — Гоше де Шатийона, Миля де Нуайе, Рауля де Преля... А там кто знает? Тот, кто посадит на престол папу, тем самым, возможно, прокладывает себе дорогу к трону. Рано или поздно трон Священной Римской империи, который прочил среднему сыну еще отец, освободится и Филипп может домогаться германской короны в качестве пфальцграфа.

— Что ж, пусть будет так, я согласен, лишь бы сослужить вам службу,— произнес он.

— Ах! Какой хороший у нас брат! — воскликнул Людовик X.

Он поднялся с кресла, намереваясь обнять Филиппа, но вдруг остановился, завопил диким голосом:

— Нога! Нога! Вся онемела, отчаянные судороги, я не чувствую под собой земли!

Ему показалось, что сатана уже ухватил его за лодыжку.

— Да полноте, брат,— успокоил его Филипп,— просто у вас затекла нога и по ней бегают мурашки. Разотрите ее — и все пройдет.

— Ах, значит, вы думаете, что она просто затекла? — переспросил Сварливый.

И он вышел из залы, ковыляя, как Эврар.

Вернувшись в свои покои, он узнал, что лекари высказались утвердительно и что, если на то будет воля божия, он станет отцом в ноябре. Король обрадовался доброй вести, но не так сильно, как того ожидали.

Глава VI

«БЕРУ ГРАФСТВО АРТУА ПОД СВОЮ РУКУ»

На следующий день Филипп Пуатье отправился с визитом к теще, чтобы объявить ей о своем скором отъезде. Графиня Маго жила теперь в новом замке Конфлан, стоявшем на самом слиянии рек Сены и Марны — в Шарантоне.

При их разговоре присутствовала Беатриса д'Ирсон. Когда граф Пуатье рассказал о допросе, учиненном колдуну, обе женщины обменялись быстрым взглядом. Одна и та же мысль одновременно пришла им в голову. Приметы пособника кардинала Гаэтани что-то слишком уж совпадали с приметами человека, услугами которого пользовались они сами два года назад, когда понадобилось отравить Гийома де Ногарэ.

«Просто невероятно, чтобы двух бывших тамплиеров звали одинаково и чтобы оба были так сведущи в ворожбе. Смерть Ногарэ, надо полагать, послужила Эврару надежной рекомендацией в глазах племянника папы Бонифация. И бывший тамплиер, очевидно, решил и тут подработать! Ох, скверное дело!..» — думала Маго.

— А каков этот Эврар... из себя? — осведомилась она.

— Худой, чернявый, вид у него полубезумный, и хромает к тому же,— ответил Филипп.

Маго вопросительно взглянула на Беатрису, и та движением век подтвердила слова графа Пуатье: «Да, тот самый». Графиня Артуа почувствовала, что беда нависла над ее головой; Эврара этого непременно подвергнут допросу с применением всех тех надежных орудий, которые помогают вернуть человеку память. Если не приступили уже к делу сейчас. А вдруг он заговорит... Конечно, в окружении Людовика X никто не станет оплакивать Ногарэ. Но будут рады случаю затеять процесс против нее. И как все это получится на руку милейшему Роберу!.. С лихорадочной быстротой она начала строить один план за другим и сама видела всю их неосуществимость. «Умертвить узника в недрах королевской тюрьмы — дело нелегкое... Да и кто в этом помо-

жет, если даже не поздно еще?.. Филипп, только один Филипп! Нужно признаться ему во всем. Но как он сам к этому отнесется? А вдруг откажет? Тогда конец...»

У Беатрисы тоже пересохло в горле.

— А его пытали? — спросила Маго.

— Еще не успели,— ответил Филипп, наклоняясь, чтобы поправить пряжку на туфле,—и...

«Слава тебе господи, еще ничего не потеряно. Ну, а теперь головой в омут!»

— Сын мой...— начала она.

— ...и очень жаль,— продолжал Филипп, все еще возясь с пряжкой,— ибо теперь мы ничего больше не узнаем. Эврар повесился нынче ночью в темнице Пти-Шатле. Должно быть, помутился рассудком от страха перед заплечных дел мастерами.

Он услышал два глубоких вздоха и, выпрямившись, удивленно поглядел на своих собеседниц, которых почему-то растрогала судьба безвестного бродяги, да еще столь гнусных нравов.

— Вы что-то хотели мне сказать, матушка, а я вас прервал.

Маго машинально прикоснулась через шелк платья к ладанке, которую носила на груди.

— Я хотела сказать... что, бишь, я хотела вам сказать? — повторила Маго.— Ах да, я хотела поговорить с вами о Жанне. Прежде всего скажите, берете вы ее с собой или нет?

Ей удалось собраться с мыслями и заговорить своим обычным тоном. Но бог мой!.. Сколько волнений!

— Нет, думаю, что в ее состоянии это вредно,— ответил Филипп,— я как раз и хотел о ней поговорить с вами. Через три месяца она родит, и я не хочу подвергать ее случайностям путешествия, да еще по скверным дорогам. А мне ведь придется немало поездить.

Беатриса д'Ирсон тем временем ушла в мир воспоминаний. Ей представлялась комнатушка за лавкой на улице Бурдоннэ; она вдыхала запах воска, сала и свечей, ощущала прикосновение шершавых ладоней Эврара и вновь переживала удивительное чувство, будто ею владеет сам дьявол.

— Почему вы улыбаетесь, Беатриса? — вдруг спросил граф Пуатье.

— Да так, нипочему, ваше высочество... вернее, потому, что мне приятно вас видеть и слышать.

— Мне хотелось бы, чтобы в мое отсутствие,— продолжал Филипп,— Жанна жила здесь, при вас. Вы сумеете окружить ее заботой и будете ей надежной защитой. Откровенно говоря, я побаиваюсь козней нашего кузена Робера, а вам известно, что если он не может расправиться с мужчинами, то ополчается на женщин.

— Из ваших слов, сынок, можно заключить, что вы причисляете меня к особам мужского пола. Если это комплимент, то он не так уж мне неприятен.

— Еще бы не комплимент! — подтвердил Филипп.

— Вы рассчитываете все-таки вернуться к родам Жанны? — спросила Маго.

— От души этого хочу и, конечно, постараюсь вернуться, но не ручаюсь, ибо этот конклав представляется мне таким запутанным мотком, что за неделю его не распутаешь.

— Ах, до чего же я тревожусь, что вы уезжаете так далеко и так надолго, Филипп, ибо мои враги, без сомнения, воспользуются вашей отлучкой и навредят мне в Артуа.

— То-то и хорошо, сошлитесь на мое отсутствие и не идите ни на какие уступки,— посоветовал Филипп на прощание.

Через два дня граф Пуатье отбыл на юг, а Жанна переселилась к матери в замок Конфлан.

Как и предвидела Маго, положение в графстве Артуа сразу же стало угрожающим. Наступили теплые деньки, и баронам захотелось встряхнуться. Следуя указаниям, которые поступали от Робера, и зная, что Маго отныне не имеет при дворе поддержки, они решили сами управлять провинцией и управляли из рук вон плохо. Состояние анархии пришлось им по душе, и нужно было опасаться, как бы зараза не перекинулась на соседние провинции.

Людовик X, снова перебравшись в свою венсенскую резиденцию, решил покончить с этим злом раз и навсегда. К тому же побуждал его казначей, ибо налоги из Артуа вообще перестали поступать. Маго уверяла, что ее лично поставили в такое положение, при котором налогов не соберешь, и бароны твердили то же самое. Лишь в этом вопросе враждующие стороны проявляли трогательное единодушие.

— Хватит с меня всех этих многолюдных Советов, этих переговоров с представителями, где все бессовестно лгут друг другу, а дело не движется,— изрек Людовик X.— На сей раз я проведу беседу с глазу на глаз и сумею привести графиню Маго к повиновению.

Весть о заговоре Гаэтани, конечно, подействовала на короля, но действие это оказалось недолгим.

В последующие недели после признания бывшего тамплиера Людовик X чувствовал себя здоровее, чем когда бы то ни было. Его перестали даже донимать боли в желудке, хотя он был издавна им подвержен; постная пища, которую посоветовала королю благочестивая Клеменция, пошла ему на пользу. Из этого он заключил, что ворожба не удалась. Тем не менее предосторожности ради он по нескольку раз в неделю принимал святое причастие.

Он окружил королеву не только самыми прославленными во всей Франции повивальными бабками, но также и святыми угодниками, могущими оказаться ей полезными, в числе коих были святой Лев, святой Норбер, святая Колетта, святая Юлиана, святая Маргарита, а также святая Фелиция — последняя за то, что производила на свет божий чад только мужеска пола. Каждый день прибывали все новые реликвии, королевская часовня ломилась от берцовых костей и коренных зубов. Надежда иметь потомство — причем на сей раз можно было с уверенностью сказать, что родителем является именно сам Людовик,— подействовала на короля поистине благотворно. Клеменция, которой он был обязан будущим отцовством, сумела довершить это чудо. Сделать короля умнее она не могла — ибо есть пределы и чуду! — но зато сумела превратить Людовика в нормального человека; будь у короля более умелые советники, он, кто знает, мог бы со временем стать вполне сносным правителем.

В день, когда ко двору была приглашена графиня Маго, Людовик был гораздо спокойнее, любезнее, чем обычно, не так внутренне скован. От Шарантона до Венсена было рукой подать. Желая сделать беседу более интимной, король принял Маго в покоях Клеменции. Та, по обыкновению, сидела за вышиванием. Словом, свидание состоялось в домашней обстановке. Да и сам Людовик был настроен весьма миролюбиво.

— Скрепите для формы мое решение, кузина,— начал он,— коль скоро мы можем добиться мира только

этой ценой. А там поглядим! В конце концов, эти пресловутые обычаи Людовика Святого не так уж точно установлены, и вы всегда сумеете отобрать те привилегии, которые дали сами, так, чтобы правая рука не знала, что творит левая. Точно так же поступил я с жителями Шампани, когда граф Шампаньский и сир Сен-Фаль добивались у меня хартии. Мы добавили к ней всего одну фразу: «За исключением тех случаев, когда может быть нанесен ущерб нашему королевскому величию», и теперь в любом спорном случае на сцену выступает «наше королевское величие»!

С этими словами он дружелюбно протянул гостье кубок, наполненный драже, которое он грыз не переставая во время разговора.

— Уж не ваш ли брат Филипп изобрел такой искусный ход? — осведомилась Маго.

— Да, да, Филипп, как раз он и уточнил этот пункт, но придумал я, а он только подхватил мою мысль.

— Примите во внимание, государь, кузен мой, этот случай не имеет ко мне прямого отношения,— спокойно проговорила Маго.— У меня нет королевского величия, я пользуюсь властью, но не королевской.

— Ну и что ж такого? Все равно напишите «королевское величие», поскольку над вами стою я, король. Если возникнут какие-нибудь спорные вопросы, я их буду решать.

Маго взяла из кубка пригоршню драже, поскольку никакого другого угощения не имелось.

— Хороши, ох, хороши,— пробормотала она с набитым ртом, стараясь выиграть время.— Не особенно-то я охоча до сладостей, и, однако, прямо скажу — хороши.

— Моя возлюбленная супруга Клеменция знает, что я их грызу с утра до вечера, и сама следит за тем, чтобы в ее покоях всегда стояли сладости,— пояснил Людовик, поворачиваясь к королеве с видом супруга, желающего показать, что все его прихоти немедленно приводятся в исполнение.

Клеменция подняла глаза от вышивки и подарила Людовика ласковой улыбкой.

— Ну что же, кузина,— продолжал Людовик,— подпишете вы или нет?

Маго усердно сосала миндалину в сахаре.

— Нет, государь, кузен мой, нет, не могу я подписать это соглашение,— произнесла она.— Ибо ныне мы имеем в вашем лице доброго правителя; не сомневаюсь, что

вы действуете, повинуясь голосу тех чувств, о коих говорили, и во всех случаях обратите мне на пользу приписку о «королевском величии». Но вы не вечно будете жить, а я тем паче. После вас могут прийти — дай бог, чтобы подольше не приходили! — добавила она, осеняя себя крестным знамением,— другие короли, и они не будут судить столь справедливо. А я обязана думать о моих наследниках и не могу поэтому ставить их в зависимость от королевской милости сверх того, что требует наш долг подданных.

Как ни смягчала Маго свой ответ, он прозвучал категорическим отказом. Людовик, который заранее уверил близких людей, что он доведет дело с графиней Маго до желаемого конца — и не с помощью торжественных аудиенций, а применив свою личную дипломатию,— сразу же потерял терпение. Ведь графиня затрагивала его королевское тщеславие. Он вскочил и зашагал по комнате, натыкаясь на мебель, повысил было голос, но, поймав взгляд Клеменции, остановился, покраснел и постарался вновь придать себе королевскую осанку.

В словесной игре Маго легко одерживала верх над королем, тут он был бессилен.

— Вы только поставьте себя на мое место, кузен,— продолжала графиня.— Вот сейчас у вас будет наследник: согласились бы вы передать ему урезанную власть?

— Конечно, мадам, я не оставлю ему урезанной власти и не хочу, чтобы он вспоминал обо мне как о слабовольном отце. В конце концов, не слишком ли вы упорствуете! И коль скоро вы продолжаете выказывать мне неповиновение, беру Артуа под свою руку! И хватит об этом! Можете сколько угодно засучивать рукава, этим меня не напугаешь. Отныне ваше графство будет управляться от моего имени через посредство одного из сеньоров, которого я сам назначу. Что касается вас, вам запрещено удаляться больше чем на два лье от того места, которое я вам назначил для жительства. И не вздумайте появляться здесь, ибо никакой приятности не вижу во встречах с вами. Идите!

Удар был ошеломительный. Маго никак не ожидала подобного обращения. Сварливый и в самом деле переменился.

Пришла беда — отворяй ворота. Маго предложили покинуть королевские покои так неожиданно, что она ушла, унося в руке конфету, которую не успела съесть.

Машинально она положила ее в рот и начала грызть с таким ожесточением, что сломала себе зуб.

В течение недели графиня Маго металась в своем замке Конфлан, как пантера в клетке. Крупным мужским шагом мерила она жилые покои, выходившие окнами на Сену, бродила по главному двору, окруженному галереями, откуда сквозь листву Венсенского леса видны были флюгера королевского замка. Ее гнев не знал пределов, особенно когда 15 мая ей стало известно, что Людовик X во исполнение своих предначертаний назначил правителем Артуа маршала Шампани Юга де Конфлана. В выборе нового правителя, чье имя совпадало с названием ее замка, Маго видела прямую насмешку, более того, кровное оскорбление.

— Конфлан! Конфлан! — твердила она.— Меня заточили в Конфлане и правителем назначили Конфлана, а все для того, чтобы лишить меня моего достояния.

Да и сломанный зуб мучил ее непрерывно — на десне образовался нарыв. То и дело Маго касалась языком больного места, хотя знала, что прикосновением лишь разбередит боль. Приближенным графини не стало житья: на них она изливала свою ярость.

Маго закатила пощечину мэтру Ренье, помощнику регента в ее часовне, за то, что он-де пел фальшиво. Карлик Жанно-дурачок, издали завидев ее, спешил забиться в темный угол; она обрушилась даже на Тьерри д'Ирсона, которого обвиняла в том, что он и его многочисленная родня — причина всех ее бед; упрекала даже свою дочь Жанну — зачем не сумела удержать мужа и отпустила его носиться по конклавам.

— Очень нужен нам этот папа, когда нас вот-вот разорят! — вопила она.— Папа небось нам графства Артуа не вернет.

Потом пришла очередь Беатрисы.

— А ты тоже хороша, ничем помочь не можешь! Только и знаешь, что покупать на мои деньги платье за платьем и вертеть задом перед первым попавшимся кобелем! Неужели нет у тебя никакого верного средства?

— А разве, мадам, сухая гвоздика, которую я достала, не принесла вам облегчения? — кротко осведомилась Беатриса.

— Да разве о зубе сейчас речь! Необходимо выдрать зуб покрупнее — и ты знаешь, как он зовется. Эх, когда дело касается какого-нибудь приворотного зелья,

ты бегаешь, суетишься, находишь ворожей! А когда надо оказать настоящую услугу, так ты...

— Вы не правы, мадам, слишком скоро вы забыли, что с моей помощью вы обкурили Ногарэ и я рисковала ради вас головой.

— Забыла, забыла! Ногарэ просто мелкая сошка...

Графиню Маго отнюдь не страшили преступные замыслы, но она не любила, когда ее принуждали говорить о них. Беатриса же, изучившая свою покровительницу, заводила такие разговоры из чистого коварства.

— Неужто правда, мадам? — переспросила она, взглянув на графиню сквозь сомкнувшиеся длинные черные ресницы.— Значит, вы желаете, чтобы смерть поднялась повыше?

— А о чем же я, по-твоему, думаю всю эту неделю, дурья твоя голова? Что мне прикажешь делать, как не молить господа с утра до вечера и с вечера до утра, чтобы Людовик сломал себе шею, упав с лошади, или подавился сухим орехом?!

— Возможно, мадам, существуют средства, действующие быстрее.

— Раз ты такая искусница, попробуй достань их. Не беспокойся, королю так или иначе не дожить до преклонных лет; достаточно послушать, как он надрывается в кашле. Но мне нужно, чтобы он сейчас сдох, немедля... Не успокоюсь, пока не провожу его в Сен-Дени.

— Тогда, возможно, его высочество Пуатье станет регентом...

— Ну конечно...

— И вернет вам Артуа.

— Ну конечно! Ты меня, милочка, с полуслова понимаешь, но ты понимаешь также, что все это не так-то легко. Да если бы кто-нибудь подсказал мне надежное средство, я, поверь, не поскупилась бы на золото.

— Изабелла де Ферьенн знает достаточно хороших средств, которые могут принести человеку вечный покой.

— Опять магия, воск и заклинания! На Людовика уже насылали порчу, а посмотри-ка на него! Ей-богу, похоже, что он в сговоре с дьяволом.

Беатриса задумалась.

— Если он сам в сговоре с дьяволом, то, возможно, не такой уж великий грех отправить его в преисподнюю, предложив соответствующее угощение.

— Да как ты за дело возьмешься? Пойдешь к нему и скажешь: «Ваша кузина Маго, которая вас так обо-

жает, прислала вам вкусный пирог!» Так он сразу тебе и начнет лопать... Да было бы тебе известно, что с нынешней зимы он чего-то перепугался и теперь каждое кушанье велит по три раза пробовать, и из печи до стола блюда несут под охраной двух вооруженных конюших. Он столь же труслив, сколь и злобен. Не беспокойся, я постараюсь все разузнать.

Беатриса смотрела куда-то в угол, поглаживая шею кончиками пальцев.

— Мне говорили, что он часто причащается, а принимая святое причастие, не заботятся о предосторожностях...

— Неужели, по-твоему, я об этом не подумала? Да это само собой в голову приходит! — отрезала Маго.— Но во-первых, за капелланом зорко следят, а во-вторых, Матье де Три, королевский камергер, носит ключ от дарохранительницы у себя в суме. Как же ты к нему подступишься?

— Не знаю еще,— призналась Беатриса.— Суму носят на поясе. Но это было бы слишком рискованно...

— Если мы, деточка, собираемся наносить удар, то уж будем бить метко и так, чтобы никто не догадался, кто ударил... или пусть узнают, но когда уже будет поздно,— добавила Маго, подняв руку к потолку.

Обе сидели с минуту в раздумье.

— Вы как-то жаловались, что олени губят ваши леса, объедая молодые деревца,— вдруг произнесла Беатриса.— Я не вижу в том худа, если мы попросим у Изабеллы де Ферьенн хорошего яда и охотники на оленей будут обмакивать в него свои стрелы. А король любит полакомиться дичиной.

— Конечно, и весь двор перемрет! Я-то ничем не рискую, меня-то небось не приглашают... Я же тебе твержу: каждое блюдо пробуют слуги и, кроме того, подносят к пище рог единорога. Сразу же обнаружат, откуда, из какого леса доставлена оленина. Словом, иметь яд — одно дело, а вот пустить его в ход — другое. Все же закажи яду, который действует быстро и не оставляет следов. Кстати, Беатриса, помнишь мою пелерину из пестрой ткани, в которой я ездила на коронование, она, кажется, нравится тебе, верно? Нравится? Значит, считай, что она твоя.

— О мадам, какая же у вас добрая душа! — воскликнула Беатриса, кидаясь на шею Маго.

— Осторожнее, зуб! — охнула графиня, хватаясь за

щеку.— А знаешь, как я его сломала? Этим проклятым драже, которым Людовик меня угощал...

Она вдруг замолкла, и серые глаза зловеще блеснули из-под густых бровей.

— Драже,— прошептала она.— Пожалуй! А ну-ка, Беатриса, вели приготовить яд, только не забудь сказать, что мы будем травить оленей. Так или иначе, а зелье зря не пропадет.

Глава VII

В ОТСУТСТВИЕ КОРОЛЯ

В один прекрасный день, когда король отправился на соколиную охоту, королеве Клеменции доложили о прибытии ее невестки Жанны. Запрет, наложенный на Маго, не распространялся на ее дочь; королева и графиня Пуатье часто виделись, и Жанна пользовалась любым предлогом, дабы выказать своей августейшей невестке благодарность за то, что та добилась для нее милости. Со своей стороны Клеменция чувствовала, что ее с графиней связывает особая нежность, какую нередко испытывают люди в отношении тех, кому они сотворили добро.

Если было такое мгновение, когда королева поддалась чувству зависти или, вернее, ощутила несправедливость судьбы, узнав, что Жанна в тягости, то с тех пор, как она сама оказалась в таком же положении, это мимолетное чувство исчезло. Более того, беременность, казалось, еще более сблизила невесток. Они подолгу обсуждали, как лучше соблюдать советы лекарей и бабок, беседовали о том, как надлежит себя вести. И Жанна, которая до заточения произвела на свет двух дочерей, охотно делилась с Клеменцией своим опытом.

Можно было только восхищаться изяществом, с каким графиня Пуатье носила свою семимесячную беременность. Она вошла к королеве, высоко держа голову, обычной своей твердой походкой, пленяя взор свежестью красок и гармонией движений. Юбка мерно колыхалась вокруг ее пополневшего стана.

Королева поднялась навстречу гостье, но приветливая улыбка, тронувшая было ее губы, вдруг исчезла, когда она заметила, что Жанна Пуатье явилась не одна: вслед за ней шествовала графиня Маго.

— Государыня, моя сестра,— произнесла Жанна,— я хочу попросить у вас разрешения показать матушке

новые превосходные гобелены, которыми заново перегородили вашу опочивальню.

— И верно, дочка мне все уши прожужжала вашими коврами, нельзя ли и мне полюбоваться...— подхватила Маго.— Вы же знаете, что в подобных изделиях я кое-что смыслю.

Клеменция смутилась. Ей не хотелось идти против воли супруга, запретившего графине Маго появляться при дворе, но, с другой стороны, было не совсем удобно отказать, поскольку Маго уже здесь и стоит, укрывшись животом своей дочери, словно щитом. «Раз она пришла, значит, были к тому серьезные причины,— подумала Клеменция.— Возможно, она решила пойти на полюбовную сделку и ищет способ вернуть милость короля, не унизив своей гордыни. Осмотр гобеленов — это, конечно, лишь предлог».

Итак, Клеменция решила сделать вид, что верит этому предлогу, и провела обеих посетительниц в свою опочивальню, недавно отделанную заново.

Здесь гобелены не просто украшали стены, они спускались также прямо с потолка, деля просторные апартаменты на несколько маленьких уютных горниц, которые легче было натопить и куда владыки могли укрыться от своей свиты и свободно разговаривать, не боясь нескромных ушей. Так вожди кочевников разбивали свои шатры посреди жилого дома.

Гобелены, висевшие в опочивальне Клеменции, изображали охотничьи сцены: на фоне заморского пейзажа, под сенью апельсиновых деревьев беспечно резвилось с десяток миниатюрных львов, а птицы, сверкая слишком ярким, невиданным, диковинно-сказочным оперением, порхали среди цветов. Охотники с их смертоносным оружием были заметны лишь в уголке пейзажа, казалось, мастер с умыслом полускрыл их листвой, как бы стыдясь выставлять напоказ кровожадные инстинкты человека.

— Что за прелесть! — ахнула Маго.— Никогда еще мне не приходилось видеть столь благородную ткань, столь прекрасно выделанную.

Она приблизилась, пощупала гобелен, поласкала его.

— Посмотри-ка, Жанна,— продолжала она,— до чего узелки ровные и мелкие, посмотри, как красиво выделяются на пестром фоне эти синие цветочки... А красные нити, которыми вышиты крылья попугаев! Нет, ковроткачество действительно великое искусство.

Клеменция не без удивления наблюдала за гостьей. Серые глаза Маго блестели от удовольствия, рука ее ласково касалась ковра; слегка склонив голову, она любовалась изяществом линий, игрой красок. Эта странная женщина, решительная, как воин, хитрая, как монах, неукротимая в своих аппетитах и в своей ненависти, забыв все на свете и, видимо, утратив на минуту свой боевой пыл, поддалась волшебству искусных мастеров. Она и в самом деле считалась по части ковров лучшим знатоком во всем королевстве.

— Чудесный подбор, кузина,— произнесла она,— от души вас поздравляю. Эти гобелены самой скверной стене придадут праздничный вид. Хоть гобелены пошли от наших аррасцев, но на этих, признаюсь, тона горячее, просто глазу отрада! Просто поют! Большие искусники потрудились для вас.

— Это гобеленщики моего родного края,— пояснила Клеменция,— однако, должна признаться, родом они из ваших краев, во всяком случае главные мастера. Впрочем, эти люди странствуют повсюду. Бабушка, которая прислала мне эти ковры, чтобы возместить свадебные подарки, погибшие во время бури, направила мне также и сновальщиков. Временно я их поселила здесь поблизости, и сейчас они работают на меня и для двора. Но если вам или Жанне угодно будет их занять, смело располагайте ими. Закажите им любое изображение по вашему выбору, у них золотые руки.

— Что ж, решено, кузина, охотно соглашаюсь,— сказала Маго.— Очень хотелось бы украсить хоть немножко свое жилье, которое мне ужасно прискучило... И поскольку мессир де Конфлан распоряжается теперь моими аррасскими сновальщиками, король, надеюсь, не разгневается, если я возьму ваших неаполитанцев на время под свою руку.

Намек сопровождался тонкой улыбкой, и Клеменция понимающе улыбнулась. Их с графиней Артуа, как двух союзниц, вдруг связала эта общность вкусов, любовь к роскоши и предметам искусства.

Пока королева Клеменция показывала Жанне стенные гобелены, Маго откинула ковер, отделявший королевское ложе, возле которого она успела приметить кубок с драже.

— А королю тоже полюбились гобелены? — спросила она Клеменцию.

— Нет, в опочивальне Людовика пока еще нет ковров. Да надо сказать, он редко там ночует.

Она запнулась и слегка покраснела, смущенная этим невольным признанием.

— Что свидетельствует о том удовольствии, которое он испытывает в вашем обществе, кузина,— игриво заметила Маго.— Впрочем, какой мужчина не оценил бы такую совершенную красоту.

— Я поначалу боялась,— продолжала Клеменция, и, как все чистые сердцем люди, она спокойно говорила о самом задушевном,— боялась, как бы Людовик не отдалился от меня, раз я в тягости. И вот нисколько. Правда, наши ночи теперь безгрешны.

— Я рада, очень рада,— отозвалась Маго.— Он попрежнему спит с вами, что за славный человек!.. Мой-то покойник, царствие ему небесное, не был на это способен. И хороший же у вас супруг!

С этими словами Маго приблизилась к столику, стоявшему у изголовья кровати.

— Разрешите? — спросила она Клеменцию, указывая на кубок.— А знаете, кузина, ведь это вы пристрастили меня к драже.

Невзирая на мучительную боль в зубе, которая до сих пор не желала проходить, Маго взяла конфетку и мужественно стала грызть ее здоровыми зубами.

— Ой, мне попалась горькая миндалина,— воскликнула она.— Попробую другую.

Повернувшись спиной к королеве и Жанне Пуатье, стоявшим шагах в пяти от нее, Маго вытащила из сумы драже, изготовленное у них на дому, и положила его в кубок.

«Поди отличи одно от другого,— подумала она,— а если оно покажется ему чуточку горьковатым, он подумает, что это из-за миндалины».

Маго подошла к Клеменции.

— А ну, Жанна,— заговорила она,— скажите теперь государыне, вашей невестке, что у вас на сердце и что вам не терпелось ей сообщить.

— Ах да, сестрица,— с запинкой произнесла Жанна,— я хочу поверить вам свое горе.

«Вот оно что,— подумала Клеменция,— сейчас я узнаю, зачем они пришли».

— Дело в том, что супруг мой сейчас далеко отсюда,— продолжала Жанна,— и его отсутствие тревожит мою душу. Не могли бы вы добиться от короля, чтобы

он разрешил Филиппу вернуться, когда мне придет время родить?.. В такие минуты хочется, чтобы муж был при тебе. Возможно, это просто слабость, но, когда чувствуешь и знаешь, что отец твоего ребенка поблизости, как-то меньше страшишься боли. Вы в свое время сами изведаете это чувство, сестрица.

Маго поостереглась посвятить Жанну в свои замыслы, но воспользовалась дочерью, дабы осуществить свой план... «Если дело удастся,— думала она,— Филиппу следует возвратиться в Париж как можно скорее, ведь ему быть регентом».

Просьба Жанны не могла не тронуть Клеменцию. Она боялась, что речь пойдет об Артуа, и теперь почувствовала облегчение. Только это? Ну что ж, вот и представился случай сделать еще одно доброе дело. Конечно, она приложит все силы, чтобы удовлетворить просьбу Жанны.

Жанна облобызала ей обе руки, и Маго, последовавшая примеру дочери, воскликнула:

— Ах, какая же вы добрая! Недаром я твержу Жанне, что нет у нее иной заступницы, кроме вас!

Вслед за тем гостьи распрощались. Маго, по-видимому, не имела охоты особенно затягивать свое пребывание во дворце.

Выйдя из Венсена и направляясь к Конфлану, она думала: «Ну, дело сделано... Теперь остается только ждать... На какой день ему попадется именно наше драже? А вдруг Клеменция?.. Впрочем, нет, она не охотница до сладкого, разве что ей захочется — каких только прихотей у беременных не бывает — съесть конфетку, и вдруг она вытащит именно нашу! И то ладно! Нелегко ведь потерять разом жену и ребенка. Да еще его обвинят в убийстве второй супруги; единожды согрешив...»

— Почему вы молчите, маменька? — удивленно спросила Жанна.— Нас так мило встретили. Или вы чем недовольны?

— Нет, доченька, ничуть,— ответила Маго.— Все окончилось вполне удачно.

Глава VIII

МОНАХ УМЕР

То самое событие, которое при французском дворе наполняло радостью сердца королевы и графини Пуатье, принесло горести и бедствия маленькому замку, отстоявшему на десять лье от Парижа.

Вот уже несколько недель, как Мари де Крессэ ходила с печальным и тоскливым видом, еле отвечая на обращенные к ней вопросы. Ее огромные синие глаза стали еще больше от залегшей вокруг них зловещей синевы; под прозрачной кожей виска лихорадочно пульсировала жилка. В каждом ее жесте чувствовалась растерянность.

— Помните, ее в прошлом году одолевала слабость, уж не повторился ли недуг? — тревожился брат Пьер де Крессэ.

— Да нет, ничуть она не похудела,— успокаивала сына мадам Элиабель.— Любовное нетерпение, вот где ее недуг; думаю, что этот Гуччо чересчур вскружил ей голову. Самое время выдавать ее замуж.

Но их кузен Сен-Венан, предупрежденный о матримониальных планах Крессэ, сообщил в ответ, что сейчас он слишком занят — сражается в Артуа вместе со своими сторонниками, но, как только наступит мир, обещает подумать над их предложением.

— Он, должно быть, узнал, в каком состоянии наши дела,— твердил Пьер.— Вот увидите, матушка, вот увидите, мы еще пожалеем о том, что прогнали Гуччо.

Время от времени молодой ломбардец наезжал в замок, где его для видимости встречали, как и в прежние времена, с распростертыми объятиями. Долг в триста ливров оставался долгом, да еще сверх того набегали проценты. С другой стороны, не миновали голодные времена, и люди заметили, что в банкирском отделении Нофля только тогда бывают съестные припасы, когда за ними приходит сама Мари. Жан де Крессэ дворянской чести ради потребовал от Гуччо счет за припасы, доставленные в течение года с лишним, но, получив счет, забыл по нему уплатить. И мадам Элиабель по-прежнему отпускала дочку раз в неделю в Нофль, но стала теперь посылать с ней служанку и строго рассчитывала каждую минуту.

Таким образом, тайно обвенчанные супруги виделись редко. Но молоденькая служанка не осталась равнодушной к щедротам Гуччо, да и Рикар, главный приказчик, пришелся ей по душе. В мечтах она уже видела себя горожанкой и поэтому охотно ждала Мари в нижней горнице среди сундуков и счетных книг, прислушиваясь к мелодичному звяканью серебра, бросаемого на

весы, меж тем как верхняя горница становилась приютом мимолетного блаженства.

Эти минуты украденного счастья вопреки строгому надзору семейства де Крессэ и всем запретам мира были светозарными островками в странной жизни этой четы, которая едва ли провела вместе полсуток за все это время. Гуччо и Мари в течение недели жили воспоминаниями об этих минутах; очарование первой брачной ночи все еще не проходило. Однако во время последних встреч Гуччо почувствовал, что Мари изменилась. И он тоже, как и мадам Элиабель, заметил странный взгляд своей юной супруги, и тени, залегшие под ее глазами, и маленькую синюю жилку на виске, к которой он с умилением прикасался губами.

Он приписывал перемену тому, что Мари мучилась фальшью их положения. Счастье, отсчитываемое по капле и вынужденное скрывать себя под лохмотьями лжи, со временем превращается в муку. «Но ведь она сама не хочет нарушить молчания,— твердил он про себя.— Уверяет, что семья ни за что не признает нашего брака и возбудит против меня преследования. Да и дядюшка мой придерживается того же мнения. Уж не знаю, как нам тогда и быть».

— Что вас тревожит, любимая моя?— спросил Гуччо в третий день июня.— При каждой нашей встрече вы становитесь все печальнее. Чего вы боитесь? Вы же знаете, что я поселился здесь, дабы защитить вас от любой беды.

Под окошком буйно цвели вишни, щебетали птицы, жужжали осы. Мари обернулась и подняла на Гуччо мокрые от слез глаза.

— От того, что со мной случилось, мой любимый, даже вы не можете меня защитить,— произнесла она.

— Но что же произошло?

— Ничего, кроме того, что по милости божьей должно было произойти от вас,— кротко ответила Мари, потупив голову.

Гуччо не терпелось убедиться, правильно ли он понял ее слова.

— Ребенок? — прошептал он.

— Я боялась вам в том признаться. Боялась, что вы станете меня меньше любить.

Несколько секунд Гуччо сидел молча, он не смог произнести ни слова, ибо ни одно слово не шло ему на

ум; затем он взял в ладони лицо Мари и, силой приподняв ее голову, заставил взглянуть себе в глаза.

Как у большинства людей, подверженных безумствам страсти, один глаз у Мари был чуть больше другого; этот почти незаметный недостаток, отнюдь не портивший ее прекрасное лицо, становился заметнее в минуты душевного волнения и придавал ей еще более трогательный вид.

— Разве вы не рады, Мари? — спросил Гуччо.

— О, конечно, рада, если вы тоже рады.

— Но, Мари, это же счастье, верх счастья! — воскликнул он.— Теперь наш брак должен быть оглашен. На сей раз ваше семейство вынуждено будет согласиться. Ребенок! Ребенок! Но это же чудо!

И он оглядел ее всю с головы до ног восхищенным взором, удивляясь, что с ним и с ней могла произойти, казалось бы, такая простая вещь. Он почувствовал себя настоящим мужчиной, он почувствовал себя очень сильным. Еще немного — и он высунулся бы из окошка и прокричал всему городку о своем счастье.

Что бы ни случалось с юным ломбардцем, он в каждом событии видел прежде всего светлые стороны и прекрасный повод для ликования. Он тайком обвенчался с девушкой из дворянского рода и теперь скоро будет отцом! Только назавтра он замечал, к каким печальным последствиям может привести столь обрадовавшее его вчера событие!

С нижнего этажа донесся голос служанки.

— Что же мне делать? Что мне делать? — произнесла Мари.— Я ни за что на свете не осмелюсь признаться матери.

— Тогда я сам ей все скажу,— ответил Гуччо.

— Подождите еще неделю.

Гуччо помог Мари сойти с узкой деревянной лестницы, поддерживая ее под руку на ступеньках, как будто она стала какой-то удивительно хрупкой, а он обязан оберегать каждый ее шаг.

— Но мне вовсе не трудно,— твердила Мари.

Он и сам почувствовал, что поведение его нелепо, и громко расхохотался счастливым смехом. Потом обнял ее, и они обменялись таким долгим поцелуем, что у Мари захватило дух.

— Мне пора идти, пора идти,— шептала она.

Но радость Гуччо передалась ей, и она почувствовала себя сильнее. Хотя ровно ничего не изменилось, Ма-

ри, однако, приободрилась, просто потому что Гуччо был теперь посвящен в ее тайну.

— Увидите, вот увидите, какая нас ждет прекрасная жизнь,— повторял он, провожая ее до садовой калитки.

Велико милосердие и мудрость того, кто препятствует человеку прозревать будущее, одновременно даруя ему сладость воспоминания и бодрящую силу надежды. Лишь у немногих людей хватило бы мужества заглянуть за эту завесу. Если бы двое наших супругов, если бы эти влюбленные знали, что им суждено увидеться еще один-единственный раз, и только через десять лет, они, быть может, в тот же миг лишили бы себя жизни.

Весь обратный путь, пролегавший среди лугов, усеянных золотыми купавками, среди цветущих яблонь, Мари пела. Ей захотелось непременно остановиться на берегу Модры и нарвать ирисов.

— Это для нашей часовни,— пояснила она.

— Поторопитесь, мадам,— умоляла служанка,— вам достанется.

Возвратясь в замок, Мари прошла прямо в свою спальню и вдруг почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Посреди комнаты стояла мадам Элиабель и рассматривала платье, которое Мари нынче утром распустила в талии. Все туалеты Мари были разложены на постели, и каждая вещь была уширена в пояснице.

— Откуда ты с таким запозданием? — сухо спросила мадам Элиабель.

Мари выронила из рук ирисы и не произнесла ни слова.

— Можешь молчать, я и сама все узнаю,— продолжала мадам Элиабель.— Раздевайся!

— Матушка! — сдавленным голосом произнесла Мари.

— Раздевайся, слышишь, я же велела тебе раздеться! — крикнула мадам Элиабель.

— Ни за что,— отрезала Мари.

Ответом ей была звонкая пощечина.

— Будешь теперь слушаться? Покаешься в своем грехе?

— Я ни в чем не грешна,— с тем же яростным упорством ответила Мари.

— А почему ты пополнела? Откуда это взялось? — спросила мадам Элиабель, показывая на разбросанную по кровати одежду.

Ее гнев рос с каждой минутой, ибо перед ней стояло

не прежнее послушное дитя, а женщина, и женщина эта вдруг осмелилась ей перечить.

— Ну да, я буду матерью; ну да, это от Гуччо,— воскликнула Мари,— и мне нечего краснеть, ибо я не согрешила. Гуччо мой законный супруг.

Мадам Элиабель не поверила рассказу о венчании в полуночный час. Впрочем, даже церковное таинство не могло, по ее мнению, освятить этот союз. Мари осмелилась преступить родительскую волю, нарушила запрет, наложенный матерью и братом. И кроме того, этот итальянский монах, может быть, вовсе даже и не монах. Нет, нет, она положительно не верит в бракосочетание.

— В мой смертный час, слышите ли, матушка, в моей предсмертной исповеди я буду твердить то же самое! — повторяла Мари.

Целый час длилась буря, вслед за чем мадам Элиабель заперла дочь на замок.

— В монастырь! В монастырь для кающихся девиц, вот куда ты отправишься! — крикнула она через дверь.

А Мари, рыдая, упала на кровать среди своих разбросанных платьев.

Мадам Элиабель до вечера прождала сыновей, умчавшихся с зарей на охоту, и сразу же поведала им о случившемся. Семейный совет длился недолго. Оба молодых человека пришли в ярость, особенно распалился Пьер, который считал себя чуть ли не главным виновником драмы, ибо заступался за Гуччо, и теперь предлагал один план кровожаднее другого. Их сестру обесчестили, над ними надругались в их собственном доме. И кто? Какой-то ломбардец! Ростовщик! Да они проткнут ему брюхо, пригвоздят к дверям его лавочки.

Братья вооружились бердышами, вскочили на своих коней, которых только завели в конюшню, и помчались в Нофль.

А Гуччо, слишком взволнованный, чтобы уснуть, шагал по своему садику, вдыхая благовония ночи, сиявшей звездами. Весна в Иль-де-Франсе достигла своего расцвета; воздух был сладостно свеж, весь напоен благоуханием соков и росы.

В глубокой сельской тишине приятно было слушать скрип сапожков по песку... раз громче... раз тише... Грудь Гуччо не вмещала всего этого блаженства.

«И подумать только,— шептал он про себя,— что всего полгода назад я умирал на жестком больничном ложе. До чего же славно жить!»

Теперь, когда над его молодостью уже нависла неясная угроза, он мечтал, мечтал о будущем счастье. Он видел себя окруженным многочисленным потомством — в жилах его сыновей будет течь пополам со свободной сиенской кровью благородная кровь Франции. Он решил переделать свое имя на французский лад и именовать себя мессир Бальон де Нофль. Король, конечно, пожалует ему сеньорию, и сын, которого носит под сердцем Мари — ибо Гуччо не сомневался, что у него родится именно мальчик,— в один прекрасный день станет рыцарем.

Он весь еще находился во власти своих мечтаний, когда до слуха его донесся частый топот копыт по нофльской мостовой, внезапно затихший у ворот конторы; и сразу же ворота затрещали под чьими-то яростными ударами.

— Где этот мошенник, где этот висельник, где этот иудей? — прогремел кто-то, и Гуччо узнал голос Пьера де Крессэ.

И так как никто не спешил открывать ворота, братья начали молотить по дубовым створкам рукоятками бердышей. Гуччо машинально схватился за пояс. При нем не оказалось даже кинжала. Затем послышались тяжелые шаги Рикара, спускавшегося с лестницы.

— Иду! Иду! — ворчал главный приказчик, недовольный тем, что прервали его сладкий сон.

Заскрипели щеколды, с мягким стуком упала перекладина, закрывавшая ворота, и сразу же начался яростный спор, отрывки которого доносились до Гуччо.

— Где твой хозяин? Нам нужно его немедленно видеть!

Гуччо не расслышал ответа Рикара, зато разобрал вопли братьев Крессэ, становившиеся все громче.

— Он обесчестил нашу сестру! Этот пес, этот ростовщик! Не уйдем, пока не спустим с него шкуру.

Спор закончился громким воплем. Очевидно, Рикара ударили чем-то тяжелым.

— Свету давай! — орал Жан де Крессэ.

Затем голос Жана загремел уже в доме:

— Эй, Гуччо, куда ты запрятался? Значит, ты только с девицами такой храбрый! А ну-ка покажись, посмей, трус поганый!

На городской площади захлопали ставни. Обыватели переговаривались вполголоса, но ни один человек не вышел на улицу. В глубине души они были даже доволь-

ны: будет о чем посудачить, неплохо и то, что такую ловкую шутку сыграли с господами из замка, с этими барчуками, которые замучили горожан повинностями да еще глядят на них сверху вниз. Если уж выбирать, то им больше по душе был ломбардец, однако ж не до такой степени, чтобы за него заступаться, подставлять спину под удары.

Гуччо не мог пожаловаться на отсутствие храбрости, но у него хватило рассудка не броситься на непрошеных гостей; да и какой смысл было идти с голыми руками против двух бесноватых, вооруженных с ног до головы.

Пока братья де Крессэ обшаривали дом и срывали свой гнев на ни в чем не повинной мебели, Гуччо бросился к конюшне. Во мраке до него долетел жалобный крик Рикара:

— Книги! Наши книги!

«Ну и пусть,— подумал Гуччо,— сундуков им не взломать».

Скупого лунного света все же хватило на то, чтобы наспех взнуздать коня и кинуть ему на спину седло; Гуччо на ощупь затянул подпругу, вскочил, вцепившись в конскую гриву, на коня и выехал через садовую калитку. Так он покинул нофльское отделение банка Толомеи.

Братья Крессэ, услышав конский галоп, бросились к окнам.

— Удирает, мерзавец, удирает! Скачет по дороге в Париж. Ату, ату! Эй, смерды, держи его!

Но никто, понятно, даже не подумал тронуться с места. Тогда братья выбежали из конторы и бросились в погоню.

Кобыла юного Гуччо была чистых кровей и целый день спокойно простояла в стойле. А кони братьев де Крессэ — обыкновенные деревенские клячи — до сих пор еще не отдышались после охоты, длившейся с утра до ночи. Под Ренмуленом одна из лошадей захромала, да так сильно, что пришлось ее бросить; и оба брата взгромоздились на одну лошадь, которая, к несчастью, оказалась еще и с запалом и выпускала из ноздрей воздух с таким шумом, словно по доске водили деревянным рашпилем.

Гуччо удалось оторваться от своих преследователей. На заре он доскакал до Ломбардской улицы и застал дядю еще в постели.

— Монах! Где монах? — закричал он.

— Какой монах? Опомнись, сынок! Что такое стряслось? Неужели ты решил вступить в монашеский орден?

— Да нет, zio Spinello, не издевайтесь надо мной. Мне необходимо отыскать монаха, который нас венчал, за мной гонятся, и моя жизнь в опасности.

Гуччо вкратце рассказал дяде все происшествия вчерашнего дня; необходимо найти монаха и доказать, что он действительно обвенчан с Мари. Толомеи слушал племянника, широко открыв один глаз и прижмуря другой. Затем зевнул раз, еще раз, что взорвало его племянника.

— Да не волнуйся ты так! Твой монах умер,— наконец сказал Толомеи.

— Умер? — переспросил Гуччо.

— Ну да, умер! Дурацкая женитьба спасла тебя от той же участи; ибо, если бы ты согласился на предложение его светлости Робера поехать в Артуа и отвезти его послание, мне бы не пришлось печалиться об участии моих внучатых племянников, которых ты собираешься мне подарить, на что я, кстати сказать, не давал тебе благословения. Фра Винченцо убили возле Сен-Поля люди Тьерри д'Ирсона, которые его выследили. При нем было сто ливров, моих собственных сто ливров! Дорого же мне обходится его светлость Робер Артуа!

— Questo é un colpo tremendo![1] — простонал Гуччо.

Толомеи позвонил слуге и велел ему принести одежду и таз теплой воды.

— Но что же мне теперь делать, дядя Спинелло? Как же мне доказать, что я действительно супруг Мари?

— Это дело последнее,— отозвался Толомеи.— Если даже твое имя и имя твоей девицы были бы по всей форме занесены в церковные книги, и то бы это не помогло. Так или иначе, ты женился на девушке из дворянской семьи без согласия ее родных. Молодцы, которые за тобой гонятся, имеют полное право пустить тебе кровь, ничем при том не рискуя. Они благородного происхождения, а такие люди могут убивать безнаказанно. Самое большее, им придется уплатить штраф, полагающийся за жизнь ломбардца, чуть дороже, всего на несколько ливров, чем за шкуру еврея, и значительно меньше, чем за самого последнего своего смерда, если

[1] Какой ужасный удар! (*Итал.*)

этот смерд — француз по рождению. Пожалуй, их даже поздравят с удачей.

— Значит, я здорово попался.

— Что верно, то верно,— заметил Толомеи, погружая свою пухлую физиономию в воду.

Несколько минут он блаженно отфыркивался, затем вытер лицо куском полотна.

— Видать, мне и сегодня не удастся побриться!.. Ах, рег Вассо! Я такой же болван, как и ты.

Впервые с начала их разговора лицо Толомеи выразило тревогу.

— Прежде всего тебя требуется упрятать получше,— продолжал он.— И во всяком случае, не у наших ломбардцев. Если твои преследователи не постеснялись всполошить весь городок, то, не обнаружив тебя на месте, они наверняка обратятся с ходатайством к властям, пошлют дозорных искать обидчика у ломбардцев, и через два дня красавчика Гуччо схватят. Ах, хорошо же я буду выглядеть перед моими компаньонами, и все из-за тебя! Правда... есть еще монастыри...

— Нет, нет, хватит с меня монахов! — отозвался Гуччо.

— Ты прав, им опасно доверять. Дай-ка подумать... Ну, а Боккаччо?

— Боккаччо?

— Ну да, твой дружок Боккаччо, приказчик Барди.

— Но, дядюшка, он тоже ломбардец, как и мы все, да кроме того, его сейчас нет во Франции.

— Знаю, но он тут приглянулся одной даме, парижанке, от которой прижил внебрачного сына.

— Верно, он мне об этом рассказывал.

— Она, говорят, сговорчивая душа и уж тебе наверняка посочувствует. Попросишь у нее приюта... А я приму твоих миленьких шуринов; я сам ими займусь... если только, конечно, они не набросятся на меня и еще до вечера не лишат тебя дяди.

— О нет, дядюшка, я уверен, что вы ничем не рискуете. Они хоть и дикари, но люди благородные. Они отнесутся с уважением к вашим годам.

— Хороша броня — старческая подагра!

— А может быть, они притомятся в дороге и вообще сюда не приедут.

Толомеи внезапно вынырнул из широкого платья, которое надевал поверх рубашки.

— Навряд ли,— заметил он.— Во всех случаях они

подадут жалобу и затеют против нас процесс... придется мне побеспокоить кого-нибудь из вельмож, чтобы замять дело, пока еще не вспыхнул скандал... Валуа? Валуа обещает, но не выполняет. Робер Артуа? Но это все равно что нанять городских герольдов и приказать им повсеместно разнести новость под звуки рожков.

— Королева Клеменция! — воскликнул Гуччо.— Она меня очень полюбила во время путешествия.

— Я тебе уже как-то говорил насчет этого! Королева обратится к королю, король обратится к канцлеру, а канцлер подымет на ноги весь парламент. Подумал ты, с каким лицом мы предстанем перед судьями?

— А почему бы не Бувилль?

— Прекрасная мысль,— подхватил Толомеи,— более того, первая здравая мысль, пришедшая тебе в голову за последние полгода. Бувилль... Ну конечно же... он звезд с неба не хватает, но ему верят, поскольку он был камергером короля Филиппа. Ни в каких интригах он не участвует и пользуется репутацией человека честного...

— Кроме того, он очень меня любит,— заметил Гуччо.

— Слышали, слышали! Решительно весь свет тебя любит! Ох, меньше бы любви было бы нам только на пользу. Иди спрячься у дамы своего друга Боккаччо... и, ради бога, сделай так, чтобы хоть она не слишком тебя полюбила! А я мчусь в Венсен и переговорю с Бувиллем. Ух, чего только ради тебя не приходится делать! Бувилль, кажется, единственный человек, который мне ничего не должен, и к нему-то приходится обращаться с просьбой.

Глава IX

ТРАУР НАД ВЕНСЕНОМ

Когда мессир Толомеи, сопровождаемый слугой, въехал верхом на сером муле во внешний двор Венсенского замка, он удивился царившей там суматохе: самые различные люди — слуги, конюшие, вооруженная стража, сеньоры и легисты — суетливо сновали взад и вперед, но все происходило в полной тишине, словно люди, животные и вещи разучились издавать какие бы то ни было звуки.

Весь двор был устлан соломой, чтобы заглушить скрип колес и шорох шагов. Все говорили вполголоса.

— Король при смерти,— пояснил Толомеи какой-то сеньор, к которому ломбардец обратился с вопросом.

Казалось, никто уже не охранял внутренние покои замка, и лучники пропускали туда всех без разбора. Вор или убийца мог свободно проникнуть в королевскую опочивальню, и никто не подумал бы его задержать. Послышался шепот:

— Аптекарь, пропустите аптекаря.

Из потайной двери вышли придворные, неся покрытые куском ткани тазы, содержимое коих предназначалось для осмотра лекарей.

Лекари, которых опознали по одежде, шушукались у дверей, поверх монашеской сутаны они носили коротенькую мантию, а голову их венчала скуфейка, похожая на клобук. Костоправы щеголяли в холщовых кафтанах с узкими длинными рукавами, и из-под их круглых шапочек свисал белый шарф, закрывавший щеки, затылок и плечи.

Толомеи стал расспрашивать о случившемся. Еще позавчера у короля начались боли, но он, уже привыкнув к своему обычному недугу, не обратил на это внимания и даже отправился на следующий день в послеобеденные часы играть в мяч; во время игры он разгорячился и попросил воды. Отхлебнув глоток, король тут же согнулся вдвое от боли, и у него началась рвота, так что он вынужден был лечь в постель. За ночь состояние настолько ухудшилось, что Людовик сам пожелал причаститься.

Мнения врачей о причине возникновения заболевания расходились: одни, ссылаясь на припадки удушья, мучившие больного, заявляли, что развитию недуга способствовала холодная вода, которую он выпил, разгоряченный игрой; по мнению других, вода не могла сжечь ему нутро до такой степени, чтобы он «ходил под себя кровью».

Сбитые с толку загадочностью симптомов, скованные в своих действиях и решениях, как то сплошь и рядом бывает, когда у одра слишком высокого пациента собирается слишком много лекарей, они ограничивались успокаивающими средствами, и никто не рискнул предложить более действенное лечение, боясь, как бы именно его не обвинили в смерти больного.

Придворные намеками говорили о порче, стараясь всем своим видом показать, что им-то известно многое, о чем другие не знают. И к тому же королевский двор

уже волновали иные заботы. Кто будет регентом? Кое-кто высказывал сожаление, что граф Пуатье находится в отлучке, другие, напротив, радовались этому обстоятельству. Выразил ли король свою волю по этому поводу? На сей счет ничего известно не было. Однако король призвал к себе канцлера, чтобы продиктовать приписку к своему завещанию.

Сопровождаемый взволнованным шушуканьем, Толомеи беспрепятственно добрался до входа в опочивальню, где умирал государь. Дальше его не пропустили камергеры, сдерживавшие напор толпы; у ложа больного разрешалось находиться лишь членам королевской семьи и лицам из ближайшего окружения, а их было не так уж мало.

Поднявшись на цыпочках, капитан ломбардских банкиров сумел разглядеть поверх сплошного заслона плечей и голов Людовика X; король полусидел, опершись на подушки; лицо его, сильно осунувшееся со вчерашнего дня, уже было отмечено печатью смерти. Положив одну руку на грудь, а другую — на живот, он судорожно стискивал зубы, очевидно стараясь сдержать стоны.

Кто-то прошел мимо Толомеи, громко шепча:

— Королеву, королеву, король зовет королеву...

Клеменция находилась в соседней комнате среди придворных дам, тут же были толстяк Бувилль, еле сдерживавший слезы, и Эделина. Уже сутки, как королева не смыкала глаз, почти ни разу не присела. И сейчас, когда в комнату вошел Валуа, весь в темном, как будто уже заранее надел траур, она продолжала стоять неподвижно, как изваяние, вперив взор куда-то вдаль, особенно похожая на изображение святых мучениц в неаполитанских храмах.

— Дорогая моя, славная моя племянница,— начал Валуа,— надо приготовиться к самому худшему.

«Я и так уже готова,— думала Клеменция,— и незачем говорить мне это. Значит, нам было отпущено всего-навсего десять месяцев счастья? Возможно, что и этот срок дарован сверх меры — велика милость господня ко мне, неблагодарной. Не смерть самое страшное, ведь мы обретем друг друга в жизни вечной, самое страшное — судьба младенца, который явится на свет лишь через пять месяцев, и Людовик его не увидит, и сын никогда не увидит отца, прежде чем сам не преставится. Как же господь дает на это свое соизволение!»

— Можете рассчитывать на меня, племянница,—

продолжал Валуа,— я по-прежнему буду вам покровительствовать и никогда не выкажу в отношении вас ни холодности, ни равнодушия. Смело во всех делах полагайтесь на меня и думайте лишь о том, что вы носите под сердцем надежду Франции. Будем надеяться, что родится мальчик! Само собой разумеется, ваше теперешнее состояние не позволяет вам взять на себя бремя регентства, да и французам вряд ли придется по душе, если ими будет править иноземка. Бланка Кастильская — возразите вы... Конечно, конечно, но Бланка была королевой уже много лет до того. А французы еще не привыкли к вам, вас не знают. Моя обязанность снять с вас бремя власти, что, в сущности, никак не меняет моего положения...

В эту минуту вошел канцлер и доложил королеве, что ее требует король, но Валуа, прервав его властным движением руки, продолжал:

— С моей стороны вовсе даже не заслуга предложить вам сие, я, и только я, могу с пользой выполнять обязанности регента; я сумею привлечь к управлению и вас, ибо желаю внушить французам любовь, которую они обязаны питать к матери своего будущего короля...

— Дядюшка,— вдруг громко воскликнула Клеменция,— Людовик еще жив. Соблаговолите молить бога, чтобы тот сотворил чудо, и, если таковое невозможно, отложите ваши попечения обо мне до кончины моего супруга. И прошу вас, не задерживайте меня, дайте мне занять мое место, ибо место мое у одра Людовика.

— Конечно, племянница, конечно, но все же, будучи королевой, следует подумать о многом. Мы не должны и не можем предаваться печали, как простые смертные. Людовик обязан твердо выразить свою волю относительно регентства.

— Эделина, не оставляй меня,— шепнула королева кастелянше.

И, направляясь в опочивальню, Клеменция бросила на ходу Бувиллю:

— Друг мой, дорогой мой друг, не могу я этому поверить, скажите, что это неправда!

Слова королевы переполнили чашу страданий старика, и он громко зарыдал.

— Когда я подумаю, только подумаю,— твердил он,— что ведь я сам, сам ездил за вами в Неаполь!

Эделина, с тех пор как стало известно о болезни короля, ни на шаг не отходила от королевы, та обраща-

лась к ней за каждым пустяком, так что придворные дамы уже начали коситься на кастеляншу. Умирал король, человек, чьей первой любовницей она была, которого любила со всей покорностью, потом ненавидела со всей непримиримостью, а она застыла в каком-то странном равнодушии. Она не думала ни о нем, ни о себе. Казалось, все воспоминания умерли в ее душе раньше, чем скончался тот, кто был средоточием этих воспоминаний. Вся сила ее чувств была направлена на королеву, на ее подругу. И если Эделина мучилась сейчас, то лишь муками Клеменции.

Королева прошла через комнату, поддерживаемая под руку Эделиной и Бувиллем.

Заметив Бувилля, Толомеи, стоявший в дверях, вдруг вспомнил причину своего посещения Венсена.

«Сейчас и впрямь не время беседовать с Бувиллем. А братцы Крессэ, конечно, уже явились. Ах, до чего же некстати он умирает»,— думал банкир.

В эту минуту его притиснула к стене какая-то необъятная туша: графиня Маго, с засученными, по обыкновению, рукавами, энергично пролагала себе путь среди толпы. Хотя всем было известно о ее опале, никто не удивился появлению графини: в подобных обстоятельствах ей, ближайшей родственнице и пэру Франции, полагалось быть у королевского одра.

На лице Маго застыло притворное выражение безграничного изумления и столь же безграничной скорби.

Пробившись в королевскую опочивальню, она прошептала, однако достаточно отчетливо, чтобы ее расслышали окружающие:

— Двое в столь короткий срок! Это уж и впрямь чересчур. Бедная Франция!

Крупным солдатским шагом она приблизилась к толпившейся вокруг королевского ложа родне. Карл де ла Марш, сложив на груди руки, нахмурив красивое лицо, стоял между своими кузенами Филиппом Валуа и Робером Артуа.

Маго протянула Роберу обе руки, скорбно взглянула на него, как бы давая понять, что волнение мешает ей говорить и что в такой день следует забыть все распри. Потом она рухнула на колени возле королевского ложа и произнесла прерывающимся голосом:

— Государь мой, молю вас простить мне все огорчения, которые я вам причинила.

Людовик взглянул на Маго, вокруг его огромных бесцветных глаз залегли темные круги — тень смерти. Под ним только что на глазах у всех меняли судно; в этом малоприятном положении, стараясь овладеть собой, он впервые почти обрел величие и нечто истинно королевское, чего так не хватало ему при жизни.

— Прощаю вас, кузина, если вы покоритесь власти короля,— ответил он как раз в ту минуту, когда судно подсунули под одеяло.

— Государь, клянусь, клянусь вам в этом! — ответила Маго.

И большинство присутствующих были искренне взволнованы, видя грозную графиню, наконец-то согнувшую выю и покорившуюся королевской воле.

Робер Артуа, прижмурив глаза, шепнул на ухо Филиппу Валуа:

— Лучше сыграть она не могла, если бы даже собственноручно отправила его на тот свет.

И в уме Робера родилось первое подозрение.

Сварливого схватил новый приступ колик, и он положил руку на живот. Губы раздвинулись, обнажив стиснутые зубы; пот струился по лицу и обильно смачивал волосы. Через несколько секунд боль, по-видимому, отпустила его, и он проговорил:

— Так вот оно каково, страдание, вот каково! Да простит мне бог все страдания, которые я причинял.

Он откинулся на подушки и уставился на Клеменцию долгим взглядом.

— Кроткая моя! Душенька моя, как же трудно мне с вами расставаться! Я хочу, чтобы этот замок достался вам, ибо здесь мы любили друг друга. Этьен! Этьен! — произнес он, протянув руку в сторону канцлера де Морнэ, который сидел у изголовья, разложив на коленях листки для записи королевской воли.— Запишите, что я завещаю королеве Клеменции замок в Венсенском лесу... и я хочу, чтобы ей выплачивали также двадцать пять тысяч ливров ренты.

— Людовик, милый мой супруг,— произнесла Клеменция,— не думайте больше обо мне, вы и так меня слишком одарили. Но ради бога, подумайте о тех, кого вы обидели: вы обещали...

— Говорите, говорите, душенька, все будет так, как вы пожелаете.

Клеменция положила руку на плечо Эделины.

— Ее дочь,— шепнула она.

Брови умирающего сошлись к переносью, как будто он пытался достичь мыслью уже такой далекой теперь области воспоминаний.

— Итак, вы знали, Клеменция? — произнес он.— Ну что ж, пусть дочь Эделины будет аббатисой в королевском аббатстве: я так хочу.

Эделина склонила голову.

— Да наградит вас господь, ваше величество.

— А кто еще? — произнес король.— Кого я обидел? Ах да, моего крестника Луи де Мариньи. Пусть доведут до его сведения, что я раскаиваюсь в том, что опозорил его отца.

И он приказал внести в завещание пункт, по которому Луи де Мариньи назначалась рента в десять тысяч ливров.

— Не всякому посчастливилось быть сыном висельника,— шепнул Робер Артуа своим соседям.— Это куда выгоднее, чем иметь батюшку, который, как, скажем, мой, погиб в честном бою.

Карл Валуа, подошедший в эту минуту к их группе, подхватил:

— Завещать нетрудно, а вот откуда я возьму деньги, чтобы выполнить королевскую волю?

И он незаметно махнул Этьену де Морнэ, уже исписавшему целый лист, чтобы тот поскорее дал завещание на подпись. Канцлер понял намерения Валуа и послушно протянул бумагу королю. Людовик нацарапал в конце листа свою подпись пером, которое ему вложили в руку. Потом обвел взглядом всех присутствующих, как будто его томила какая-то тайная забота и он старался отыскать среди родных того, кто бы мог ему помочь.

— Что вам угодно, Людовик? — спросила Клеменция.

— Отец,— прошептал он.

И присутствующие решили, что начинается бред. На самом же деле Людовик пытался вспомнить, что делал его отец в свой смертный час полтора года назад. Затем он обернулся к своему исповеднику монаху-доминиканцу де Пуасси и пробормотал:

— Чудо... Отец передал мне тайну королевского чуда... Кому мне ее передать?

Карл Валуа сразу же выступил вперед, не желая и тут упустить ни крохи власти, падающей с монаршего стола. Как бы ему хотелось получить право наложения рук на недужных и исцелять их от золотухи!

Но доминиканец уже склонился к уху Людовика и разрешил его сомнения. Короли могут умирать, даже не раскрыв рта: Святая церковь бдит над ними. Если у Людовика родится сын, обряд чуда будет ему открыт в свое время.

Тогда взор Людовика обратился к Клеменции и остановился на ее лице, груди, ее драгоценном лоне, и еще долго умирающий, собрав последние силы, глядел на пополневший стан супруги, как бы надеясь передать тому, кто еще не появился на свет, все то, что получил он сам — потомок королевского дома, царствовавшего три столетия.

Происходило это 4 июня 1316 года.

Глава X

ТОЛОМЕИ МОЛИТСЯ ЗА КОРОЛЯ

Когда Толомеи, уже на закате солнца, возвратился домой, главный приказчик сообщил ему, что в каморке перед кабинетом банкира его поджидают двое деревенских сеньоров.

— Видать, они сильно гневаются,— добавил приказчик.— Сидят здесь с девятичасовой молитвы, ничего не ели и говорят, с места не сдвинутся, пока вас не повидают.

— Так, так! Я знаю, кто они,— ответил Толомеи.— Закройте двери и соберите в моем кабинете всех людей — приказчиков, слуг, конюхов и служанок. Да пусть поторопятся! Звать всех!

Затем банкир стал медленно подниматься по лестнице неуверенными шагами старца, обремененного бедами; на секунду остановился на площадке, прислушиваясь к суматохе, начавшейся в доме по его приказу, и, когда на нижних ступеньках показались фигуры слуг, он, держась за голову, вошел в приемную.

Братья де Крессэ поднялись с места, и Жан, направившись к банкиру, завопил:

— Мессир Толомеи, мы явились...

Толомеи остановил его движением руки.

— Знаю,— произнес, вернее, простонал он,— знаю, кто вы такие, и знаю даже, что вы мне скажете. Но все это пустое по сравнению с моей скорбью.

Так как Жан снова открыл рот, банкир обернулся к дверям и обратился к собравшейся у порога челяди:

— Входите, друзья мои, входите все; сейчас вы

услышите из уст вашего хозяина страшную весть. Ну, входите же, детки.

В мгновение ока комната наполнилась людьми, и, если бы братьям Крессэ вздумалось хоть пальцем тронуть хозяина дома, их немедленно бы разоружили.

— Но, мессир, что это значит? — в гневе и нетерпении спросил Пьер.

— Минуточку, минуточку,— отозвался Толомеи.— Все должны узнать, все.

Братья Крессэ тревожно переглянулись — уж не намерен ли банкир обнародовать их позор. Это отнюдь не входило в их расчеты.

— Все в сборе? — спросил Толомеи.— А теперь, друзья, выслушайте меня.

И тут... не произошло ничего. Воцарилось долгое молчание. Толомеи закрыл лицо руками, и присутствующим показалось, что он плачет. Когда он отнял от лица руки, из единственного открытого глаза и впрямь катились слезы.

— Милые мои друзья, дети мои,— проговорил он наконец.— Свершилось самое ужасное! Наш король... да, да, наш обожаемый король только что испустил дух.

Голос его прервался, и Толомеи яростно стукнул себя кулаком в грудь, как будто именно он был повинен в кончине государя. Воспользовавшись минутой всеобщего замешательства, он скомандовал:

— А теперь все на колени и помолимся за его душу.

Сам он первый тяжело рухнул на пол, и все присутствующие последовали его примеру.

— Ну, мессиры, скорее преклоните колени! — с упреком обратился он к братьям Крессэ, которые застыли на месте, оглушенные всем происходившим,— только одни они продолжали стоять.

— In nomine patris... — начал Толомеи.

Слова молитвы покрыли пронзительные крики. Это служанки Толомеи, все родом из Италии, начали дружно причитать, следуя лучшим образцам итальянских плакальщиц.

— Requiescat...[1] — хором подхватили присутствующие.

— Ох, да какой же он был хороший! Какой чистой души! Какой набожный! — надрывалась стряпуха.

[1] Упокой (*итал.*).

И все служанки и все прачки зарыдали еще пуще, натянув подолы юбок на головы и закрыв ими лицо.

Толомеи поднялся с колен и прошелся среди своих подчиненных.

— Молитесь, молитесь горячее! Да, он был чист душой, да, он был святой! А мы, мы — грешники, неисправимые грешники, вот мы кто! Молитесь и вы, молодые люди,— сказал он, нажимая ладонями на макушки коленопреклоненных братьев Крессэ.— И вас тоже в свой час подкосит смерть. Кайтесь же, кайтесь!

Представление длилось добрых полчаса. Затем Толомеи распорядился:

— Заприте двери, закройте прилавки. Нынче день траура, вечерняя торговля отменяется.

Слуги удалились, наплакавшись вволю, шмыгая носом. Когда главный приказчик проходил мимо Толомеи, тот шепнул ему:

— А главное, никому не платить. Возможно, завтра золото будет идти по новому курсу.

Спускаясь с лестницы, женщины продолжали причитать, и плач их не утихал весь вечер и даже всю ночь. Одна старалась перещеголять другую в голосистости.

— Он был нашим благодетелем! — вопили они.— Никогда, никогда не будет у нас такого доброго государя!

Толомеи опустил ковер, закрывавший вход в его кабинет.

— Вот,— сказал он,— вот! Так проходит мирская слава!

Братья Крессэ были окончательно укрощены. Их личная драма неожиданно утонула в бедствии, обрушившемся на Францию.

Кроме того, они сильно устали. Весь предыдущий день они провели на охоте, гоняясь за зайцем, потом скакали всю ночь, и как скакали!

Их появление рано поутру в столице, куда они въехали вдвоем на одной запаленной кляче, в рваных кафтанах, перешитых из охотничьих костюмов их покойного батюшки, вызвало дружный смех прохожих. Сорванцы-мальчишки с криком бежали за ними следом. И конечно, они заплутались в лабиринте улиц Ситэ. С голода им подвело животы, а в двадцать лет такие вещи переносятся с трудом. К тому же роскошный вид особняка Толомеи здорово сбил с них если не злобу, то, во всяком случае, спесь. Это богатство, эта резная мебель,

эмали, безделушки из слоновой кости... да что там, любой из этих вещиц хватило бы с лихвой, чтобы спасти от разрушения их замок... А челядь! Сколько ее и как одета! Получше, чем сиятельные владельцы поместья Крессэ. «В конце концов,— думали братья, не смея признаться друг другу в крамольных мыслях,— возможно, мы и сглупили, выказав себя чересчур щепетильными в отношении чистоты крови,— такое богатство стоит любых дворянских грамот».

— Ну-с, добрые мои друзья,— проговорил Толомеи фамильярным тоном, прозвучавшим вполне уместно после общей молитвы,— а теперь вернемся к нашему злосчастному делу, коль скоро, что бы ни происходило, мы-то, грешные, живы и жизнь идет своим чередом. Хотя иные уходят от нас. Вы, конечно, желаете побеседовать со мной о моем племяннике. Ах, разбойник! Ах, мошенник! Подстроить такое мне, мне, который осыпал его благодеяниями! Бесстыдный проходимец! Только этой беды не хватало в такой день... Я знаю, мессиры, все знаю: он мне нынче утром прислал записку, мне — человеку, сраженному бедами!

Толомеи стоял перед братьями Крессэ, ссутулившись, потупив взор, в позе человека, убитого судьбой.

— И трус к тому же,— продолжал он.— Трус, как ни стыдно мне в этом признаваться, мессиры. Не посмел явиться мне на глаза и сразу же удрал в Сиену. Сейчас он должен быть уже далеко. Ну что же, друзья мои, мы с вами предпримем?

Слова эти банкир проговорил доверительным тоном, будто полностью полагался на суд братьев Крессэ, чуть ли не требовал от них совета. Братья переглянулись. По-разному рисовалась им встреча с обидчиком, но уж этого они никак не могли себе представить.

Толомеи наблюдал за незваными гостями сквозь прижмуренные веки правого, обычно плотно прикрытого глаза. «Ну вот и прекрасно,— думал он,— они у меня в руках и не опасны, теперь самое главное — найти способ отправить их домой, не израсходовав ни гроша».

Внезапно он выпрямил свой согбенный стан.

— Да, я лишу его наследства! Слышите, лишу его наследства! Ты от меня, несчастный, гроша ломаного не получишь! — гремел он, тыча рукой куда-то вбок, где, по его соображениям, должна была находиться Сиена.— Ни гроша! Никогда! Все оставлю на бедных и на монастыри! А если он, голубчик, попадется мне на пути,

я тут же его предам в руки правосудия. Увы! Увы,— добавил он плачущим голосом,— король скончался!

Братьям пришлось чуть ли не утешать своего обидчика.

А Толомеи решил, что они уже достаточно подготовлены и настала пора их образумить. Он принимал все их жалобы, соглашался со всеми их упреками, больше того, сам забегал вперед. Но теперь-то что делать? К чему затевать процесс: это накладно, особенно для людей небогатых, да еще когда преступник находится вне досягаемости и через неделю будет уже за рубежами Франции! Разве таким способом восстановишь честное имя их сестры? Скандал только повредит семейству Крессэ. Толомеи согласен еще раз пойти на жертвы. Он попытается исправить совершенное злодеяние; у него высокие и могущественные покровители; он дружен с его высочеством Валуа, который, по всей видимости, будет назначен регентом, и с мессиром де Бувиллем он тоже в самых наилучших отношениях... Общими усилиями подыщут какое-нибудь укромное местечко, где Мари втайне произведет на свет дитя, зачатое во грехе,— словом, все постараются устроить. Временно ее можно будет поместить в монастыре, и пусть она вдалеке от чужих взоров кается в содеянном. Пусть положатся на него, на Толомеи! Разве он не дал достаточных доказательств своего великодушия сеньорам де Крессэ, отсрочив их долг в сумме трехсот ливров.

— Стоило мне захотеть — и ваш замок уже два года назад перешел бы ко мне. А я захотел? Нет. Вот видите.

Братья Крессэ, и без того уже сбитые с толку, смекнули, что банкир, обращаясь к ним с чисто родительскими увещеваниями, в действительности грозит им.

— Итак, условимся, я от вас ничего не требую,— добавил он.

Но поскольку дело это подсудное, замять его нелегко, а судьи вряд ли благосклонно взглянут на то, что братья согласились принять от Гуччо столько благодеяний.

В сущности, они славные малые; сейчас они тихохонько отправятся в харчевню и, плотно поужинав, лягут спать — конечно, все расходы по их содержанию берет на себя Толомеи — и пусть ждут, пока он все не устроит наилучшим для них образом. Он надеется, что вскоре сумеет сообщить им добрые вести.

Пьер и Жан де Крессэ сдались на уговоры банкира

и чуть ли не растроганно пожали ему на прощание руку.

Дождавшись их ухода, Толомеи тяжело опустился в кресло. Он чувствовал себя окончательно разбитым.

«Господи, хоть бы король и в самом деле умер»,— прошептал он. Ибо, когда Толомеи уходил из Венсенского дворца, король Людовик X еще дышал; впрочем, ясно было — жить королю осталось недолго.

Глава XI

КТО БУДЕТ РЕГЕНТОМ

Людовик X Сварливый испустил дух сразу же после полуночи.

Впервые за триста двадцать девять лет король Франции умирал, не оставив наследника мужеска пола, которому по традиции можно было бы передать корону.

Его высочество Карл Валуа, обычно столь рьяно бравшийся за хлопоты, связанные с официальными придворными обрядами, будь то крестины или похороны, проявил полнейшее равнодушие касательно погребения своего племянника.

Он призвал к себе первого камергера Матье де Три и ограничился кратким распоряжением:

— Все должно быть сделано, как в прошлый раз!

Его терзали иные заботы. Утром он наспех собрал Совет, но не в Венсене, где пришлось бы приглашать королеву Клеменцию, а в Париже, во дворце Ситэ.

— Пусть наша дражайшая племянница выплачет свое горе,— заявил он,— а мы в свою очередь постараемся не повредить бесценной ноше, которую носит она под сердцем.

Было решено, что королеву будет представлять Бувилль. Все знали его как человека покладистого, отчасти тяжелодума и поэтому не опасались с его стороны никакого подвоха.

Совет, собранный Карлом Валуа, походил одновременно и на семейное сборище, и на совет государственных мужей. Кроме Бувилля, присутствовали Карл де ла Марш, брат покойного короля, Луи Клермонский, Робер Артуа, Филипп Валуа, которого пригласили по настоянию отца, канцлер де Морнэ и Жан де Мариньи, архиепископ Санский и Парижский, ибо весьма полезно заручиться поддержкой высшего духовенства, а Жан де Мариньи связан с кланом Валуа.

Нельзя было также не пригласить на совет графиню Маго, которая, как и Карл Валуа, являлась единственным пэром Франции, находившимся в данное время в Париже.

Людовик д'Эвре, которого Валуа постарался как можно дольше не извещать о болезни их племянника, прибыл только сегодня утром из Нормандии; лицо его осунулось, и он то и дело проводил ладонью по глазам.

Обратившись к Маго, он заявил:

— Весьма сожалею, что здесь нет Филиппа.

Карл Валуа уселся в королевское кресло на верхнем конце стола. Как ни пытался он напустить на себя скорбный вид, чувствовалось, что ему приятно восседать выше всех.

— Брат мой, мой племянник, мадам, мессиры,— начал он,— мы собрались здесь, сраженные печалью, дабы решить вопросы, не терпящие отлагательств: нам предстоит выбрать хранителей чрева, кои обязаны будут от нашего имени оберегать беременность королевы Клеменции, а также назначить правителя государства, ибо не должно быть перерыва в выполнении королевской власти. Прошу вашего совета.

Он говорил уже как настоящий владыка. Его тон и повадки пришлись не совсем по душе графу д'Эвре.

«Бедняге Карлу решительно всегда не хватало, да и сейчас не хватает деликатности и здравого смысла,— подумал он.— До сих пор — это в его-то годы! — он полагает, что вся сила авторитета — в королевском венце, меж тем как самое главное не венец, а голова, на которую он возложен...»

Граф не мог простить брату ни «грязевого похода», ни прочих его пагубных советов, принесших печальную славу недолгому царствованию Людовика.

Так как Карл Валуа, не дожидаясь ответа, начал развивать свою мысль и, умышленно связывая оба вопроса, предложил, чтобы хранителей чрева назначил сам регент, граф д'Эвре прервал его:

— Если вы, брат мой, пригласили нас сюда, чтобы мы молча слушали ваши речи, то мы с таким же успехом могли бы сидеть дома. Соблаговолите же выслушать нас, поскольку нам есть что сказать!.. Выбор регента — это одно дело, которое уже имело прецеденты, и зависит оно от воли Совета пэров. Выбор хранителя чрева — другой вопрос, и мы можем решить его немедля.

— Имеете вы кого-нибудь в виду? — спросил Карл Валуа.

Д'Эвре провел ладонью по глазам:

— Нет, мессиры, я никого в виду не имею. Я лишь думаю, что мы должны назвать людей с безупречным прошлым, достаточно зрелых, которые уже дали доказательства, и немаловажные, своей честности и преданности нашему семейству.

Он говорил, и глаза всех присутствующих обратились к Бувиллю, сидевшему в нижнем конце стола.

— Следовало бы, конечно, назначить человека вроде сенешаля де Жуанвилль,— продолжал Людовик д'Эвре,— если бы преклонный возраст — а, как известно, ему скоро минет сто лет — не отяготил его недугами... Но, как я вижу, все взоры устремлены на мессира Бувилля, который был первым камергером при государе, нашем брате, служил ему верой и правдой и достоин всяческих похвал. Ныне он представляет молодую королеву Клеменцию. По моему разумению, лучшего выбора сделать нельзя.

Толстяк Бувилль в замешательстве потупил голову. Такова уж привилегия человека посредственного — самые разнообразные люди единодушно сходятся на его имени. Никто не опасался Бувилля, да и обязанность хранителя чрева — обязанность чисто юридического характера — имела, по мнению Валуа, второстепенное значение. Предложение д'Эвре было встречено всеобщим одобрением.

Бувилль поднялся, черты его лица выдавали неодолимое волнение. Наконец-то его сорокалетнее служение престолу получило признание.

— Великая честь для меня, даже слишком великая честь, мессиры,— заговорил он.— Даю клятву зорко охранять чрево королевы Клеменции, защищать ее против всяких нападок и покушений ценою собственной жизни. Но поскольку его высочество д'Эвре назвал здесь мессира де Жуанвилль, мне хотелось бы, чтобы его имя было названо рядом с моим, а если он не в силах, то имя его сына, дабы дух Людовика Святого... дабы дух его в лице его слуги тоже охранял королеву... равно как и дух короля Филиппа, моего господина, в лице моем — его слуги.

Никогда в жизни Бувилль не произносил на Совете столь длинной речи, и выразить все эти тонкие мысли оказалось нелегко. Особенно неясен получился конец

фразы, но присутствующие поняли, что именно он хотел сказать, и одобрили его намерения, а граф д'Эвре от души поблагодарил бывшего камергера.

— А теперь,— повысил голос Карл Валуа,— можно приступить к выбору регента.

Но его снова прервали, на сей раз прервал Бувилль, поднявшийся с места:

— Разрешите, ваше высочество...

— В чем дело, Бувилль? — благодушно осведомился Валуа.

— Прежде всего, ваше высочество, я вынужден покорнейше просить вас покинуть занимаемое вами место, ибо это кресло предназначается королю, а ныне нет у нас иного короля, кроме того, которого носит в своем чреве королева Клеменция.

Воцарилось неловкое молчание, и залу вдруг наполнил перезвон, стоявший над Парижем.

Валуа метнул на Бувилля свирепый взгляд, однако понял, что следует покориться, и даже сделал вид, что покоряется охотно.

«Дурак дураком и останется,— думал он, пересаживаясь на другое место,— и зря ему оказывали доверие. До чего только дурак не додумается!»

Бувилль обошел вокруг стола, пододвинул к нему табуретку и сел, скрестив на груди руки в позе верного стража, справа от пустого кресла, ныне являвшегося объектом стольких вожделений.

Нагнувшись к Роберу Артуа, Карл Валуа шепнул ему что-то на ухо, и тот сразу же поднялся с места и взял слово: ясно, что между ними существовал сговор насчет дальнейших действий.

Робер произнес для вида две-три вступительные фразы, которые лишь с натяжкой можно было назвать любезными. Смысл их сводился примерно к следующему: «Хватит глупить, пора перейти к делу». Затем как нечто само собой разумеющееся он предложил доверить регентство Карлу Валуа:

— На скаку коней не меняют,— изрек он.— Всем нам известно, что при несчастном Людовике в действительности правил наш кузен Валуа. Да и раньше он неизменно был советником короля Филиппа, которого предостерег от многих ошибок и выиграл ему немало битв. Он старший в семье и уже привык за тридцать лет к королевским трудам.

Только двое из сидевших у длинного стола, видимо,

не одобряли этих слов: Людовик д'Эвре думал о Франции, Маго думала о себе.

«Если Карл будет регентом, уж он-то, конечно, не поможет избавить мое графство от правителя Конфлана,— твердила она про себя.— Боюсь, слишком я поторопилась, надо бы дождаться приезда Филиппа. А если я замолвлю о нем слово, не вызовет ли это подозрений?»

— Скажите, Карл,— вдруг произнес Людовик д'Эвре,— если бы наш брат Филипп скончался в те годы, когда наш племянник Людовик был еще младенцем, кого по праву назначили бы регентом?

— Конечно же, меня, брат мой,— поспешно ответил Валуа, считая, что своими словами Людовик льет воду на его мельницу.

— Только потому, что вы следующий по старшинству брат? Тогда почему бы не стать по праву регентом нашему племяннику графу Пуатье?

Послышались протестующие голоса. Филипп Валуа заявил, что не может же граф Пуатье быть повсюду разом — и на конклаве, и в Париже,— на что Людовик д'Эвре возразил:

— Лион все-таки не за тридевять земель, не в стране Великого хана! Оттуда можно добраться до Парижа в несколько дней... Впрочем, нас собралось здесь недостаточно, чтобы решать такой важный вопрос. Из двенадцати пэров Франции налицо только двое...

— ...тем более что и они несогласны,— подтвердила Маго,— ибо я придерживаюсь вашего мнения, кузен Людовик, а не мнения Карла.

— А из членов нашей семьи,— продолжал д'Эвре,— не хватает не только Филиппа, но также нашей племянницы Изабеллы Английской, нашей тетки Агнессы Французской и ее сына герцога Бургундского. Если решающее слово по праву принадлежит старейшим, то решает голос Агнессы — последней ныне здравствующей дочери Людовика Святого, а никак не наши.

Услышав это имя, присутствующие дружно закричали и шумно восстали против Людовика д'Эвре, а Робер Артуа поспешил на помощь Карлу Валуа. Агнесса и сын ее Эд Бургундский — вот кого действительно следует опасаться! Ребенок Клеменции еще должен родиться, если только он вообще родится, и неизвестно, кто это будет — мальчик или девочка. А Эд Бургундский вполне может предъявить свои права и стать регентом при

своей племяннице крошке Жанне Наваррской, дочери Маргариты. А этого следует избегнуть, ибо известно — девочка рождена не в законе.

— Но вы же этого не знаете, Робер! — воскликнул Людовик д'Эвре.— Предположения еще не есть достоверность, и Маргарита унесла свою тайну с собой в могилу, куда вы ее уложили.

Эвре употребил слово «вы» применительно ко всем трем виновникам кончины Маргариты — к тому, кто умер нынешней ночью, к клану Валуа, а также к Роберу Артуа.

Но последний, не без оснований полагая, что обвинение направлено именно против него, злобно нахмурился.

Казалось, зятья (ибо Людовик д' Эвре был женат на родной сестре Робера Артуа, ныне покойной) того и гляди перейдут в рукопашную и начнется свалка.

Вновь воскресла зловещая тень Нельской башни, внося раздор, угрожая новыми бедами, которые чуть было не сгубили весь этот род, а вместе с ним и королевство.

Послышались оскорбительные вопросы, коварные намеки, на которые не скупились участники Королевского совета. Почему освободили Жанну Пуатье, а не Бланку де ла Марш? А почему Филипп Валуа так ополчился против бургундского семейства, когда он сам женат на родной сестре Маргариты?

Архиепископ и канцлер тоже вмешались в спор, желая поддержать Валуа: первый — авторитетом Священного писания, а второй — ссылкой на старинные обычаи, принятые во Франции.

— Словом, выходит,— закричал Карл Валуа,— что Совет достаточно многочислен, чтобы назначить хранителя чрева, но слишком мал, чтобы выбрать правителя королевства. Просто вам не угодна моя особа!

В эту минуту вошел Матье де Три и заявил, что должен сделать Совету весьма важное сообщение. Ему разрешили говорить.

— В то время как врачи бальзамировали тело короля,— начал Матье де Три,— в опочивальню случайно вбежала собака и, прежде чем ее успели отогнать, лизнула окровавленные простыни, на которые клали вынутые внутренности.

— Ну и что? — спросил Валуа.— Это и есть ваша важная новость?

— А то, ваше высочество, что собака тут же начала

визжать и вертеться на месте и наконец свалилась на пол, очевидно, тут кроется причина недуга, что свела в могилу короля; возможно, собака сейчас уже издохла.

После слов Матье снова воцарилось молчание, и снова по зале поплыл унылый похоронный звон. Графиня Маго даже бровью не повела, но жестокий страх овладел всем ее существом. «Неужели же мне пропадать из-за какого-то прожорливого пса?» — думала она.

— Значит, вы полагаете, Матье, что это был яд? — наконец выдавил из себя Карл де ла Марш.

— Надо произвести расследование, и весьма тщательно,— проговорил Робер Артуа, пристально глядя на тетку.

— Конечно, племянничек, надо произвести расследование,— подхватила графиня Маго таким тоном, словно подозревала в отравлении самого Робера.

Бувилль, который во время всего спора молча сидел у пустовавшего королевского кресла, вдруг поднялся:

— Мессиры, ежели на жизнь короля посягнул злодей, то нет никаких оснований полагать, что не посягнут также и на дитя, которое еще должно родиться. Прошу дать мне в подмогу шесть вооруженных рыцарей и конюших, которые будут денно и нощно охранять покои королевы и сумеют отвести преступную руку.

— Пусть действует, как находит нужным,— таков был единодушный ответ собравшихся. На этом Совет закрыли, так и не решив важнейших вопросов и назначив следующее заседание на завтра. Текущие дела пока что будут вершить, как и прежде, Карл Валуа и канцлер.

— Вы не собираетесь отрядить гонца к Филиппу? — вполголоса осведомилась Маго у графа д'Эвре.

— Собираюсь, кузина, и к Агнессе тоже,— ответил Людовик.

— Предпочитаю, чтобы вы действовали сами, тем паче мы с вами во всем согласны.

Выйдя из дворца, Бувилль наткнулся на Спинелло Толомеи, который его поджидал; банкир тут же обратился к нему с просьбой оказать покровительство Гуччо.

— Ах, милый мой мальчик! Славный мой Гуччо! — воскликнул Бувилль.— Постойте-ка, Толомеи! Именно такие люди, как он, мне и нужны, чтобы охранять покои королевы. Смекалистый, шустрый... Мадам Клеменция была к нему благосклонна. Жаль только, что он не ры-

царь, даже не конюший. Но в конце концов, есть такие положения, когда добродетели важнее высокого происхождения...

— Как раз то же самое думает девица, которая согласилась выйти за него замуж,— заметил Толомеи.

— Ах, так он женился?

Банкир попытался в немногих словах изложить злоключения Гуччо. Но Бувилль слушал рассеянно. Он торопился, ему необходимо было срочно возвратиться в Венсен, и, кроме того, он упорно держался за свою мысль назначить Гуччо стражем королевы. Толомеи предпочел бы для своего племянника менее видный пост, а главное, более удаленный от Парижа. Нельзя ли убрать его от людских глаз, пусть пока состоит при какой-нибудь важной духовной особе, например при кардинале...

— Что ж, тогда давайте отправим его к кардиналу Дюэзу. Скажите Гуччо, пусть прибудет ко мне в Венсен, откуда я теперь двинусь. Он мне изложит свое дело... Ах да, вот что мне пришло в голову! Он может оказать мне большую услугу... Пускай поторопится, я жду.

Через несколько часов три гонца тремя разными дорогами уже скакали в Лион.

Первый гонец, в камзоле с гербами Франции, скакал по «главной дороге», как тогда говорили, то есть через Эссон, Монтаржи и Невер, и вез послание графа Валуа, извещавшего графа Пуатье, во-первых, о кончине государя и, во-вторых, о единодушном решении Совета назначить его, Карла, правителем королевства.

Второй гонец, с гербом графа д'Эвре, ехавший по «прогулочной дороге»,— через Провен и Труа, должен был сделать остановку в Дижоне у герцога Бургундского. Врученная ему грамота была иного содержания.

А третий гонец, в ливрее графа де Бувилля, следовавший по «короткой дороге»,— через Орлеан, Бурж и Роанн, был Гуччо Бальони. Официально его отрядили к кардиналу Дюэзу. Но изустно велели сообщить графу Пуатье, что брат его по подозрениям врачей был отравлен и что необходимо зорко охранять королеву.

На трех этих дорогах решались ныне судьбы Франции.

НЕГОЖЕ ЛИЛИЯМ ПРЯСТЬ



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ	КЛЕМЕНЦИЯ ВЕНГЕРСКАЯ, внучка Карла II Анжу-Сицилийского и Марии Венгерской, вторая супруга, а ныне вдова Людовика X Сварливого, короля Франции и Наварры, 23 года.
ДЕТИ ЛЮДОВИКА X	ЖАННА НАВАРРСКАЯ, дочь Людовика от первой жены Маргариты Бургундской, 5 лет. ИОАНН I, прозванный ПОСМЕРТНЫМ, сын Людовика X и Клеменции Венгерской, король Франции.
РЕГЕНТ	ФИЛИПП, второй сын Филиппа IV Красивого и брат покойного Людовика X, граф Пуатье, пэр Франции, пфальцграф Бургундский, сир Салэнский, регент, а впоследствии король Франции Филипп V Длинный, 23 года.
ЕГО БРАТ	КАРЛ, младший сын Филиппа IV Красивого, граф де ла Марш, будущий король Карл IV Красивый, 22 года.
ЖЕНА ФИЛИППА	ЖАННА БУРГУНДСКАЯ, дочь графа Оттона IV Бургундского и графини Маго Артуа, наследница графства Бургундского, 23 года.
ИХ ДЕТИ	ЖАННА, называемая также БУРГУНДСКОЙ, 8 лет. МАРГАРИТА, 6 лет. ИЗАБЕЛЛА, 5 лет. ЛУИ-ФИЛИПП ФРАНЦУЗСКИЙ.
ВЕТВЬ ВАЛУА	КАРЛ, сын Филиппа III и Изабеллы Арагонской, брат Филиппа IV Красивого, удельный граф Валуа, граф Мэнский, Анжуйский, Алансонский, Шартрский, Першский, пэр Франции; носил в прошлом титул императора Константинопольского, граф Романьский, 46 лет. ФИЛИПП ВАЛУА, сын вышеназванного Карла Валуа и Маргариты Анжу-Сицилийской, будущий король Филипп VI, 23 года.

ВЕТВЬ д'ЭВРЕ	ЛЮДОВИК ФРАНЦУЗСКИЙ, сын Филиппа III и Марии Брабантской, единокровный брат Филиппа IV Красивого и Карла Валуа, граф Эвре и Этампа, 40 лет. ФИЛИПП д'ЭВРЕ, его сын.
ВЕТВЬ КЛЕРМОН-БУРБОНОВ	РОБЕР, граф КЛЕРМОНСКИЙ, шестой сын Людовика Святого, 60 лет. ЛЮДОВИК БУРБОН, сын Робера.
ВЕТВЬ АРТУА, ИДУЩАЯ ОТ ОДНОГО ИЗ БРАТЬЕВ ЛЮДОВИКА СВЯТОГО	АРТУА, графиня МАГО, пэр Франции, вдова пфальцграфа Оттона IV, мать Жанны и Бланки Бургундских, теща Филиппа Пуатье и Карла де ла Марша, около 45 лет. РОБЕР III АРТУА, племянник Маго, граф Бомон-ле-Роже, сенатор Конша, 29 лет.
ГЕРЦОГИ БУРГУНДСКИЕ	АГНЕССА ФРАНЦУЗСКАЯ, младшая дочь Людовика Святого, вдовствующая герцогиня Бургундская, вдова герцога Робера II, мать Маргариты Бургундской, 57 лет. ЭД IV, ее сын, герцог Бургундский, брат Маргариты и дядя Жанны Наваррской, около 35 лет.
ГРАФЫ ВЬЕННСКИЕ	Дофин ИОАНН II де ла ТУР дю ПЭН, зять королевы Клеменции. ГИГ — его сын.
ГЛАВНЫЕ САНОВНИКИ КОРОЛЕВСТВА	ГОШЕ де ШАТИЙОН, коннетабль Франции. РАУЛЬ де ПРЕЛЬ, легист, бывший советник Филиппа Красивого. ЮГ де БУВИЛЛЬ, бывший первый камергер Филиппа Красивого. Сенешаль де ЖУАНВИЛЛЬ, сподвижник Людовика Святого, летописец. МИЛЬ де НУАЙЕ, легист, бывший маршал войска Филиппа IV и зять коннетабля. АНСО де ЖУАНВИЛЛЬ, сын сенешаля, советник регента. АДАМ ЭРОН, первый камергер регента. Граф ЖАН де ФОРЭ. Маршалы: ЖАН де КОРБЕЙ и ЖАН де БОМОН, прозванный ВЫГРЕБАЙ НАЗАД. ПЬЕР де ГАЛАР, командир арбалетчиков. РОБЕР де ГАМАШ и ГИЙОМ де СЕРИЗ, камергеры. ЖОФФРУА де ФЛЕРИ, казначей.

КАРДИНАЛЫ	ЖАК ДЮЭЗ, кардинал курии, впоследствии папа Иоанн XXII, 72 года. ФРАНЧЕСКО КАЭТАНИ, племянник папы Бонифация VIII. АРНО д'ОШ, кардинал-камерлинг. НАПОЛЕОН ОРСИНИ. ЖАК И ПЬЕР КОЛОННА. БЕРАНЖЕ ФРЕДОЛИ, старший и младший. АРНО де ПЕЛАГРЮ, СТЕФАНЕСКИ, МАНДГУ и прочие.
БАРОНЫ ГРАФСТВА АРТУА	ВАРЕНН, СУАСТР, КОМОН, ФИЕНН, ПИКИНЬИ, КЬЕРЕ, ОПОНЛЬЕ, БОВАЛЬ и прочие.
ЛОМБАРДЦЫ	СПИНЕЛЛО ТОЛОМЕИ, банкир из Сиены, обосновавшийся в Париже. ГУЧЧО БАЛЬОНИ, его племянник, 20 лет. БОККАЧЧО, коммивояжер, отец писателя Боккаччо.
СЕМЕЙСТВО КРЕССЭ	МАДАМ ЭЛИАБЕЛЬ, вдова сира де Крессэ. ЖАН И ПЬЕР, ее сыновья, 22 и 24 года. МАРИ, ее дочь, 18 лет.
РОБЕР де КУРТЕНЭ	архиепископ Реймский.
ГИЙОМ де МЕЛЛО	советник герцога Бургундского.
Мессир ВАРЭ	судья Лиона.
ЖОФФРУА КОКАТРИ	богатый горожанин, поставщик оружия.
МАДАМ де БУВИЛЛЬ	супруга бывшего первого камергера короля Филиппа Красивого.
БЕАТРИСА д'ИРСОН	племянница канцлера графства Артуа, придворная дама графини Маго.

Все эти имена — подлинные.

ПРОЛОГ

В течение 327 лет, другими словами, со времени избрания Гуго Капета вплоть до смерти Филиппа Красивого, на французском троне сменилось всего лишь одиннадцать королей, и каждый оставлял после себя сына, будущего наследника престола.

Словно сама судьба благословила эту династию, вызывавшую всеобщее удивление, на длительное царствование, и казалось, ему не будет конца! Из одиннадцати королей мы можем назвать лишь двоих, чье владычество длилось менее пятнадцати лет.

Эта редкостная в истории непрерывность в отправлении власти и передаче ее прямому наследнику способствовала зарождению национального единства, более того, предопределила это единство.

Феодальные связи, связь как таковая вассала с сюзереном, связь более слабого с более сильным, постепенно сменялась иной связью, иным договором, объединившим всех членов этого обширного сообщества, которое столетиями управлялось одним и тем же законом, равно было подвержено одним и тем же превратностям.

Если идея нации еще только завоевывала умы, то самый принцип ее, ее воплощение уже существовали в лице короля, который был высшим источником власти и высшим ее прибежищем. Тот, кто говорил «король», подразумевал Францию.

И всю свою долгую жизнь Филипп Красивый усердно старался укрепить это нарождавшееся единство с помощью сильной централизации всего административного аппарата, систематически пресекая всяческие происки, шли ли они из чужих краев или от его подданных.

Но вскоре после кончины Железного Короля за ним сошел в могилу его сын Людовик Сварливый. Народ не мог не увидеть — и увидел — перст судьбы в этих двух смертях, последовавших одна за другой и подкосивших обоих государей во цвете лет.

Людовик X Сварливый процарствовал всего восемнадцать месяцев, шесть дней и десять часов. Впрочем, и в этот недолгий срок незадачливый монарх успел почти окончательно загубить дело рук своего отца. Во время царствования Людовика была убита его первая же-

на Маргарита и казнен первый министр отца; голод опустошил Францию, две провинции взбунтовались, целая армия увязла во фландрской грязи. Высшая знать вновь повела наступление на прерогативы королевской власти; реакция стала всемогущей, а казна оскудела.

Людовик X вступил на престол в тот период, когда католический мир не имел папы; он скончался, когда папа еще не был избран и христианский мир находился на пороге раскола.

И вот Франция осталась без короля.

Ибо от брака с Маргаритой Бургундской Людовик X имел единственную пятилетнюю дочь — Жанну Наваррскую, которая, по мнению многих, была незаконного происхождения. Королеву Клеменцию Людовик оставил в тягости, и можно было лишь уповать на появление законного наследника, ибо только через пять месяцев она должна была разрешиться от бремени. В довершение всего открыто утверждали, что Сварливый был отравлен.

Ничего не было предпринято для назначения регента, и в ожесточенной борьбе за власть яростно столкнулись личные притязания. В Париже звание регента оспаривал граф Валуа. В Дижоне — герцог Бургундский, родной брат удушенной Маргариты, вожак мощной баронской лиги, решивший отомстить за смерть сестры и ставший таким образом поборником прав малолетней племянницы. В Лионе граф Пуатье, брат Сварливого, старался разрушить козни кардиналов и тщетно добивался решения конклава. Фламандцы не стали мешкать и, воспользовавшись благоприятной обстановкой, вновь взялись за оружие, а сеньоры графства Артуа продолжали вести гражданскую войну.

Разве не достаточно было всего этого, чтобы воскресить в памяти народной то проклятье, которое бросил два года тому назад Великий магистр Ордена тамплиеров из пламени костра? И неудивительно, что в ту суеверную эпоху люди в первую неделю июня 1316 года задавали себе вопрос: уж не навек ли проклят род Капетингов?

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ФИЛИПП ЗАПРИ ВОРОТА

Глава I
БЕЛАЯ КОРОЛЕВА

Траурное одеяние королев — белое.

Белого цвета косынка из тонкой ткани, плотно облегающая шею, скрывает подбородок чуть ли не до самых губ и оставляет открытой лишь середину лица; белого цвета длинная вуаль спускается на лоб и брови; волочится по земле белое платье, рукава туго схвачены у запястий. Вот это-то одеяние, сродни монашескому облачению, надела на себя — и, вероятно, навсегда — королева Клеменция Венгерская, оставшаяся вдовой на двадцать третьем году и прожившая в браке с королем Людовиком X всего лишь десять месяцев.

Отныне никто не увидит более ни прелестных ее золотых волос, ни совершенного овала лица, навсегда померкнет эта лучезарная безмятежность взгляда, этот блеск оживления, который поражал всех ее знавших и прославил на века красоту Клеменции.

Застывшее, как маска, узенькое, трогательное личико, полускрытое ослепительно белой косынкой, носило следы ночей, проведенных без сна, и следы слез, пролитых днем. Даже взгляд и тот изменился; казалось, он ни на чем не задерживается, лишь скользит по людям и вещам. Уже сейчас королева словно превратилась в надгробье собственной могилы.

И все же под складками белого одеяния зрела новая жизнь. Клеменция ждала ребенка, и ни на минуту ее не оставляла упорная, как наваждение, мысль, что ее супругу не довелось увидеть свое дитя.

«Хоть бы до его рождения дожил Людовик,— думала она.— Еще пять месяцев, всего пять месяцев! Как бы он обрадовался, особенно сыну... И почему не понесла я в нашу первую брачную ночь!..»

Королева обернулась к графу Валуа, который, переваливаясь, как каплун, шагал по комнате.

— Но за что, дядюшка, за что могли его так злодейски отравить, почему? — допытывалась она.— Разве не делал он людям добро, всем, кому мог? Почему вы все-

гда стараетесь увидеть людское коварство там, где проявляет себя лишь воля господня?

— Зато только вы одна приписываете воле господней деяние, которое скорее следует приписать козням сатаны,— отрезал Карл Валуа.

Большеносый, широкоскулый, румяный, с округлым брюшком, в черном капюшоне с высоким гребнем, сбитым на одно плечо, в черном бархатном кафтане с серебряными застежками, сшитым полтора года назад для похорон родного брата, короля Филиппа Красивого, его высочество Валуа прибыл к королеве прямо из Сен-Дени, где он присутствовал при погребении своего племянника Людовика X. Впрочем, на сей раз при исполнении траурного обряда возникли кое-какие осложнения, ибо впервые с тех пор, как был установлен церемониал королевских похорон, герольды, провозгласив «Король умер!», не смогли добавить: «Да здравствует король!», так как никто не знал, перед кем, перед каким новым властелином следует совершить символические жесты, предусмотренные ритуалом.

— Пустое, вы сломите свой жезл передо мной,— посоветовал Валуа первому камергеру усопшего короля, Матье де Три.— Я старший в семье и лучше других подхожу к этой роли.

Но его единокровный брат, граф д'Эвре, возразил против подобного новшества, догадываясь, что Карл выдвинул этот аргумент с целью добиться регентства.

— Старший в нашей семье, если только вы употребили это слово в его подлинном значении, это вовсе не вы, Карл,— заметил граф д'Эвре.— Как известно, наш дядя Робер Клермонский доводится родным сыном Людовику Святому. Неужели вы забыли, что он еще здравствует?

— Вы сами знаете, что бедняга Робер давно лишился рассудка. Разве можно хоть в чем-то полагаться на эту сумасбродную голову! — возразил Валуа, пожав плечами.

Так или иначе, в конце поминального обеда, устроенного в аббатстве, первый камергер сломал жезл — символ своего высокого ранга — перед пустым стулом...

— Разве Людовик не творил милостыню? Разве не простил он многих узников? — твердила Клеменция, словно стараясь убедить самое себя.— Он был великодушен, поверьте мне... А если он и грешил, то каялся...

Вряд ли стоило сейчас оспаривать добродетели, коими королева украшала покойного своего супруга, чей образ неотступно стоял у нее перед глазами! И все-таки Карл Валуа не сумел скрыть раздражения.

— Знаю, племянница, знаю, что вы оказывали на Людовика самое благотворное влияние, знаю, что он действительно был великодушен... в отношении вас,— отозвался Валуа.— Но нельзя царствовать только с помощью молитв или даров, которыми осыпают близких. И одним покаянием не потушить порожденную тобою же ненависть.

«Так вот каков Карл,— печально думала Клеменция.— При жизни Людовика Карл приписывал себе все заслуги монарха, а теперь во что бы то ни стало стремится отрицать их. И меня, меня не сегодня-завтра попрекнут теми дарами, что делал мне Людовик. Я опять стала для них чужеземкой...»

Но Клеменция была слишком слаба, слишком разбита, чтобы вознегодовать. Вслух она лишь произнесла:

— Никогда не поверю, что Людовика ненавидели настолько, что решились его отравить...

— Ну и не верьте, племянница,— вскричал Карл,— однако такова истина! Первое тому доказательство — тот самый пес, что лизнул белье, в которое заворачивали внутренности короля при бальзамировании. Ведь пес издох через час. Далее...

Клеменция прикрыла глаза и схватилась за подлокотники кресла, она испугалась, что потеряет сознание перед этой страшной картиной, которую так настойчиво рисовал ей Валуа. Неужели с такой холодной жестокостью говорят о ее муже, о короле, засыпавшем в ее объятиях, об отце ребенка, которого она носит под сердцем? К чему вызывать перед нею ужасное видение трупа, исполосованного ножом бальзамировщиков?!

А Карл Валуа по-прежнему не скупился на зловещие умозаключения. Когда же наконец замолчит он, этот суетливый, властный, честолюбивый толстяк, появляющийся то в голубом, то в алом, то в черном бархате во все решающие или роковые минуты жизни Клеменции с первого же дня ее приезда во Францию и всякий раз лишь для того, чтобы поучать ее, оглушить потоком слов и заставить действовать против ее собственной воли? Еще в утро свадьбы в Сен-Лие дядюшка Валуа, которого до того Клеменция видела лишь мимолетно, чуть было не испортил торжественную церемонию, по-

спешив посвятить новобрачную в дворцовые интриги, так и оставшиеся ей непонятными... Перед взором Клеменции возник Людовик, несущийся ей навстречу по дороге из Труа... сельская церковь, комнатка в маленьком замке, наспех убранная под брачные покои... «Достаточно ли я насладилась своим счастьем? Нет, ни за что не заплачу перед ним!» — решила про себя Клеменция.

— Кто виновник чудовищного злодеяния? — продолжал Валуа.— Этого мы пока еще не знаем; но мы его найдем, племянница, торжественно клянусь вам... если, конечно, мне дадут эту возможность. Мы, короли...

Карл Валуа любил при каждом удобном и неудобном случае напомнить, что он тоже носил две короны, правда, носил чисто символически, но это ставило его на равную ногу с владыками мира сего.

— ...Мы, короли, имеем врагов, не личных наших врагов, а тех, кто враждебен нашим предначертаниям; и поверьте, немало людей были заинтересованы в том, чтобы сделать вас вдовой. Во-первых, существуют тамплиеры, чей Орден, к великому сожалению, уничтожили. Впрочем, я об этом сотни раз говорил!.. Они образовали тайную лигу и поклялись сгубить моего брата и его сыновей. Брат мой скончался, и старший его сын последовал за ним! Затем не забудьте римских кардиналов... Вспомните-ка, что кардинал Каэтани пытался напустить порчу на Людовика и вашего деверя Пуатье, хотел, чтобы их обоих вынесли вперед ногами. Дело открылось, но Каэтани вполне мог отыскать какой-нибудь иной способ сразить их. Что вы хотите, нельзя безнаказанно свергать папу с престола святого Петра, как это сделал мой брат Филипп, и рассчитывать, что этот акт не вызовет озлобления! Возможно также, сторонники герцога Бургундского были возмущены карой, постигшей Маргариту, и не могут примириться с тем, что вы заняли ее место...

Клеменция взглянула прямо в глаза Карлу Валуа, который смутился и даже слегка покраснел. Он сам был причастен, и не в малой мере, к убийству Маргариты. И он понял, что Клеменция это знает; очевидно, Людовик по неосторожности доверился ей...

Но Клеменция продолжала хранить молчание: она по-прежнему избегала разговоров на эту тему. Ей казалось, что и на ней лежит вина, пусть даже невольная. Ибо ее супруг, благородное сердце которого она так превозносила, задушил тем не менее свою первую жену,

чтобы жениться на ней, на племяннице Неаполитанского короля. Так нужно ли после этого искать иных причин для постигшей их кары господней?

— Есть еще графиня Маго, ваша соседка,— поспешно добавил Валуа,— а она из тех женщин, которые не отступят перед преступлением, даже самым злодейским...

«А чем же тогда она отличается от вас? — подумала Клеменция, не смея высказать свою мысль вслух.— Здесь, при французском дворе, на мой взгляд, не долго раздумывают, прежде чем убить».

— ...А ведь еще месяца не прошло, как Людовик, желая смирить графиню Маго, отобрал у нее графство Артуа.

Тут Клеменции подумалось, что уж не граф ли Валуа, перечисливший с добрый десяток возможных убийц, был виновником преступления. Но она сама испугалась этой мысли, в сущности не подкрепленной никакими разумными доводами. Нет, она решительно запрещает себе любые подозрения; ей так хочется, чтобы Людовик умер естественной смертью... И однако взгляд Клеменции невольно устремился через открытое окно к густой листве Венсенского леса, туда, где чуть южнее стоял замок Конфлан, летняя резиденция графини Маго... За несколько дней до кончины Людовика Маго вместе со своей дочерью, графиней Пуатье, нанесла Клеменции визит, самый любезный визит. Клеменция ни на минуту не оставляла их одних. Они восхищались гобеленами в ее спальне...

«Что может быть унизительнее, чем видеть в каждом приближенном обманщика,— думала Клеменция,— на каждом лице читать измену...»

— Вот почему, дражайшая племянница,— продолжал Валуа,— вам следует вернуться в Париж, о чем я вас и прошу. Вы знаете, как я люблю вас. Я устроил ваш брак. Ваш покойный батюшка был моим шурином. Прислушайтесь же к моим словам, как к словам своего батюшки, если бы бог сохранил нам его. А вдруг рука, сразившая Людовика, захочет распространить свое мщение на вас и на плод вашей любви, который вы носите под сердцем? Я не могу оставить вас здесь, в лесу, беззащитную против происков злодеев, и только тогда я буду спокоен, ежели вы поселитесь поблизости от меня.

Вот уже целый час Валуа пытался вынудить у Клеменции согласие перебраться во дворец Ситэ, ибо он

сам решил там поселиться. Это переселение входило в его планы: так ему легче будет заставить признать себя регентом и поставить Совет пэров перед свершившимся фактом. Кто хозяин дворца Ситэ, тот как бы наполовину король. Но если он поселится во дворце один, без королевы Клеменции, это будет похоже на переворот и на узурпацию. Если же Валуа, напротив, въедет во дворец Ситэ вслед за своей племянницей как самый близкий ее родич и покровитель, никто не посмеет возразить. Ныне чрево королевы — верный залог престижа и наиболее действенное, если так можно выразиться, орудие власти.

Клеменция повернула голову, как бы желая испросить совета у молчаливого свидетеля их беседы, который стоял в нескольких шагах от королевы, держа скрещенные руки на эфесе длинной шпаги.

— Что мне делать, Бувилль? — шепнула она.

Юг де Бувилль, бывший первый камергер Филиппа Красивого, на первом же Совете, собравшемся после смерти Людовика, был назначен хранителем чрева королевы. Дородный, уже наполовину седой, но еще подвижной для своего возраста, славный Бувилль, верно прослужив тридцать лет королям Франции, отнесся к своему новому назначению не только всерьез, но чуть ли не трагически. Тщательно проверив отобранных для этой цели дворян, он создал надежную охрану, и стражи группами в двадцать четыре человека в очередь дежурили у дверей, ведущих в королевские покои. Сам он нацепил все свои воинские доспехи и в этот жаркий июньский день безбожно обливался потом под стальной кольчугой. Крепостные стены, дворы, все подступы к Венсену были забиты лучниками. За каждым слугой, подававшим на стол, ходил по пятам стражник. Даже придворных дам обыскивали, прежде чем допустить их к королеве. Никогда еще так тщательно не охраняли живого человека, как охраняли сейчас эту жизнь, дремавшую во чреве королевы Франции.

Бувилль формально делил свои обязанности с престарелым сиром де Жуанвиллем, назначенным вторым хранителем чрева; о нем вспомнили лишь потому, что в то время он как раз оказался в Париже, куда наезжал с неукоснительной старческой аккуратностью дважды в год за получением пенсиона, выплачиваемого ему при всех трех сменившихся на троне королях, а также за особым пособием, назначенным ему в связи с канони-

зацией Людовика Святого. Но сенешалю Шампани шел ныне девяносто третий год; в силу своего преклонного возраста он считался старейшиной высшей знати Франции. Полуслепой старик был сверх меры утомлен этим путешествием в столицу из своего замка Васси в верховьях Марны, и большую часть времени он мирно дремал в обществе двух своих конюших, тоже седобородых старцев. Естественно, все заботы выпали на долю одного Бувилля.

Для королевы Клеменции с образом Юга де Бувилля были связаны самые дорогие ее сердцу воспоминания. Ведь Бувилль был послан просить ее руки от имени французского короля, и он же сопровождал ее в пути из Неаполя во Францию. Он был без лести преданным поверенным ее тайн и, возможно, единственным ее верным другом среди французского двора. Бувилль сразу понял, что Клеменции не хочется покидать Венсен.

— Ваше высочество,— обратился он к Валуа,— мои обязанности стража мне сподручнее выполнять здесь, в этом замке, обнесенном надежными стенами, нежели в Ситэ, где большой дворец открыт для каждого. А если вы опасаетесь соседства графини Маго, то, коль скоро меня держат в курсе всего происходящего в округе, разрешите сообщить вам, что как раз в эту минуту ее добро грузят на повозки, ибо она тотчас направляется в Париж.

Карл Валуа с видимой досадой выслушал это сообщение; его раздражало, что влияние Бувилля так выросло с тех пор, как он стал хранителем чрева; бывший камергер не покидал королеву ни днем, ни ночью, да и сейчас торчал здесь, опираясь на шпагу.

— Мессир Юг,— высокомерно произнес Карл,— вам поручили охранять чрево, а не решать такие важные вопросы, как местопребывание королевской фамилии, и уж тем паче вас не уполномочивали защищать единолично все государство.

Бувилля не смутила эта отповедь.

— Разрешите напомнить вам, ваше высочество,— сказал он,— что королева не может показываться на людях раньше сорокового дня после похорон.

— Неужели, дражайший, вы полагаете, что я хуже вас знаю наши обычаи! Откуда вы взяли, что королева должна кому-то показываться? Мы доставим ее в Париж в закрытом возке... И неужели, племянница,— воскликнул он, поворачиваясь к Клеменции,— вы считаете,

что я хочу загнать вас на край света, во владения Великого Хана! Вы же сами знаете, что от Парижа до Венсена не две тысячи лье!

— Поймите меня, дядюшка,— слабо возразила Клеменция,— Венсенский замок — последний дар Людовика, здесь мы жили с супругом до его смерти. Он пожаловал мне это жилище, вы сами присутствовали при этом (она указала на двери покоев, где скончался Людовик X), и выразил волю, дабы я жила здесь... Да и мне все кажется, что он еще не совсем покинул этот замок. Поймите, ведь здесь мы...

Но его высочество Валуа был лишен способности вникать в такие мелочи, как власть воспоминаний и поэзия скорби.

— Ваш супруг, за душу коего мы возносим молитвы, отныне принадлежит к прошлому государства. А вы, племянница, вы носите под сердцем его будущее. Подвергая опасности вашу жизнь, вы подвергаете опасности и жизнь вашего дитяти. Людовик, который смотрит на вас с небес, никогда не простил бы вам этого.

Удар попал прямо в цель, и Клеменция молча поникла в кресле.

Но Бувилль заявил, что вопрос такой важности не может быть решен без участия сира де Жуанвилля, и послал за ним слугу. Присутствующие молча ждали его появления. Наконец дверь открылась, но им снова пришлось ждать. Не сразу появился последний сподвижник Людовика Святого; в длинном одеянии, какое носили еще во времена крестовых походов, он с трудом переступил порог дрожащими, плохо повиновавшимися ногами. Лицо его было все в бурых пятнах и походило на кору векового дуба, выцветшие глаза слезились. Двое конюших, столь же дряхлых, как и их господин, поддерживали его с обеих сторон. Старца усадили с величайшими предосторожностями, и Валуа принялся излагать ему свои проекты насчет местожительства королевы. Сир де Жуанвилль внимательно слушал, сокрушенно покачивал головой, видимо гордясь тем, что его наконец призвали к решению дел государственной важности. Когда же Валуа замолк, сенешаль погрузился в раздумье, которое никто не посмел нарушить; все напряженно ждали, когда с этих старческих уст сорвутся вещие слова. И вдруг старик спросил:

— А где же король?

Валуа досадливо поморщился. Время не терпит, а

тут изволь тратить силы на этого старика! Да понял ли сенешаль хоть одно слово из красноречивых доводов Карла?

— Полноте, мессир Жуанвилль, король скончался,— пояснил он,— и нынче утром мы предали его земле. Вы отлично знаете, что вас назначили хранителем чрева...

Сенешаль нахмурил лоб и сделал мучительное усилие, чтобы понять и вспомнить. Такие провалы памяти были для него не в диковинку; диктуя свои знаменитые «Мемуары», восьмидесятилетний старец слово в слово повторял в конце второй части то, что уже было сказано в начале первой...

— Ох, наш государь Людовик...— пробормотал он наконец.— Скончаться таким молодым... Я еще ему преподнес свою знаменитую книгу. А знаете, я уже четвертого короля хороню.

Эти слова он произнес таким тоном, будто речь шла о личных его заслугах.

— Но ежели король скончался, королева должна стать регентшей,— объявил он.

Валуа побагровел. А он-то старался, чтобы в хранители чрева выбрали этих двух — юродивого и тупицу, надеясь, что ими будет легко вертеть; но тонкий этот расчет обернулся против него самого: именно они и чинят ему препятствия.

— Королева не может быть регентшей, мессир сенешаль, она в тягости! — крикнул Валуа.— Как же она может быть регентшей, если неизвестно еще, родится король или нет?! Взгляните сами, в состоянии ли она править государством!

— Вы же знаете, что я ничего не вижу,— ответил старик.

Прижав ладонь ко лбу, Клеменция думала лишь об одном: «Когда же они кончат препираться? Когда оставят меня в покое?»

А Жуанвилль принялся рассказывать, при каких условиях после смерти короля Людовика VIII королева Бланка Кастильская, к великой радости подданных, взяла на себя бремя управления страной.

— Мадам Бланка Кастильская... конечно, вслух об этом не говорили... не совсем отвечала тому образу беспорочности, каковой создала молва... И говорят даже, что граф Тибо де Шампань, добрый приятель мессира моего отца, служил ей верой и правдой также и на ложе...

Приходилось терпеливо слушать. Если сенешаль сегодня забывал то, что произошло вчера, зато он в мельчайших подробностях помнил то, что ему довелось слышать в детстве. Наконец-то он нашел аудиторию, и он не желал упускать счастливого случая. По-стариковски дрожащими руками он непрерывно разглаживал свое шелковое одеяние, туго натянутое на острых коленях.

— И даже когда наш святой государь отправился в крестовый поход, где вместе с ним был и я...

— Королева в его отсутствие правила Парижем, если не ошибаюсь,— прервал разглагольствования старца Карл Валуа.

— Да, да,— залопотал старик.

Первой сдалась Клеменция.

— Будь по-вашему, дядюшка,— произнесла она,— я покорюсь вашей воле и перееду в Ситэ.

— Мудрое решение, и, надеюсь, мессир де Жуанвилль вполне его одобрит.

— Да... да...

— Сейчас пойду распоряжусь. Ваш поезд будет возглавлять мой сын Филипп и наш кузен Робер Артуа.

— Спасибо, дядюшка, большое спасибо,— проговорила Клеменция, чувствуя, что ее покидают силы.— А сейчас прошу вас, как милости, дайте мне помолиться в одиночестве.

Через час во исполнение приказа графа Валуа мирный Венсенский замок пробудился ото сна. Из каретных сараев выкатывали повозки; кнуты конюхов прохаживались по мощным крупам коней, взращенных в Перше. Слуги суетливо бегали взад и вперед; лучники, отложив в сторону оружие, взялись помогать конюхам. Впервые после кончины короля люди, говорившие чуть ли не шепотом, обрадовались поводу покричать. Если бы и впрямь какому-нибудь злодею пришла мысль посягнуть на жизнь королевы, вряд ли ему представилась бы более благоприятная минута.

А в самом замке орудовала целая армия обойщиков: снимали со стен гобелены, скатывали ковры, выносили поставцы, столики и кофры. Свита королевы, ее придворные дамы наспех складывали свои пожитки. Первым поездом рассчитывали отправить двадцать карет, но придется сделать не меньше двух ездок, чтобы переправить все это добро.

Клеменция Венгерская в длинном белом одеянии, к которому она еще не привыкла, бродила по покоям за-

мка в сопровождении верного Бувилля. Повсюду пыль, запах пота, суетня, похожая на грабеж,— неизбежные спутники любого переезда. Казначей со списком в руках наблюдал за упаковкой посуды и ценных предметов, которые снесли по его распоряжению в залу и разложили на полу; здесь были блюда, кувшины для воды, дюжина золоченых кубков — дар Людовика Клеменции, а также огромная рака из чистого золота, содержащая частицу креста господня,— сооружение столь увесистое, что слуга, кряхтя, сгибался под его тяжестью, словно и впрямь шел на Голгофу.

В покоях королевы главная кастелянша Эделина, бывшая любовница Людовика X, еще до его первого брака с Маргаритой, распоряжалась укладкой носильных вещей.

— К чему... к чему таскать с собой все эти платья, раз все равно мне их никогда не носить! — проговорила Клеменция.

Да и все эти драгоценности, запертые в тяжелые железные лари, эти перстни, эти редчайшие камни, которые щедро дарил ей Людовик в дни их недолгого супружества, и они тоже теперь ни к чему. Даже три короны, усыпанные изумрудами и жемчугом, слишком массивны, слишком роскошны, и не подобает вдове носить их. Отныне единственным ее украшением, да и то по истечении траура, будет гладкий золотой обруч с узором из лилий, надетый поверх белого вуаля.

«Вот и я стала белой королевой, как моя бабушка, Мария Венгерская,— подумала Клеменция.— Но бабушке тогда было больше шестидесяти лет, и она дала жизнь тринадцати отпрыскам... А мой супруг так никогда и не увидит своего...»

— Мадам,— обратилась к ней Эделина,— следовать ли мне за вами во дворец? Никаких распоряжений я не получила.

Клеменция взглянула на эту белокурую красавицу, которая, забыв свою ревность, была ей надежным подспорьем все эти последние месяцы и особенно во время агонии Людовика. «Он имел от нее дитя и отнял у нее дочку, заточил ее в монастырь... Неужто и за этот проступок нас карает господь?» Ей казалось, что все злые поступки, совершенные Людовиком до их брака, тяжелым бременем легли ей на плечи и именно ей суждено искупить их ценою своих собственных мук. Впереди у нее целая жизнь, и слезами, молитвой и милостыней она

успеет испросить у бога прощение за грехи, отягчавшие душу Людовика.

— Нет, Эделина, нет,— прошептала она.— Не надо следовать за мной. Пусть хоть кто-нибудь, кто его любил, останется здесь.

И после этих слов, отослав даже верного Бувилля, она удалилась в соседние апартаменты, где царило спокойствие, единственные, которые пощадила общая суматоха, в ту самую залу, где скончался ее супруг.

От спущенных занавесей в комнате стоял полумрак. Клеменция преклонила колена у ложа, прижалась губами к парчовому покрывалу.

Вдруг она отчетливо услышала какой-то странный звук, будто кто-то скреб ногтем по ткани. Ее охватил страх, и страх этот показал королеве, что еще не окончательно угасло в ее душе желание жить. Она застыла на месте, боясь вздохнуть. А где-то позади все слышалось это непонятное царапанье. Клеменция пугливо оглянулась. Это оказался сенешаль де Жуанвилль, которого привели в королевские покои, и здесь, забившись в угол комнаты, он терпеливо ждал отъезда в Париж.

Глава II

КАРДИНАЛ, НЕ ВЕРЯЩИЙ В АД

Июньская ночь начала бледнеть; узенькая серая полоска, прочертившая на востоке небосвод, предвещала близкую зарю, скоро она зальет своим сиянием город Лион.

Был тот час, когда из близлежащих сел тянутся в город повозки с овощами и фруктами, когда смолкает уханье сов, не сменившееся еще чириканьем воробьев, и в этот именно час за узкими окошками парадных покоев аббатства Эне размышлял о смерти кардинал Жак Дюэз.

С юных лет кардинал не испытывал потребности в долгом сне, а с годами и вовсе разучился спать. Ему вполне хватало трех часов сна. После полуночи он подымался с постели и усаживался перед письменным прибором. Человек острого ума, поразительных знаний во всех областях, он писал трактаты по теологии, праву, медицине и алхимии, получившие признание духовенства и ученых мужей того времени.

В ту пору, когда любой — будь то последний бедняк или могущественный владыка — мечтал о золоте алхи-

миков, люди много говорили о трудах кардинала Дюэза, трактующих о создании эликсиров, способных вызвать трансмутацию металлов.

«Для приготовления сего эликсира три вещи потребны,— писал кардинал в своем труде, озаглавленном «Эликсир философов»,— и суть они семь металлов, семь элементов и многое прочее... Семь металлов суть солнце, луна, медь, олово, свинец, железо и ртуть; семь элементов суть серебро, сода, аммиачная соль, трехсернистый мышьяк, окись цинка, магнезия, марказит; а прочее — ртуть, кровь человеческая, кровь из волос и мочи, а моча должна быть тоже человеческая...»

В семьдесят два года кардинал вдруг обнаружил, что остались еще кое-какие области знаний, по поводу коих он не успел высказать своего суждения, и, пока ближние его мирно почивали, творил в ночной тишине. Он один изводил больше свечей, чем вся святая обитель со всеми ее монахами.

Долгими ночами он трудился также над обширной корреспонденцией, которую вел со множеством прелатов, аббатов, легистов, ученых, канцлеров и царствующих особ всей Европы. Секретарь и переписчики Дюэза обнаруживали поутру плоды его ночных бдений, которые они переписывали потом набело весь божий день.

Или, изучая гороскоп своих соперников по конклаву, он сравнивал его со своим собственным гороскопом, вопрошая небесные светила, дабы в расположении их прочесть ответ на вопрос, увенчает ли его чело папская тиара. По расположению небесных светил выходило, что наиболее благоприятный срок для того — начало августа и начало сентября нынешнего года. Однако сейчас уже было десятое июня, а туман все еще не рассеялся...

А потом наступал самый мучительный час — час предрассветный. И как бы предчувствуя, что он покинет земную юдоль именно в эти минуты, кардинал испытывал какой-то смутный страх, какое-то томление духа и тела. И чем неодолимей была телесная слабость, тем чаще возвращался он мыслью к совершенным поступкам. Память разворачивала перед ним картины необычной судьбы, его собственной судьбы... Сын башмачника из города Кагора, проживший в безвестности до того возраста, когда большинство его сверстников уже завершали свою карьеру, он, казалось, начал жить только

на сорок четвертом году, нежданно-негаданно попав по торговым делам вместе со своим дядей в Неаполь. Путешествие, жизнь на чужбине, открывшая ему Италию,— все это повлияло на Дюэза самым странным образом. Буквально через несколько дней после прибытия в Неаполь он сделался учеником наставника королевских детей и набросился на изучение отвлеченных предметов со страстью, с исступлением, с необычной легкостью усваивая сложнейшие дисциплины и так легко запоминая услышанное, что ему в этом отношении мог бы позавидовать самый одаренный подросток. Он без труда переносил и голод и бессонницу. Ломоть хлеба составлял всю его пищу в течение целого дня, и, если бы его заточили в темницу, он прижился бы и в узилище, при том, конечно, условии, что ему доставляли бы вдоволь книг. Вскоре он сделался доктором канонического права, затем права гражданского, вслед за чем пришла известность. Королевский двор в Неаполе охотно советовался с клириком из Кагора.

На смену жажде знаний пришла жажда власти. Советник короля Карла II Анжу-Сицилийского (деда королевы Клеменции), затем секретарь тайного совета, обладатель множества церковных бенефиций, он через десять лет после своего прибытия в Италию был назначен епископом Фрежюсским и вскоре стал отправлять обязанности канцлера Неаполитанского королевства, другими словами, стал первым министром государства, включавшего в себя Южную Италию и графство Провансское.

Само собой разумеется, такой сказочный взлет не мог совершиться только благодаря юридическим и богословским талантам епископа Фрежюсского, особенно в той атмосфере интриг, которая царила при неаполитанском дворе. Один факт, известный лишь немногим — ибо то была церковная тайна,— свидетельствовал, что Дюэз обладает также достаточной долей коварства и хладнокровием, граничащим с наглостью.

Несколько месяцев спустя после смерти Карла II Дюэз был послан со специальной миссией к папскому двору, как раз в то время, когда Авиньонская епархия — наиболее влиятельная во всем христианском мире, ибо там находился святой престол,— пустовала. Будучи канцлером, а следовательно, и хранителем печати, Дюэз не колеблясь написал письмо папе от имени нового неаполитанского короля Робера, в котором тот якобы

просил назначить Жака Дюэза в Авиньонскую епархию. Произошло это в 1310 году. Климент V, стремясь обеспечить себе поддержку Неаполя в эти смутные времена, когда отношения папского престола с королем Франции Филиппом Красивым были достаточно натянутыми, не замедлил удовлетворить эту просьбу. Мошенничество Дюэза открылось при личной встрече папы Климента с королем Робером, когда оба не могли скрыть удивления,— первый потому, что его даже не поблагодарили за столь великую милость, а второй потому, что считал это неожиданное назначение чересчур бесцеремонным, поскольку его лишили канцлера. Но было уже поздно. Не желая устраивать бесполезного скандала, король Робер Неаполитанский закрыл глаза на все и предпочел не рвать с человеком, занявшим в церковной иерархии одно из самых высоких мест. Это оказалось всем на руку. Теперь Дюэз был кардиналом курии, и его труды изучали в университетах.

Но как ни удивительна судьба человека, она кажется таковой лишь посторонним, тем, кто смотрит на нее со стороны. Для самого же человека безразлично, прожил ли он жизнь, заполненную до краев или безнадежно пустую, тревожную или спокойную,— любой минувший день погребен в прошлом, в прошлом, прах и пепел коего одинаково весят на любой ладони.

К чему весь этот пыл, притязания, эта кипучая деятельность, коль скоро все это неизбежно низвергается в потусторонность, о коей самым высоким умам и самым изощренным наукам не дано знать ничего, кроме невразумительных письмен? Стоит ли жаждать папского престола? А не разумнее ли удалиться в монастырь, отрешившись от земной суеты? Совлечь с себя гордыню знаний, равно как и тщету власти... Обрести смирение самой простодушной веры... готовиться к небытию... Но даже подобные рассуждения становились в голове кардинала Дюэза умозрительными и отвлеченными построениями, а страх смерти превращался в юридический спор с небесами.

«Ученые мужи уверяют нас,— думал он в это утро,— что души праведных после кончины тотчас же удостаиваются блаженного лицезрения господа, что и служит им наградой. Возможно, возможно... Но после светопреставления, когда воскресшие к жизни тела соединятся со своими душами, всех нас ждет страшный суд. А ведь бог, который само совершенство, не может пересматри-

вать свои собственные приговоры. Не может бог совершить ошибку и изгнать из рая избранных им праведников. Впрочем, не закономерно ли, что душа должна ликовать от созерцания господа лишь в тот момент, когда, соединившись с телом, она сама становится совершенной по своей природе? А раз так... раз так, ученые мужи заблуждаются... А раз так, то не может быть, собственно говоря, ни вечного блаженства, ни созерцания лика божьего раньше светопреставления, и бог даст нам себя лицезреть лишь после страшного суда. Но где же до тех пор находятся души умерших? Не придется ли нам ждать sub altare dei[1], у того самого алтаря господня, о котором говорит в «Апокалипсисе» святой Иоанн?»

Стук лошадиных копыт — явление необычное в столь ранний час — раздался у стен аббатства; копыта четко цокали по маленьким круглым валунам, которыми были вымощены главные улицы Лиона. Кардинал на миг рассеянно прислушался, затем вновь углубился в свои рассуждения, которые вели к поистине неожиданным выводам.

«...Ибо, если рай пуст,— думал он,— это коренным образом меняет положение тех, кого мы считаем святыми или присноблаженными... Но то, что верно в отношении душ праведных, так же верно и в отношении душ грешников. Господь бог не будет карать злых раньше, чем вознаградит добрых. Ведь работник получает свою плату лишь в конце дня; точно так же и в конце света доброе семя и плевелы будут окончательно отделены друг от друга. Ни одна душа ныне не обитает в аду, коль скоро она еще не осуждена. Другими словами, ада пока не существует...»

Такое положение вселяет бодрость в тех, кто размышляет о смерти; оно отодвигает час расплаты, не лишая надежды на жизнь вечную, и как нельзя лучше соответствует тому представлению, какое имеет о смерти большинство людей: в их понятии смерть — это падение в беспросветную бездну безмолвия, это полнейшее отсутствие сознания.

Бесспорно, если бы подобная доктрина была публично проповедуема с церковных кафедр, она вызвала бы самый решительный отпор среди ученых мужей церкви и смутила бы бесхитростную веру народа... Да и канди-

[1] У алтаря господня (*лат.*).

дату на папский престол, пожалуй, негоже утверждать, что рай и ад необитаемы или вовсе не существуют.

«Подождем лучше конца конклава»,— решил кардинал.

Ход его мыслей был прерван стуком в дверь — это брат привратник пришел доложить кардиналу о прибытии гонца из Парижа.

— А кем он послан? — осведомился кардинал.

Голос у Дюэза был глухой, тихий, монотонный, но говорил он внятно.

— От графа Бувилля,— пояснил брат привратник.— Должно быть, гнал всю дорогу, потому что сейчас еле на ногах стоит; пока я ходил за ключами и отпирал дверь, он успел задремать, прислонившись лбом к косяку.

— Введите его немедленно.

И кардинал, который всего лишь пять минут назад размышлял о тщете мирских притязаний, подумал без всякого перехода: «А вдруг он послан насчет избрания папы? А вдруг двор Франции сошелся во мнениях и открыто назовет мое имя? Или же мне хотят предложить какую-либо сделку?..»

Он поднялся с места, волнуемый любопытством и надеждами, и зашагал по комнате мелкими быстрыми шажками. Ростом и хрупким телосложением Дюэз напоминал пятнадцатилетнего мальчика, личико у него было крысиное, брови очень густые и совсем седые.

Небо за окнами порозовело; свечи гасить еще было рано, но все-таки это уже рассвет, заря. Зловещий час суток миновал...

Вошел приезжий; с первого же взгляда кардинал определил, что перед ним не обычный гонец. Во-первых, настоящий гонец прежде всего упал бы на колени и вручил ящичек с посланием, а этот остался стоять, правда, преклонив голову, и произнес: «Монсеньор!» И, во-вторых, французский королевский двор обычно отправлял свои послания с дюжими молодцами, как, например, с детиной Робэн-Кюис-Мариа, частенько курсировавшим между Парижем и Авиньоном. А перед Дюэзом стоял востроносый юноша, у которого слипались веки и которого даже качало от усталости. «По-моему, не иначе как маскарад...— подумал Дюэз.— Впрочем, я где-то уже видел это лицо».

Маленькой, сухонькой ручкой он разорвал конверт, ломая печати, и сразу же почувствовал разочарование.

Речь шла отнюдь не о предстоящем избрании папы, а просто содержала просьбу оказать посланному покровительство. Однако кардиналу хотелось видеть в этом благоприятное предзнаменование; когда Париж нуждается в услуге духовных властей, обращаются все-таки к нему, к Дюэзу.

— Allora, lei è il signore Guccio Baglioni?[1] — спросил он, прочитав послание.

Юноша даже вздрогнул, услышав итальянскую речь.

— Да, монсеньор...

— Граф Бувилль рекомендует вас мне, просит взять вас под свое покровительство и защитить от преследования ваших недругов.

— О, если бы вы оказали мне эту милость, монсеньор!

— Похоже, что вы попали в какую-то скверную историю, раз вынуждены были бежать в одежде гонца,— продолжал кардинал глухим, невыразительным голосом.— Расскажите мне, что произошло. Бувилль пишет, что вы находились в свите королевы Клеменции, когда она направлялась во Францию. Ага, припоминаю теперь, там-то я вас и видел... И вы племянник мессира Толомеи, главного капитана парижских ломбардцев. Чудесно, чудесно. Расскажите-ка вашу историю.

Он уселся и стал машинально вертеть вращающийся пюпитр, на котором лежали книги, необходимые для его научных трудов. Сейчас, когда кардинала отпустили ночные страхи, он чувствовал себя спокойным и не прочь был отвлечься чужими делами.

Гуччо Бальони меньше чем за четыре дня проскакал сто двадцать лье и во всем теле чувствовал усталость от бешеной скачки. Ноги ему не повиновались, в голове стоял туман, застилая взор, и он отдал бы все блага мира, лишь бы лечь, растянуться вот здесь, прямо на полу и спать... спать...

Однако ему удалось стряхнуть с себя сонное оцепенение; ради собственной безопасности, ради своей любви, ради будущего он обязан побороть усталость, продержаться хотя бы еще несколько минут.

— Так вот, монсеньор, я женился на девице знатного рода,— произнес он.

Гуччо показалось, что слова эти произнес не он, а кто-то другой. И вовсе не эти слова собирался он ска-

[1] Итак, вы синьор Гуччо Бальони? (*Итал.*)

зать. Ему хотелось объяснить кардиналу, что на него обрушилась неслыханная беда, что он самый несчастный, самый жалкий человек во всей вселенной, что жизнь его в опасности, что он, возможно, навеки разлучен со своей женой, а жизни без нее он не мыслит, что его жену вот-вот заточат в монастырь, что в эту последнюю неделю с ними произошли такие ужасные события, налетевшие с такой жестокой внезапностью, что само время как бы прервало свой обычный ход, и что он, Гуччо, уже не принадлежит к числу живых... Но вся его трагедия, когда о ней пришлось рассказывать, свелась к коротенькой фразе: «Монсеньор, я женился на девице знатного рода».

— Вот оно в чем дело,— пробормотал Дюэз.— А как ее имя?

— Мари де Крессэ.

— Крессэ, Крессэ... Не слыхал.

— Но мне пришлось венчаться тайком, семья была против нашего брака.

— Потому что вы ломбардец? Так... так... Понятно. Во Франции еще придерживаются отсталых взглядов. В Италии, конечно... Итак, вы хотите добиться расторжения брака?.. Но... но ведь, коль скоро венчание происходило втайне...

— Да нет, монсеньор, я ее люблю, и она меня любит,— проговорил Гуччо.— Но ее семья узнала, что Мари в тягости, и братья бросились за мной в погоню, чуть меня не убили.

— Что ж, они в своем праве, закон, освященный обычаем, на их стороне. В их глазах вы просто соблазнитель... А кто вас венчал?

— Фра Винченцо.

— Фра Винченцо? Не слыхал.

— Хуже всего, монсеньор, что его убили. И я не могу даже доказать, что мы действительно обвенчаны. Не подумайте, монсеньор, что я трус. Я готов был с ними драться. Но дядя обратился к Бувиллю, а он...

— А он благоразумно посоветовал вам скрыться на время.

— Да, но ведь Мари заточат в монастырь! Скажите, монсеньор, вы могли бы ее оттуда вызволить? Скажите, увижу ли я ее вновь?

— Слишком много вопросов за один раз, дражайший сын мой,— ответил кардинал, продолжая вращать пюпитр.— Монастырь? А может статься, ей сейчас луч-

ше побыть в монастыре? Уповайте на безграничное милосердие господне.

Гуччо устало понурил голову. Его черные волосы были щедро припудрены дорожной пылью.

— А ваш дядя имеет дела с Барди? — осведомился кардинал.

— Конечно, монсеньор, конечно. Если не ошибаюсь, Барди — ваши банкиры,— добавил Гуччо только из вежливости, почти машинально.

— Да, они мои банкиры. Но, на мой взгляд, сейчас они не столь... не столь сговорчивы, как в былые времена... А ведь это весьма солидная компания! Повсюду у них есть свои отделения. А при малейшей просьбе им, видите ли, нужно сначала запросить Флоренцию. Словом, они столь же медлительны, как церковный суд... А среди клиентов вашего дядюшки есть прелаты?

Мыслями Гуччо был далек от всех банков мира. В голове сгущался туман, глаза жгло как огнем.

— Нет, большинство наших клиентов высокородные бароны,— ответил он.— Граф Валуа, граф Артуа... Мы были бы весьма польщены, монсеньор...

— Поговорим об этом потом. Сейчас вы находитесь в святой обители, под защитой ее стен. Для всех посторонних вы будете у меня в услужении. Пожалуй, лучше всего нарядить вас в сутану... Я потолкую об этом со своим капелланом. А пока скиньте-ка эту ливрею и почивайте с миром, ибо, по-моему, вам прежде всего необходимо хорошенько отдохнуть.

Гуччо поклонился, пробормотал что-то, желая поблагодарить кардинала, и направился к дверям. Но вдруг он остановился и проговорил:

— Я не могу пока скинуть эту ливрею, монсеньор; я должен передать еще одно поручение.

— Кому? — спросил Дюэз, сразу насторожившись.

— Графу Пуатье.

— Вручите послание мне, а я тотчас же направлю к графу брата служителя...

— Дело в том, монсеньор, что граф Бувилль очень настаивал...

— А не известно ли вам, имеет это послание какоенибудь отношение к конклаву?

— Нет, монсеньор, оно послано в связи со смертью короля.

Кардинал даже подскочил в своем кресле.

— Как, король Людовик скончался? Но почему же вы до сих пор молчали?

— А разве здесь об этом не знают? Я думал, что вам, монсеньор, это уже известно.

Откровенно говоря, Гуччо вовсе так не думал. Его собственные беды, усталость как-то вытеснили из памяти это важнейшее событие. Он скакал и скакал от самого Парижа, меняя притомившихся лошадей в указанных ему монастырях, перехватывал на ходу кусок хлеба, не пускался ни с кем в разговоры и обогнал, сам того не подозревая, официальных гонцов.

— Отчего он скончался?

— Вот как раз это обстоятельство мессир Бувилль и поручил мне довести до сведения графа Пуатье.

— Злодеяние? — выдохнул шепотом Дюэз.

— Говорят, короля отравили.

Кардинал задумался.

— Это многое может изменить,— пробормотал он.— Регента уже назначили?

— Не знаю, монсеньор. Когда я уезжал, прошел слух, что назначат графа Валуа...

— Что ж, чудесно, дражайший сын мой, идите прилягте.

— Но, монсеньор, а как же быть с графом Пуатье?

Тонкие губы прелата тронула легкая улыбка, которую при желании можно было счесть знаком благоволения.

— Неосторожно было бы с вашей стороны показываться в городе, не говоря уже о том, что вы просто падаете с ног от усталости,— сказал он.— Давайте сюда послание; и дабы вас ни в чем не могли упрекнуть, я сам передам его по адресу.

Несколько минут спустя кардинал курии, сопровождаемый, как требовалось по чину, слугой, несшим факел, и секретарем, покинул Энейское аббатство, находившееся между Роной и Соной, и отважно углубился в мрачные улочки, где приходилось порой шагать прямо по кучам нечистот. Этот семидесятидвухлетний иссохший старец на редкость легко нес свое щуплое тело, поспешая вперед подпрыгивающим шагом. Его пурпурное одеяние плясало, как огонек, среди темных стен.

Колокола двадцати церквей и сорока двух лионских монастырей зазвонили к заутрене. В этом городе, насчитывавшем в ту пору не более двадцати тысяч обитате-

лей, для одной половины которых промыслом была религия, а для другой — религией был промысел, расстояние между любыми пунктами было невелико. Таким образом, кардинал быстро добрался до дома судьи, у которого остановился граф Пуатье.

Глава III

ВОРОТА ЛИОНА

Граф Пуатье заканчивал свой туалет, когда камергер доложил ему о визите кардинала.

Высокий, тощий, длинноносый, с тщательно зачесанными на лоб коротенькими прядями волос, спущенных локонами вдоль щек с нежной и свежей кожей, какая бывает только в двадцать три года, в домашнем платье из пестрой парчи, юный принц пошел навстречу монсеньору Дюэзу и почтительно облобызал его перстень.

Даже при желании трудно было бы найти двух более несхожих, до смешного различных людей, чем эти двое, из коих один напоминал старого хорька, вылезшего из своей норы, а другой — цаплю, величественно шествующую через болото.

— Несмотря на столь ранний час, ваше высочество,— начал кардинал,— я счел за благо не мешкая вознести за вас свои молитвы в постигшей вас утрате.

— Утрате? — повторил Филипп Пуатье, вздрогнув всем телом.

Первая мысль принца была о его супруге Жанне, оставшейся в Париже и ожидавшей через месяц разрешения от бремени.

— Я вижу, что поступил правильно, придя сюда, дабы известить вас о случившемся,— продолжал Дюэз.— Король, ваш брат, скончался пять дней тому назад.

Ничто не выдало чувств Филиппа, разве что судорожнее заходила грудь. Ни удивления, ни печали, ни даже нетерпения узнать подробности о смерти брата не отразилось на его лице.

— Я благодарен вам за ваше рвение, монсеньор,— проговорил он.— Но каким образом вам стала известна эта весть... раньше, чем мне?

— Мессир Бувилль срочно прислал гонца, дабы я втайне ото всех вручил вам это послание.

Граф Пуатье сломал печать и, по примеру всех близоруких людей, стал читать письмо, уткнувшись носом

в пергамент. Но и сейчас ничто не выдало его чувств; окончив чтение, он сложил письмо и молча опустил его в карман.

Молчал и Дюэз с видом притворного сочувствия к горю принца, хотя, по всей видимости, принц не слишком скорбел.

— Да сохранит его господь бог от адских мук,— произнес наконец граф Пуатье, поняв, чего ждет от него прелат со своей постно-благочестивой миной.

— О... ад...— пробормотал Дюэз.— Помолимся вместе творцу за душу покойного! Я сразу подумал о несчастной королеве Клеменции, ведь она выросла на моих глазах, когда я находился при короле Неаполитанском. Такая кроткая, такая прекрасная принцесса...

— Да, я глубоко жалею мою невестку,— отозвался Филипп.

А сам в это время думал: «Людовик не оставил посмертного распоряжения насчет регентства. Если судить по письму Бувилля, наш дядюшка Валуа уже начал действовать...»

— Что вы намереваетесь делать, ваше высочество? Срочно возвратитесь в Париж? — осведомился кардинал.

— Не знаю, сам еще не знаю,— ответил Филипп.— Подожду более подробных известий. Пусть моей особой располагает, как найдет нужным, королевство.

Бувилль в своем письме не скрыл, что приезд графа Пуатье был бы весьма желателен. Место Филиппа Пуатье, брата покойного короля и пэра Франции,— в Королевском совете, где на первом же заседании начались споры по поводу кандидатуры регента.

Но, с другой стороны, мысль о том, что придется покинуть Лион, не доведя до конца начатого дела, была не только огорчительна Филиппу Пуатье, но и просто невыносима.

Прежде всего ему надо было заключить брачный контракт между своей третьей дочерью Изабеллой, которой не исполнилось еще и пяти лет, и вьеннским принцем-дофином, крошкой Гигом, уже достигшим шестилетнего возраста. Для переговоров об этом браке пришлось даже заглянуть в Верхнюю Вьенну к отцу жениха, дофину Иоанну II де ла Тур дю Пэну, женатому на Беатрисе, родной сестре королевы Клеменции. Прекрасный союз, благодаря которому французская корона сможет противостоять влиянию в этих краях Анжу-Сици-

лийской ветви. Подписание брачного контракта должно было состояться через несколько дней.

И главное, предстоят выборы папы. Вот уже несколько недель Филипп рыскал по всему Провансу, по Верхней Вьенне и окрестностям Лиона, повидался с каждым из двадцати четырех разбежавшихся кто куда кардиналов, уверил каждого, что случай, происшедший в Карпантра, не повторится, что к ним не применят более насилия; намекал то одному, то другому кардиналу, что именно у него есть шансы стать папой, взывал послужить делу веры к вящей славе католической церкви, интересам государства. В конце концов с помощью уговоров, неусыпных трудов и золота ему удалось собрать беглых кардиналов в Лионе, в городе, издревле находившемся под властью духовенства, но совсем недавно, в последние годы царствования Филиппа Красивого, перешедшего во владение французских королей.

Граф Пуатье чувствовал, что дело идет на лад. Но если он уедет в Париж, разве не придется начинать все сызнова, разве не разгорится опять вражда среди кардиналов, люто ненавидевших своих соперников, разве влияние римской знати или Неаполитанского короля не вытеснит здесь влияние французской короны, разве не станут разные партии обвинять друг друга в ереси? А что, если папский престол будет перенесен обратно в Рим? «Отец именно этого и опасался,— думал Филипп Пуатье.— И неужели дело его, которому и без того достаточно повредили Людовик и дядюшка Валуа, погибнет бесславно?»

Кардиналу Дюэзу показалось, что молодой принц совсем забыл о его присутствии. Вдруг Пуатье обратился к нему:

— Будет ли и сейчас гасконская партия поддерживать кандидатуру кардинала Пелагрю? И верите ли вы, что ваши благочестивые коллеги действительно склонны собраться наконец для выбора папы?.. Присядьте, монсеньор, и поведайте мне все ваши соображения на сей счет. В каком положении сейчас дела?

Немало повидал на своем веку старик кардинал земных владык и правителей, недаром больше трети века он делил с ними заботы по управлению государством. Но ни разу он не встречал подобного самообладания. Вот он только что сообщил двадцатитрехлетнему принцу, что брат его скончался, что французский престол пустует, а принц сидит и разговаривает с таким видом,

будто нет у него важнее заботы, чем кардинальские свары.

Усевшись бок о бок у окошка на ларе, покрытом парчой, они завели беседу. Коротенькие ножки кардинала не доставали до пола, а граф Пуатье не спеша покачивал своей тощей длинной ногой.

По словам Дюэза, все вернулось к исходной точке, к тому положению, которое создалось два года назад после кончины папы Климента V.

Гасконская партия, куда входило десять кардиналов, именуемая также партией французской, по-прежнему была наиболее многочисленной, но все же ее сил было недостаточно для того, чтобы образовать без поддержки других партий большинство, поскольку требовалось, чтобы кандидат собрал две трети голосов священного конклава,— другими словами, шестнадцать голосов. Гасконцы, считавшие себя прямыми хранителями заветов покойного папы, который и произвел их в кардиналы, упорно требовали, чтобы папский престол оставался в Авиньоне, и с поразительным единодушием выступали против двух других партий. Но и между ними шел глухой разлад; на папский престол притязал не только Арно де Пелагрю, но и Арно де Фужер, и Арно Нувель. Все трое не скупились на взаимные посулы и старались подставить сопернику ножку.

— В сущности, это борьба трех Арно,— бормотал Дюэз.— А теперь посмотрим, как обстоят дела в итальянской партии.

Итальянцев было всего восемь, причем эта восьмерка разделилась на три группы. Грозный кардинал Каэтани, племянник папы Бонифация VIII, подкапывается под двух кардиналов Колонна, так как между их семьями издревле существует соперничество, превратившееся в лютую ненависть после дела Ананьи и пощечины, которую дал один из Колонна папе Бонифацию. Все прочие итальянцы склоняются то к одному, то к другому сопернику. Так, например, Стефанески, ярый противник политики Филиппа Красивого, держит руку Каэтани, которому, кстати сказать, доводится родней. Наполеон Орсини лавирует. Эта восьмерка согласна лишь в одном пункте: папский престол должен быть возвращен в Вечный Город. Тут уж они ни за что не отступятся.

— А знаете, ваше высочество,— продолжал Дюэз,— была минута, когда мог начаться раскол, да и сейчас может... Наши итальянцы отказывались собраться во

Франции и недавно дали нам знать, что ежели будет выбран папа из гасконцев, они его не признают и выберут второго папу у себя в Риме.

— Раскола не будет,— спокойно произнес граф Пуатье.

— Только благодаря вам, ваше высочество, только благодаря вам, мне приятно это сознавать, и я повсюду об этом твержу. Разъезжая по городам и весям, вы, носитель доброго слова, если еще не нашли достойного пастыря, зато хоть собрали воедино стадо.

— Недешево обошлись мне эти овечки, монсеньор! Известно ли вам, что я привез из Парижа шестнадцать тысяч ливров и что на прошлой неделе мне пришлось затребовать еще столько же? Язон по сравнению со мной был просто бедняком. И я порадовался бы, если все это золотое руно сослужило нам хоть какую-то службу,— добавил граф Пуатье, слегка прищурившись, чтобы лучше разглядеть лицо кардинала.

А кардинал, который сумел окольным путем широко попользоваться щедротами французского двора, отлично понял намек, но предпочел дать уклончивый ответ.

— Думаю, что Наполеон Орсини и Альбертини де Прато, а возможно, даже и Гийом де Лонжи, бывший до меня канцлером Неаполитанского короля, без труда отрекутся от своей партии,— хладнокровно пояснил он.— Только бы избежать раскола, для этого любая цена хороша.

«Значит, он истратил наши деньги на подкуп трех итальянцев, то есть заручился для себя еще тремя голосами. Что ж, ход ловкий»,— подумал Филипп.

Что касается Каэтани, то, хотя он по-прежнему держится непримиримо, положение его заметно пошатнулось с тех пор, как была открыта его причастность к ворожбе и его попытка навести порчу на короля Франции и на самого графа Пуатье. Бывший тамплиер, полубезумный Эврар, чьими услугами при сношении с дьяволом пользовался Каэтани, немало порассказал о проделках кардинала, прежде чем отдался в руки королевской страже.

— Это дело я держу про запас,— признался Пуатье.— Запашок костра сумеет в нужную минуту согнуть нашего непримиримого Каэтани.

При мысли о том, что на костер пошлют кардинала, узкие губы старого прелата тронула легкая, тут же угасшая усмешка.

— Говорят, что Франческо Каэтани окончательно отвратился от дел божьих и предался сатане,— добавил Дюэз.— Уж не он ли, видя, что порча не помогла, прибег к помощи яда, дабы отправить вашего брата на тот свет?

Граф Пуатье пожал плечами.

— Всякий раз, когда кончается король, утверждают, что его отравили,— сказал он.— Так говорили о моем деде Людовике Восьмом, так говорили и о моем отце, упокой господи его душу... Мой брат был слаб здоровьем. Но над этим стоит поразмыслить.

— Наконец, остается,— продолжал Дюэз,— третья партия, которую зовут провансальской, поскольку кардинал Мандгу самый деятельный среди нас...

Эта последняя партия насчитывала всего шесть кардиналов различного происхождения; южане, такие, как братья Беранже Фредоли, мирно уживались с нормандцами, уроженцами Керси, откуда родом был сам Дюэз.

Золото, которым осыпал эту партию Филипп Пуатье, сделало провансальских кардиналов более восприимчивыми к доводам французской политики.

— Нас меньше всех, мы слабее всех,— сказал Дюэз,— но все-таки мы — необходимая опора любого большинства. И коль скоро итальянцы и гасконцы не желают папы из враждебной партии, значит, ваше высочество...

— Значит, придется выбирать папу из вашей... Так я вас понял?

— Думаю, что так, даже уверен, что так. Я твержу об этом со дня смерти папы Климента. Но меня не слушали; полагали, что я хлопочу о себе, ибо мое имя и в самом деле называли, но, заметьте, без моего желания. Однако французский двор никогда не оказывал мне большого доверия.

— Только потому, монсеньор, что вас, пожалуй, слишком открыто поддерживал двор неаполитанский.

— А если бы меня, ваше высочество, никто не поддерживал, кто бы тогда обо мне позаботился? Поверьте, нет у меня иных чаяний, как добиться порядка в делах христианства, находящихся ныне в плачевном состоянии; тяжелое бремя падет на плечи будущего преемника святого Петра.

Граф Пуатье, сцепив длинные пальцы, поднес их ко лбу и задумался.

— Полагаете ли вы,— начал он,— что итальянцы, если им посулить, что в папы пройдет не представитель гасконцев, согласятся на пребывание святого престола в Авиньоне и что гасконцы, если их уверить, что папский престол останется в Авиньоне, откажутся от своего кандидата и присоединятся к вашей третьей партии?

В переводе на обычный язык слова эти означали: «Если вы, монсеньор Дюэз, станете при моей поддержке папой, можете ли вы твердо обещать, что теперешнее местопребывание папского престола останется неизменным?»

Дюэз понял все.

— Ваше высочество,— произнес он,— это будет мудрейшее решение.

— Я запомню ваши ценные советы,— сказал Филипп, подымаясь с места и тем давая понять гостю, что аудиенция окончена.

Он пошел проводить кардинала до двери.

В это мгновение Филипп и Дюэз, столь отличные друг от друга возрастом и внешним видом, опытом и родом деятельности, поняли, что оба они одного склада и что между ними может родиться дружба, что они должны трудиться бок о бок, а такие мгновения являются скорее следствием таинственных предначертаний судьбы, нежели плодом долгой беседы.

Когда Филипп нагнулся, чтобы облобызать перстень кардинала, старик шепнул ему:

— Вы, ваше высочество, были бы превосходным регентом.

Филипп распрямил свой длинный стан. «Неужели он догадался, что я думал только об этом?» — спросил он себя.

— А разве из вас, монсеньор, не вышел бы превосходный папа? — ответил он.

И оба невольно улыбнулись друг другу, старик — отцовски-нежной улыбкой, молодой принц — дружелюбно и почтительно.

— Я был бы весьма признателен, если бы вы сохранили в тайне важнейшую весть, сообщенную мне, хотя бы до того времени, пока она не будет возвещена публично.

— Рад служить вам, ваше высочество.

Оставшись один, граф Пуатье остановился в нерешительности, но тут же стряхнул с себя задумчивость и кликнул первого камергера.

— Скажите, Адам Эрон, не прибыл еще из Парижа гонец? — спросил Филипп.

— Нет, ваше высочество.

— В таком случае прикажите закрыть все лионские ворота.

Глава IV

«ОСУШИМ СЛЕЗЫ НАШИ»

Этим утром жители Лиона остались без свежих овощей. Повозки окрестных огородников задержали у городских ворот, и хозяйки с громкой руганью обходили пустой рынок. Единственный мост через Сону (мост через Рону не был еще наведен) перегородили отрядом стражников. Но если нельзя было попасть в Лион, то в равной мере нельзя было и выйти из Лиона. Торговцы-итальянцы, путники, странствующие монахи толпились у ворот и требовали объяснений, а к ним присоединялись зеваки и бездельники. На все вопросы стражники твердили: «Приказ графа Пуатье» — с важно-снисходительным видом, с каким обычно разговаривают с толпой представители власти, когда им дают поручение, смысл коего не ясен им самим.

— Но у меня в Фурвьере дочка больная лежит...

— Вчера, когда звонили к вечерне, у меня в Сен-Жюсте амбар сгорел...

— Бальи Вильфранка велит меня в тюрьму засадить, если я не принесу ему нынче оброка!..— кричали из толпы.

— Приказ графа Пуатье!

И когда толпа стала напирать, королевские стражники угрожающе подняли дубинки.

По городу поползли странные слухи.

Одни уверяли, что готовится война. Но с кем? На этот вопрос никто ответить не мог. Другие клялись, что нынче ночью у стен монастыря августинцев произошла кровопролитная стычка между королевскими людьми и сторонниками итальянских кардиналов. Многие слышали конский топот. Называли даже число убитых. Но у августинцев все было мирно и тихо.

Архиепископ Петр Савойский пребывал в состоянии тревоги, он боялся повторения событий 1312 года, когда его силой принудили отречься в пользу архиепископа Санского от Галльского приматства, единственной прерогативы, которую ему удалось сохранить при присоеди-

нении Лиона к французской короне. Он послал одного из своих каноников за новостями; но каноника, сунувшегося было к графу Пуатье, выставил за дверь конюший, вежливо, но молча. И архиепископ с минуты на минуту ждал, когда ему пришлют ультиматум.

Среди кардиналов, нашедших себе приют в различных святых обителях, тоже царил страх, доходивший чуть ли не до умопомрачения. А что, если им снова подстроили ловушку, как в Карпантра? Но на сей раз как и куда бежать? Кардинальские посланцы шныряли из одного монастыря в другой, от августинцев к францисканцам и от доминиканцев к картезианцам. Каэтани отрядил своего человека, аббата Пьера, свою правую руку, к Наполеону Орсини, от него — к Альбертини де Прато, оттуда — к Флиско, единственному испанцу среди претендентов на папский престол, и наказал сообщить каждому: «Ну, вот видите, вы позволили соблазнить себя посулами графа Пуатье. Он поклялся нас не притеснять, клялся, что нам для подачи голосов даже не придется входить в ограду, что мы будем свободны. А теперь взял и запер нас в Лионе».

К самому Дюэзу тоже примчались два его коллеги-провансальца — кардинал Мандгу и Беранже Фредоль старший. Но Дюэз сделал вид, что с головой ушел в свои богословские труды и ничего не ведает. А тем временем в келье, рядом с покоями кардинала, сном праведника спал Гуччо Бальони, даже не подозревавший, что он явился причиной такой паники.

Целый час мессир Варэ, лионский судья, прибывший в сопровождении трех своих коллег от имени городского совета к графу Пуатье потребовать объяснений, топтался в его прихожей.

А сам граф Пуатье заседал при закрытых дверях с приближенными и свитой, сопровождавшей его в поездке.

Наконец чья-то рука раздвинула драпировки, и, окруженный советниками, показался граф Пуатье. На всех лицах застыло торжественное выражение, как обычно в минуты, когда принимаются особо важные государственные решения.

— А, мессир Варэ, вы пришли очень кстати, и вы тоже, мессиры,— проговорил Пуатье, обращаясь к судье и его спутникам.— Таким образом, мы незамедлительно можем вручить вам послание, которое намеревались до-

вести до вашего сведения. Мессир Миль, соблаговолите прочесть.

Миль де Нуайэ, легист, советник Парламента и маршал войска Филиппа Красивого, развернул пергамент и начал читать:

Всем бальи, сенешалям и советам славных городов.

Доводим до вашего сведения о великой печали, каковую причинила нам кончина возлюбленного брата нашего, короля нашего, сира Людовика X, по воле божьей отнятого у верных его подданных. Но натура человеческая создана так, что никто не может продлить отпущенные ему сроки. Посему решили мы осушить слезы наши, вознести вместе с вами молитву Иисусу Христу за душу усопшего короля и верно служить королевству Французскому и королевству Наваррскому, дабы не пострадали их исконные права и дабы подданные сих двух королевств жили счастливо, защищаемые мечом правосудия и мира.

Милостью божьей регент обоих королевств

Филипп.

Когда улеглось первое волнение, мессир Варэ поспешил облобызать руку графа Пуатье, и прочие судьи без колебаний последовали его примеру.

Король умер. Неожиданная весть ошеломила всех до такой степени, что никто не спросил себя, особенно в первые минуты, кто же сменит его на престоле. За отсутствием совершеннолетнего наследника власть по справедливости должна перейти в руки старшего из братьев покойного государя. Лионские судьи ни на минуту не усомнились, что решение это было принято в Париже Палатой пэров.

— Соблаговолите разослать по городу герольдов, чтобы они прочли наше послание,— приказал Филипп Пуатье,— и вслед за тем немедленно откройте все ворота.

Потом он добавил:

— Вы, мессир Варэ, ведете крупную торговлю сукном; я буду вам весьма признателен, если мне доставят двадцать черных плащей; их положат в прихожей, чтобы каждый пришедший выразить мне свою скорбь мог надеть траурное одеяние.

И он отпустил судей.

Так совершились два первых акта взятия власти. Филиппа провозгласили регентом его приближенные, которые благодаря этому превратились в членов государственного Совета. Сейчас его признает город Лион, где он случайно оказался в эти дни. А теперь надо побыстрее распространить весть по всему королевству и поставить Париж перед свершившимся фактом. Важнее всего было выиграть время.

Писцы уже перебеляли послание во множестве экземпляров, а гонцы седлали коней, готовясь отбыть во все французские провинции.

И как только ворота Лиона открыли, гонцы Пуатье отправились в путь и повстречались с тремя гонцами, которых с утра продержали на том берегу Соны. Первый из этих гонцов привез письмо от графа Валуа, он писал уже в новом качестве регента, назначенного Королевским советом, и просил у Филиппа дать свое согласие, дабы назначение возымело силу. «Уверен, что вы захотите помочь мне в моей задаче на благо государства и дадите немедля ваше согласие, как и подобает разумному и возлюбленному племяннику нашему».

Второе послание было от герцога Бургундского, который тоже требовал назначить его регентом при малолетней племяннице — Жанне Наваррской.

И, наконец, граф д'Эвре извещал Филиппа, что, вопреки существующим установлениям, многие пэры Франции отсутствовали на Совете и Карл Валуа, торопясь прибрать власть к рукам, не счел нужным опереться на какой-либо текст закона или на волю соответствующей ассамблеи.

Граф Пуатье сразу же собрал своих приближенных для обсуждения всех этих вопросов. Окружение Филиппа составляли люди, враждебные политике, которую проводили в последние полтора года Людовик Сварливый и Карл Валуа; в числе их находился коннетабль Франции Гоше де Шатийон, командовавший войсками с 1302 года и так и не простивший Людовику X нелепый «грязевой поход» во Фландрию, который он вынужден был вести прошлым летом. Его зять, Миль де Нуайэ, вполне разделял эти чувства. Легист Рауль де Прель, оказавший столько ценных услуг Железному Королю, пережил после смерти своего господина черные дни, все имущество его конфисковали, повесили лучшего его дру-

га Ангеррана де Мариньи, а самого подвергли «пытке водой», но так и не вырвали у него признаний; после всех этих бед у него осталась хроническая болезнь желудка да изрядная доля злобы против бывшего императора Константинопольского. Своим спасением и возвращением на государственный пост он был обязан графу Пуатье.

Таким образом, вокруг Филиппа создалось нечто вроде оппозиционной партии, состоявшей в основном из уцелевших от расправы главных сановников Филиппа Красивого. Любой из них косо смотрел на притязания графа Валуа и равно не желал, чтобы в государственные дела мешался герцог Бургундский. Все они дружно восхищались быстротой и энергией юного принца и возлагали на него все свои надежды.

Пуатье написал Эду Бургундскому и Карлу Валуа, даже не упомянув о полученных письмах, словно они до него не дошли, и сообщил своим родным, что по естественному праву считает себя регентом и при первой возможности намерен собрать всех пэров Франции, которые и подтвердят его избрание.

В то же самое время он назначил эмиссаров, которые должны были незамедлительно отправиться в важнейшие центры государства и управлять ими от его, Филиппа Пуатье, имени. Множество его рыцарей пустились в путь в тот же день — впоследствии им суждено было именоваться «рыцарями сопровождения»,— и в том числе Реньо де Лор, Тома де Марфонтэн и Гийом Куртегез. При себе Филипп оставил Ансо де Жуанвилля, сына знаменитого сенешаля Жуанвилля, а также Анри де Сюлли.

Пока со всех колоколен несся печальный перезвон, Филипп Пуатье вел долгую беседу с Гоше де Шатийоном. Коннетабль Франции по установленному обычаю заседал во всех государственных советах, и в Палате пэров, и в Большом и Малом советах. Филипп просил Гоше отбыть в Париж и представлять его там, а главное, вплоть до его прибытия расстраивать козни Карла Валуа; с другой стороны, присутствие коннетабля в Париже было порукой тому, что наемные солдаты столичного гарнизона, и в частности полк арбалетчиков, будут хранить верность Филиппу.

Ибо вновь назначенный регент, сначала к великому удивлению, а затем к дружному одобрению своих советников, решил временно не покидать Лиона.

— Мы не можем бросать начатое дело,— пояснил он.— Самое главное сейчас для нашего государства — это иметь папу, и мы станем еще сильнее, если сами посадим его на престол!

Он ускорил также подписание брачного контракта между своей дочкой и принцем-дофином. Казалось, этот брак не имеет ничего общего с выборами папы, и однако Филипп видел между ними непосредственную связь. Союз с дофином Вьеннским, который правил всеми землями к югу от Лиона и под чьим надзором находилась дорога в Италию, был не последним козырем в начатой игре. Кардиналы, если им придет охота снова разбежаться, не найдут себе убежища на землях дофина. Кроме того, помолвка укрепляла позиции регента; дофин, переходя на его сторону, имел все основания хранить Филиппу верность.

Из-за траура контракт был подписан без празднеств и пиров в один из следующих дней.

Одновременно Филипп столковался с самым могущественным здешним бароном, графом де Форэ, кстати, зятем дофина, державшим в своих руках весь правый берег Роны.

Жан де Форэ не раз участвовал в походах во Фландрию, не раз представлял Филиппа Красивого при папском дворе и немало потрудился для присоединения Лиона к Франции. Граф Пуатье, продолжавший отцовскую политику, мог смело рассчитывать на его поддержку.

Шестнадцатого июня граф де Форэ совершил акт весьма впечатляющий. Он принес торжественную присягу Филиппу как первому сеньору Франции, признав таким образом Пуатье носителем королевской власти.

На следующий день граф Бермон де ла Вут, чье ленное владение Пьергурд находилось в Лионском сенешальстве, тоже торжественно присягнул Пуатье, вложив свои руки в руки Филиппа.

К графу де Форэ Филипп обратился с просьбой держать наготове, но и втайне семьсот вооруженных людей. Таким образом, кардиналы шагу не смогут сделать за пределы Лиона.

Но отсюда до избрания папы было еще далеко. Переговоры затягивались. Итальянцы, смекнув, что регенту не терпится поскорее отбыть в Париж, упорно не шли на уступки. «Ничего, сдастся первым»,— говорили они.

Их ничуть не смущала трагическая неразбериха, губившая дело святой церкви.

Филипп Пуатье десятки раз встречался с Дюэзом, которого он теперь безоговорочно считал не только самым умным деятелем во всем конклаве, но и самым опытным и проницательным человеком, самым изощренным в делах религии, наиболее подходящим главой христианства, особенно в эту смутную годину.

— Ересь, ваше высочество, вновь расцветает повсюду,— тревожно твердил Дюэз своим глухим, надтреснутым голоском.— Да и как может быть иначе, коль скоро сами мы подаем верующим недостойный пример. Дьявол пользуется нашими распрями, дабы повсеместно сеять плевелы. А особенно мощно произрастают они в Тулузской епархии. Это исстари крамольная земля, подверженная дурным мечтаниям. Трудно управлять столь обширной епархией, будущему папе следовало бы разбить ее на пять епископств и каждое вести твердой рукой.

— Что и повлечет за собой образование нескольких новых бенефиций, с которых, само собой разумеется, французская корона будет получать аннаты,— отозвался Филипп.— А это, по-вашему, не вызовет возражений?

— Ничуть.

«Аннатами» называлось право короля получать доходы с любой новой церковной бенефиции в течение первого года ее существования. Отсутствие папы препятствовало образованию новых бенефиций, в силу чего королевская казна Франции переживала тяжелые дни безденежья, не говоря уже о том, что недоимки по церковным налогам почти не поступали, а духовенство, пользуясь смутным временем и тем, что святой престол пустовал, чинило всякие препятствия.

Таким образом, пока Филипп и Дюэз строили планы на будущее — один в качестве регента, другой в качестве кандидата на папский престол,— обоих в равной мере и в первую очередь интересовали финансы.

Королевская казна не только иссякла, но и вошла в долги на много лет вперед, и повинны в этом были восстания феодалов, мятеж во Фландрии, мятеж баронов графства Артуа и «блистательные» финансовые реформы Карла Валуа.

Да и папская казна после двух лет бродячего конклава находилась не в лучшем состоянии; и если кардиналы продавались сильным мира сего за столь высокую

плату, то объяснялось это тем, что у большинства из них не было иных средств существования, кроме торговли своими голосами.

— Обложения, ваше высочество, только обложения! — внушал Дюэз молодому регенту.— Обложите штрафом тех, кто сотворил зло, и чем они богаче, тем сильнее наносите им удар. Если у нарушителя законов сто ливров, отберите у него двадцать. Но ежели владеет он тысячью, возьмите у него пятьсот, ежели есть у него сто тысяч — лишите почти всего достояния. Предложение мое содержит три преимущества: первое — поступления в казну возрастут, второе — лишившись благ, человек, преступивший закон, не сможет более совершать злоупотреблений, и, наконец, третье — бедняки, а их большинство, будут на вашей стороне и поверят в вашу справедливость.

Филипп Пуатье улыбнулся.

— То, за что вы так ратуете, монсеньор, вполне разумно и соответствует королевскому правосудию, которое вершит дела светские,— ответил он.— Но я не вижу, как таким путем можно пополнить финансы святой церкви...

— Обложения, обложения, ваше высочество,— повторил Дюэз.— Наложим налог на грешников; сей источник неиссякаем. Человек по натуре своей греховен, но он склонен расплачиваться скорее сердечным раскаянием, нежели кошельком. И он живее восчувствует раскаяние за содеянный проступок, если искупление грехов обойдется ему в кругленькую сумму, и еще подумает, прежде чем согрешить вторично. Тот, кто жаждет, чтобы ему отпустили грехи, пусть платит за их отпущение.

«Что это, шутка?» — подумал Пуатье, который после многочасовых бесед с Дюэзом обнаружил в кардинале курии немалую склонность к парадоксам и даже плутовству.

— А на какие же грехи вы, монсеньор, собираетесь ввести таксу? — спросил он, как будто соглашаясь поддерживать игру.

— Первым делом на те, что совершаются духовными лицами. Постараемся для начала усовершенствовать самих себя, прежде чем браться за усовершенствование ближнего своего. Наша матерь, святая католическая церковь, слишком терпима к различным недостаткам и уродствам. По моему мнению, на духовные должности

нельзя назначать калек и убогих. А я ведь сам видел некоего священника, по имени Пьер, который состоит при особе кардинала Каэтани и у которого, представьте себе, на левой руке два больших пальца.

«Легкий, но коварный выпад в адрес нашего старого недруга»,— подумал Пуатье.

— Я провел обследование,— продолжал Дюэз.— И выяснилось, что среди духовенства несчетное количество хромых, безруких, евнухов, которые скрывают под сутаной свое увечье, и однако живут они на церковные бенефиции. Изгоним ли мы их из лона святой церкви, обречем ли их на нищету, сами ли толкнем в объятия тулузских еретиков или каких-нибудь иных духовных братств — все равно их недостатки непоправимы. Лучше уж разрешим искупить им свои грехи; а тот, кто сказал искупить, говорит купить.

Старый прелат произнес всю эту тираду самым серьезным тоном. После встречи с убогим отцом Пьером его воображение неудержимо заработало, и бессонными ночами он уже успел создать весьма стройную систему, которую рассчитывал изложить письменно и поднести в дар, как он скромно говорил, будущему папе.

Речь шла о введении Святой Епитимьи; продавая буллы с отпущением любых грехов, можно будет в короткий срок пополнить папскую казну. Увечные священники тоже смогут получить отпущение грехов, внеся столько-то ливров за отсутствующий палец, вдвойне за отсутствующий глаз и такую же сумму за отсутствующие гениталии. Тот, кто кастрирует себя сам, платит вдвойне. От убожеств телесных Дюэз перешел к убожествам души. Незаконнорожденные, скрывшие свое происхождение при вступлении в орден, священники, принявшие сан, состоя в браке, вступившие в брак после посвящения или сожительствующие с женщиной вне брака, двоеженцы, а равно кровосмесители и содомиты — для всех предусматривалась плата соответственно совершенному ими греху. Но особенно высокая плата предусматривалась за отпущение грехов монахиням, распутствующим в стенах или вне стен монастырей с несколькими мужчинами.

— Если введение этой системы,— заявил Дюэз,— в первый же год не даст нам двести тысяч ливров, то пусть меня...

Он чуть было не сказал «пусть меня сожгут», но вовремя спохватился.

А Филипп тем временем думал: «Если его изберут, то мне, слава богу, не придется ломать себе голову над финансовыми делами святого престола».

Но, несмотря на все ухищрения Дюэза и тайную поддержку Филиппа, конклав не сдвинулся с места.

А тем временем из Парижа шли дурные вести. Гоше де Шатийон, объединившись с графом д'Эвре и Маго Артуа, пытался обуздать притязания Карла Валуа. А тот жил во дворце Ситэ и держал при себе королеву Клеменцию чуть ли не заложницей; по собственному разумению вершил он государственные дела, рассылал в провинции приказы, противоречившие тем, которые слал из Лиона Филипп Пуатье. С другой стороны, шестнадцатого июня в Париж прибыл герцог Бургундский требовать признания своих законных прав; он знал, что за ним стоят вассалы его огромного герцогства. Итак, во Франции было одновременно три регента. Такое положение не могло длиться далее, и Гоше умолял Филиппа поскорее вернуться в столицу.

Двадцать седьмого июня, после совета, на котором присутствовали граф де Форэ и граф де ла Вут, молодой принц решил незамедлительно отправиться в путь и приказал своей свите готовиться к отъезду. И тут, вспомнив, что об усопшем его брате не было еще торжественной службы, он повелел, чтобы завтра, до его отъезда, во всех лионских церквах отслужили мессу. Все духовенство, и высшее и низшее, обязано было присутствовать на службе, дабы присоединить свои моления к молитвам регента.

Все кардиналы, и в первую очередь итальянцы, возликовали. Пришлось все-таки Филиппу Пуатье покинуть Лион, не сломив их волю.

— Пытается скрыть свое бегство торжественными мессами! — твердил Каэтáни.— А все-таки вынудили его, проклятого, уехать. Надеялся нас прибрать к рукам. Ну так вот, поверьте мне, через месяц, если не раньше, мы возвратимся в Рим.

Глава V

ВРАТА КОНКЛАВА

Кардиналы, как известно, особы высокочтимые, которым мелкая церковная сошка никак не ровня. Поэтому граф Пуатье распорядился, чтобы для заупокойной мессы по усопшему Людовику X кардиналам отвели цер-

ковь при монастыре доминиканцев, называемую иначе церковью святого Иакова, самую роскошную, самую просторную после собора святого Иоанна, а также и наиболее укрепленную. Кардиналы узрели в этом выборе знак естественного уважения к их сану. И все до одного явились на торжественную церемонию.

Было их только двадцать четыре, и однако же церковь оказалась битком набитой, ибо каждый кардинал привел с собою весь свой клир — капеллана, секретаря, казначея, писцов, пажей, слуг, тех, кто нес, согласно установленному обычаю, за ним шлейф, а перед ним факел; так что меж белых массивных колонн толпилось в общем человек шестьсот.

Пожалуй, редко когда заупокойной мессе внимали с такой явной рассеянностью. Впервые после многих месяцев кардиналы, расселившиеся группками по монастырям, собрались вместе. Многие не встречались почти два года. Они искоса поглядывали друг на друга, наблюдали за соседями, комментировали вслух внешность и жесты соперников.

— Видели, видели? — шептал один другому.— Орсини поклонился Фредолю младшему... А Стефанески, как вошел, так сразу же заговорил с Мандгу. Неужели они сблизились с провансальцами? Зато Дюэз совсем высох, лицо с кулачок стало. Как он постарел!

И в самом деле, Жак Дюэз, стараясь сдержать свой подпрыгивающий шаг, придававший старику неестественно юную прыть, медленно и степенно продвигался вперед и рассеянно отвечал на поклоны, как и подобает человеку, отрешившемуся от мирских дел.

Гуччо Бальони в новом облачении тоже прибыл сюда вместе с кардинальской свитой. Ему было приказано говорить только по-итальянски и отвечать всем, что он прибыл в Лион прямо из Сиены.

«Пожалуй, лучше было бы мне,— думал он,— попасть под покровительство графа Пуатье. Ибо я, без сомнения, мог бы вернуться вместе с ним в Париж и навести справки о Мари, о которой я ничего столько дней не слышал. А сейчас я во всем завишу от этой старой лисы, да еще обещал ему достать у дяди денег, и пока деньги не будут у него в руках, он не намерен заниматься моей судьбой. А дядя, как на грех, не отвечает. И говорят, в Париже смута. Мари, прелестная моя Мари!.. Вдруг она подумает, что я ее покинул? А может быть, она уже возненавидела меня? Что они с ней сделали?»

Ее братья способны на все: заточить Мари в Крессэ, а возможно, и упрятать в какой-нибудь монастырь для кающихся девиц. «Если через неделю я не получу от нее известий, удеру в Париж».

Дюэз то и дело оглядывался через плечо, и лицо его всякий раз принимало настороженное выражение.

— Вы опасаетесь чего-нибудь, монсеньор? — спросил наконец Гуччо.

— Нет, нет, отнюдь,— ответил Дюэз, украдкой посматривая на своих соседей.

Грозный кардинал Каэтани с изможденным лицом, посреди которого торчал длинный горбатый нос, не скрывал своего торжества, и его седые кудри, подобно завиткам белого пламени, упрямо выбивались из-под алой шапки. Катафалк — символ успения Людовика X — вызывал в его памяти восковую фигуру, исколотую булавками,— ту, над которой он совершил ворожбу. Он переглядывался со своими людьми — с отцом Пьером, братом Бостом и своим секретарем Андрие,— так смотрят победители. Его подмывало крикнуть во всеуслышание: «Вот видите, мессиры, что происходит с тем, кто по неосторожности навлек на себя гнев Каэтани, ибо Каэтани были могущественными людьми еще во времена Юлия Цезаря».

Оба брата Колонна с тяжелыми пухлыми подбородками, украшенными посередине ямочкой, казались двумя воинами, вырядившимися прелатами.

Граф Пуатье не пожалел расходов на певчих. Хор в сотню с лишним голосов звучал на славу в сопровождении органа, у которого, не покладая рук, трудились четыре прислужника, раздувая мехи. Громовая, воистину королевская музыка гулко отдавалась под сводами, сотрясала воздух, оглушала толпу. Мальчики-прислужники могли безнаказанно болтать между собой, а дворяне из кардинальских свит высмеивать вслух своих владык. Невозможно было расслышать даже того, что говорилось в трех шагах, а того, что происходило у входа, и подавно.

Служба закончилась; замолкли орган и хор; створки дверей главного портала были широко распахнуты. Но ни один луч дневного света не проникал в собор.

На мгновение толпа замерла: всем показалось, будто во время заупокойной мессы чудом затмилось солнце; но вдруг кардиналы поняли всё, и яростный гул голосов заполнил церковь. Свежая каменная кладка закрыла

портал; регент приказал во время мессы замуровать все входы и выходы. Кардиналы очутились на положении пленников.

Тут-то и началось столпотворение: прелаты, каноники, священники, слуги, забыв о чинопочитании и рангах, смешались в кучу и суетливо сновали по храму божьему, как крысы, попавшие в западню. Пажи влезали друг другу на плечи, подтягивались на руках, заглядывали в окна и кричали сверху:

— Собор со всех сторон окружен вооруженными людьми!

— Что с нами будет, что с нами будет? — стонали кардиналы.— Регент коварно обманул нас.

— Так вот почему он угостил нас такой музыкой!

— Но это же прямое посягательство на святую церковь! Что нам делать?!

— Отлучить его! — кричал Каэтани.

— А что, если он возьмет и уморит нас голодом или велит всех перебить?

Воинственные братья Колонна и их свита, вооружившись тяжелыми бронзовыми подсвечниками, скамьями и жезлами для торжественных процессий, готовились дорого продать свою жизнь. И уже итальянцы с гасконцами начали осыпать друг друга оскорблениями и упреками.

— Нет, это ваша ошибка! — кричали итальянцы.— Почему вы согласились перебраться в Лион? Мы отлично знали, что попадем в ловушку.

— Если бы вы выбрали кого-нибудь из наших, не пришлось бы нам здесь сейчас торчать,— возражали гасконцы.— Это вы во всем виноваты, недостойные христиане!

Еще минута, и обе партии схватились бы врукопашную.

Лишь одна-единственная дверь была замурована не полностью — в ней оставили узкий проход, куда мог протиснуться человек, но из этого узкого отверстия торчал целый лес пик, зажатых в железные перчатки. Вдруг пики приподнялись, и граф де Форэ в доспехах, Бермон де ла Вут и несколько закованных в латы людей проникли в церковь. Их встретили градом угроз и грубейшей руганью.

Сложив руки на эфесе шпаги, граф де Форэ спокойно дождался конца бури. Был он человек могучий, смелый, равно нечувствительный как к угрозам, так и к

мольбам, а главное, его глубоко возмущало недостойное поведение кардиналов, подававших в течение двух лет худой пример своей пастве; поэтому граф решил любой ценой выполнить распоряжение Филиппа Пуатье. Грубое его лицо было изборождено глубокими морщинами, глаза сурово глядели из-под забрала шлема.

Когда кардиналы и их приспешники наконец осипли от крика, граф де Форэ заговорил; его четкая, размеренная речь отдавалась гулким эхом под сводами церкви.

— Мессиры, я нахожусь здесь по приказу регента Франции и уполномочен сообщить вам, что единственной вашей заботой отныне должно быть избрание папы, а равно довожу до вашего сведения, что ни один из вас не выйдет отсюда, пока папа не будет избран. При каждом кардинале может остаться по одному капеллану, по два дворянина для услуг или — если угодно — по два писца. Это уж выбирайте сами. Все прочие могут покинуть собор.

Гасконцы и провансальцы негодовали не меньше итальянской партии.

— Мошенничество! — вопил кардинал де Пелагрю.— Граф Пуатье поклялся, что нам даже не придется войти в ограду монастыря, и только на этом условии мы согласились собраться в Лионе.

— Устами графа Пуатье,— возразил граф де Форэ,— говорил король Франции. Но короля Франции нет в живых, и теперь вам говорит регент моими устами.

Единодушное негодование охватило всех пленников. Проклятия на трех языках — итальянском, провансальском и французском — сливались в нестройный гул. Кардинал Дюэз без сил рухнул на сиденье в одной из исповедален и даже руку к сердцу приложил, всем видом показывая, что в столь преклонном возрасте нелегко сносить подобные удары, и притворно-сокрушенно бормотал что-то невразумительное, как бы присоединяя свой голос к протестующим крикам кардиналов. Арно д'Ош, кардинал-камерлинг, брюхатый, полнокровный прелат, бросился к графу де Форэ и заявил ему угрожающим тоном:

— Напоминаю вам, мессир, что папу в таких условиях выбирать не положено, ибо вы нарушили устав Григория X, согласно которому конклав должен собираться именно в том городе, где скончался папа.

— Вы там сидели, монсеньоры, в течение двух лет и разбрелись кто куда, не выбрав папы, что, позвольте вам заметить, тоже противоречит уставу. Но ежели вы почему-либо желаете попасть в Карпантра — пожалуйста, мы доставим вас туда в закрытых повозках под надежной охраной.

— Не будем заседать под угрозой насилия!

— Вот поэтому-то, монсеньоры, церковь окружена вооруженной стражей в семьсот человек, которые надежно защищают вас по решению городских властей, дабы обеспечить вам безопасность и дать возможность побыть в уединении... что, кстати сказать, тоже соответствует упомянутому вами уставу. Сир де ла Вут, который, как именитый гражданин Лиона, тоже находится здесь, будет наблюдать за всем. Мессир регент просил также передать вам, что, если в течение трех дней вы не придете к соглашению, вам будет подаваться пища один раз в день, а с девятого дня вас переведут на хлеб и воду, что... опять-таки записано в уставе папы Григория X. И если, наконец, пост не просветит ваш разум, мы прикажем разобрать крышу, и тогда придется вам испытать ярость стихий...

Графа прервал Беранже Фредоль старший.

— Мессир, таким образом, вы будете повинны в человекоубийстве, ибо многие из нас не вынесут такого режима. Взгляните на монсеньора Дюэза, он уже сейчас еле дышит и нуждается в уходе.

— Верно, ох, ох, верно! — голосом умирающего произнес Дюэз.— Конечно, не вынесу...

— Да бросьте вы с ним разговаривать,— крикнул Каэтани.— Вы же сами видите, что мы попали в руки свирепых и вонючих хищников! Но знайте, мессир: вместо того чтобы выбрать папу, мы отлучим от церкви вас и всех ваших вероломных приспешников.

— Если вы намереваетесь нас отлучить, монсеньор Каэтани,— холодно ответил граф де Форэ,— регент может сообщить конклаву кое-какие сведения о заклинателях и ворожеях, коим место уготовано в геенне огненной...

— При чем тут ворожба! — уже без прежнего запала возразил Каэтани.— Главная наша обязанность — избрать папу.

— Э, монсеньор, мы, как видно, поняли друг друга; соблаговолите-ка приказать ненужным вам людям покинуть храм, ибо съестные припасы будут доставляться

в строго ограниченном количестве и лишним ртам еды не хватит.

Кардиналы поняли, что дальнейшее сопротивление бессмысленно и что этого закованного в железные латы сеньора, который недрогнувшим голосом передал им приказ графа Пуатье, не так-то просто согнуть. А позади Жана де Форэ виднелись вооруженные пиками стражники, которые по одному пролезали в незамурованное отверстие и выстраивались в глубине церкви.

— Придется прибегнуть к хитрости, коль скоро мы лишены возможности прибегнуть к силе,— вполголоса сказал Каэтани своим итальянцам.— Сделаем вид, что покорились, раз не можем пока сделать ничего иного.

Каждый кардинал отобрал из своей свиты трех человек, наиболее ему преданных, умеющих дать нужный совет, искушенных в интригах или же таких, кто мог облегчить телесные страдания владыки в тех тяжелых условиях, в коих ему суждено было очутиться. Каэтани пожелал оставить брата Боста, Андрие и шестипалого Пьера, то есть тех, кто был замешан вместе с ним в ворожбе против Людовика X; он предпочел держать их при себе, боясь отпустить на свободу, где с помощью золота или пыток им могли развязать язык. Братья Колонна остановили выбор на четырех дворянчиках, каждый из которых одним ударом мог оглушить быка. Каноники, писцы, факельщики и шлейфоносцы один за другим исчезали в отверстии, миновав строй вооруженных стражников. Когда они проходили мимо своих владык, те шептали им на ухо последние распоряжения:

— Срочно дайте знать о случившемся моему брату епископу... Напишите от моего имени кузену де Го... Немедленно отправляйтесь в Рим.

Когда Гуччо Бальони пристроился было в хвост уходящих, Жак Дюэз просунул свою иссохшую ручку сквозь решетку исповедальни, где он прикорнул без сил, и схватил итальянца за полу.

— Останьтесь, дитя мое, со мной,— шепнул он,— я уверен, что вы мне пригодитесь.

Дюэз по опыту знал, что деньги имеют немалую власть в любом конклаве; для кардинала было весьма кстати иметь при себе представителя ломбардских банкиров.

Через час в церкви осталось всего девяносто шесть человек, которым предстояло томиться здесь до тех пор,

пока двадцать четыре из них не придут к соглашению и не остановят свой выбор на одном. Прежде чем покинуть церковь, стражники внесли внутрь несколько охапок соломы, отныне ей вместе с голым камнем суждено было служить ложем самым могущественным прелатам христианского мира. Принесли также несколько лоханей, чтобы они могли справлять туалет, и несколько глиняных кувшинов с водой, отданных в распоряжение самих кардиналов. Каменщики под зорким оком графа де Форэ замуровали последний проход, оставив в середине крошечное квадратное отверстие, достаточно широкое, чтобы через него прошло блюдо с пищей, но недостаточно широкое для того, чтобы через него мог пролезть человек. Вокруг церкви вновь расставили караульных на расстоянии трех туазов друг от друга и выстроили их двумя рядами: один ряд стоял спиной к стене и наблюдал за городом, другой стоял лицом к церкви и наблюдал за окнами.

В полдень граф Пуатье отбыл в Париж. Вместе со своей свитой он увозил дофина Вьеннского и маленького дофинчика, который так и останется жить при французском дворе, чтобы сдружиться со своей пятилетней невестой.

В тот же час кардиналам подали пищу; а так как день был постный, мяса им не полагалось.

Глава VI

ИЗ НОФЛЯ В СЕН-МАРСЕЛЬ

Ранним июльским утром, еще до рассвета, старший де Крессэ вошел в спальню сестры. Толстяк Жан держал в руке чадившую свечу; при свете ее было заметно, что брат Мари успел умыться, расчесал бороду и надел лучший свой кафтан для верховой езды.

— Вставай, Мари,— сказал он,— сегодня ты уедешь. Мы с Пьером сами тебя отвезем.

Молодая девушка приподнялась на локте.

— Уеду?.. Как так? Уеду сегодня утром?..

Она еще не очнулась от сна и пристально смотрела на брата большими темно-голубыми глазами, стараясь понять, о чем идет речь. Машинальным жестом она откинула назад свои длинные густые шелковистые волосы, отливавшие золотом.

Жан де Крессэ хмуро глядел на красавицу сестру, так, словно сама эта красота тоже была грехом.

— Собирай пожитки. Домой ты вернешься не скоро.

— Но куда вы меня везете? — спросила Мари.

— Сама увидишь.

— Но вчера... почему вчера вы мне ничего не сказали?

— Тебе скажешь, а ты снова с нами какую-нибудь шутку сыграешь. Что, разве нет?.. Ну ладно, торопись; выедем пораньше, чтобы наши крестьяне не заметили. Хватит с нас позора, незачем им снова трепать языками на твой счет.

Мари ничего не ответила. Вот уже целый месяц только так обращались с ней домашние, только таким тоном говорили. Она тяжело поднялась с постели: по утрам, особенно в первые минуты, давала себя знать пятимесячная беременность, хотя днем она почти ее не ощущала. При свете свечи, которую оставил ей брат, она стала собираться в дорогу, ополоснула лицо и шею водой, быстро заколола волосы; тут только она заметила, что руки ее дрожат. Куда ее везут? В какой монастырь? Мари надела на шею золотую ладанку, подарок Гуччо, которую, по его уверениям, он получил в дар от королевы Клеменции. «Пока что эта реликвия что-то плохо меня защищала,— подумалось ей.— А может быть, я недостаточно молилась?» Она уложила верхнее платье, несколько нижних платьев, безрукавку и куски полотна для умыванья.

— Наденешь плащ с капюшоном,— бросил Жан, снова появляясь в спальне.

— Но ведь я в нем сгорю! — воскликнула Мари.— Это зимняя одежда.

— Мать требует, чтобы ты ехала с закрытым лицом. Не перечь, пожалуйста, и поторапливайся.

Во дворе младший брат де Крессэ собственноручно седлал лошадей.

Мари отлично знала, что рано или поздно этот день наступит; и хотя сердце ее сжимал тоскливый страх, она не слишком страдала от предстоящей разлуки, больше того, постепенно стала ее желать. Самый неприветливый монастырь, самый строгий устав все же лучше, чем ежедневные уколы и укоры. По крайней мере, там она будет наедине со своим горем. По крайней мере, ей не придется больше выносить яростных приступов материнского гнева; после всех этих трагических событий мать, которой кровь бросилась в голову, слегла в постель и всякий раз, когда Мари приносила ей целебную настой-

ку, проклинала и оскорбляла дочь. Тогда приходилось срочно вызывать из Нофля цирюльника, чтобы он отворил кровь тучной владелице замка. Таким образом за две недели у мадам Элиабель выпустили не меньше шести пинт дурной крови, но даже при этих энергичных мерах вряд ли можно было надеяться, что к ней полностью вернется здоровье.

Оба брата, а особенно старший, Жан, обращались с Мари как с преступницей. Ох, уж лучше любой монастырь, в тысячу раз лучше! Одно страшно: сможет ли дойти в святую обитель весть о Гуччо и когда? Вот эта-то мысль доводила ее до умопомрачения, лишь поэтому она страшилась своей участи. Злые ее братья уверяли, что Гуччо бежал за пределы Франции.

«Они скрывают от меня,— думала Мари,— но они, наверное, запрятали его в темницу. Невозможно, немыслимо, чтобы он меня бросил! Должно быть, он вернулся в наши края, чтобы меня спасти; вот поэтому они так торопятся меня увезти, а потом убьют его. Ах, почему я не согласилась убежать с ним! Я не желала слушать доводов Гуччо, боялась оскорбить мать и братьев, и вот за то, что я хотела сделать им добро, они отплатили мне злом!»

В ее воображении рисовались картины одна другой страшнее. Минутами ей хотелось, чтобы Гуччо действительно убежал в Италию, оставив ее на произвол злой судьбы. И нет никого, чтобы спросить совета, нет никого, кто бы утешил ее в горе. Одно утешение — это дитя, что она носит под сердцем; но, откровенно говоря, крохотное существо было ничтожно малым подспорьем, хоть и вселяло мужество в душу Мари.

Когда наступил час отъезда, Мари де Крессэ спросила братьев, может ли она попрощаться с матерью. Пьер молча поднялся в материнскую спальню, но оттуда донесся такой истошный крик — видно, частые кровопускания не оказали воздействия на голосовые связки мадам Элиабель,— что Мари сразу поняла всю бессмысленность своей просьбы. Пьер вышел из спальни матери с грустным лицом и беспомощно развел руками.

— Она говорит, что у нее нет дочери,— пояснил он.

И Мари снова подумала: «Лучше бы я убежала с Гуччо. Сама во всем виновата; я обязана была последовать за ним».

Братья вскочили на коней, и Жан де Крессэ посадил сестру позади себя на круп своей лошади, которая была

все же получше, вернее, менее заморенная, чем у Пьера. Пьер восседал на запаленной кобыле, которая при каждом шаге тяжело выпускала из ноздрей воздух с таким шумом, словно по железу водили напильником; именно на этом одре в прошлом месяце братья де Крессэ совершили торжественный въезд в столицу.

Мари бросила прощальный взгляд на маленький замок, который не покидала со дня рождения и который сейчас, в первых, еще нежных проблесках зари, вставал перед ней в сероватой дымке, будто уже из прошлого. С тех пор как она помнит себя, каждое мгновение ее жизни проходило в этих стенах, на фоне этого пейзажа; ее детские игры, чудесное открытие самой себя и окружающего мира, который день за днем каждый творит как бы заново. Неистощимое разнообразие луговых трав, удивительные венчики цветов и чудесная пыльца на самом их донышке, мягчайший пушок на брюшке утенка, переливы солнечных лучей на крылышке стрекозы... Здесь оставляла она все пережитые часы, те часы, когда впервые заметила, что взрослеет, когда впервые прислушалась к голосу грез, когда зорко подмечала все изменения своего лица, множество раз отраженного прозрачными водами Модры. Здесь она испытала то великое, почти ослепляющее чувство жизни, приходившее в те минуты, когда она ложилась навзничь на луг и смотрела в небо, видя в форме облаков таинственные предзнаменования, надеясь узреть господа бога в глубине сверкающей лазури. Она проехала мимо часовни, где под каменной плитой покоился прах ее отца и где итальянский монах тайно обвенчал ее с Гуччо.

— Надвинь пониже капюшон! — приказал старший брат Жан.

Как только они перебрались вброд через речку, он подстегнул лошадь и вслед за ними поскакала кобыла Пьера, шумно выдыхая воздух.

— А не слишком ли ты быстро скачешь? — сказал Пьер, движением головы указывая на сестру.

— Ничего, дурное семя — оно цепкое,— отозвался старший брат, очевидно желая в глубине души, чтобы с Мари стряслась беда.

Но напрасны были его надежды. Здоровая и крепкая Мари была создана для материнства. Переезд в десять лье, отделявший Нофль от Парижа, она перенесла без всякого для себя ущерба. Правда, ныла поясница, Мари задыхалась от жары, но ни разу она даже не охнула.

Из-под низко надвинутого на лоб капюшона она не могла разглядеть Париж, видела только мостовые, нижние этажи домов да людей без голов. Сколько ног! Какая обувь! С огромной радостью скинула бы она капюшон, но не смела. Больше всего ее поразил шум, невнятное мощное гудение столицы, крики глашатаев, продавцов, торгующих всякой снедью, разнообразный шум мастерских. На иных перекрестках толпилось столько народу, что лошади с трудом пробирались вперед. Прохожие задевали ноги Мари. Наконец они остановились. Брат ссадил на землю измученную, запыленную Мари. Ей разрешили откинуть капюшон плаща.

— А где мы? — спросила она, с удивлением оглядывая двор и красивый дом.

— У дядюшки твоего ломбардца,— пояснил Жан де Крессэ.

А через несколько минут мессир Толомеи, по привычке прищурив левый глаз и широко открыв правый, рассматривал троих отпрысков покойного сира де Крессэ, сидевших перед ним рядком,— бородача Жана, безусого Пьера и их сестру, пристроившуюся чуть поодаль и не поднимавшую опущенной головы.

— Значит, понимаете, мессир Толомеи,— начал Жан,— вы дали нам обещание...

— Как же, помню, помню,— подтвердил Толомеи.— И я сдержу свое слово, друзья мои, не сомневайтесь.

— Но, понимаете, нам пришлось действовать быстрее. Значит, понимаете, сестре после всего позора и шума у нас не жить. Значит, понимаете, мы даже к соседям заглянуть не смеем, мужики и те нам вслед смеются, а когда грех, так сказать, слишком уж округлится, нам и вовсе проходу не будет.

На языке у Толомеи вертелся ответ: «Но, сынки, вы сами подняли весь этот шум! Никто вас не заставлял бросаться как одержимые на Гуччо, подняв на ноги весь стольный град Нофль, и тем самым извещать людей о своем позоре без помощи глашатаев».

— И понимаете, наша матушка от горя совсем занемогла, прокляла дочь, и держать Мари дома, значит, никак нельзя, мы боимся, что матушка отдаст богу душу от гнева. Значит, понимаете...

«...Этот негодяй, как и все, кто требует, чтобы их «понимали», должно быть, просто болван. Ничего, поболтает и перестанет! Но я-то отлично понимаю теперь,— думал банкир,— почему мой Гуччо наделал

столько безумств ради этой красотки. Прежде я его во всем обвинял, но, когда она вошла, я сразу сдался: и если бы в мои годы такое было возможно, я тоже потерял бы из-за нее голову. Прелестные глазки, прелестные волосы, прелестная кожа... Настоящая весенняя ягодка! И, по-видимому, мужественно переносит свою беду, а эти-то два дурня орут так, как будто их самих лишили невинности! Но для бедной этой девчурки даже самое страшное горе обернулось благом! У нее добрая душа, это сразу видно. Какая жалость, что она родилась под одним кровом с этими двумя глупцами, и как бы я радовался, если бы Гуччо мог обвенчаться с нею открыто, если бы она жила здесь и краса ее стала бы утехой моей старости».

Толомеи не спускал с Мари глаз. А Мари, вскинув на него взгляд, тут же потупилась, потом снова с тревогой посмотрела ему в лицо. Что подумает о ней дядя Гуччо, почему он так настойчиво за ней наблюдает?

— Значит, понимаете, мессир, ваш племянник...

— Ох, не говорите мне о нем, я от него отрекся, лишил его наследства! Если бы он не удрал в Италию, я бы убил его собственными руками. Если бы я знал, где он сейчас скрывается...— Толомеи сокрушенно склонил голову на руки.

И тут из-под ладоней, приставленных ко лбу щитком, он незаметно для братьев Крессэ, но так, чтобы видела Мари, дважды приоткрыл свой глаз, обычно скрытый мясистым веком. Мари сразу догадалась, что нашла в лице банкира союзника, и не могла удержать вздоха облегчения. Гуччо жив, Гуччо находится в надежном месте, и дядя знает, где он. Что по сравнению с этой радостной вестью все монастыри мира!

Мари перестала слушать разглагольствования Жана. Впрочем, и не слушая, она знала, о чем он говорит. Пьер де Крессэ молчал, и на его усталом лице застыло какое-то нерешительное выражение. Он упрекал себя за то, что тоже поддался гневному порыву, но не смел высказать свои мысли. И он не прерывал старшего брата, который собственными речами старался убедить себя, что действовал правильно, не прерывал его рассуждений о голубой крови и рыцарской чести, дабы хоть этим оправдать их неслыханно глупый поступок.

Когда после своего маленького, жалкого, полуразвалившегося замка, после их двора, где летом и зимой воняло навозом, братья Крессэ увидели королевское

жилище Толомеи, парчу, серебряные вазы, когда почувствовали под пальцами тонкую резьбу подлокотников и вдохнули воздух богатства, изобилия, веявший во всем этом доме, они вынуждены были признать, что сестре их жилось бы не так уж плохо, если бы домашние разрешили ей поступить по велению сердца. Младший брат испытывал искренние угрызения совести. «Хоть она одна из всей семьи жила бы в достатке, да и нам было бы хорошо»,— твердил про себя Пьер. Но бородатый Жан, человек ограниченный, все больше распалялся злобой и довольно-таки низменным чувством зависти. «Почему ей, грешнице, должно достаться все это богатство, а мы вынуждены влачить нищенское существование?»

Даже Мари не осталась равнодушной к этой роскоши, которая обступала ее, ослепляла, и она еще сильнее почувствовала свое горе.

«Ах, если бы Гуччо был хоть скромным дворянином,— думала она,— или если бы у нас не было дворянства! Да и что значит рыцарство? Неужели же это такая важность, чтоб из-за него столько страдать? И разве богатство не есть тоже своего рода знатность? Такая ли уж большая разница — пользоваться плодами труда сервов или плодами денежных операций?»

— Не беспокойтесь ни о чем, друзья мои,— проговорил наконец Толомеи,— и во всем положитесь на меня. Такова, видно, доля всех дядюшек — исправлять ошибки, содеянные дурными племянниками. Благодаря моим высокородным друзьям я добился разрешения поместить вашу сестру в Сен-Марсель — королевский монастырь для девиц. Ну как, довольны?

Братья Крессэ переглянулись и одобрительно закивали головой. Монастырь святой Клариссы, что в предместье Сен-Марсель, пользовался самой лучшей репутацией среди всех прочих женских обителей. Туда, как правило, допускали лишь отпрысков знатных семей. И здесь иной раз под белой вуалью скрывалась незаконная дочь кого-нибудь из членов королевской фамилии. Злоба Жана де Крессэ утихла — его дворянское тщеславие было удовлетворено. И, желая показать, что они, Крессэ, вполне достойны этой чести, несмотря на грехопадение их сестрицы, он поспешно добавил:

— Вот это отменно хорошо. Кстати, тамошняя настоятельница, если не ошибаюсь, нам сродни; матушка неоднократно об этом говорила.

— Значит, все устроилось как нельзя лучше,— произнес Толомеи.— Я сейчас отведу вашу сестрицу к мессиру Югу де Бувиллю, бывшему первому камергеру...

Братья, как по команде, слегка склонили головы в знак уважения к столь высокой персоне.

— От него-то я и добился этой милости,— продолжал Толомеи,— и сегодня же вечером, обещаю вам, она будет в монастыре. Поэтому отправляйтесь с миром восвояси; я буду сообщать вам все новости.

Братьям только это и требовалось. Им удалось отвязаться от сестрицы, переложив заботы о ней на чужие плечи; причем оба считали, что выполнили свой долг. Молчание святой обители поглотит эту драму, и отныне в Крессэ не нужно будет говорить о ней шепотом, да и вообще можно будет не говорить об этом.

— Да хранит тебя господь и да направит на путь раскаяния,— сказал Жан сестре и больше ничего не добавил перед долгой разлукой.

Гораздо горячее попрощался он с банкиром и поблагодарил за все заботы. Еще немного, и он накинулся бы на Мари с упреками — зачем, мол, она причинила столько хлопот такому превосходному человеку.

— Да хранит тебя господь, Мари,— взволнованно произнес Пьер.

Он потянулся было поцеловать сестру, но под суровым взглядом старшего брата смущенно отступил назад. А Мари, оставшись наедине с Толомеи, дивилась, что этот смуглолицый толстяк-банкир с чувственным ртом и зажмуренным глазом вдруг оказался ей дядей.

Братья Крессэ выехали со двора, и скоро утих вдали храп запаленной кобылы — последний отзвук родного Крессэ, уже отходившего вдаль.

— А теперь идемте к столу, дитя мое. За едой слез не льют,— сказал Толомеи.

Он помог своей молодой гостье снять плащ, под тяжестью которого она буквально задыхалась; Мари кинула на него удивленно-признательный взгляд, ибо за долгие недели унижений уже успела отвыкнуть не только от знаков внимания, но даже и от простой вежливости.

«Гляди-ка, материя-то моя»,— подумал Толомеи, разглядывая платье Мари.

Ломбардец был не только банкиром, он вел также торговлю с Востоком; рагу, куда он изящно запускал всю пятерню, мясо, от которого он деликатно отрывал

кусочки, обчищая кости,— все было пропитано пряными, возбуждающими аппетит запахами. Но Мари еле притрагивалась к пище и отведала лишь первую перемену.

— Он в Лионе,— вдруг проговорил Толомеи, подымая левое, обычно опущенное веко.— Сейчас он не может оттуда выехать, но думает он о вас и в вас верит.

— Он не в тюрьме? — спросила Мари.

— Как бы вам сказать, не совсем... Правда, он находится в заключении, но отнюдь не в связи с вашим делом, а разделяет заточение со столь высокими лицами, что опасаться за него не следует; по всему видно, что он благополучно выйдет из церкви и заключение только придаст ему весу.

— Из церкви? — удивленно переспросила Мари.

— Больше я ничего не имею права вам сообщить.

Но Мари и не настаивала. Гуччо заперт в какой-то церкви вместе с какими-то столь важными особами, что даже имени их назвать нельзя... Эта тайна не умещалась в ее головке. Но в жизни Гуччо уже случались всякие загадочные события, и именно таинственность, окружавшая его, была, пожалуй, одной из причин ее восхищения любимым. В первый раз, когда они встретились, разве не попал он в их Нофль прямо из Англии, куда ездил с поручением к королеве Изабелле? Разве дважды не отлучался он на долгий срок в Неаполь, куда его посылали к королеве Клеменции, и она даже подарила Гуччо ладанку с частицей тела Иоанна Крестителя, надетую у Мари на шее! «Непременно назову своего ребенка Иоанном или Иоанной». Если Гуччо находится сейчас в заключении, то это, должно быть, тоже из-за какой-нибудь королевы. Мари радовалась, что Гуччо, вращаясь среди могущественных принцесс и королев, по-прежнему предпочитает ее, деревенскую простушку. Гуччо жив, Гуччо ее любит, а больше ей ничего и не требовалось, чтобы вновь почувствовать радость жизни, и поэтому Мари принялась за еду со здоровым аппетитом восемнадцатилетней женщины, еще до рассвета пустившейся в дорогу.

Но если Толомеи умел легко и непринужденно беседовать с самыми знатными баронами и пэрами Франции, с прославленными легистами и архиепископами, он уже давно отвык говорить с женщинами, особенно с такими молоденькими. Поэтому разговор не вязался. Старый банкир с восторгом глядел на свою новоявленную племянницу, которая свалилась к нему как снег

на голову и которая с каждой минутой нравилась ему все больше и больше.

«Какая жалость,— думал он,— что приходится отправлять ее в монастырь! Если бы Гуччо не находился в заключении вместе с конклавом, я переправил бы это прелестное дитя к нему в Лион; но что она будет делать там одна, без помощи и поддержки? А ведь, судя по тому, как идут дела, кардиналы не склонны сдаваться без боя!.. А может быть, оставить ее здесь, при себе, и ждать возвращения Гуччо? Это, пожалуй, было бы мне еще приятнее. Но нет, нельзя: я ведь просил Бувилля о милости; как же я покажусь теперь ему на глаза, отказавшись от его услуг? А что, если настоятельница действительно сродни де Крессэ и этим болванам придет в голову осведомиться у нее о сестре!.. Нет, нет, пусть хоть я в этом деле не потеряю головы по примеру Гуччо. Отправлю ее в монастырь...»

— ...но не на всю жизнь,— произнес он вслух.— И речи не может идти о вашем пострижении. Согласитесь на временное пребывание в обители и постарайтесь не грустить; а когда родится ребенок, обещаю, что сам устрою ваши дела, и вы будете жить счастливо с моим племянником.

Мари схватила руку банкира и поднесла ее к губам; старик ломбардец почувствовал смущение; доброта не входила в число его добродетелей, да и по самому характеру своих занятий он не привык к подобным проявлениям благодарности.

— А теперь пора передать вас на руки графа Бувилля,— произнес он.

От Ломбардской улицы до дворца Ситэ рукой подать. Мари, шедшая рядом с Толомеи, проделала этот путь в состоянии восторженного изумления. Она впервые попала в большой город. Толпы людей под ярким июльским солнцем, красота зданий, множество лавок, сверкающие витрины ювелиров — все это показалось ей какой-то прекрасной феерией. «Какое счастье, просто счастье,— думала она,— жить здесь, и какой чудесный человек дядя моего Гуччо, и как хорошо, что он покровительствует нам! О да, я без слова жалобы перенесу свое заточение в монастыре!» Они прошли через Мост менял и углубились в Торговую галерею, забитую лотками с товарами.

Только ради удовольствия услышать еще раз слова благодарности и увидеть улыбку Мари, открывавшую

белоснежные зубки, Толомеи не удержался и купил ей суму на пояс, расшитую мелким жемчугом.

— Это от имени Гуччо. Теперь я его вам заменяю,— пояснил он, прикинув в уме, что зря не обратился к оптовому торговцу, у которого смог бы приобрести подарок за полцены.

Наконец они поднялись по широкой лестнице во дворец. Итак, только потому, что Мари согрешила с юным ломбардцем, она смогла проникнуть в королевское жилище, куда даже помыслить не смели попасть ее отец и братья, несмотря на свое рыцарство, насчитывавшее уже триста лет, и на услуги, оказанные ими королям на поле брани.

Во дворце царил тот особый беспорядок, когда каждый изображает из себя важную персону, та лихорадочная суета, которая немедленно начиналась там, где появлялся Карл Валуа. Пройдя по бесчисленным галереям, коридорам и анфиладам (причем Мари чувствовала, что с каждым шагом словно уменьшается в росте), Толомеи и его спутница достигли наиболее уединенной части дворца, расположенной позади часовни Сент-Шапель и выходившей на Сену и на Еврейский остров. Страж из дворян в воинских доспехах преградил им путь. Ни одна живая душа не смела проникнуть в покои королевы Клеменции без разрешения хранителей чрева. Пока слуги разыскивали графа де Бувилля, Толомеи и Мари отошли к окну.

— Вот, посмотрите, здесь сожгли тамплиеров,—пояснил Толомеи, указывая на остров.

Наконец появился толстяк Бувилль, тоже в полном воинском снаряжении, и решительным шагом, словно шел на штурм крепости, направился к посетителям; под тонкой сталью кольчуги подрагивало его объемистое брюшко. Движением руки он отстранил стража. Толомеи и Мари прошли сначала через комнату, где, сидя в кресле, мирно дремал сир де Жуанвилль. Двое его конюших тут же в сосредоточенном молчании играли в шахматы. Затем Бувилль ввел посетителей в свои собственные покои.

— Оправилась ли мадам Клеменция от своего горя? — спросил Толомеи у Бувилля.

— Плачет она теперь не так часто,— ответил толстяк,— вернее, не показывает нам своих слез, старается их удержать. Но она по-прежнему сражена смертью го-

сударя. Да и здешняя жара ей вредна, у нее то и дело бывают головокружения и обмороки.

«Значит, королева Франции здесь, совсем рядом! — думала Мари со жгучим любопытством.— А вдруг меня ей представят? Осмелюсь ли заговорить с ней о Гуччо?»

Ей пришлось присутствовать при бесконечно долгой беседе — из которой, впрочем, она не поняла ни слова,— между банкиром и бывшим камергером Филиппа Красивого. Называя какие-то имена, оба понижали голос, а то и отходили в сторону, и Мари старалась не прислушиваться к их шепоту.

Граф Пуатье должен был приехать завтра из Лиона. И теперь Бувилль, так страстно ждавший его возвращения, уже и сам не знал, к добру это или нет. Ибо его высочество Валуа решил немедленно отправиться навстречу Филиппу вместе с графом де ла Маршем; и Бувилль, подведя банкира к окну, указал ему на двор, где шли спешные приготовления к отъезду. С другой стороны, герцог Бургундский, обосновавшийся в Париже, приставил стражу из собственных дворян к своей племяннице, крошке Жанне Наваррской. Королевская казна окончательно опустела. Недобрый ветер мятежа реет над столицей, и борьба за регентство грозит страшными бедами. По мнению Бувилля, следовало бы назначить матерью-регентшей королеву Клеменцию, а ей придать Королевский совет в составе Валуа, Пуатье и герцога Бургундского.

Хотя Толомеи слушал с интересом рассказ Бувилля о дворцовых интригах, он все же не раз пытался прервать его сетования и заговорить о цели своего визита.

— Конечно, конечно, мы позаботимся об этой девице,— рассеянно отвечал Бувилль и тут же снова заводил речь о политике.

Получает ли Толомеи сведения из Лиона? Камергер дружески взял банкира за плечо и зашептал ему что-то прямо в ухо. Как? Гуччо заперли вместе с Дюэзом и всем конклавом? Ну и ловкий малый! А как полагает Толомеи, можно ли сообщаться с его племянником? Если ему удастся получить от него весточку или представится случай передать ему записку, пусть немедленно даст знать; Гуччо послужит им в качестве весьма ценного посредника. А что касается Мари...

— Конечно, конечно,— продолжал Бувилль.— Моя супруга — особа весьма умная и деятельная, она уже

устроила все как нельзя лучше. Так что не тревожьтесь.

Кликнули мадам Бувилль, невысокую худенькую даму с властными манерами и личиком, изрезанным продольными морщинами; ее сухонькие ручки постоянно находились в движении. В обществе двух толстяков — Толомеи и Бувилля — Мари чувствовала себя под надежной защитой, а теперь ее сразу охватила тревога и какая-то неловкость.

— Ах, значит, это вы должны скрыть свой грех! — проговорила мадам Бувилль, окинув гостью недоброжелательным взглядом.— Вас ждут в монастыре. Настоятельница не особенно охотно пошла нам навстречу, а когда узнала ваше имя, то просто возмутилась, потому что, оказывается, состоит с вами в родстве и, конечно, не может одобрить вашего поведения. Но, в конце концов, положение моего супруга при дворе сыграло свою роль. Пришлось мне немножко с ней повздорить, и все уладилось. Вас примут в монастырь. Я сама отвезу вас туда к вечеру.

Говорила она быстро, и прервать ее было нелегко. Когда она остановилась, чтобы перевести дух, Мари ответила ей почтительно, но с достоинством:

— Мадам, я не согрешила, ибо я обвенчана перед господом богом.

— Ладно, ладно,— прервала ее мадам Бувилль,— не вынуждайте меня жалеть о том, что мы для вас сделали. Поблагодарите лучше тех, кто вам помог, чем хвастаться своими добродетелями.

Тут Толомеи поторопился поблагодарить супругу Бувилля от имени Мари. Когда же Мари увидела, что банкир направился к двери, ее охватило такое отчаяние, такая растерянность, она почувствовала себя такой одинокой, что, не помня себя, бросилась к Толомеи, словно к родному отцу.

— Сообщайте мне о судьбе Гуччо,— шепнула она ему,— и передайте ему, что я томлюсь без него.

Толомеи ушел, а вслед за ним исчезли и супруги Бувилль. Все послеобеденное время Мари просидела в их приемной, не смея шелохнуться, и только поглядывала в открытое окно на двор, где готовился к отъезду Карл Валуа со свитой. Это зрелище на время отвлекло Мари от ее собственных бед. Никогда еще она не видела таких прекрасных коней, такой прекрасной сбруи, такой прекрасной одежды, и притом в таком множестве. Она

вспомнила крестьян из Крессэ, одетых в лохмотья, с тряпичными обмотками на ногах, и ей впервые пришла в голову мысль, что мир устроен весьма странно, раз одинаковые существа об одной голове и двух руках, равно сотворенные господом богом по его образу и подобию, принадлежат, если судить по их внешнему виду, к двум различным расам.

Молодые конюшие, заметив, что на них смотрит из окошка такая красавица, начали ей улыбаться, а потом, осмелев, слать воздушные поцелуи. Вдруг, прервав свою забаву, они бросились к какому-то вельможе, сплошь расшитому серебром, а тот, видно, был весьма горд собой и принимал царственные позы; потом вся кавалькада умчалась, и полуденный зной тяжело навис над дворами и садами дворца.

К концу дня за Мари пришла мадам Бувилль. Взобравшись на мулов, оседланных по-дамски, то есть ходивших под вьючным седлом, на которое садились боком и ставили ноги на маленькую перекладинку, обе женщины в сопровождении слуг отправились в путь. У дверей таверн толпился народ, слышались крики; между сторонниками графа Валуа и людьми герцога Бургундского началась драка, причем обе стороны были изрядно под хмельком. Городской страже ударами дубинок удалось навести порядок.

— В городе неспокойно,— пояснила мадам Бувилль.— И я ничуть не удивлюсь, если завтра начнется смута.

Проехав через мост Сент-Женевьев и заставу Сен-Марсель, они выехали за пределы Парижа. Пригороды уже окутывал вечерний сумрак.

— В дни моей молодости,— продолжала мадам Бувилль,— здесь и двух десятков домов не было. Но теперь людям негде селиться в городе, вот они и застроили все поля.

Монастырь святой Клариссы был обнесен высокой белой стеной, скрывавшей от постороннего глаза строения, палисадники и фруктовые сады. В стене — низенькая дверца и возле дверцы — башенка, встроенная в толщу каменной стены. Какая-то женщина, с низко надвинутым на лоб капюшоном, быстро прошла вдоль стены, приблизилась к башенке и, вынув из-под плаща сверток, положила его в клеть; из свертка неслись жалобные попискивания; женщина повернула деревянный

барабан, дернула за веревку колокол, но, заметив посторонних, бросилась прочь.

— Что она делает? — полюбопытствовала Мари.

— Подкинула своего младенца, рожденного вне брака,— пояснила мадам Бувилль, кинув на Мари осуждающий взгляд.— Таков обычай. Давайте поторопимся.

Мари стала подгонять своего мула. Ей подумалось, что, может, и ей тоже в один злосчастный день пришлось бы подкинуть свое дитя, так что не стоит слишком жаловаться на свою судьбу.

— Я так благодарна вам, мадам, за все ваши заботы обо мне,— пробормотала она, и на глазах ее выступили слезы.

— Наконец-то слышу от вас первое разумное слово,— ответила мадам Бувилль.

Через несколько минут перед ними распахнулись ворота и Мари поглотило безмолвие святой обители.

Глава VII

ДВОРЦОВЫЕ ВОРОТА

Этим же вечером граф Пуатье добрался до замка Фонтебло, где ему предстояло провести ночь — последнюю ночь перед въездом в Париж. Он кончал ужин в обществе дофина Вьеннского, графа Савойского и своей многочисленной свиты, когда ему доложили о прибытии его дяди графа Валуа, его родного брата графа де ла Марша и их общего кузена Сен-Поля.

— Пусть войдут, пусть войдут немедленно,— приказал Филипп Пуатье.

Но сам не поспешил навстречу дяде. И когда тот, звонко чеканя шаг, торжественно задрав подбородок, появился в пропыленном плаще на пороге, Филипп не сделал даже шага в его сторону, а лишь поднялся с кресла и стоя ждал его приближения. Несколько смущенный таким приемом, Валуа замер в дверях, оглядывая присутствующих, и, так как Филипп упорно не двигался с места, Валуа пришлось сделать к нему несколько шагов. Все свидетели этой сцены замолкли. Когда Валуа приблизился, Филипп обнял его за плечи и дважды коснулся губами его щек, что могло бы при желании сойти за родственную встречу любящего племянника с дядей; но, коль скоро племянник не соблаговолил сдвинуться с места, было чисто королевским жестом.

Поведение Филиппа рассердило Карла де ла Марша. «Неужели мы мчались всю дорогу,— подумал он,— для такой встречи? В конце концов, я ничуть не ниже Филиппа, мы с ним равны; так почему же он позволяет себе обращаться с нами свысока?»

Его прекрасное лицо с правильными чертами, на котором застыло глуповатое выражение, исказилось от горького чувства зависти.

Филипп протянул ему обе руки; поэтому Карлу де ла Маршу не оставалось ничего другого, как обнять брата, впрочем, довольно холодно. Но, желая придать себе веса, а также подчеркнуть свое значение, он проговорил, указывая на Валуа:

— Филипп, вы знаете, что наш дядя старейший член царствующего дома. Мы оценили по достоинству ваше достохвальное согласие с ним и с его намерением взять власть в свои руки. Ибо королевству грозит гибель, если власть перейдет к ребенку, который еще не родился и который, естественно, не может осуществлять верховную власть, даже появившись на свет божий; а главное, как сын своей матери, он навсегда останется для нас чужестранцем.

Эта двусмысленная фраза прозвучала не совсем уместно. Она могла означать, что граф де ла Марш склоняется на сторону своего дяди Валуа, которому и надлежит быть регентом вплоть до рождения ребенка покойного короля, а буде таковой родится мужского пола, то и до его совершеннолетия; но она одновременно выдавала и непомерные притязания самого Валуа. Очевидно, граф де ла Марш повторил, но не совсем точно, те слова, которые вдалбливал ему по пути дядя. Некоторые выражения в этой тираде заставили Филиппа Пуатье нахмуриться. Ясно, Валуа метит на королевский престол.

— Мы нарочно взяли с собой нашего кузена Сен-Поля,— продолжал граф де ла Марш,— пусть он подтвердит вам, что такого же мнения придерживаются и бароны.

Филипп бросил на Карла презрительный взгляд.

— Весьма признателен вам, брат мой, за добрый совет,— холодно произнес он,— и за проделанный вами столь длинный путь лишь для того, чтобы я услышал ваше мнение. Но я полагаю, что вы устали не меньше, чем я, а усталость — плохой советчик. Посему предлагаю вам отправиться спать, а завтра со свежей головой

в тесном кругу обсудим все эти вопросы. Доброй ночи, мессиры... Рауль, Ансо, Адам, прошу вас следовать за мной.

И он вышел из залы, не предложив своим гостям отужинать и даже не поинтересовавшись, где и как они устроятся на ночлег.

В сопровождении Адама Эрона, Рауля де Преля и Ансо де Жуанвилля регент направился в королевские покои. С тех пор как Филипп Красивый испустил здесь дух, никто не касался королевского ложа, но теперь его приготовили для ночлега графу Пуатье. Филипп поторопился занять королевские покои главным образом для того, чтобы их не заняли другие.

Адам Эрон бросился было раздевать Филиппа.

— Боюсь, что нынче ночью мне не придется раздеваться,— остановил его Филипп.— Отправьте-ка, Адам, одного из моих конюших к мессиру Гоше де Шатийону и дайте ему знать, что завтра утром я буду у заставы д'Анфер. И потом пришлите сюда моего цирюльника, ибо я хочу иметь свежий вид... Велите также приготовить к полуночи двадцать лошадей, но только смотрите, когда мой дядя заснет, не раньше... А вам, Ансо,— добавил он, обратившись к сыну сенешаля де Жуанвилля, мужчине уже в летах,— а вам я поручаю предупредить графа Савойского и дофина, а то они, чего доброго, решат, что я им не доверяю. Оставайтесь здесь до утра и, когда дядя обнаружит мое отсутствие, постарайтесь его задержать и всячески замедлить его отъезд. Сделайте так, чтобы он приехал в Париж как можно позже.

Оставшись наедине с Раулем де Прелем, Филипп погрузился в свои мысли, и легист не посмел нарушить этого молчаливого раздумья.

— Рауль,— проговорил наконец граф,— вы день за днем трудились рядом с моим покойным отцом, и вы знали его даже лучше, чем я. Скажите, как бы поступил он в подобных обстоятельствах?

— Поступил бы, как вы, ваше высочество, ручаюсь вам в том и говорю это не для того, чтобы вам польстить, а лишь потому, что твердо в этом уверен. Я слишком любил нашего государя, короля Филиппа, и слишком натерпелся с тех пор, как его призвал к себе господь, и если я служу вам теперь верой и правдой, то лишь потому, что вы напоминаете мне его во всем, даже в мелочах.

— Увы, Рауль, увы, что́ я по сравнению с ним! Отец мог следить за полетом охотничьего сокола и ни на минуту не выпускать его из виду, а у меня слабое зрение. Отец без труда сгибал пальцами подкову. Нет, я не унаследовал от него ни твердости руки во владении оружием, ни внешнего облика, по которому каждый узнавал короля.

Продолжая беседовать с Раулем, Филипп не отрываясь глядел на королевское ложе.

В Лионе он уже чувствовал себя регентом, и ничто там не могло поколебать этой уверенности. Но по мере приближения к столице вера эта понемногу улетучивалась, хоть он и скрывал это от посторонних. Как бы отвечая на не заданный вслух вопрос, Рауль де Прель проговорил:

— Но ведь, ваше высочество, такое положение создалось впервые. Недаром мы обсуждали его в течение нескольких дней. В том состоянии ослабленности, в каком находится ныне Французское королевство, власть окажется в руках того, кто осмелится ее взять. И если это удастся сделать вам, Франция будет в выигрыше.

Когда легист удалился, Филипп, не раздеваясь, прилег на кровать, вглядываясь в маленькую лампу, свисавшую под пологом. Граф Пуатье не испытывал ни малейшей неловкости, никакого неприятного чувства на этом ложе, где еще так недавно покоилось тело его отца. Напротив, он как бы черпал в этом силу; ему казалось, что он становится сколком с отца, замещает его, занимает то обширное место на земле, которое принадлежало королю. «Отец, вселитесь в меня!» — молил он и, не шевелясь, скрестив на груди руки, ждал чуда перевоплощения, надеясь, что в него вселится душа, отлетевшая к небу двадцать месяцев назад.

Из коридора донесся шум шагов, голоса, и он услышал, как его камергер сказал кому-то из свиты Карла Валуа, что граф Пуатье почивает. Тишина окутала замок. А через несколько минут явился брадобрей с неизменным своим тазиком, бритвами и нагретыми полотенцами. Пока его брили, Филипп вспоминал, как в этой самой комнате в присутствии всего двора покойный отец давал последние наставления Людовику, который, увы, не воспользовался мудрыми советами умирающего: «Вникните, Людовик, вникните, что значит быть королем Франции. Как можно скорее ознакомьтесь с состоянием вашего королевства».

Ровно в полночь вошел Адам Эрон и доложил, что лошади готовы. И когда граф Пуатье вышел из королевской опочивальни, ему показалось, что не было этих двадцати месяцев, прошедших со дня смерти Филиппа Красивого, и ничто не изменилось за это время, словно он принял прямо из рук покойного отца бразды правления.

Луна благоприятствовала путникам, освещая им дорогу. Июльское небо, все в мерцающих звездах, напоминало богатый покров пресвятой богородицы. Лес слал им навстречу все свои ароматы — запахи мха, прелой земли и папоротника, под ветвями слышался таинственный шорох зверья, населявшего этот мрак. Филипп Пуатье скакал на чистокровном коне и наслаждался его прекрасным аллюром. Свежий ветер хлестал по его лицу, чуть раздраженному после бритья.

«Как будет жаль,— думал он,— если столь чудесный край попадет в скверные руки».

Небольшая кавалькада миновала лес, пронеслась галопом через Понтьерри и на рассвете сделала привал в ложбине у Эссона, чтобы перекусить и дать отдышаться лошадям. Филипп поел, сидя на межевой тумбе. Лицо его сияло счастьем. Ему было всего двадцать три года, их ночная вылазка чем-то напоминала воинский поход, и он весело шутил со своими спутниками. Веселость, столь редкая у Филиппа, успокоила всех.

В тот час, когда пронзительный звон окрестных монастырей сзывал верующих к ранней мессе, Филипп достиг ворот Парижа. Там его уже дожидались Людовик д'Эвре и Гоше де Шатийон. Коннетабль хмурился, как в дни проигранных сражений. Без лишних слов он предложил графу отправиться в Лувр.

— А почему не прямо во дворец Ситэ? — удивился Филипп.

— Потому что по приказу наших достоуважаемых сеньоров графа Валуа и графа де ла Марша дворец занят их вооруженными людьми. А в Лувре находятся королевские войска, повинующиеся мне, то есть вам, а также арбалетчики мессира Галара... Но надо действовать решительно и спешно,— добавил коннетабль,— дабы опередить наших двух Карлов. Если вы дадите мне приказ, ваше высочество, я овладею дворцом.

Филипп понимал, что каждая минута сейчас дорога. Но ведь в любом случае он опередил Валуа на шесть-семь часов.

— Я не хочу предпринимать никаких решительных мер, прежде чем не узнаю, будут ли они благосклонно приняты зажиточными горожанами и народом Парижа,— ответил он.

И, прибыв в Лувр, Филипп первым делом велел вызвать к себе из Парижской палаты мэтра Кокатри, мэтра Жантьена и еще нескольких знатных нотаблей, а с ними прево Гийома, настоятеля собора святой Мадлены, который в марте занял место прево Плюабуша.

Не тратя зря слов, Филипп сообщил собравшимся о том, какое огромное значение придает он богатым горожанам, равно как и людям, занимающимся ремеслами и торговлей. Польщенные его словами, горожане сразу же успокоились. С такими речами никто не обращался к ним со дня смерти Филиппа Красивого, которого при жизни они, случалось, и поругивали тайком, но о котором в последнее время вспоминали с сожалением. Отвечал Филиппу Жоффруа Кокатри, генеральный контролер, наблюдавший за полноценностью монеты, имевшей хождение в государстве, в чьем ведении находились субсидии и пособия, распределитель военной казны, поставщик армии, досмотрщик над всеми портами и дорогами королевства, глава Счетной палаты,— все эти должности он получил при Филиппе Красивом, и покойный король дал ему, как и всем высоким должностным лицам государства, право на наследственное пособие и никогда не спрашивал с него отчета в делах. Мэтр Кокатри побаивался Карла Валуа, который всегда противился назначению горожан на высокие государственные посты, что и доказал на примере Мариньи; он опасался, что Карл отстранит его от должности, чтобы отобрать огромное состояние, нажитое за последние годы. Посему Кокатри поспешил заверить графа Пуатье, величая его при всяком удобном и неудобном случае «мессиром регентом», в полной преданности парижского населения. А слово мэтра Кокатри стоило многого, ибо в Парижской палате он пользовался неограниченной властью и был достаточно богат, чтобы в случае надобности купить всех городских бродяг и поднять в Париже мятеж.

Весть о возвращении Филиппа Пуатье быстро распространилась по столице. Бароны и рыцари, сочувствовавшие его назначению, начали съезжаться в Лувр, и первой появилась графиня Маго Артуа, лично извещенная о приезде зятя.

— Ну, как себя чувствует моя душенька Жанна? — обратился Филипп к теще, открывая ей объятия.

— Ждет со дня на день разрешения от бремени.

— Вот только закончу дела и сразу же поеду к ней.

После чего граф снова решил посоветоваться со своим дядей Людовиком д'Эвре и коннетаблем.

— А сейчас, Гоше, смело можете брать дворец. Постарайтесь, если, конечно, удастся, закончить операцию к полудню. Но всеми возможными способами избегайте кровопролития. Действуйте более страхом, чем насилием. Не хотелось бы мне вступать во дворец по трупам.

Гоше принял командование над вооруженной стражей, собранной в Лувре, и направился к Ситэ. Одновременно он послал прево в квартал Тампль кликнуть самых искусных плотников и слесарей.

Ворота дворца оказались на запоре. Гоше, при котором неотступно находился командир арбалетчиков, потребовал, чтобы его выслушали. Караульный офицер, выглянув в окошечко, пробитое над главным входом, ответил, что может отпереть ворота лишь по распоряжению графа Валуа или графа де ла Марша.

— Придется вам все-таки мне открыть,— сказал коннетабль,— ибо я намерен войти во дворец и приготовить его к встрече регента, который явится сюда сразу же вслед за нами.

— Открыть мы не можем.

Гоше де Шатийон пригнулся к луке седла.

— Что ж, откроем тогда сами,— сказал он.

И он махнул рукой, подзывая к себе мэтра Пьера, королевского плотника, который явился во главе целого отряда своих подручных, несших пилы, клещи и толстые железные брусья. В то же самое время арбалетчики, вставив ногу в петлю — нечто вроде стремени, помещавшегося на конце самострела,— натянули луки, вложили стрелы в зарубку и выстроились боевым строем, целясь в амбразуры и в просветы между зубцами стены. Лучники и копейщики, сдвинув вплотную щиты, прикрывали, как панцирем, плотников сбоку и сверху. В прилегающих ко дворцу улочках толпились мальчишки и зеваки, которым не терпелось увидеть осаду. Впрочем, держались они на почтительном расстоянии от места предполагаемой битвы. Это было нечаянное развлечение, одних разговоров о таком событии хватит на полгода:

«Говорю вам, я сам там был... А коннетабль как вытащит шпагу, длинную-предлинную, своими глазами видел... Уж поверьте на слово, было их две тысячи, да нет, какое, больше чем две...»

Наконец Гоше громовым голосом, каким посылал войска в атаку, крикнул, подняв забрало:

— Мессиры, находящиеся внутри дворца, смотрите, вот мастера — плотники и слесаря, они сейчас разнесут ворота! А вот и арбалетчики мессира Галара, они окружили дворец со всех сторон! Ни одному из вас не удастся проскользнуть наружу. В последний раз предлагаю вам открыть вход, ибо, если вы не сдадитесь на нашу милость, ваши головы полетят прочь, будь вы самые знатные бароны и сеньоры. Не ждите от регента пощады.

И опустил на лицо забрало, показывая, что в дальнейшие переговоры вступать не намерен.

А там, во дворце, должно быть, царили страх и смятение, так как едва только плотники прикоснулись к воротам, они раскрылись сами. Гарнизон графа Валуа сдался.

— В самое время взялись за ум,— похвалил их коннетабль, въезжая как завоеватель во дворец.— Возвращайтесь по домам или в особняки ваших сеньоров; не вздумайте собираться кучно, тогда вам никто не причинит зла.

Через час Филипп Пуатье расположился в королевских покоях. И сразу же принял все меры предосторожности. Двор Ситэ, обычно открытый для толпы, заперли; выставили вооруженную стражу и тщательно удостоверяли личность каждого, кто пытался проникнуть внутрь. Торговцев красным товаром, издавна пользовавшихся привилегией торговать в большой дворцовой галерее, попросили закрыть на время их лавки.

Когда граф Валуа и его племянник Карл де ла Марш прибыли в Париж, они сразу поняли, что их ставка бита.

— Филипп сыграл с нами злую шутку,— твердили они.

И оба поспешили во дворец, чтобы, за неимением иного выхода, повыгоднее продать свое согласие подчиниться новому регенту. Вокруг Филиппа Пуатье уже толпились знатные сеньоры, горожане и священнослужители, в числе коих находился и Жан Мариньи, как всегда поспешивший встать на сторону сильного.

— Недолго он продержится! Видно, не слишком уверен в своих силах, раз вынужден опираться на простонародье,— вполголоса заметил Валуа, увидев среди присутствующих мэтра Кокатри, Жантьена и других нотаблей.

Тем не менее он принял самый беспечный вид и пробился вперед, чтобы испросить у Филиппа прощения за утренний инцидент.

— Мои оруженосцы и стража ничего не знали. А дан им был такой строгий приказ из-за... королевы Клеменции.

Он ждал от племянника суровой отповеди, больше того, мечтал о ней, чтобы под благовидным предлогом вступить с племянником в открытую борьбу... Но Филипп и не подумал предоставить дяде выгоду ссоры и ответил самым миролюбивым тоном:

— Я вынужден был так действовать, к великому моему огорчению, ибо необходимо было предотвратить козни герцога Бургундского, которому ваш отъезд развязал руки. Нынче ночью в Фонтенбло я получил об этом весть и не захотел вас будить.

Желая скрыть свою неудачу, Карл Валуа волей-неволей принял это объяснение и даже заставил себя приветливо улыбнуться коннетаблю, которого не без основания считал главным действующим лицом всей этой интриги.

Карл де ла Марш, не столь поднаторевший в искусстве притворства, стоял не раскрывая рта.

Тут граф д'Эвре внес предложение, которое они заранее обсудили с Филиппом. Воспользовавшись той минутой, когда Пуатье удалился в угол якобы за тем, чтобы решить кое-какие неотложные дела с коннетаблем и Милем де Нуайэ, Людовик д'Эвре начал:

— Благородные сеньоры и все вы, мессиры, послушайтесь моего совета, пусть ради блага нашего королевства и предотвращения пагубных смут наш возлюбленный племянник Филипп возьмет в свои руки бразды правления с всеобщего нашего согласия и вершит дела от имени будущего своего племянника, если по господней милости королева Клеменция разродится младенцем мужеского пола; советую также созвать ассамблею с участием самых высокопоставленных в государстве лиц, и притом по возможности скорее; пусть в ней примут участие пэры и бароны, дабы одобрить наше решение и присягнуть на верность регенту.

Это был ответный удар на заявление, сделанное накануне в Фонтенбло Карлом де ла Маршем. Но эту сцену разыграли более искусные актеры. Подстрекаемые приспешниками графа Пуатье, все присутствующие дружно выразили свое одобрение. И тут Людовик д'Эвре повторил жест графа де Форэ, когда тот в Лионе вложил обе свои руки в руки Филиппа.

— Клянусь вам в верности, племянник,— сказал он, преклоняя колена.

Филипп поднял дядю с колен, облобызал и успел шепнуть ему на ухо:

— Все прошло как нельзя лучше; огромное спасибо вам, дядюшка.

Карл де ла Марш, в полном отчаянии, не в силах сдержать ярости при виде торжества брата, злобно прошипел:

— Король... Он себя уже королем считает!

Но Людовик д'Эвре подошел к Карлу Валуа и произнес:

— Простите, брат мой, что я нарушил законы старшинства.

Карлу Валуа осталось лишь одно — смириться. Он приблизился к Филиппу, протягивая руки. Но эти руки повисли в воздухе.

— Надеюсь, дядя, вы окажете мне честь и будете заседать в моем Совете,— сказал Филипп.

Валуа побледнел. Еще накануне он собственноручно подписывал ордонансы и скреплял их своей личной печатью. А сегодня ему как великую честь предлагают заседать в Совете, как будто у него нет на это права!

— Вручите нам также ключи от казны,— добавил Филипп, понижая голос.— Я отлично знаю, что там свищет ветер. Но пусть хоть окончательно все оттуда не высвищет.

Валуа невольно отпрянул; это уж была полная отставка от всех должностей.

— Но, племянник, не могу...— пробормотал он.— Ведь надо еще привести в порядок счета...

— Так ли уж вы, дядюшка, стремитесь привести счета в порядок? — спросил Филипп с еле заметной иронией.— В таком случае мы также вынуждены будем их проверить, а равно судьбу имущества, изъятого у Ангеррана Мариньи. Лучше отдайте нам ключи, и будем считать, что мы квиты.

Валуа понял, что это угроза.

— Будь по-вашему, племянник, ключи будут здесь через час.

Тут только Филипп протянул дяде руки и принял присягу от своего самого могущественного соперника.

К новому регенту подошел коннетабль Франции.

— А теперь, Гоше,— шепнул ему Филипп,— займемся бургундцем.

Глава VIII

ПЕРВЫЕ ВИЗИТЫ ГРАФА ПУАТЬЕ

Граф Пуатье не строил себе иллюзий. Он одержал первую победу, быструю и внушительную; но понимал, что его противники так просто не сложат оружия.

Приняв от его высочества Валуа присягу на верность, хотя и не сомневаясь, что присягу принесли лживые уста, Филипп первым делом направился к своей невестке Клеменции, чьи покои находились в самом дальнем конце дворца. Его сопровождали Ансо де Жуанвилль и графиня Маго. Завидев Филиппа, Юг Бувилль даже заплакал от радости и, упав на колени, облобызал его руки. Бывший первый камергер Филиппа Красивого, хоть он и входил в Совет пэров, не явился на вечернее заседание; все последнее время он ни на минуту не покидал своего поста, не выпускал из рук шпаги. Осада дворца людьми коннетабля, общая суматоха и бегство приверженцев графа Валуа — все это оказалось слишком суровым испытанием для его чересчур чувствительной натуры.

— Простите, ваше высочество, простите мне эту слабость... Я плачу от радости, оттого, что вы возвратились,— бормотал он, обливая слезами тонкие пальцы регента.

— Ну полноте, полноте, дражайший Бувилль,— сказал Филипп.

Древний старец Жуанвилль не узнал графа Пуатье. Не узнал он также и родного сына и только после трехкратных повторений понял, кто перед ним, но тут же опять все перепутал и почтительно склонился перед Ансо.

Бувилль распахнул двери покоев королевы. Но когда Маго двинулась было вслед за Филиппом, хранитель чрева обрел прежнюю энергию и воскликнул:

— Только вы один, ваше высочество, только вы один!

И захлопнул двери перед самым носом графини.

Королева Клеменция сидела в своих покоях с бледным, усталым лицом, и чувствовалось, что тревожные события, разыгравшиеся во дворце и взволновавшие жителей столицы, были ей глубоко безразличны. Но, увидев Филиппа, который приближался к ней с широко раскрытыми объятиями, она невольно подумала: «Выйди я замуж за него, я не была бы сейчас вдовой. Почему Людовик? Почему не Филипп?» Она гнала прочь эти мысли, которые считала богохульством, упреком всевышнему. Но нет на свете такой силы, даже пламенная вера не может помешать двадцатитрехлетней вдове терзаться вопросом: почему, почему другие молодые мужчины, почему чужие мужья остались в живых?

Филипп сообщил ей о своем регентстве и уверил королеву в своей безусловной преданности.

— Да, брат мой, да, помогите мне,— пробормотала она.

Ей хотелось сказать: «Помогите мне жить, помогите мне бороться с безысходным моим горем. Помогите мне произвести на свет это новое существо, которому отныне принадлежат все мои помыслы»,— но она не сумела выразить свою мысль и только спросила:

— Почему наш дядя Валуа силой увез меня из Венсенского дворца? Ведь Людовик на смертном одре подарил дворец мне.

— Стало быть, вы хотите туда возвратиться? — осведомился Филипп.

— Это единственное мое желание, брат мой! Там я почувствую себя сильнее. И дитя мое родится в близости от того места, где душа его отца отлетела прочь.

Не в привычках Филиппа было принимать решения наспех, даже самые, казалось бы, второстепенные. Он отвел взор от бледного личика Клеменции, полускрытого белой вуалью, и через окно поглядел на шпиль Сент-Шапель; четкие линии часовни расплывались и туманились в его близоруких глазах, и он видел лишь огромный каменный стебель, разукрашенный золотом, на вершине которого как бы расцветала королевская лилия.

«Если я удовлетворю эту просьбу,— думал он,— Клеменция будет мне признательна как своему защитнику и покровителю и будет следовать всем моим решениям. К тому же моим противникам будет труднее добраться до нее в Венсене, а значит, и труднее пользо-

ваться ею как орудием против меня. Хотя в теперешнем ее состоянии скорби никому она не послужит орудием».

— Я стремлюсь только к тому, сестра, чтобы удовлетворить любое ваше желание,— произнес он,— и когда высокая ассамблея утвердит меня в правах регента, первой моей заботой будет отправить вас обратно в Венсен. Сегодня понедельник, ассамблея, поскольку я тороплюсь, соберется не позднее пятницы. Так что в следующее воскресенье вы, надеюсь, сможете прослушать мессу в вашем собственном дворце.

— Я знала и знаю, Филипп, что вы мне настоящий брат. Ваш приезд — первое утешение, милостиво посланное мне господом.

Выйдя из покоев королевы, Филипп увидел поджидавшую его тещу... Она сцепилась было с Бувиллем, но, потерпев поражение, широким мужским шагом мерила длинную галерею под недоверчивым взглядом конюших.

— Ну, как она? — обратилась Маго к Филиппу.

— Благочестива и смиренна, как всегда, и вполне достойна произвести на свет короля Франции,— ответил Филипп громко, чтобы его могли слышать присутствующие.

Затем, понизив голос, добавил:

— Не думаю, что при ее состоянии здоровья она способна доносить ребенка до положенного срока.

— Лучшего подарка она не может нам преподнести, а главное, все тогда уладилось бы само собой,— тоже полушепотом ответила Маго.— Кончились бы, слава те господи, все эти страхи и подозрения, вся эта комедия с охраной, словно кругом идет война. С каких это пор пэру Франции заказан вход к королеве? Я тоже осталась вдовой, но, черт возьми, если дело касалось интересов моих владений, люди свободно приходили ко мне.

Эта отравительница искренне негодовала, что меры, принятые для охраны королевы, направлены и против нее тоже.

Филипп, еще не видевший жены, последовал за Маго в отель Артуа.

— Ваша разлука тяжело отразилась на моей дочери,— сказала Маго.— Но тем не менее вы, надеюсь, найдете ее восхитительно свежей. Никто не скажет, что она накануне родов. И я тоже, когда бывала в тягости, помню, до последней минуты бегала по всему замку.

Встреча графа Пуатье с женой прошла весьма трогательно, хотя не было пролито ни одной слезы. Правда,

Жанна отяжелела и двигалась не так изящно, как прежде, но весь ее облик свидетельствовал об отменном здоровье и счастье. Начинало темнеть, и при свечах — отблеск коих благоприятен дамам, заботящимся о своей наружности,— лицо Жанны не носило никаких следов ее положения, словно она и не была на сносях. Несколько ниток кораллов, которые, как известно, помогают при родах, украшали ее шейку.

Только в присутствии жены Филипп впервые понял, сколь велика одержанная им победа, и впервые почувствовал гордость. Обняв жену, он произнес:

— Надеюсь, милый друг, отныне я смогу называть вас мадам регентша.

— Если бы господь бог смилостивился надо мной и послал вам сына!— ответила она, прижимаясь к груди худощавого, но крепкого Филиппа.

— Пусть бы господь бог простер свое милосердие, чтобы роды произошли не раньше пятницы,— шепнул Филипп на ухо жене.

Но тут же между Маго и Филиппом начался спор. Графиня Артуа считала, что Жанну следует немедленно перевести в королевский дворец, в покои ее супруга. А Филипп держался противоположного мнения и требовал, чтобы Жанна оставалась в отеле Артуа. Он приводил десятки вполне разумных доводов, но скрыл единственную истинную причину своего упорства и, конечно, ничуть не убедил графиню Маго. В королевском дворце соберется ассамблея, неизвестно еще, пройдет ли она мирно; во всяком случае, волнение может пагубно отразиться на состоянии роженицы; с другой стороны, Филипп считал необходимым дождаться отъезда королевы Клеменции в Венсен и лишь после этого поселить Жанну в королевском дворце.

— Бог знает, что вы говорите, Филипп,— воскликнула Маго.— А вдруг завтра ее уже поздно будет трогать с места? Неужели вам не хочется, чтобы ваш ребенок увидел божий свет во дворце?

— Именно этого-то я и хочу избежать.

— Решительно не понимаю вас, сын мой,— промолвила Маго, пожимая своими могучими плечами.

Этот спор утомил Филиппа. Он не спал больше суток, проскакал еще до рассвета пятнадцать лье, а сегодняшний день был самым трудным, самым беспокойным днем за всю его жизнь. Он досадливо провел ладонью по щекам, уже успевшим зарасти густой щетиной, он

чувствовал, что временами веки его неудержимо смыкаются. Но решил не поддаваться усталости. «В постель, скорее в постель. Только бы она быстрее подчинилась мне, и тогда я смогу лечь»,— думал он.

— Узнаем лучше мнение Жанны. Чего вы сами хотите, душенька? — спросил он, уверенный в ответе жены.

Графиня Маго славилась чисто мужским умом, чисто мужским самообладанием и неусыпно пеклась о престиже своего славного рода. Жанна пошла характером не в мать и уже давно смирилась с тем, что самой судьбой предназначена для второстепенных ролей. Сначала ее прочили в невесты Сварливому, но потом отдали в жены второму сыну Филиппа Красивого, и таким образом ей пришлось распрощаться со столь уже близкой короной Наварры и Франции. Когда разразился неслыханный скандал в Нельской башне, она, хоть и помогала сестрам в любовных интригах, хоть и приобщилась к чужим романам, сама не нарушала супружеской верности; даже когда преступницы понесли жестокую кару и были осуждены на пожизненное заключение, она избегла их суровой участи. Причастная ко всем драмам, Жанна ни в одной не играла главной роли. Скорее из чувства какого-то внутреннего изящества, нежели по соображениям морали, брезгливо сторонилась она крайностей; а год, проведенный в крепости Дурдан, лишь усугубил ее природную осмотрительность. Умная, чувствительная и ловкая, Жанна искусно и всегда кстати прибегала к исконному женскому орудию — к покорности.

Сразу поняв, что Филипп неспроста настаивает на своем, она сумела подавить мимолетное чувство вполне законного тщеславия и произнесла:

— Я хочу, матушка, рожать именно тут. Мне здесь будет лучше.

В сущности, ей действительно было все равно, родится ли ее четвертый ребенок в королевском дворце или где-либо еще. Филипп поблагодарил жену ласковой улыбкой. Сидя в огромном кресле с прямой спинкой, удобно скрестив длинные ноги, он стал расспрашивать тещу о повивальных бабках и акушерках, которые будут принимать младенца; пожелал узнать их имена, осведомился, кто присоветовал позвать именно их и можно ли на них полностью положиться. А главное, добавил он, пусть приведут их к присяге, хотя эта мера предосторожности принималась лишь при разрешении от бремени особ королевского рода.

«Как он заботится обо мне, какой у меня добрый супруг»,— думала Жанна, слушая его речи.

Филипп потребовал также, чтобы, когда у графини начнутся схватки, ворота отеля Артуа закрыли наглухо. И пусть оттуда никого не выпускают, за исключением одного лица, которому будет поручено сообщить ему, Филиппу, о положении роженицы.

— Ну, хотя бы вас,— добавил он, указывая на красавицу Беатрису д'Ирсон, присутствовавшую при разговоре.— Моему камергеру будет дано соответствующее распоряжение, и он вас проведет ко мне в любой час, если даже я буду заседать в Совете. И если вокруг меня будут посторонние, говорите шепотом и ни слова никому другому... если родится сын. Я доверяю вам, ибо не забыл, что вы верно послужили мне.

— Если бы вы знали, ваше высочество, как верно я вам служу,— ответила Беатриса, чуть склонив голову.

Маго метнула на Беатрису испепеляющий взгляд. Даже она сама, бесстрашная графиня Артуа, трепетала перед этой девицей, казалось бы, такой томной и бесхитростной, но способной на самые отчаянные поступки. Беатриса по-прежнему улыбалась. Эта мимическая сцена не ускользнула от Жанны, но она сочла благоразумным промолчать. Между графиней и ее фрейлиной накопилось столько тайн, что Жанна предпочитала не поднимать над ними завесы.

Она тревожно оглянулась на мужа, но тот ничего не заметил. Опершись затылком о спинку кресла, он крепко спал, сраженный внезапным сном победителя. На его остроносом и обычно суровом лице застыло кроткое выражение, словно он прислушивался к чему-то, и сейчас регент Филипп напоминал того мальчика, каким был когда-то. Жанна умилилась. Неслышно ступая, подошла она к мужу и осторожно коснулась губами его лба.

Глава IX

ДИТЯ, РОДИВШЕЕСЯ В ПЯТНИЦУ

На следующий же день Филипп начал готовиться к ассамблее, назначенной на пятницу. Если он победит, никто не осмелится оспаривать его право на власть ни сейчас, ни потом.

По его приказу срочно рассылали гонцов и глашатаев созывать на ассамблею по издавна установленному

обычаю знатных людей королевства — но позвали лишь тех, кто находился не более чем в двух днях пути от Парижа; преимущества такого приглашения были очевидны: с одной стороны, нужно было ковать железо, пока оно горячо, а с другой — устранить кое-кого из знатных сеньоров, чьей неприязни не без основания опасался Филипп, имея в виду графа Фландрского и короля Англии.

Одновременно он поручил Гоше де Шатийону, Милю де Нуайэ и Раулю де Прелю подготовить положение о регентстве, каковое подлежало рассмотрению на ассамблее. Опираясь на уже принятые решения, легисты утвердили следующие пункты: граф Пуатье будет управлять обоими королевствами во временном звании хранителя, регента и правителя и взимать все королевские доходы. Ежели королева Клеменция родит сына, тот, само собой разумеется, будет королем, а Филипп останется регентом вплоть до его совершеннолетия. Но если Клеменция родит дочь... Вот тут-то и начинались главные трудности. Ибо по справедливости следовало бы короновать в этом случае маленькую Жанну Наваррскую, дочь Сварливого от первого брака. Но доказано ли, что она его законная дочь? Этим вопросом задавался весь двор, все королевство. Не будь скандальной истории с Нельской башней, не будь любовной интриги и суда в Понтуазе, права девочки на французский престол были бы неоспоримы и она, за неимением наследника мужского пола, стала бы королевой Франции. Но в отношении маленькой Жанны существовали тяжелые подозрения, и именно на ее незаконное происхождение особенно напирал Карл Валуа, устраивая второй брак Людовика X, да и сам Филипп при случае не прочь был намекнуть на это обстоятельство. Сопоставление дат рождения Жанны и начала преступной связи ее матери наводило на кое-какие мысли. Равно как и то непонятное отвращение, с каким Людовик относился к своей дочери, которой запрещено было даже показываться на глаза отцу. И неудивительно поэтому, что при дворе прошел слух: дочь Филиппа д'Онэ.

Таким образом, истории Нельской башни, приукрашенной народной фантазией, суждено было со временем стать некой волшебной сказкой, легендой великой любви, порока, преступления и ужаса; этот, в общем обычный адюльтер, обнаруженный два года тому назад, поставил перед государственными мужами сложную ди-

настическую проблему, и именно он изменил издревле принятый во Франции порядок наследования.

Кто-то предложил уже сейчас решить, что корона в любом случае переходит к ребенку Клеменции, будь то мальчик или девочка.

Услышав такие слова, Филипп нахмурился и привел десяток вполне разумных доводов против этого проекта. Безусловно, подозрения насчет законнорожденности Жанны Наваррской вполне основательны, но ведь прямых доказательств не существует. Ни мать Маргариты Наваррской, престарелая Агнесса, вдовствующая герцогиня Бургундская, ни ее сын, Эд IV, нынешний герцог Бургундский, конечно, не согласятся с тем, чтобы их внучку и племянницу насильственно лишили прав на престол. Все враги королевской власти, и первый — граф Фландрский, не преминут принять их сторону ради своих личных выгод. Таким образом, во Франции может вскоре вспыхнуть гражданская война, война двух королев.

— В таком случае,— предложил Гоше де Шатийон,— давайте прямо так и скажем, что женщины не могут взойти на престол. Должен же существовать какой-нибудь старинный обычай, на него-то мы и сошлемся.

— Мне тоже приходила в голову такая мысль,— отозвался Миль де Нуайэ.— Более того, я велел просмотреть все законы, но, увы, ничего не обнаружил.

— Пускай ищут получше! Поручите это ученым мужам из Университета и Парламента. Если они возьмутся за дело, они раскопают что угодно, под любое решение подведут обычай и истолкуют его так, как нам надобно. Они до самого Хлодвига дойдут и докажут как дважды два, что вам нужно отсечь голову, поджарить пятки или отрубить вам то, чем вы особенно дорожите.

— Ваша правда, так далеко они не заглядывали,— согласился Миль.— Я приказал им начинать с королевских обычаев, установленных Гуго Великим. Следовало бы копнуть поглубже. Но, боюсь, к пятнице мы ничего подходящего не обнаружим.

Убежденный женоненавистник, как и все добрые вояки, коннетабль упрямо твердил, свирепо двигая своей квадратной челюстью и жмуря морщинистые, как у черепахи, веки:

— Ей-богу, просто безумие позволять женщинам править страной! Ну скажите, где вы видели, чтобы да-

ма или девица командовала армией, не говоря уже о том, что каждый месяц она считается нечистой и каждый год беременеет! И как она, по-вашему, может привести к повиновению вассалов, если не способна смирить голос собственной плоти? Нет, и думать об этом не хочу, и если такое случится — возвращаю вам свою шпагу. Выслушайте меня, мессиры, Франция слишком благородное королевство, чтобы засадить ее за прялку и ткацкий станок. Негоже лилиям прясть!

Этот афоризм хоть и не был немедленно принят всеми присутствующими, все же запал в голову легистам, и позже они не преминули с успехом пустить его в ход.

Филипп Пуатье наконец одобрил весьма двусмысленно составленный документ, откладывавший окончательное решение на неопределенный срок.

— Главное — поставить вопросы, но самим ответа на них не давать,— говорил он.— И напустить побольше туману, дабы каждый поверил, что здесь-то и таится для него прямая выгода.

Таким образом было установлено, что, буде королева Клеменция разрешится дочерью, Филипп останется регентом вплоть до совершеннолетия старшей своей племянницы Жанны. Только тогда будет решено, кому перейдет корона — то ли двум принцессам, между коими поделят Францию и Наварру, то ли одной из них, которая будет, как и ныне, править двумя объединенными королевствами, то ли ни одной из них, если обе откажутся от своих законных прав или ежели ассамблея пэров, призванная для обсуждения, решит, что Францией не может править женщина; в таком случае корона переходит ближайшему родственнику мужского пола последнего короля... другими словами, Филиппу Пуатье. Итак, впервые было официально названо его имя как претендента на престол, но при этом было нагромождено столько оговорок, что создавалось впечатление, будто решение это чисто временное, скорее всего обычный компромисс, и притом весьма спорный.

Это установление, одобренное лично каждым из баронов, сторонников Филиппа, было единодушно принято.

Одна лишь Маго выказала непонятное упрямство и не согласилась одобрить этот акт, подготовляющий восхождение на престол Франции ее зятя и ее собственной дочери. Кое-какие пункты этого устава пришлись ей не по душе.

— А нельзя ли просто написать,— твердила она,— «буде обе королевские дочери откажутся от своих прав...» и не выносить на ассамблею пэров решение вопроса о том, могут ли вообще править особы женского пола?

— Да что вы, матушка,— возразил Филипп,— в таком случае они ни за что не откажутся. Пэры, а ведь вы сами принадлежите к их числу,— единственная полномочная ассамблея. В прежние времена пэры избирали короля, как кардиналы избирают папу или пфальцграфы — императора, и именно они выбрали нашего предка Гуго, который и стал герцогом Франции. Если теперь им не приходится избирать, то лишь потому, что в течение трехсот лет наши короли бессменно от отца к сыну наследовали престол.

— Хорош порядок, который зависит от счастливого случая! — возразила Маго.— Ведь ваш устав будет на руку моему племяннику Роберу. Вот увидите, он непременно этим воспользуется и опять попытается отобрать у меня мое графство.

Как и всегда, все помыслы Маго занимал ее спор с племянником из-за наследства, а никак не интересы Франции.

— Обычаи государства не одно и то же, что обычаи ленных владений, матушка. И вам легче будет сохранить свое графство не с помощью различных юридических заковык, а с помощью короля, другими словами, вашего зятя.

Маго, хоть и не дала убедить себя, вынуждена была покориться.

— Подите ждите после этого благодарности от зятьев,— жаловалась она вечером Беатрисе д'Ирсон.— Тут хлопочешь, подносишь яд королю, чтобы очистить им место, а они, нате вам, сразу же начинают делать все по-своему и ни с кем не желают считаться...

— А все потому, мадам, что он не знает достоверно, чем вам обязан; не знает он также, почему и как нашего государя Людовика вынесли из дворца ногами вперед.

— И не надо ему ничего знать, господи боже ты мой! — воскликнула Маго, поспешно коснувшись того самого места на груди, где висела ладанка с мощами святого Дрюона. Каждый раз, когда речь заходила о ее злодеяниях, она прибегала к его высокой защите.— В конце концов, это же его родной брат, и наш Филипп

по-своему понимает справедливость. Придержи-ка язычок, сделай милость, придержи-ка язычок!

Тем временем Карл Валуа с помощью Карла де ла Марша и Робера Артуа развил бурную деятельность; они твердили всем и каждому, что назначать регентом графа Пуатье — безумие и столь же безумно прочить его в наследники престола. У Филиппа и его тещи слишком много врагов; кончина Людовика пришлась им на руку, чего они теперь и не скрывают, и вряд ли они совсем уж непричастны к этой подозрительно быстрой смерти. Он, Валуа, совсем другое дело, и он один, по его словам, может разрешить все трудные проблемы, стоящие перед Францией. Он в дружеских отношениях с Неаполитанским королем и, понятно, сумеет предотвратить любые неприятности, могущие возникнуть со стороны Клеменции. К тому же он единственный из всей королевской фамилии сохранил, вопреки войнам и набегам, добрососедские отношения с графом Фландрским. Оказав немало услуг папскому престолу, он пользуется безграничным доверием итальянских кардиналов, а без них папы не выберешь, несмотря на все грязные махинации с конклавом, который заперли в соборе. Да и бывшие тамплиеры не забыли, что Карл не одобрял гонений на их орден, так что и в этом отношении он тоже наиболее подходящая кандидатура в регенты.

Когда до Филиппа дошел слух об этих кознях, он поручил своим сторонникам на все такие разговоры отвечать одно: странно все-таки, что родной дядя короля хвастает своей близостью с врагами короны и ищет в них поддержку, и если желательно, чтобы папа был в Риме, а Франция в руках анжуйцев, фламандцев или воскресшего Ордена тамплиеров, Филипп, не мешкая, передаст графу Валуа бразды правления.

Наконец наступила долгожданная пятница, когда должна была собраться ассамблея. На заре Беатриса д'Ирсон явилась во дворец и была тут же проведена в покои Филиппа. Придворная дама графини Маго изрядно запыхалась, промчавшись единым духом по улице Моконсей. Филипп приподнялся на подушках.

— Мальчик? — спросил он.

— Мальчик, ваше высочество, и на редкость здоровый,— ответила Беатриса, взмахивая ресницами.

Филипп поспешно оделся и бросился в отель Артуа.

— Ворота, ворота! Пусть ворота будут на запоре! — приказал он, входя во двор.— Строго ли исполняются

мои распоряжения? Никто, кроме Беатрисы, отсюда не выходил? Пусть до вечера все так и будет.

И тут же помчался вверх по лестнице. С него мигом слетела всегдашняя его скованность и важность, которую он обычно напускал на себя.

«Родильные покои» — ибо в ту пору в каждой семье, принадлежавшей к царствующему дому, роженице отводились особые апартаменты — были пышно разукрашены. Роскошные гобелены, расшитые травами и попугаями, знаменитые аррасские гобелены, гордость графини Маго, покрывали стены сверху донизу. Весь пол был устлан цветами — ирисами, розами, маргаритками, которые безжалостно топтали входившие. Роженица с блестящими глазами, но с бледным личиком, еще носившим следы пережитых мук, лежала на широкой кровати под шелковым пологом, на белоснежных простынях, спускавшихся с постели и покрывавших пол на локоть вокруг. В углу стояли две кушетки, тоже под шелковыми пологами: одна предназначалась для повивальной бабки, принесшей присягу, другая для няньки, охранявшей колыбель.

Молодой регент направился прямо к богато разукрашенной колыбельке и склонился над ней, стараясь разглядеть своего богоданного сына. Страшненький и все же умилительный, как все новорожденные, с красным морщинистым личиком, со слипшимися веками и слюнявым ротиком, с жиденькой прядкой белокурых волосиков на лысом черепе, младенец продолжал спать, словно зародыш в материнской утробе, и, туго запеленутый до самой шеи, казался крохотной мумией.

— Так вот он, мой маленький Филипп, которого я так долго ждал и который появился на свет божий в самое время,— произнес граф Пуатье.

Лишь после этого он приблизился к жене, расцеловал ее в обе щеки и проговорил голосом, исполненным глубокой признательности:

— Спасибо вам, душенька, великое спасибо. Вы доставили мне огромную радость, и пусть отныне навсегда исчезнут все былые наши недоразумения.

Жанна схватила длинную, узкую кисть Филиппа, поднесла ее к губам, провела ею по своему лицу.

— Господь бог благословил наш союз, благословил нашу августовскую встречу,— шепнула она.

Жанна до сих пор еще не рассталась со своим коралловым ожерельем.

Графиня Маго, засучив по обыкновению рукава и открыв поросшие густым пушком руки, присутствовала при этой сцене с таким видом, словно именно она была главной виновницей торжества. И, вмешавшись в разговор, энергично хлопнула себя по животу.

— Ну что, сынок? — зычно пророкотала она.— Ну что я вам говорила? Уж поверьте мне, утробы графства Артуа и Бургундии не подведут.

О всех представительницах их славного рода она говорила, как о заводских кобылах.

Филипп тем временем снова подошел к колыбельке.

— А нельзя ли распеленать мальчика, чтобы я мог его получше рассмотреть? — спросил он.

— Не стоит, ваше высочество,— возразила повивальная бабка.— Члены ребенка весьма хрупки, и посему советуют как можно дольше держать младенца спеленутым, дабы их укрепить и дабы они не искривились. Но будьте благонадежны, ваше высочество, мы его хорошенько протерли солью и медом и посыпали толчеными розовыми лепестками, чтобы очистить от слизи, а потом обмакнули палец в мед и помазали ему медом язык и нёбо, чтобы ему было сладко и захотелось кушать. Будьте спокойны, мы его холим и лелеем.

— И вашу Жанну тоже, сынок,— добавила Маго.— Я по совету мэтра Арно де Вильнева велела натереть ее бальзамом, настоенном на заячьем помете, а он имеет свойство сокращать мускулы, особенно живота.

Теща упирала главным образом на это обстоятельство, намекая, что ее зятя ждут новые услады.

— Но, матушка,— возразила роженица,— по-моему, это помогает лишь бесплодным женщинам.

— Не говори! Заячий помет хорош при всех случаях,— уверяла графиня.

Филипп, по-прежнему не отрываясь, глядел на своего наследника.

— Не находите ли вы, что он очень похож на моего отца, великого короля Филиппа? — обратился регент к теще.— Смотрите, лоб, а особенно подбородок!..

— Возможно, чуточку похож,— неохотно согласилась Маго.— По правде говоря, как только я на него взглянула, мне показалось, что я вижу перед собой покойного Оттона... Лишь бы он унаследовал от обоих дедушек их душевную и телесную силу, вот чего я ему желаю.

— А по-моему, он больше всего похож на вас, Филипп,— кротко заметила Жанна.

Граф Пуатье горделиво расправил плечи.

— Надеюсь, теперь вы поняли смысл моих приказаний, матушка,— произнес он,— поняли, почему я прошу вас держать ворота на запоре. Ни одна живая душа не должна покамест знать, что у меня родился сын. В противном случае непременно начнут говорить, что я нарочно предложил такой порядок наследования, чтобы закрепить за ним престол после себя, ежели Клеменция родит дочь; и я знаю также, что первым заупрямится мой братец Карл, коль скоро он таким образом лишится надежды получить французскую корону. Поэтому, если вы хотите, чтобы этому дитяти удалось стать в свое время королем,— ни слова на сегодняшней ассамблее.

— Ах, ведь и верно, сегодня ассамблея! Из-за нашего молодца я совсем об этом забыла! — воскликнула Маго, указывая на колыбельку.— Давно пора одеваться, да и перекусить перед боем не мешает. У меня кишки с голоду подвело, ведь я поднялась нынче ни свет ни заря. Вы правы, Филипп. Беатриса, иди сюда, Беатриса!

Маго хлопнула в ладоши и велела подать себе паштет из щуки, вареные яйца, творог с пряностями, ореховое варенье, персики и белое вино Шато-Шалон.

— Нынче пятница — постный день,— пояснила она.

Солнце, поднявшееся над крышами Парижа, заливало своим светом это счастливое семейство.

— Поешь немножечко. Паштет из щуки не повредит,— посоветовала Маго дочери.

Филипп заторопился — надо было еще отдать последние распоряжения относительно ассамблеи, час открытия которой приближался.

— Сегодня, душенька, вам не придется принимать поздравлений,— обратился он к Жанне, указывая на подушки, разложенные полукругом у постели.— Но завтра от посетителей отбоя не будет.

Он направился к двери, но Маго успела схватить его за рукав.

— Подумайте, сын мой, о Бланке, которая томится в Шато-Гайаре. Ведь она родная сестра вашей супруги.

— Подумаю, подумаю. Посмотрю, как и чем облегчить ее участь.

И он ушел, так и не заметив, что к подошве его сапога прилип раздавленный ирис, один из тех ирисов, что устилали пол в покоях роженицы.

Маго собственноручно закрыла за зятем дверь.

— А теперь, няньки, пойте колыбельную,— приказала она.

Глава X

АССАМБЛЕЯ ТРЕХ ДИНАСТИЙ

Со двора в покои королевы Клеменции доносился гул голосов, раскатывавшийся эхом под каменными сводами, топот ног высокородных сеньоров и знатных людей, съезжавшихся на ассамблею.

Как раз вчера истекли сорок дней, в течение которых вдовствующей королеве запрещено было показываться на люди, и Клеменция по наивности души решила, что созыв ассамблеи с умыслом приурочен к этому дню, дабы она могла ее возглавить. Королева заранее начала готовиться к своему первому торжественному выходу с невольным чувством любопытства, интереса и нетерпения; в эти дни ей даже стало казаться, что в душе ее вновь просыпается вкус к жизни. Но в последнюю минуту совет лекарей и медиков, в числе коих находились личные врачеватели графа Пуатье и графини Маго, порекомендовал ей не покидать своих покоев, ибо, по их словам, любое волнение может пагубно отразиться на ее положении.

Каждый поспешил признать это решение весьма разумным, так как в действительности никто не собирался отстаивать права королевы Клеменции на регентство и даже на ее законное право присутствовать на ассамблее. Но тем не менее, поскольку заинтересованные люди судорожно искали в истории королевства Французского нужные примеры и прецеденты, на свет божий из тьмы веков извлекли королеву Анну Русскую, вдову Генриха I, правившую Францией после смерти супруга вместе со своим зятем Бодуэном Фландрским «в силу нерушимого права, дарованного при помазании»; равно ссылались на более близкий пример — на королеву Бланку Кастильскую, память о которой была еще свежа.

Однако дофин Вьеннский, зять Клеменции, который имел все основания выступить в защиту интересов вдовствующей королевы, целиком перешел на сторону Филиппа после подписания брачного контракта между своим сыном и маленькой дочкой графа Пуатье.

Карл Валуа, выдававший себя за ярого защитника и покровителя племянницы, охладел к своей роли, счи-

тая рискованным за нее заступаться; к тому же ему приходилось отстаивать свои личные интересы.

Что касается герцога Эда Бургундского, месяц назад объявившего, что он явился в Париж лишь затем, чтобы защищать права своей сестры Маргариты и отомстить за ее смерть, то он питал к Клеменции вполне понятную неприязнь.

А она сама была королевой так недолго, что бароны плохо знали ее и она по-прежнему была для них чужой; большинство знатных сеньоров считали ее ненужной помехой, оставшейся им после краткого правления Людовика X, чреватого смутами и бедствиями.

— Нет, не принесла она удачи королевству Французскому,— вздыхали они.

И если Клеменция еще существовала как мать будущего короля, то уже перестала существовать как королева. Сидя взаперти в дальнем крыле дворца, Клеменция прислушивалась к утихавшему гулу, так как члены ассамблеи уже вошли в зал Большого совета и за ними заперли двери.

«Боже мой, господи,— думала она,— почему, почему я не осталась в Неаполе?!»

И, вспомнив счастливые дни детства, лазурную гладь моря, тамошний шумный, суетливый, великодушный народ, чуткий к чужой беде, «ее» народ, который умеет так горячо любить, она громко зарыдала.

А тем временем Миль де Нуайэ зачитывал новый устав престолонаследования.

Граф Пуатье счел уместным отказаться от всех внешних атрибутов королевской власти. Кресло водрузили в самом центре возвышения, но балдахин он приказал не ставить. Он появился в темном одеянии, без единого украшения, хотя официально траур при дворе уже кончился. Всем своим видом он, казалось, говорил: «Мессиры, мы пришли сюда работать». Всего трое булавоносцев, шествовавшие перед Филиппом, молча встали за его креслом.

Таким образом, он уже осуществлял верховную власть, не провозгласив себя ее носителем. Зато он тщательно обдумал, куда кого посадить в зале; к его приходу камергеры развели присутствующих на заранее отведенные для них места, и этот чересчур строгий церемониал, введенный им самовольно, поразил участников ассамблеи, напомнив им времена и повадки Филиппа Красивого.

Справа от себя Филипп усадил Карла Валуа, рядом с ним — Гоше де Шатийона, рассчитывая таким образом держать бывшего императора Константинопольского на виду, а главное, подальше от его клана. Филипп Валуа очутился в шести рядах от отца. По левую руку регента оставили место для его дяди Людовика д'Эвре, чьим соседом оказался родной брат короля Карл де ла Марш, так что оба Карла не могли переговариваться во время заседания и бунтовать против присяги, данной ими Филиппу четыре дня назад.

Но особенно тревожил графа Пуатье его кузен, герцог Бургундский, с которого он не спускал глаз и которого посадили между графиней Маго и дофином Вьеннским.

Филипп знал, что герцог будет говорить от имени своей матери, герцогини Агнессы, которая в качестве последней оставшейся в живых дочери Людовика IX пользовалась влиянием среди баронов, хотя на ассамблеях не появлялась. Все, что было связано с памятью Святого короля, поборника христианской веры, героя Туниса, а равно и то, чего ласково касалась его рука, стало чуть ли не предметом культа; таким образом, все, кто видел его при жизни, внимал его речам или пользовался его расположением, были окутаны покровом святости.

Достаточно было Эду Бургундскому встать и сказать: «Моя матушка, дочь короля Людовика Святого, давшего ей свое благословение, когда он отбывал к неверным и погиб там...» — и все присутствующие умилялись.

Потому-то, стремясь заранее отразить этот ловкий ход, Филипп ввел в игру еще один, совершенно неожиданный козырь — Робера Клермонского, шестого сына Людовика Святого, последнего оставшегося в живых. Раз им требуется порука Людовика Святого, они ее получат.

Присутствие Робера, графа Клермонского, казалось чудом, ибо в последний раз он появлялся при королевском дворе более пяти лет назад; о его существовании давно забыли, а когда случайно вспоминали, то говорили о нем чуть ли не шепотом.

И впрямь, Робер был безумец, он лишился рассудка в двадцатичетырехлетнем возрасте, получив удар палицей по голове. Лихорадочный бред сменялся длительными периодами затишья, чем и пользовался иной раз Фи-

липп Красивый, когда ему для представительства требовался отпрыск Людовика Святого. Можно было не опасаться, что старик скажет лишнее, он вообще почти не говорил. Зато приходилось опасаться его поступков, ибо приступы безумия накатывали на Робера без всяких видимых причин, и тогда он, обнажив меч, бросался на своих же родных, внезапно проникшись к ним лютой ненавистью. Было поистине мучительно видеть, как столь высокородный и красивый старец — он и в шестьдесят два года сохранил величественную осанку — крушит мебель, режет гобелены и гоняется за прислужницами, вопя, что они его противники по турниру.

Граф Пуатье велел усадить его на другом конце, напротив герцога Бургундского и поближе к дверям. Два конюших могучего телосложения стояли вплотную за его креслом, готовые при малейшем признаке тревоги связать Робера. А сам граф Клермонский осматривал собравшихся недоверчивым, скучающе-рассеянным взглядом, иногда задерживался на каком-нибудь лице, и тогда в глазах его на миг загоралось мучительное беспокойство, словно безумец хотел что-то припомнить, но оно тут же гасло. На него были устремлены все взоры, и каждый при виде этого почтенного старца ощущал какую-то неловкость.

Рядом с безумцем сидел его родной сын, Людовик I Бурбон; хромота мешала ему идти в атаку на врага, однако ничуть не мешала бежать с поля боя, что он блистательно доказал во время битвы при Куртре. Неуклюжий, уродливый коротышка, Бурбон обладал зато светлым разумом, недаром он принял сторону Филиппа Пуатье.

Вот от этих-то сеньоров, слабых кто на голову, кто на ноги, и пошла линия Бурбонов. Итак, на ассамблее, состоявшейся 16 июля 1316 года, сошлись три ветви Капетингов, которым предстояло править Францией в течение еще пяти столетий. Три династии могли воочию видеть свой корень, свое начало или свой конец: тут были прямые потомки Капетингов, линии которых скоро суждено было угаснуть с Филиппом Пуатье и Карлом де ла Маршем; тут были Валуа, которые начиная с сына Карла тринадцать раз будут восходить на французский престол; и, наконец, Бурбоны, которые станут королями лишь после того, как угаснет ветвь Валуа и потребуется снова призвать на трон кого-либо из потомков Людовика Святого. И всякий раз, когда одна ди-

настия сменит другую, смена эта будет сопровождаться опустошительными, кровопролитными войнами.

В силу всегда поражающего наблюдателя взаимодействия между деяниями людей и неожиданными поворотами судьбы ход истории французской монархии со всем ее блеском и всеми ее драмами зависел от закона престолонаследования, который в настоящую минуту оглашал легист мессир Миль.

Степенно выпрямившись на скамьях или небрежно прислонившись к стене, бароны, прелаты, ученые мужи Парламента и представители богатых горожан внимательно слушали.

«У меня сын, у меня сын, и это станет известно только завтра»,— твердил про себя Филипп Пуатье, понимавший в глубине души, что затеял все эти труды лишь в своих собственных интересах и в интересах своего сына. И он готов был в любую минуту отразить внезапную атаку герцога Бургундского. Но атака началась с другого фланга.

Присутствовал на этой ассамблее человек, которого ничто не могло образумить, который уже давно потерял счет деньгам, полученным за то, что продавался направо и налево, которому нипочем была любая знать, ибо в жилах его текла кровь королей, который не склонялся перед чужой силой, ибо сам мог ударом кулака свалить наземь лошадь, который презирал все махинации, кроме своих собственных, и которого не взволновал даже вид безумного родича. Человеком этим был Робер Артуа. Именно он, как только Миль де Нуайэ закончил чтение, поднялся с места, желая дать Филиппу бой, ни с кем не посоветовавшись.

Так как сегодня происходил смотр королевской родни и каждый привел с собой своих близких, Робер Артуа явился вместе со своей матушкой, Бланкой Бретонской, крошечной, седоволосой, хрупкой старушкой с тонким личиком, пребывавшей в состоянии непрерывного удивления перед этим гигантом, которого она каким-то чудом произвела на свет божий.

Расставив ноги в красных сапогах и зацепив большие пальцы рук за серебряный пояс, Робер Артуа начал:

— Я поражен, сеньоры, тем, что нам предложили новый порядок установления регентства, каждая статья которого составлена именно в расчет на данный случай, тогда как существуют предписания нашего последнего короля.

Все взгляды обратились к графу Пуатье, и кое-кто из присутствующих с тревогой подумал, что их обвели вокруг пальца и утаили от них завещание Людовика X.

— Не понимаю, о каком предписании вы говорите, кузен мой,— сказал Филипп Пуатье.— Вы сами присутствовали при кончине моего брата, равно как и многие находящиеся здесь сеньоры, и никто никогда не говорил мне, что он выразил свою последнюю волю на сей счет.

— Но, кузен, брат мой,— насмешливо возразил Робер Артуа,— под «последним королем» я вовсе не имею в виду вашего брата Людовика X, упокой господи его душу, но вашего отца, нашего возлюбленного государя Филиппа... упокой господи также и его душу! А ведь король Филипп решил, записал и велел в том присягнуть своим пэрам, что если он умрет до того, как его сын достигнет возраста, положенного для восшествия на престол, всю королевскую власть и регентство должен взять на себя его высочество Карл, брат покойного, граф Валуа. Итак, кузен, коль скоро с тех пор не было вынесено никакого иного решения, по-моему, следует придерживаться этого завещания.

Миниатюрная Бланка Бретонская одобрительно кивала головой, улыбалась во весь свой беззубый рот и поглядывала поочередно на соседей живыми, блестящими глазками, как бы приглашая их полюбоваться ее сыном и одобрить его предложение. Что бы ни сделал или ни сказал ее горлопан-сынок, все она одобряла, всем восхищалась в этом чудо-богатыре, затевал ли он кляузный процесс, буйствовал ли, транжирил ли деньги или портил девушек. Она заметила, что граф Валуа поблагодарил ее, безмолвно опустив веки.

Филипп Пуатье, слегка опершись на подлокотники кресла, медленно взмахнул рукой.

— Я восхищен, Робер, я просто восхищен вашим теперешним пылом, с каким вы отстаиваете ныне волю моего отца, хотя при жизни не слишком склонялись перед его судом. Что ж, с годами, видно, вы образумились! Но не беспокойтесь. Именно волю моего отца мы и творим здесь. Разве не так, дядюшка? — добавил он, повернувшись к Людовику д'Эвре.

За последние полтора месяца его сводный брат Карл Валуа и его шурин Робер Артуа так досадили Людовику д'Эвре своими интригами, что он не мог отказать себе в удовольствии поставить их на место.

— То установление, на которое вы ссылаетесь, Ро-

бер, ценно для нас как принципиальное решение вопроса, а не тем, что там названы те или иные имена. Ибо, если подобный случай в королевской фамилии произойдет, скажем, через пять, десять или сто лет, то ведь не будут же приглашать моего брата Карла стать регентом королевства... хоть я от души желаю ему долгой жизни. Но,— воскликнул он с неожиданным для такого невозмутимого человека пылом,— но не создал господь бог Карла бессмертным лишь для того, чтобы тот каждый раз бросался занимать опустевший трон. Если регентом следует назначать старшего из оставшихся братьев, то понятно, им должен быть Филипп, и именно потому мы почтили его своим выбором. И не возвращайтесь, пожалуйста, к уже решенному вопросу.

Присутствующие подумали, что Робер разбит наголову. Но, видно, плохо они его знали. Робер сделал два шага вперед, наклонил голову, подставив свой жирный загривок солнечным лучам, заглядывавшим в витражи. Его огромная тень, темная, как угроза, распростерлась на плитах пола, коснувшись ног графа Пуатье.

— В распоряжениях покойного короля Филиппа,— возразил он,— ничего не сказано насчет королевских дочерей; ни о том, что им следует отказываться от своих прав, ни о том, что ассамблея пэров правомочна решать вопрос, будут ли они править государством.

Сеньоры герцога Бургундского одобрительно закивали головами, а герцог Эд, не удержавшись, крикнул:

— Хорошо сказано, Робер! Я об этом как раз и собирался говорить!

Бланка Бретонская снова обвела собрание пронзительным взглядом своих живых, блестящих глаз. Коннетабль досадливо шевельнулся в кресле. Соседи услыхали, как он чертыхается, и все сразу поняли, что сейчас разразится гроза.

— С каких это пор,— спросил герцог Бургундский, подымаясь с места,— с каких это пор подобное новшество введено в свод наших обычаев? Боюсь, что только со вчерашнего дня! С каких это пор королевским дочерям за неимением наследника мужского пола отказано в праве наследовать отцовскую власть и корону?

Тут поднялся коннетабль.

— С тех самых пор, мессир герцог,— произнес он неторопливо, что, очевидно, входило в его расчеты,— с тех самых пор, как мы не можем быть полностью уверены, что та или иная принцесса рождена действительно

от своего отца, в чьи преемницы ее прочат. Так знайте же, что говорят на сей счет люди и что десятки раз твердил нам на Малых советах Карл Валуа. Франция слишком прекрасная и слишком огромная страна, мессир герцог, чтобы можно было без согласия пэров короновать принцессу, коль скоро мы не знаем, дочь ли она короля или дочь конюшего.

Угрожающая тишина нависла над залом. Эд Бургундский побледнел. Советник Гийом де Мелло, приставленный к герцогу по настоянию герцогини Агнессы, зашептал ему что-то на ухо, но тот ничего не слышал. Всем показалось, что герцог вот-вот бросится на Гоше де Шатийона, который спокойно ждал атаки, напружив мускулы, выпятив грудь, сжав кулаки. Хотя коннетабль был лет на тридцать старше своего противника и ниже его на полголовы, он бесстрашно готовился к бою, который, пожалуй, даже принес бы ему победу. Но гнев герцога Бургундского обратился против Карла Валуа и развязал ему язык.

— Так зачем же вы, Карл,— завопил он,— зачем же вы в таком случае добивались руки второй моей сестры для вашего старшего сына, который, как я вижу, тоже находится здесь, а теперь порочите на всех перекрестках несчастную покойницу?

— Да бросьте, Эд! — возразил Валуа.— Будто для того, чтобы опорочить королеву Маргариту — прости господи ее прегрешения — требуется мое пособничество!

И, обратившись к Гоше де Шатийону, он вполголоса добавил:

— И надо же вам было упоминать мое имя!

— А вы, зять,— гремел Эд, адресуясь теперь уже к Филиппу Валуа,— неужели и вы одобряете все эти мерзости, которые здесь говорятся?

Но долговязый и скованный в движениях Филипп Валуа тщетно пытался со своего места поймать взгляд отца и прочесть в нем совет; поэтому он ограничился тем, что воздел к потолку обе руки жестом покорного бессилья и сказал:

— Надо признать, брат мой, что скандал был громкий!

Ассамблея загудела. В зале нарастал сердитый рокот голосов; одни сеньоры с пеной у рта настаивали на незаконном происхождении Жанны, другие доказывали, что она рождена от Людовика. Карл де ла Марш сидел бледный, понурив голову, боясь поднять глаза, с тем

чувством неловкости, какую он испытывал всякий раз, когда при нем заходила речь об этой несчастной истории. «Маргарита умерла, Людовик умер,— думал он,— а моя супруга Бланка жива, и с меня по-прежнему не смыто клеймо бесчестия».

Граф Клермонский, о котором все успели позабыть, вдруг беспокойно оглядел залу.

— Вызываю вас на бой, мессиры! Вызываю вас всех! — закричал последний сын Людовика Святого, вскакивая с места.

— Подождите, отец мой, подождите немножко, сейчас мы с вами отправимся на турнир,— уговаривал его Людовик Бурбон и махнул рукой двум великанам-конюшим, приказывая им подойти поближе и приготовиться.

Робер Артуа торжествующе оглядывал присутствующих, которых ему, к великой его радости, удалось стравить друг с другом.

Эд Бургундский, не слушая советов Гийома де Мелло, напрасно старавшегося его образумить и направить герцогскую ярость по нужному руслу, снова завопил, глядя в упор на Карла Валуа:

— Я тоже надеюсь, Карл, что господь бог простит моей сестре Маргарите ее прегрешения, буде она их совершила, но я надеюсь также, что он не помилует ее убийц!

— Зря вы верите глупым россказням, Эд,— возразил Валуа.— Вы отлично знаете, что ваша сестра скончалась в темнице потому, что ее замучила совесть.

И он украдкой бросил взгляд в сторону Робера Артуа, желая убедиться, что тот не выдал себя неосторожным жестом или словом.

Теперь, когда граф Валуа и герцог Бургундский переругались не на живот, а на смерть и трудно было надеяться, что между ними воцарится доброе согласие, Филипп Пуатье протянул вперед обе руки, призывая присутствующих к спокойствию.

Но Эд не желал успокаиваться. Не затем он явился на ассамблею, о, отнюдь не затем!

— Достаточно я наслушался сегодня оскорблений нашей Бургундии, кузен мой,— заявил он.— Довожу до вашего сведения, что не признаю вашего права на регентство и подтверждаю перед всеми права моей племянницы Жанны!

Потом, жестом руки приказав бургундским баронам следовать за собой, герцог покинул залу.

— Мессиры,— проговорил граф Филипп Пуатье,— именно этого и хотели избежать наши легисты, откладывая на более поздний срок решение вопроса о наследственных правах принцесс, коль скоро таковое потребуется от Совета пэров. Ибо, если королева Клеменция даст стране наследника престола, все эти споры потеряют всякий смысл.

Робер Артуа по-прежнему стоял перед возвышением, уперев руки в бока.

— Итак, насколько я вас понял, кузен,— крикнул он,— освященные обычаем права женщин на наследование отныне отменяются. Поэтому я прошу вернуть мне мое графство, которое незаконно отошло к моей тетке Маго, а она, как известно, принадлежит к особам женского пола, что могут засвидетельствовать многие присутствующие здесь сеньоры. И коль скоро вы не намерены исправить совершенную несправедливость, ноги моей больше на ваших советах не будет.

С этими словами он направился к боковой двери, а за ним засеменила его матушка, гордясь своим сыном и не меньше гордясь собою, породившей на свет такого богатыря.

Графиня Маго махнула Филиппу рукой, и жест ее выражал: «Видите! Ну что я вам говорила!»

Робер, замешкавшись у порога, нагнулся к графу Клермонскому и, злобно усмехаясь, шепнул ему на ухо:

— В бой, кузен, в бой!

— Режьте веревки! Скликайте людей! — завопил граф Клермонский, вскакивая с кресла.

— Чтобы черт тебя взял со всеми потрохами, зловредный боров! — набросился Людовик Бурбон на Робера.

Потом обратился к своему отцу:

— Побудьте пока с нами. Трубы еще не играли.

— Как же так? Почему не играли? Пусть играют. А то мы опоздаем,— залопотал граф Клермонский.

И он стал ждать зова трубы, рассеянно блуждая взором по залу, широко раскинув обе руки.

Людовик Бурбон, прихрамывая, подошел к Филиппу Пуатье и, понизив голос, посоветовал ему поторапливаться. Филипп утвердительно кивнул головой.

Бурбон вернулся к безумцу, взял его за руку и внушительно проговорил:

— А сейчас надо изъяснить свою верность, батюшка.

— Ах, верность? Хорошо!

Хромой, поддерживая безумца, подвел его к Филиппу.

— Мессиры,— начал Людовик Бурбон,— перед вами мой отец, самый старший из оставшихся в живых отпрысков Людовика Святого, и он полностью одобряет порядок престолонаследования, признает права мессира Филиппа как регента и приносит ему клятву в верности.

— Да, мессиры, да...— лопотал Робер Клермонский.

А Филипп с ужасом ждал, прислушиваясь к бормотанию дяди. «Сейчас он назовет меня «мадам» и попросит у меня на счастье шарф».

Но граф Клермонский вдруг заговорил твердым, звучным голосом:

— Признаю вас, Филипп, и по праву наследования и как наиболее мудрого. Пусть благословит вас с небес пресвятая душа моего отца, пусть поможет вам сохранить мир в королевстве и защитить нашу святую веру!

По рядам прошел радостно-изумленный шепот. Что происходит в голове этого старца, который без всяких видимых причин то безумен, то полон здравого смысла, то смешон, то велик?

Старик, не торопясь, преклонил колена перед своим внучатым племянником, протянул ему обе руки исполненным благородства жестом; потом поднялся с колен, и когда регент заключил его в объятия, он отвернулся и в его огромных голубых глазах блеснула слеза.

Все присутствующие, не сговариваясь, поднялись с мест и ликующими криками приветствовали обоих принцев.

Филиппа признало регентом все королевство Французское, за исключением одной провинции — Бургундии и за исключением одного человека — Робера Артуа.

Глава XI

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА ИГРАЮТ В КОШКИ-МЫШКИ

Великие ассамблеи баронов являли сходство с теперешними международными конференциями, по крайней мере в одном пункте. Участник ее, с шумом и треском покинувший зал заседания, протестуя против принятого решения, все же соглашался отобедать за одним столом со своими противниками при условии, если его хорошенько попросят. Именно так и поступил герцог Бургундский, к которому Филипп Пуатье отрядил гонца, дабы выразить свои сожаления по поводу утреннего инциден-

та, уверить в своей искренней привязанности и напомнить, что его ждут к обеду.

Пиршество было устроено в Венсенском замке, потому что Филипп хотел до переезда туда королевы Клеменции хорошенько осмотреть ее будущее жилище, куда по его приказу свезли все необходимое для предстоящего пира. Весь двор отправился в Венсен, и около пяти часов, другими словами, между ранней и поздней вечернями, гости уже сидели за столами, составленными из досок, положенных на козлы и застланных белоснежными скатертями.

Присутствие Эда Бургундского лишь подчеркнуло отсутствие Робера Артуа.

— Мой сын, выйдя из зала, сразу же упал без чувств, до того он огорчился всем, что там происходило,— поясняла его матушка Бланка Бретонская.

— Вот как, Робер лишился чувств? — заметил Филипп Пуатье.— Надеюсь, он не очень разбился, упав с такой высоты. Впрочем, вы, как я вижу, не особенно встревожены, стало быть, и мне нечего волноваться.

Зато никто не удивился, не видя среди приглашенных графа Клермонского, которого сын после торжественной присяги спешно отправил домой. Гости наперебой подходили к графу Бурбону, выражая свое восхищение стариком, который произвел на всех такое прекрасное впечатление, и каждый сожалел, что недуг, кстати сказать, благородный недуг, коль скоро он был приобретен на поле брани, редко позволяет ему принимать участие в решении государственных дел.

Обед, таким образом, начался довольно мирно. Коннетабля с умыслом посадили подальше от герцога Бургундского; впрочем, сами враги старались не глядеть друг на друга. Валуа громогласно распространялся о своих добродетелях.

Но самое удивительное было, что здесь присутствовали дети, и при этом в таком количестве. Эд Бургундский, дав согласие явиться на торжество, оговорил, что придет лишь в том случае, если там будет присутствовать его племянница Жанна Наваррская, чтобы, так сказать, вознаградить ее за понесенное в Совете бесчестие; граф Пуатье привел трех своих дочек, граф Валуа — самых младших своих отпрысков от третьей жены, граф д'Эвре — дочку и сына, находившихся еще в том возрасте, когда играют в куклы, Вьеннский дофин — крошку Гига, жениха третьей дочки регента, а граф Бур-

бон — троих своих детей... Трудно было разобраться во всех этих именах: здесь кишели Изабеллы, Бланки, Карлы и Филиппы; когда кто-нибудь окликал: «Жанна», поворачивалось разом с полдюжины головенок.

Всем этим двоюродным братьям и сестрам суждено было впоследствии пережениться между собой ради политических комбинаций их папаш и мамаш, которые, в свою очередь, тоже вступали в брак с кровными родственниками. Сколько придется клянчить у папы римского всяческих поблажек, дабы с его святого соизволения попрать законы божьи и ради территориальных интересов пренебречь здоровьем потомства! Сколько в королевской семье появится вновь и вновь хромых и безумных! Единственной разницей между потомками Адама и Капета было то, что Капетинги пока еще воздерживались от браков между родными братьями и сестрами.

Дофинчик и его нареченная, крошка Изабелла Пуатье, которую в скором времени будут именовать Изабеллой Французской, являли собой образец самого трогательного согласия. Ели они с одной тарелки; дофинчик выбирал для своей будущей супруги самые лакомые кусочки, вылавливая из рагу ломтики угря, щедро обмакивал их в соус, а затем силком совал в рот девочке и перемазал ей всю мордочку. Прочие малыши завидовали счастливцам, уже перешедшим на семейное положение; в доме регента малолетней чете отвели особые покои, приставили к ним слугу, конюшего, камеристок.

Зато Жанна Наваррская почти не прикасалась к еде. Присутствующие знали, чем объяснялось ее появление на пиру, а так как дети чутьем угадывают настроение родителей и заходят еще дальше в выражении своей неприязни, все многочисленные кузены и кузины сиротки Жанны не обращали на нее никакого внимания. К тому же Жанна была моложе всех, ей было только пять лет. С возрастом она стала еще больше походить на свою мать, Маргариту Наваррскую,— тот же выпуклый лоб, те же выступающие скулы, только цвет волос не унаследовала она от брюнетки матери — Жанна была блондинка. Эта крошка, не знавшая ребяческих игр и жившая одна, среди слуг, в мрачных покоях Нельского отеля, никогда не видела такого огромного сборища, никогда не слышала таких громких криков; и теперь она восхищенно и боязливо поглядывала на эти груды мяса и дичи, на всю эту снедь, которую без передышки подносили слуги и ставили на длинные столы перед гостями,

не жаловавшимися на отсутствие аппетита. Жанна чувствовала, что никто ее не любит; когда она обращалась к соседям с вопросом, те бесцеремонно отворачивались; несмотря на свой младенческий возраст, девочка о многом судила не по-детски здраво, поэтому она не переставая твердила про себя: «Мой батюшка был король, моя матушка была королева; но вот они умерли, и никто не хочет со мной говорить». Должно быть, на всю жизнь останется в ее памяти этот пир в Венсене. И чем громче становились голоса, чем раскатистее звучал смех, тем печальнее глядела крошка Жанна, тоскливо озиравшая всех этих гигантов, уписывавших за обе щеки мясо. Людовик д'Эвре заметил со своего места, что девочка вот-вот расплачется, и крикнул сыну:

— Филипп, поухаживай за своей кузиной Жанной!

Маленький Филипп решил взять пример с дофинчика и сунул Жанне в рот кусок стерляди в апельсиновом соусе, но она терпеть не могла рыбы и выплюнула ее прямо на скатерть.

Согласно установленному церемониалу кравчие наливали вино подряд всем присутствующим, не считаясь с их возрастом; вскоре взрослые заметили, что всей этой детворе, одетой в парчу, будет плохо, и после шестой перемены отослали их поиграть в сад. С королевскими отпрысками, увы, бывает то же самое, что и с детьми простых смертных во время праздничных обедов: их лишают самых любимых блюд — леденцов, пирожного и десерта.

Как только гости встали из-за стола, Филипп Пуатье взял герцога Бургундского под руку и, отведя его в сторону, сказал, что хочет побеседовать без свидетелей.

— Давайте присядем в сторонке, кузен, нам подадут туда сладкое. И вы идите к нам, дядя,— добавил Филипп, обращаясь к Людовику д'Эвре,— и вы тоже, мессир де Мелло.

Филипп предложил троим мужчинам проследовать в смежную с залом небольшую гостиную, куда им подали подслащенное вино и пряности; и сразу же, не теряя времени, он обратился к герцогу Бургундскому со словами увещевания: клялся, что жаждет умиротворения, упирая главным образом на те преимущества, которые дает устав регентства.

— Сейчас в умах царит разброд, потому я и хочу отложить окончательное решение вопроса до совершеннолетия Жанны,— говорил он.— Ждать этого еще де-

сять лет, а мы с вами, кузен, знаем, что за такой долгий срок все может перемениться и те, кто с пеной у рта отстаивает сейчас свое мнение, могут перейти в лучший из миров. Мне казалось, что я действую как раз вам на пользу, и вы, по-моему, не совсем поняли мои намерения. Коль скоро вы и Валуа не можете сейчас договориться между собой, так договоритесь же каждый в отдельности со мною.

Герцог Бургундский хмуро слушал речи Филиппа; был он недалекого ума и не без основания боялся, что его обведут вокруг пальца, как то бывало не раз. Герцогиня Агнесса, которую отнюдь не ослепляла материнская любовь, здраво оценивала умственные способности сына и, отправляя его в путь, надавала ему множество разумных советов:

— Берегись, как бы тебя не обошли. А главное, не говори, не подумав, а если ничего не придумаешь, так лучше помолчи, пусть говорит мессир де Мелло — он человек более сообразительный, чем ты.

Эд Бургундский, достигший тридцатипятилетнего возраста, облеченный герцогской властью и множеством почетных титулов, до сих пор жил в постоянном страхе перед своей матушкой и думал лишь о том, как бы не ударить в грязь лицом и оправдать перед ней свои поступки. Поэтому он не осмелился прямо ответить на предложения Филиппа.

— Моя матушка, герцогиня Агнесса, велела вручить вам письмо, где она пишет... Что написано в этом письме, мессир де Мелло?

— Мадам Агнесса просит, чтобы мадам Жанну Наваррскую поручили ее заботам, и она удивлена, ваше высочество, что до сих пор не получила от вас ответа.

— Но что я ей мог ответить, кузен? — возразил Филипп, по-прежнему обращаясь к Эду так, словно Мелло присутствовал при их беседе лишь в качестве толмача.— Такое решение может принять лишь регент. Только теперь я вправе ответить на ее просьбу. Откуда вы взяли, кузен, что я откажу? Полагаю, вы собираетесь увезти с собой вашу племянницу?

Герцог, приготовившийся было к длительным спорам, удивленно поглядел на мессира де Мелло, как бы говоря: «Оказывается, с этим человеком не так уж трудно договориться!»

— При том условии, кузен,— продолжал Пуатье,— при том условии, конечно, что Жанна не вступит в брак

без моего согласия. Но это уж само собой разумеется; в ее замужестве заинтересована вся королевская фамилия, и вы не решитесь обвенчать без нашего согласия девицу, которая в один прекрасный день может стать королевой Франции.

Вторая половина фразы заставила Эда забыть ее начало. Эд и впрямь решил, что Филипп задумал короновать Жанну, если королева Клеменция не произведет на свет сына.

— Конечно, конечно, кузен,— произнес он,— в этом вопросе мы с вами вполне согласны.

— Итак, все недоразумения позади, и давайте сейчас, не откладывая, напишем соглашение,— предложил Филипп.

И, не дожидаясь ответа, он велел кликнуть Миля де Нуайэ, который не имел соперников во всей Франции по части составления таких договоров.

— Ну-ка, мессир Миль,— обратился Филипп к вошедшему легисту,— запишите-ка нам на пергаменте: «Мы, Филипп, пэр Франции и граф де Пуатье, милостью божию регент двух королевств, и наш возлюбленный кузен, могущественный и великий сеньор Эд IV, пэр Франции и герцог Бургундский, клянемся на святом писании оказывать друг другу добрые услуги и поддерживать вечную дружбу». Это, конечно, только общая мысль, мессир Миль, так сказать, черновой набросок... «И во имя нашей дружбы, в коей мы поклялись, мы совместно решили, что мадам Жанна Наваррская...»

Гийом де Мелло потянул герцога за рукав, шепнул ему на ухо несколько слов, и тот понял, что сейчас его проведут.

— Э, нет, кузен,— закричал он,— матушка не велела мне признавать вас регентом.

Разговор зашел в тупик. Филипп соглашался отдать Жанну бабушке лишь при том условии, если герцог признает его регентом. Надеясь покончить дело миром, он пошел даже на то, что торжественно обещал оставить за Жанной все права на владения Наваррой, Шампанью и Бри. Но герцог стоял на своем. Сначала пускай решат по всей форме вопрос об ее правах на престол, тогда можно будет поговорить и о регентстве.

«Не будь здесь этой хитрой бестии Мелло, Эд обязательно уступил бы»,— подумал граф Пуатье. С деланно усталым видом он вытянул свои длинные ноги, потом скрестил их и задумчиво потер подбородок.

Людовик д'Эвре, наблюдавший за этой сценой, ждал ответа племянника, понимая, как трудно будет ему вывернуться. «Боюсь, что в Дижоне скоро забряцают оружием»,— подумал дальновидный политик д'Эвре. Несколько раз он порывался прийти племяннику на помощь и сказать ему: «Ну ладно, уступим бургундцам в вопросе о престолонаследии!» — но не успел, Филипп живо обернулся к Эду:

— Послушайте, кузен, а сами вы не собираетесь вступить в брак?

Герцог Бургундский ошалело взглянул на говорившего, так как, будучи тугодумом, решил было, что Филипп прочит ему в невесты Жанну Наваррскую.

— Раз мы поклялись друг другу в верной дружбе,— продолжал Филипп так, словно были приняты все предложенные им пункты еще не составленного договора,— вы, дражайший кузен, стали тем самым надежной моей опорой, и я решил, в свою очередь, пойти вам навстречу и еще сильнее укрепить, к великому моему удовольствию, узы нашего родства. Согласны вы взять себе в жены мою старшую дочь Жанну?

Эд взглянул сначала на Мелло, потом на Людовика д'Эвре и наконец уставился на Миля де Нуайэ, который почтительно дожидался конца разговора, держа наготове тростинку для письма.

— Но, кузен, сколько же ей лет? — осведомился он.

— Восемь,— ответил Филипп. Затем, выдержав многозначительную паузу, добавил: — Не исключена возможность, что Жанне достанется графство Бургундское, унаследованное ею от матери.

Эд вскинул голову, как конь, почуявший овес. С давних пор, еще со времен Робера I, внука Гуго Капета, слияние двух Бургундий — графства и герцогства — было заветной мечтой наследных герцогов. Объединить оба двора —Дольский и Дижонский, владеть территорией от Оксера до Понтарлье и от Макона до Безансона, претендовать на власть во Франции, равно как и в Священной империи, ибо Бургундия была пфальцграфством,— возможно ли, что это чудо сбудется? Теперь, в сущности, бургундцы могут подумать о восстановлении под своей эгидой империи Карла Великого.

Людовик д'Эвре не мог не восхититься отважным шагом племянника: партия казалась безнадежно проигранной, и вдруг такой дерзкий удар! Но дядя понял, к чему клонит племянник: ведь в приданое дочери он

отвел не свои земли, а земли тещи. Графине Маго дали графство Артуа в ущерб прямым интересам Робера, и дали лишь затем, чтобы она отказалась от графства Бургундского, а графство это получил Филипп в приданое за женой, чтобы можно было домогаться избрания в императоры. Теперь Филипп метит на французский престол, или, на худой конец, ему обеспечены десять лет регентства; графство Бургундское в таких условиях не слишком его интересует, лишь бы оно досталось вассалу, что и произошло.

— Не могу ли я увидеть вашу дочь? — решительно спросил Эд, не считавший нужным в данном случае запрашивать согласия и совета матушки.

— Вы ее только что видели, кузен, за обедом.

— Конечно, видел, но не разглядел... То есть я хочу сказать, что не смотрел на нее как на свою нареченную.

Послали за Жанной, старшей дочкой Филиппа, которая играла в кошки-мышки со своими сестрами и многочисленными кузенами и кузинами.

— Что им от меня надо? Оставьте меня в покое, я хочу играть! — крикнула девочка и побежала к конюшням вдогонку за дофинчиком.

— Вас зовет ваш батюшка.

Жанна успела догнать маленького Гига, с криком «Кошка!» хлопнула его по спине и, надувшись, пошла за камергером, который повел ее за руку.

Так, еще не отдышавшаяся, потная, растрепанная, в расшитом золотом, изрядно запылившемся платьице, и предстала она перед кузеном Эдом, перед своим женихом, который был старше невесты на целых двадцать семь лет. Худенькая девочка, ни хорошенькая, ни дурнушка, не могла даже подозревать, что сейчас решается ее судьба, неотделимая от судьбы французского престола... Бывает, поглядишь на малого ребенка и сразу видишь, каким он станет позже; а тут и видеть-то было нечего... Эд видел только Бургундию в сиянии мечты.

Кто спорит, графство вещь прекрасная; но, с другой стороны, вполне могут подсунуть в спешке жену-калеку. «Если у нее прямые ножки — соглашусь»,— решил про себя Эд Бургундский. Уж кто-кто, а он имел все основания опасаться такого коварства: ведь сумели же они сами подсунуть Филиппу Валуа младшую сестру его и Маргариты Наваррской, у которой одна нога была короче другой. Эта хромота сыграла не последнюю роль в теперешней взаимной ненависти Валуа и герцогов Бур-

гундских. Поэтому требование Эда, чтобы девочка подняла юбочку, никого не удивило: он посмотрит, прямые у нее ножки или нет. Ножки оказались худенькими как палочки, ни икр ни ляжек — видно, пошла в отца. Зато ничего не скажешь — прямые.

— Вы правы, кузен,— заявил герцог.— По-моему, тоже — это хороший способ скрепить нашу дружбу.

— Вот видите! — сказал Пуатье.— Так к чему же нам ссориться? Отныне я буду называть вас зятем.

И обнял зятя, который на двенадцать лет был старше тестя.

— А теперь, дочь моя, поцелуйте вашего жениха,— обратился Филипп к Жанне.

— Ой, значит, теперь он мой жених! — воскликнула девочка.

И она горделиво выпрямила свой худенький стан.

— Как хорошо! — добавила она.— Мой жених гораздо выше, чем дофинчик.

«До чего же я разумно поступил,— думал тем временем Филипп,— что отдал в прошлом месяце дофину младшую дочку и не распорядился раньше времени судьбой Жанны, а следовательно, и графством!»

Пришлось герцогу Бургундскому поднять свою будущую супругу, и она запечатлела на его лице поцелуй, вернее, просто обслюнявила ему щеку. Как только он опустил свою нареченную на землю, она вихрем помчалась во двор, где играли дети, и гордо объявила:

— Я теперь невеста!

Игры разом прекратились.

— И жених у меня вовсе не такой малышка, как у тебя,— попрекнула она сестру, указывая на Гига.— Мой большой, как наш папа.

И, заметив крошку Жанну Наваррскую, которая хмуро стояла в стороне, невеста добавила:

— Теперь я буду твоя тетя.

— Почему тетя? — удивилась сиротка.

— Потому что выйду замуж за твоего дядю Эда.

Одна из младших дочерей графа Валуа, которой не было и семи лет, но которую чуть ли не с пеленок научили пересказывать все старшим, бросилась в замок и отыскала там своего батюшку. Карл Валуа сидел в задних покоях с Бланкой Бретонской и кое с кем из преданных ему сеньоров и вел с ними оживленную беседу, очевидно готовя новый комплот, но тут появилась дочка и пересказала все, о чем говорилось на заднем дворе.

Карл вскочил, ударом ноги отбросил стул и, сбычившись, пошел в залу, где сидел регент.

— Ах, дорогой мой дядюшка, вас-то нам и недоставало! — воскликнул Филипп Пуатье.— Я как раз собирался послать за вами — хотел попросить вас быть свидетелем нашего договора.

И он протянул Карлу договор, только что составленный Милем де Нуайэ:

«...дабы совместно со всеми нашими сородичами скрепить нашей подписью условия, на коих мы пришли к полному согласию с дражайшим кузеном Бургундским».

Невеселая неделя выпала на долю бывшего императора Константинопольского. И, что хуже всего, приходилось безропотно подчиняться. Вслед за ним свои подписи под соглашением поставили Людовик д'Эвре, Маго Артуа, дофин Вьеннский, Эме Савойский, Карл де ла Марш, Людовик Бурбон, Бланка Бретонская, Ги де Сень-Поль, Анри де Сюлли, Гийом д'Аркур, Ансо де Жуанвилль и коннетабль Гоше де Шатийон.

Поздние июльские сумерки неторопливо спускались на Венсен. Трава и деревья еще хранили дневное тепло. Большинство гостей разъехалось по домам.

Регент не спеша прогуливался под столетними дубами в обществе самых близких, самых преданных ему людей — тех, что шли с ним от Лиона и кому он был обязан своей победой. Кто-то вспомнил о пресловутом дереве, под коим Людовик Святой творил суд, кто-то пошутил, что дерево так и не удалось обнаружить. Вдруг регент обратился к присутствующим:

— Мессиры, на сердце у меня отрадно и радостно: добрая моя супруга нынче произвела на свет сына.

Он вздохнул глубоко, вздохнул с наслаждением, даже с блаженством, как будто и впрямь воздух королевства Французского принадлежал ему.

Филипп присел на мшистую кочку. Опершись спиной о ствол дерева, он молча любовался резным узором листвы, вырисовывавшимся на вечернем розовом небе, как вдруг к нему направился крупными шагами Гоше де Шатийон. Тень вновь омрачала чело коннетабля.

— Я принес вам, ваше высочество, дурную весть.

— Уже? Так скоро?! — спросил регент.

— Граф Робер только что отбыл в Артуа.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГРАФСТВО АРТУА И КОНКЛАВ

Глава I

ПРИБЫТИЕ ГРАФА РОБЕРА

Десяток всадников, прискакавших из Дуллана, предводительствуемые гигантом в кроваво-красном кафтане, галопом промчались через поселок Букмезон и осадили коней там, где дорога круто уходит под гору. Внизу под ними лежала равнина, спускавшаяся уступами к горизонту, окаймленному синеватой бахромкой леса, вся в буковых рощицах, вся в горбатых пригорках, меж которых простирались нивы.

— Вот здесь начинаются земли графства Артуа, ваша светлость,— произнес один из всадников, Жак де Варенн, обращаясь к вожаку.

— Мое графство! Вот оно наконец, мое графство! Вот она, родная моя земля, по которой я не ступал целых четырнадцать лет! — проговорил гигант.

Над истомленными зноем полями нависла тяжкая тишина. Слышен был лишь прерывистый храп лошадей, не отдышавшихся от скачки, да густое жужжание шмелей, опьяненных жарой.

Робер Артуа спрыгнул с лошади, бросил поводья своему слуге Лорме, одним духом взлетел на придорожный откос, топча сапогами траву и цветы, и все так же молча пошел по полю. Его спутники не тронулись с места, предоставляя графу в одиночестве насладиться радостью минуты. А Робер тем временем шагал прямо через пшеницу, доходившую ему до бедер, раздвигая золотые, тяжелые колосья. На ходу он ласкал их рукой, так гладят по холке покорного коня или светлые кудри красотки.

— Моя земля, моя пшеница! — твердил он.

Вдруг он рухнул прямо на землю, растянулся среди колосьев во весь свой гигантский рост; обезумев от счастья, он катался по земле, прижимался к ее лону, как бы желая слиться с ней; он жадно хватал зубами колосья, жевал их и чувствовал на языке чудесный вкус раздавленного зерна, уже достигшего молочной спелости; он не замечал, что остья царапают ему губы. Он упивался лазурью небес, запахом сухой земли и колосьев и один ухитрился примять больше пшеницы, чем

стадо кабанов. Наконец он поднялся на ноги, великолепный, хоть и в измятом кафтане, и направился к своим дорожным спутникам, потрясая охапкой колосьев.

— Лорме,— скомандовал он,— расстегни на мне кафтан и распусти кольчугу.

И когда слуга выполнил приказание, Робер засунул охапку колосьев под рубашку, прямо на голое тело.

— Клянусь господом богом, мессиры,— прогремел он,— пока мы не отвоюем обратно мое графство до последнего лужка, до последнего деревца, я не расстанусь с этими колосьями! А теперь в поход!

Он вскочил в седло и, сжав лошадиные бока ногами, поднял коня в галоп.

— Эй, Лорме,— кликнул он, стараясь перекричать свист ветра,— эй, Лорме, а знаешь, лошадиные копыта как-то звонче цокают по здешней земле, как по-твоему?

— Ваша правда,— отозвался этот убийца с чувствительной душой, слепо соглашавшийся с хозяином, за которым он ходил, как за малым ребенком.— Да у вас кольчуга на сторону съехала, придержите-ка коня, я сейчас вам ее поправлю.

Так они проскакали еще немного. А там, где дорога внезапно обрывалась, перед Робером открылось наконец великолепное зрелище: внизу, на лугу, сверкал на солнце сомкнутый строй кирас, целая армия в тысячу восемьсот всадников, пришедших встретить своего сюзерена. Робер даже мечтать не мог, что по его зову подымется столько людей.

— Ну как, Варенн? Ты, я вижу, куманек, здорово потрудился! — восхищенно крикнул Робер.

Рыцари графства Артуа, узнав Робера, грянули во всю мощь своих глоток:

— Добро пожаловать, граф Робер! Многие лета нашему славному сеньору!

Самые нетерпеливые поскакали ему навстречу; со звоном сталкивались стальные наколенники, острия копий золотились на солнце, словно нива, раскинувшаяся рядом.

— А вот и Комон! Вот Суастр! Узнаю вас по гербам, друзья,— говорил Робер.

В открытые забрала виднелись лица всадников, хоть и смоченные потом, но сиявшие в предвкушении воинских забав. Большинство мелких дворянчиков явилось в старых доспехах, доставшихся им еще от отца, а то и от деда и наспех подогнанных по мерке своими сила-

ми у себя в замке. Ох, и сотрут же себе к вечеру высокородные сеньоры кожу, покроются кровавыми струпьями! Недаром они предусмотрительно упаковали вместе с пожитками, которые вез за каждым оруженосец, горшочки с бальзамом, приготовленным руками заботливых жен, и разорванный на полосы холст для перевязки ран.

Все образчики воинских доспехов за целое столетие продефилировали перед Робером: тут были шлемы всех видов, шишаки всех фасонов, кольчуги и огромные мечи, сопровождавшие рыцарей еще в крестовые походы. Провинциальные щеголи нацепили на шлем султаны из петушиных, фазаньих, а то и павлиньих перьев; кое у кого шлем увенчивался золотым драконом, а один сеньор даже украсил свой железный шлем изображением обнаженной женщины и, естественно, привлекал всеобщее внимание.

Все подновили свои щиты, и на них переливались всеми цветами радуги гербы, у кого попроще, у кого посложнее, в зависимости от древности рода, причем самые незатейливые гербы принадлежали самым родовитым сеньорам.

— Вот Сен-Венан, вот Лонгвиль, а это Недоншель,— представлял Роберу рыцарей Жан де Варенн.

— Ваш верноподданный, ваш верноподданный,— отзывался названный.

— Верноподданный Недоншель... верноподданный Бельянкур... верноподданный Пикиньи...— повторял Робер, проезжая перед строем.

А юношам, впервые готовящимся к бранному делу и вспыхивавшим от гордости, Робер посулил полное рыцарское вооружение, буде они сумеют показать себя в бою.

Потом он решил немедля назначить двух маршалов, как в настоящем королевском войске. Выбор его пал на сира де Опонлье, который не пожалел труда, собирая это крикливое воинство.

— А вторым я назначу... ну, вот тебя, Боваль,— объявил Робер.— У регента маршал Бомон, а у меня будет Боваль.

Мелкопоместные сеньоры, охочие до шуток и каламбуров, дружным ржаньем приветствовали маршала Жана де Боваля, обязанного этой высокой чести своему имени.

— А теперь разрешите спросить, ваша светлость,— проговорил Жан де Варенн,— какую дорогу вы изволи-

те выбрать? Может быть, мы сначала отправимся в Сен-Поль или же прямо в Аррас? Все графство Артуа в вашем распоряжении, выбирайте!

— А какая дорога ведет в Эден?

— Вот эта, ваша светлость, она проходит через Фреван.

— Так вот что, друзья, первым делом я хочу посетить замок своих отцов.

По рядам всадников прошел тревожный шепот. Зря это граф Робер сразу же после своего появления в Артуа намеревается скакать в Эден.

— Дело в том, ваша светлость,— промямлил Суастр, тот самый, у кого на шлеме красовалась обнаженная женщина,— дело в том, что вряд ли в замке вас ждет добрый прием.

— Что такое? Неужели там до сих пор сидит сир де Бросс, назначенный моим кузеном Сварливым?

— Нет, мы давно прогнали Жана де Бросса, но заодно чуточку погромили замок.

— Погромили? — повторил Робер.— Надеюсь, хоть не сожгли?

— Нет, ваша светлость, нет, стены остались целы.

— Ах, значит, вы его чуть разграбили, милейшие сеньоры? Что ж, если только разграбили, тогда молодцы! Все, что принадлежит Маго, прощелыге Маго, свинье Маго, Маго-шлюхе,— все ваше, мессиры, и я охотно делюсь с вами ее добром!

Ну как было не обожать столь великодушного сюзерена! Союзники снова грянули «ура» в честь своего славного графа Робера, и мятежное воинство тронулось по дороге в Эден.

Только к концу дня кавалькада достигла крепости графов Артуа с ее четырнадцатью башнями и с замком, занимавшим огромную площадь в двенадцать «мер», иными словами, около пяти гектаров.

Много кровавых трудов, много пота стоила окрестному мелкому люду, умученному непосильными податями, эта сказочная крепость, которая, как уверяли, воздвигнута ради того, чтобы защитить простолюдинов от бедствий войны! Одна война сменялась другой, но замок оказался для них неверным оплотом, и так как бои обычно шли вокруг него, то местное население предпочитало отсиживаться в своих лачугах, моля господа бога пронести этот смерч стороной.

Поэтому и не высыпал народ на улицы, чтобы при-

ветствовать сеньора Робера. Жители, натерпевшиеся страха еще во время вчерашнего грабежа, попрятались по домам. Только самые трусливые вышли на порог и крикнули что-то вслед проезжавшей кавалькаде, но крик получился какой-то жидкий.

Подступы к замку являли собой малопривлекательное зрелище: королевский гарнизон, аккуратно развешанный на зубцах стены, уже порядком попахивал. У больших ворот, так называемых Цыплячьих ворот, был спущен подъемный мост. Внутренность двора носила страшные следы набега; из кладовых струйкой вытекало вино, так как вчера перебили все чаны; повсюду валялась дохлая птица; в коровниках надрывно мычали недоеные коровы, а на кирпичах, которыми был вымощен внутренний двор — неслыханная по тем временам роскошь,— была начертана вся история вчерашней бойни: о ней рассказывали широкие пятна уже успевшей высохнуть крови.

Жилище семейства Артуа насчитывало пятьдесят покоев, и ни один не пощадили славные союзники Робера. Все, что не удалось вынести или вывезти, все, что не годилось для украшения их замков, было разбито и разломано на месте.

Исчез из часовни огромный червленый крест, равно как и статуя Людовика Святого, в которой был заключен обломок пречистой кости и несколько королевских волосков. Исчезла золотая дарохранительница, которую присвоил себе Ферри де Пикиньи и которая потом отыскалась у одного парижского лавочника, так как этот сеньор перепродал ему святую реликвию. Расхитили библиотеку, насчитывавшую дюжины томов, украли шахматы из яшмы и халцедона. А платья, пеньюары, белье графини Маго мелкопоместные дворянчики торжественно преподнесли в дар своим возлюбленным и ждали ночи, когда их горячо отблагодарят за великодушный дар. Даже из кухни унесли все запасы перца, имбиря, шафрана и корицы...

Под ногами хрустели осколки посуды, шелестели обрывки парчи; повсюду валялись балдахины, поломанная мебель, сорванные гобелены. Вдохновители грабежа не без смущения плелись вслед за Робером; но при каждом новом открытии гигант начинал хохотать так громко и искренне, что они мало-помалу приободрились.

В гербовом зале по приказу хозяйки вдоль стен во-

друзили каменные статуи, изображавшие всех графов и графинь Артуа, начиная с прародителей и кончая самой Маго. Хотя трудно было отличить одного каменного предка от другого, общий вид зала получился внушительным.

— Вот тут, ваша светлость,— проговорил Пикиньи, у которого совесть и без того была нечиста,— вот тут мы ничего не тронули.

— И зря, куманек,— возразил Робер.— Среди этих каменных истуканов есть такие, что не очень-то мне по нутру. Лорме, палицу!

Вооружившись тяжелой палицей, которую поспешил подать Лорме, Робер трижды описал круг над головой и с размаху опустил ее на лик графини Маго. Каменная громада покачнулась на цоколе, а голова, слетев с плеч, разбилась о плиты пола.

— Пускай с нее живой вот так покатится голова и пускай все мои союзники ее окропят! — провозгласил Робер.

Тому, кто любит крушить, стоит только начать; привычная тяжесть палицы ласкала руку гиганта в пурпурном одеянии.

— Ах, моя тетушка-шлюха, ведь вы лишили меня графства Артуа лишь потому, что тот, кто произвел меня на свет...

И он одним ударом смахнул с плеч голову родного отца, графа Филиппа.

— ...имел глупость помереть раньше, чем вот этот...

И он обезглавил заодно и своего деда — графа Робера II.

— ...и мне придется жить среди каменных болванов, изготовленных по вашему приказу ради возвеличения собственной персоны, на что вы не имеете никакого права! Вон моих предков, долой! Мы начнем все заново и не на ворованные денежки!

Стены дрожали, осколки камня усыпали весь пол. Бароны молчали, у них даже дух перехватило перед невиданным еще размахом ярости, далеко превосходившей их в искусстве разгромов. Ну не сладко ли покориться такому вождю!

Обезглавив весь свой род, граф Робер III швырнул палицу в окно, откуда со звоном вылетели стекла, и блаженно потянулся.

— Теперь, друзья, можно и поговорить на свободе... Мессиры, славные мои соратники и верноподданные, я

требую, чтобы все города, превотства, сеньории, которые мы освободим из-под ига Маго и всех ее чертовых Ирсонов, составили список своих претензий против ее правления и чтобы были подробно перечислены все ее злодеяния, после чего мы перешлем их жалобы прямо в руки ее зятька, мессира Ворота на Запоре... ибо, где бы сей сеньор ни появлялся, он первым делом запирает все — будь то город, конклав, казна... в собственные руки мессира Слепуши, нашего обожаемого сеньора Филиппа Кривого, объявившего себя регентом, ради коего у нас четырнадцать лет назад отобрали наше графство, чтобы он жирел на бургундских хлебах! Так пусть же подохнет, зверюга, пусть удавится собственными кишками!

Коротышка Жерар Кьере, кляузник и крючкотвор, тот самый, что представительствовал перед покойным королем Людовиком Сварливым за баронов графства Артуа, взбунтовавшихся против Маго, взял слово:

— Есть тут одна зацепочка, ваша светлость. Можно не только Артуа, но и все королевство взбудоражить: пожалуй, регенту любопытно будет узнать, почему его брат, Людовик X, отдал богу душу.

— Что за черт, неужто ты, Жерар, думаешь то же самое, что и мне приходило в голову? Неужто у тебя есть доказательства, что моя достопочтенная тетушка приложила к этому руку?

— Доказательства, ваша светлость? Легко сказать, доказательства! Зато подозрения есть, и вполне основательные, свидетели тоже имеются. Я знаю в Аррасе одну даму, зовется она Изабелла Ферьенн, и сын у нее есть — Жан, так вот оба они чернокнижники и торгуют разными волшебными зельями, а имела с ними дело некая девица Ирсон, по имени Беатриса...

— Ах, эта! Эту я вам рано или поздно выдам на утеху! — подхватил Робер.— С первого взгляда видно, лакомый кусок, ох и лакомый!

— Мать и сын Ферьенны продали ей для мадам Маго яду, чтобы травить оленей, а было это за две недели до кончины Людовика. То, что годно для оленей, сгодится и для короля.

Бароны веселым кудахтаньем одобрили эту незамысловатую шутку.

— Так или иначе, яд для рогатых,— уточнил Робер.— Упокой господи душу моего рогача-кузена!

Кудахтанье стало громче.

— А все это подтверждается тем, мессир Робер,— продолжал Кьере,— что в прошлом году мадам Ферьенн похвалялась, что изготовила зелье и что мессир Филипп, которого вы величаете Кривым, выпив его, снова полюбил свою супругу мадам Жанну, дочь Маго...

— Такую же шлюху, как и ее матушка, и вы, бароны, тоже хороши: не могли придушить эту гадину, когда она прошлой осенью попалась вам в руки,— прервал его Робер.— Подайте мне мадам Ферьенн, подайте мне ее сынка! Как прибудем в Аррас, потрудитесь сразу же их схватить. А теперь давайте закусим, после трудов праведных у меня разыгрался аппетит. Пусть заколют самого большого быка, какой только найдется в хлеву, и пусть зажарят его целиком; пусть выловят из пруда всех карпов Маго и пусть подадут вино, которое вы еще не успели выпить.

А через два часа, когда день уже начал клониться к закату, вся честная компания была мертвецки пьяна. Робер отрядил своего Лорме, которого не брал хмель, с надежным эскортом в город — пускай обшарят все дома и доставят сюда девушек, чтобы бароны могли позабавиться. В поисках требуемого товара Лорме со стражниками не особенно церемонились и стаскивали с постелей всех женщин подряд — будь то невинная девица или же честная мать семейства. И вскоре Лорме пригнал к замку ревущую от страха толпу женщин в одних ночных рубашках. В разгромленных покоях графини Маго начался безудержный шабаш. Визг женщин лишь еще больше распалял высокородных рыцарей, которые бросались в атаку на свои жертвы, словно перед ними было воинство неверных, старались опередить друг друга в ловкости и по трое тащили в разные стороны свою добычу. Робер выбрал для себя самые лакомые кусочки и уволок девиц за волосы, даже не потрудившись снять кольчугу. И так как весил он более двухсот фунтов, несчастные даже кричать не могли и только задыхались. А тем временем Суастр, потеряв где-то свой великолепный шлем, стоял в уголке, согнувшись вдвое, прижав к груди руки, и отдавал обратно пищу без передышки, как водосточная труба во время грозы.

Потом доблестные вояки мирно захрапели; и один человек мог бы без помех перерезать нынче ночью всю знать графства Артуа.

На следующее утро достославная рать, еле волоча с перепоя ноги, чувствуя во рту горечь, а в голове шум,

тронулась на Аррас, где Робер решил устроить свою резиденцию. Один лишь он был свеж, как только что пойманная щука, чем окончательно покорил свою армию. По дороге то и дело устраивали привалы, так как в окрестностях Маго владела еще и другими замками, при виде которых бароны приободрились.

Но когда в день святой Магдалины Робер Артуа прибыл в Аррас, мадам Ферьенн обнаружить не удалось — она как в воду канула.

Глава II

ПАПСКИЙ ЛОМБАРДЕЦ

А тем временем в Лионе кардиналы по-прежнему сидели взаперти. Они надеялись, что регент устанет и сдастся; пленение их длилось уже месяц. Семьсот лучников графа Форэ все так же зорко охраняли церковь и доминиканский монастырь; и хотя графу Савелли, главе конклава, в знак уважения оставили ключи от храма божьего, ключи эти оказались ни к чему — замурованную дверь все равно не отопрешь.

Кардиналы с каждым днем все смелее нарушали заповеди папы Григория и не испытывали при этом ни малейших угрызений совести, коль скоро их силой загнали сюда. И каждый день они заявляли об этом графу Форэ, когда тот просовывал в отверстие для подачи пищи голову, увенчанную шлемом. На что граф тоже каждый день отвечал, что он свято чтит закон конклава. Этот диалог грозил затянуться до бесконечности.

Кардиналы, коим велено было жить вместе, постепенно расселились; хотя церковь и была достаточно велика, но под сводами нефа ютилась сотня человек, и уже через несколько дней их жизнь превратилась в ад, тем паче что спать приходилось прямо на каменных плитах, на тоненькой соломенной подстилке. Да и зловоние, наполнившее церковь с первого же дня заточения кардиналов, мало подходило к торжественной церемонии избрания папы. Поэтому прелаты, недолго думая, захватили монастырь, сообщавшийся с церковью и находившийся в той же ограде. Вытеснив монахов, святые отцы по трое поселились в кельях, что тоже было не очень удобно. Их приближенные силой заняли общую спальню, а капелланы облюбовали себе странноприимный дом, благо странников за ограду не пускали.

Правда, обещанная угроза — урезать в случае непо-

виновения и без того скудный паек — не была приведена в исполнение, не то конклав превратился бы в сборище скелетов. По приказу кардиналов им доставляли с воли кое-какие лакомства, предназначенные, по их словам, для аббата. Тайна переговоров нарушалась то и дело: ежедневно конклав получал и посылал письма, засунутые в печеный хлеб или между пустыми блюдами. Час, отведенный для обеда, превращался в час писания и чтения писем, поэтому послания, с помощью которых святые отцы рассчитывали привести к согласию весь христианский мир, были сплошь испещрены жирными пятнами.

О всех этих попустительствах Форэ сообщал регенту, а тот отвечал, что пусть все так и остается. «Чем больше они натворят ошибок,— говорил Филипп Пуатье,— тем строже мы с них взыщем, когда будет на то наша воля. Что касается посланий, пропускайте их с умыслом, только старайтесь всякий раз, как представится случай, прочесть их, чтобы я мог знать содержание».

Таким образом стало известно, что на папский престол были выдвинуты четыре кандидата, тут же отвергнутые конклавом; сначала назвали Арно Нувеля, бывшего аббата Фонфруадского, о котором Жан де Форэ сообщил Филиппу, что не считает сего кардинала «особо горячим приверженцем королевства Французского»; потом провалились кандидатуры Гийома де Мандгу, кардинала Пренестра, Арно де Пелагрю и Беранже Фредоля старшего. Гасконцы и провансальцы взаимно проваливали друг друга. Вслед за тем стало известно, что от грозного кардинала Каэтани отвернулся кое-кто из итальянской партии, даже его кузен Стефанески, до того опротивел он всем своими низкими интригами и клеветой, нелепость которой бросалась в глаза.

Разве не он предположил — правда в шутку, но ведь всем известно, что означает в таких устах шутка,— вызвать дьявола и пускай-де он назначит папу, раз господь бог не желает проявить свою волю.

На что Дюэз, пришепетывая по обыкновению, возразил:

— Не впервые, Франческо, ох, не впервые сатана воцарится среди нас!

Когда Каэтани требовал себе свечу, то, по общему мнению, отнюдь не затем, чтобы она освещала его келью, а чтобы с помощью воска совершать заклятье.

Раньше, живя врозь, кардиналы, случалось, спорили,

отстаивая свои доктрины, престиж и интересы, а теперь, прожив месяц бок о бок в неустройстве и тесноте, они возненавидели друг друга по личным соображениям, возненавидели почти физически. Многие опустились, перестали следить за собой, ни разу не побрились в течение месяца, не могли побороть бренной своей плоти. Теперь кандидат в папы в поисках сторонников не прибегал к посулам, не обещал ни бенефиций, ни денег, но делил свою скудную порцию пищи с обжорой, что было строжайше запрещено. Шепотом один доносил другому:

— Камерлинг опять съел три порции — претенденты в папы его подкармливают.

Если благодаря всем этим махинациям кардинальские желудки пришли в относительное равновесие, то не так легко оказалось жить в полном целомудрии, к чему святые отцы не имели привычки, и это обстоятельство окончательно их озлобило. Среди провансальцев ходила незамысловатая шутка:

— Монсеньор д'Ош страдает от отсутствия жареных птиц, а их святейшества Колонна — от отсутствия девиц.

Ибо братья Колонна, гиганты, рожденные скорее для лат, чем для сутаны, начали уже гоняться по монастырским коридорам за молодыми дворянчиками и сулили им отпущение грехов.

Вспоминались старые обиды, то и дело слышались сердитые возгласы:

— Если бы вы не канонизировали Целестина... если бы вы не отреклись от Бонифация... если бы вы не согласились переехать из Рима... если бы вы не осудили тамплиеров...

Святые отцы упрекали друг друга в недостаточной защите церкви, в тщеславии и продажности. Послушать этих кардиналов, так ни один из них не был достоин не только сесть на папский престол, но даже занять место деревенского викария.

Один лишь монсеньор Дюэз, казалось, не замечал ни неудобств, ни интриг, ни злословья. За последние два года он столько намутил среди своих коллег, что сейчас ему не было нужды ни во что вмешиваться, ибо посеянные им дурные семена произрастали и без его помощи. А так как он всегда страдал отсутствием аппетита, ему вполне хватало скудного пайка. По собственной воле поселился он в келье вместе с двумя нормандскими кардиналами, тяготевшими к провансальской партии,— с Никола де Фреовиллем, бывшим исповедником Филиппа

Красивого, и Мишелем дю Беком, которые были не на виду и к тому же слишком слабы, чтобы сколотить собственную партию. Их не опасались, и никто не усматривал в их совместном пребывании с Дюэзом какого-либо заговора. Впрочем, Дюэз мало виделся со своими сожителями. В определенные часы он прогуливался в ограде монастыря, обычно опершись на руку Гуччо, который не скупился на поучения.

— Идите тише, монсеньор! Вы же видите, что я едва за вами поспеваю, у меня нога не сгибается после несчастья в Марселе, когда я упал с корабля, на котором прибыла во Францию королева Клеменция... Насколько я могу судить по разговорам, чем слабее вы будете казаться с виду, тем сильнее шансы на ваше избрание.

— Верно, верно, неглупо сказано,— отвечал Дюэз, старательно сутулясь и волоча ноги, как и подобает семидесятидвухлетнему старцу.

Все остальное время он читал или писал. Он раздобыл то, что было для него важнее всего на свете: книги, свечу и пергамент. Когда его звали кардиналы, собиравшиеся посовещаться на хорах, он делал вид, что с неохотой отрывается от книг, с трудом добирался до своего места, с наслаждением слушал, как его коллеги язвят и клянут друг друга, и кротко шептал:

— Я молю, молю господа, братья, дабы он помог нам выбрать наидостойнейшего.

Знавшие его ранее кардиналы находили, что он сильно изменился за последнее время. Он казался преисполненным христианских добродетелей, усердно умерщвлял плоть и являл всем пример благожелательности и милосердия. Когда ему говорили об этом, он, досадливо махнув рукой, отвечал обычным своим полушепотом:

— Смерть не за горами... Пора к ней готовиться...

Он едва прикасался к пище, и по приказу Дюэза его почти полную миску относили по очереди кардиналам; желая оправдать это нарушение правил, он ссылался на свое слабое здоровье. Гуччо то и дело являлся с дарами к камерлингу, который жирел, как бык на откорме, и говорил ему:

— Монсеньор Дюэз просил вам передать вот это. Он видел вас нынче утром и считает, что вы похудели.

Гуччо было легче, чем остальным девяноста шести узникам, общаться с волей; ему сразу же удалось связаться с представителем банка Толомеи в Лионе. Имен-

но этим путем уходили не только те письма, которые сам Гуччо слал дяде, но и более секретные послания Дюэза, адресованные регенту. Эти послания миновало печальное соседство с жирной посудой; их переправляли в книгах, необходимых кардиналу для его благочестивых трудов.

Дюэз и впрямь не имел иного поверенного, кроме юного ломбардца, чье хитроумие он ценил с каждым днем все больше. Их судьбы были нерасторжимо связаны, ибо если Дюэз мечтал прямо из этой церкви, раскаленной июльским солнцем, попасть на папский престол, то Гуччо не терпелось вырваться отсюда как можно скорее, заручившись высоким покровительством, чтобы помочь своей милой. Впрочем, последнее время тревоги Гуччо немного улеглись: Толомеи сообщил ему, что заботится о Мари, как и подобает родному дяде.

В самом начале последней недели июля, когда Дюэз убедился, что его коллеги совсем выбились из сил, истомлены жарой и окончательно перегрызлись, он решил разыграть комедию, к которой готовился уже давно и которую тщательно разработал с помощью Гуччо.

— Ну как, научился я волочить ногу? Видно по моему лицу, что я сижу на хлебе и воде? Достаточно ли у меня скверный вид? — допытывался он у случайно попавшего ему в служки Гуччо.— Достаточно ли мои собратья надоели друг другу и можно ли, воспользовавшись их состоянием, добиться нужного нам решения?

— Думаю, что так, монсеньор, думаю, что они уже вполне созрели.

— Ну-ну, дружок, пойдите и поработайте хорошенько языком, а я прилягу и, боюсь, больше не встану...

Гуччо тут же принялся за дело, распространил среди кардинальских служителей слух о том, что монсеньор Дюэз сильно ослабел, видимо, серьезно занемог и, принимая в расчет его почтенный возраст, вряд ли дождется конца конклава.

Назавтра Дюэз не явился на обычное сборище, и кардиналы шепотом передавали друг другу распространенную Гуччо весть как неопровержимую истину.

А еще через день кардинал Орсини после жестокой перепалки с братьями Колонна встретил в коридоре Гуччо и спросил его, правда ли, что монсеньор Дюэз так ослабел.

— Сущая правда. Вы же видите, я себе с горя места не нахожу,— ответил Гуччо.— Известно ли вам, что до-

брый мой владыка даже читать не может? А это означает, что недолго ему осталось жить.

И добавил с наивно-дерзким видом, какой умел напускать на себя в случае надобности:

— Будь я на вашем месте, монсеньор, я бы знал, что мне делать. Избрал бы папой Дюэза. Ведь вас тогда немедленно отсюда выпустят. И после его кончины, а ждать ее, повторяю, недолго, выберете себе кого-нибудь другого, кто вам больше по душе. Воспользуйтесь этим, а то через неделю будет уже поздно.

В тот же вечер Гуччо заметил, что Наполеон Орсини приватно беседует с кардиналом Стефанески, своим родичем по материнской линии, с Альбертини де Прато и Гийомом де Лонжи, то есть с итальянскими сторонниками Дюэза. А наутро вышеупомянутые кардиналы держались уже сплоченной группой; к ним присоединился испанец Лука Флиско, сводный брат Иакова II, короля Арагонского, и Арно де Пелагрю, глава гасконской партии; Гуччо, проходя мимо, услышал чей-то вопрос:

— E se non muore? [1]

— Peccato... [2] Но если он умрет завтра, нам здесь еще полгода сидеть.

Не теряя времени, Гуччо отправил дядюшке письмо и посоветовал ему скупить все векселя Жака Дюэза, выданные компании Барди и хранившиеся в Лионском отделении банка. «Вам, несомненно, удастся приобрести их за полцены, ибо должник считается при смерти и кредитор, конечно, сочтет вас безумцем. Скупайте их по любой цене за сотню, дело, повторяю, верное, не будь я ваш племянник». Он даже посоветовал Толомеи как можно скорее прибыть в Лион.

Двадцать девятого июля граф де Форэ официально вручил кардиналу-камерлингу послание от регента. Даже Жак Дюэз решил подняться с одра и присутствовать при чтении; правда, в собор его почти внесли на руках.

Послание оказалось грозным. Граф де Пуатье подробно перечислял все прегрешения кардиналов против устава папы Григория. Напомнил о своем обещании разобрать крышу собора. Стыдил святых отцов за раздоры и предлагал им, если они не в силах прийти к соглашению, вручить тиару самому старшему по возрасту. А самым старшим как раз и был Жак Дюэз.

[1] А если он не умрет? (*Итал.*)
[2] Жаль... (*Итал.*)

Но, услышав совет регента, Жак Дюэз расслабленно, как умирающий, махнул рукой и еле слышно проговорил:

— Самого достойного, братья, самого достойного! На что вам нужен пастырь, которому не под силу направлять паству, который и сам-то себя направить не может, чье место не здесь, а на небесах, если господь пожелает меня призвать к себе?

Он велел отнести себя в келью, лег на постель и повернулся к стене. Хорошо, что Гуччо успел изучить нрав своего кардинала, и один мог догадаться, что плечи Дюэза сотрясает не предсмертная икота, а смех.

На следующий день Дюэзу полегчало: слишком затянувшаяся комедия слабости могла пробудить подозрение. Но когда прибыло послание от Неаполитанского короля, который поддерживал предложение регента, на старика напал такой кашель, что вчуже страшно становилось; видно, и впрямь он был плох, если ухитрился в такую жару схватить простуду.

Однако надежда еще тлела в кардинальских душах, и торг продолжался, беспощадный, бесконечный. Вряд ли из двадцати четырех кардиналов нашелся хоть один, который, как ни малы были его шансы на избрание, не подумал пусть на минуту: «А почему бы и не меня?»

Среди приезжих, наводнивших Лион в надежде на близкое завершение дела, утвердилось мнение, что все эти установления чересчур далеки от совершенства — все они стоят друг друга, недостатки их порождены человеческим тщеславием; система избрания папы на престол святого Петра ничуть не лучше порядка наследования престола французского.

А тут еще усилил строгости граф де Форэ. По его приказу осматривали еду, которую давали теперь уже только раз в день, послания, адресованные кардиналам, конфисковывали, их письма швыряли обратно в окошко.

Пятого августа Наполеону Орсини удалось склонить на сторону Дюэза самого Каэтани, грозу конклава, а также кое-кого из гасконской партии. Провансальцы потирали руки, предвкушая победу.

А шестого августа подсчитали, что монсеньор Дюэз может рассчитывать на восемнадцать голосов, то есть получить на два голоса больше, чем требовалось для пресловутого большинства, которого в течение двух лет и трех месяцев не мог собрать ни один из претендентов. Оставшиеся в меньшинстве раскольники, поняв, что из-

брание произойдет без их помощи, даже вопреки их воле, и справедливо опасаясь кары за свое упорство, поспешили признать высокие христианские добродетели монсеньора Дюэза и изъявили согласие голосовать за него.

Голосование назначили на понедельник — седьмое августа 1316 года. Выбрали четырех кардиналов для подсчета голосов. Появился и сам Дюэз, которого несли Гуччо и второй кардинальский служка.

— Прямо перышко, весу в нем совсем нет,— шептал Гуччо кардиналам, собравшимся посмотреть на шествие и почтительно расступавшимся перед Дюэзом, из чего нетрудно было заключить, что выбор их уже сделан.

— На все воля твоя, господи, твоя воля,— прошелестел Дюэз, беря в руки бумагу, где ему предстояло написать имя кандидата.

А через несколько минут Дюэз был единогласно избран папой, и двадцать три бывших его соперника устроили ему шумную овацию.

Досаждал же он избравшим его кардиналам еще целых восемнадцать лет!

Гуччо бросился было, чтобы помочь подняться хилому старику, ставшему отныне главой христианского мира.

— Нет, нет, сын мой, не надо,— запротестовал Дюэз.— Попытаюсь ходить без посторонней помощи. Лишь бы господь бог укрепил меня.

Те, кто поглупее, поверили, что совершилось чудо, а все прочие поняли, что их обвели вокруг пальца.

Кардинал-камерлинг тем временем приказал сжечь в камине все документы, связанные с голосованием, и белый дымок известил мир об избрании нового главы католической церкви. И сразу же застучали кирки, разбивая каменную кладку, преграждавшую главный выход. Но граф де Форэ был человек осмотрительный; как только каменщики пробили достаточно большое отверстие, он первым проскользнул в амбразуру.

— Да, да, сын мой, избрали именно меня,— бросил ему Дюэз, ковыляя к дверям.

Каменщики разобрали кладку; в освобожденные от камней окна хлынуло солнце — впервые за сорок дней пребывания конклава в церкви святого Иакова.

Огромная толпа собралась на паперти; простой люд, лионские горожане, судьи, сеньоры и наблюдатели иностранных дворов, как по команде, опустились на колени.

Какой-то толстый человек с оливково-смуглым лицом и крепко зажмуренным левым глазом сумел пробиться внутрь церкви сразу же вслед за графом де Форэ. Схватив край папского одеяния, он почтительно поднес его к губам, и на его седую голову пало первое благословение того, кто отныне стал зваться папой Иоанном XXII.

— Zio Spinello! [1] — крикнул Гуччо, вглядываясь в коленопреклоненного толстяка.

— Ах, так это ваш дядя! Я очень полюбил вашего племянника, сын мой,— проговорил Дюэз и сделал банкиру знак, чтобы тот поднялся с колен.— Он верно служил мне, и я намерен оставить его при себе. Но обнимите же его, обнимите скорее!

Гуччо бросился на шею Толомеи.

— Я выкупил все, как ты мне сказал, платил по шесть за десять,— шепнул дядя на ухо племяннику, пока Дюэз благословлял толпу.— Этот папа должен нам не одну тысячу ливров. Bel lavoro, figlio mio! [2] Ты мой настоящий племянник по крови!

Но не у одних только кардиналов вытянулись с досады лица; какой-то человек, стоявший позади Толомеи, тоже не мог сдержать досадливого жеста — это был сеньор Боккаччо, главный приказчик Барди.

— Эх, знал бы я, что ты тут замешан, mascalzone [3],— обратился он к Гуччо,— ни за что бы не продал!

— А Мари? Где Мари? — тревожно допытывался Гуччо.

— Успокойся, твоя Мари чувствует себя превосходно. Она столь же красива, сколь ты лукав, и если крошечный ломбардец, который пока что находится у нее в утробе, унаследует ваши качества, он наверняка пробьет себе дорогу! Иди, иди скорее, мальчик! Слышишь, святой отец тебя кличет.

Глава III

ПЛАТА ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Регент Филипп решил присутствовать при церемонии возведения на престол папы, который был собственной его креатурой, и таким образом явить себя всему свету как ревностного защитника христианства.

[1] Дядя Спинелло! (*Итал.*)
[2] Славно сработано, сын мой! (*Итал.*)
[3] Мошенник (*итал.*).

— Потрудился я для него немало,— говорил Филипп.— Теперь пускай он по справедливости поможет мне упрочить мое правление. Я обязательно поеду в Лион на миропомазание.

Но из графства Артуа по-прежнему шли тревожные вести. Робер, не встречая сопротивления, взял Аррас, Авен, Терруан,— словом, продолжал прибирать к рукам все графство. Из Парижа его тайно поддерживал граф Валуа.

Регент не изменил своей прежней тактике окружения, подсказанной ему не так разумом, как его природными склонностями; он сразу же взялся обрабатывать прилегавшие к Артуа области, боясь, что мятеж перекинется туда. Пикардийским баронам он направил послание, в котором говорилось об узах верности, связывающих их с французским престолом, и весьма любезно, но недвусмысленно намекалось, что регент не потерпит ни малейшего нарушения верноподданнического долга; вслед за тем во все пикардийские превотства прибыли французские войска и стража для поддержания порядка. Фламандцам, которые все еще язвительно подтрунивали над «грязевым походом» Сварливого, хотя с тех пор прошло больше года, этим самым фламандцам Филипп предложил новый мирный договор на весьма выгодных для них условиях.

— Раз уж началась такая сумятица, лучше потерять малое, но спасти остальное,— говорил он своим советникам.

Хотя зять графа Фландрского, Жан де Фиенн, был одним из верных приспешников Робера Артуа, суверен Фландрии, почуяв, что вряд ли представится еще столь же благоприятный случай, согласился на переговоры и, таким образом, не стал вмешиваться в дела соседнего графства.

Словом, Филипп запер ворота Артуа. И тогда послал Гоше де Шатийона к вожакам мятежников поторговаться с ними и уверить их в доброжелательности графини Маго.

— Поймите меня хорошенько, Гоше, не вздумайте объясняться с Робером,— наставлял Филипп своего коннетабля,— а то он решит, что мы тем самым признаем его права. Мнения своего мы не изменили — Робер лишен этих земель, коль скоро такова была воля моего отца. Вас посылают в Артуа с единственной целью — уладить раздоры графини с ее вассалами, что, по наше-

му мнению, ничуть Робера не касается. Делайте вид, что просто его не замечаете.

— Говоря начистоту, сир,— произнес коннетабль,— вы желаете, чтобы полностью восторжествовала ваша теща?

— Отнюдь нет, Гоше; отнюдь нет, если она злоупотребила своими правами, а я думаю, что так оно и есть. Дело в том, что наша мадам Маго натура властная и считает, что любой человек рожден на свет божий с единственной целью служить ей, отдавать ей все до последнего лиарда и до последней капли пота! Я хочу мира,— продолжал регент,— и именно поэтому пусть каждому воздастся по заслугам. Нам известно, что богатые горожане держат руку графини, потому что горожане всегда идут против знати, а знать встала на сторону Робера, чтобы подкрепить свои претензии. Последите за тем, насколько просьбы обоснованны, и постарайтесь их удовлетворить, не ущемляя, конечно, интересов короны; и главное — приложите все силы, чтобы отторгнуть баронов от нашего смутьяна-кузена, докажите им, что они добьются большего, положившись на нашу справедливость, нежели от него, прибегая к насилию.

— Вы, сир, на редкость рассудительный человек, поистине рассудительный! — проговорил коннетабль.— Не думал я, что мне на старости лет доведется служить такому мудрому владыке, и служить с радостью, а ведь вы втрое меня моложе.

Одновременно регент обратился к папе через графа де Форэ с просьбой отложить церемонию восхождения на папский престол. Как ни хотелось Дюэзу поскорее освятить свое избрание, он любезно согласился подождать две недели.

Но прошло две недели, а дела в Артуа были еще далеки от завершения; да и договор с фламандцами мог быть подписан не раньше первого сентября. Поэтому Филипп снова попросил Дюэза об отсрочке, на сей раз через посредство Вьеннского дофина. Но Дюэз, к великому удивлению регента, выказал неожиданную твердость духа и ответил чуть ли не грубо: церемония, мол, назначается на пятое сентября, и это уж бесповоротно.

Вновь избранный папа настаивал именно на этой дате по весьма веским в его глазах причинам, которые, впрочем, предпочитал держать в тайне, да и догадаться о них было трудно. А дело заключалось в том, что в 1300 году, именно пятого сентября, его посвятили в

епископы города Фрежюса; именно в первую неделю сентября 1309 года короновался покровитель Дюэза — король Роберт Неаполитанский; и именно четвертого сентября 1310 года увенчался успехом маневр Дюэза, когда он, подделав королевскую подпись, добился для себя епископского кресла в Авиньоне.

Новый папа умел ладить с небесными светилами и знал, когда движение солнца благоприятно его собственному восхождению.

«Ежели его высочеству, регенту Франции и Наварры, столь любезному нашему сердцу,— велел передать он Филиппу,— государственные заботы препятствуют находиться вместе с нами в сей высокоторжественный день, мы душевно скорбим, но, раз уже нам нечего бояться, что ему предстоит совершить столь дальний путь, мы возложим на себя тиару в городе Авиньоне».

Филипп Пуатье скрепил договор с фламандцами утром первого сентября. А пятого на заре он прибыл в Лион в сопровождении графа Валуа и графа де ла Марша, боясь оставить их без присмотра в Париже, а также в сопровождении Людовика д'Эвре.

— Вы, племянник, совсем загнали нас, мчались сломя голову,— сказал Валуа, вступив на лионскую землю.

Прибывшие едва успели переодеться в особые одежды, приготовленные для церемонии и заранее заказанные для них казначеем Жоффруа де Флери. Регенту принесли мантию персикового цвета, подбитую беличьими животиками в количестве двадцати шести штук. Карл Валуа, Людовик д'Эвре, Карл де ла Марш и Филипп Валуа, тоже приглашенный на празднество, получили в подарок плащи, богато подбитые мехом.

Празднично разубранный Лион кишел народом, собравшимся поглядеть на торжественное шествие.

Жак Дюэз прибыл в храм святого Иоанна верхом на коне, а впереди него прогарцевал мимо коленопреклоненных толп сам регент Франции. Над городом стоял оглушительный колокольный звон. Папского коня вели под уздцы граф д'Эвре и граф де ла Марш. Французская монархия тесно замкнула папство в свое кольцо. Сзади шествовали кардиналы в красных шапках, завязанных тесьмой под подбородок и надетых поверх скуфеек. Епископские митры сияли на солнце. Сам кардинал Орсини, потомок римских патрициев, возложил тиа-

ру на чело Жака Дюэза, сына простого горожанина из Кагора.

Гуччо, успевший занять в соборе удобное место, восхищался своим господином. Сухонький, узкоплечий старичок с острым подбородком, который еще месяц назад готовился, по всеобщему мнению, отдать богу душу, без малейшего усилия нес на себе тяжелые атрибуты папской власти. Сказочно пышные обряды этой многочасовой церемонии, возвышавшей простого кардинала над всеми прочими священнослужителями, превращавшие его в живой символ божества,— все это, помимо воли, оказало на Дюэза свое воздействие: черты лица, осанка приобрели не свойственную ему внушительность и величавость; и выражение это проступило еще явственнее к концу литургии. Однако, когда Дюэза обули в папские туфли, он не мог удержать легкой улыбки.

«Scarpinelli! Мне дали кличку scarpinelli — кардинал-туфельщик,— подумал он.— Распространяли слухи, что я сын башмачника. А теперь я сам буду ходить в туфлях... Господи! Нечего мне больше желать. Только бы умело повести дела!»

Он и доказал свое умение вести дела,— в тот же день по просьбе папы регент пожаловал его брату, Пьеру Дюэзу, дворянство, а сам он собирался уже собственной волей назначить пятерых своих племянников кардиналами и выполнил свое намерение в течение двух ближайших лет.

Акт о пожаловании дворянства, продиктованный лично Филиппом Пуатье по окончании церемонии, если и имел целью отдать долг уважения наместнику святого Петра в лице родного брата папы, одновременно свидетельствовал об удивительных умонастроениях юного регента. «Фамильное достояние, накопленное богатство и все прочие дары фортуны,— писал он,— играют ничтожно малую роль в совокупности моральных качеств и в достохвальных деяниях человеческих; все это переходит достойным, равно как и недостойным, заслуженно, а равно и незаслуженно лишь игрою случая... Зато каждый есть детище собственных своих деяний и личных заслуг, и не имеет значения, откуда мы пришли, если мы даже знаем, от кого мы произошли...»

Но регент не для того проделал столь длинный путь и выказал в отношении нового папы так много внимания, чтобы уехать с пустыми руками, не получив ничего взамен. Между этими двумя людьми, которых разделя-

ли целые полвека («Вы, ваше высочество, восход, а я, увы, закат!» — любил повторять Дюэз Филиппу), с первой же встречи установилась какая-то тайная близость и общность замыслов. Иоанн XXII не забыл тех обещаний, которые давал Жак Дюэз, а регент — тех, которые давал граф Пуатье. Как только регент завел разговор о церковных бенефициях, первый аннуитет от которых должен был поступить в королевскую казну, новый папа тут же сообщил, что документы ждут лишь подписи. Но прежде чем были приложены печати, Филипп успел приватно побеседовать с Карлом Валуа.

— Нет ли у вас ко мне каких-нибудь претензий, дядюшка? — спросил он.

— Конечно, нет, племянник,— ответил бывший император Константинопольский.

Единственный способ сказать человеку в лицо, что у тебя к нему одна лишь претензия — зачем он вообще существует на свете!

— В таком случае, дядюшка, если вы не имеете оснований на меня жаловаться, зачем же вы вредите мне? Я заверил вас, когда вы вручали мне ключи от казны, что не спрошу отчета, и сдержал свое обещание. Вы же клялись мне в преданности и верности, а слова своего не держите и оказываете помощь Роберу Артуа.

Валуа возмущенно махнул рукой.

— Боюсь, что вы просчитаетесь, дядя,— продолжал Филипп,— Робер обойдется вам слишком дорого. У Робера гроша за душой нет; единственный его доход — это деньги, которые ему выплачивает казна, а я распорядился не выплачивать ему больше ничего. Поэтому теперь он будет осаждать вас просьбами о помощи. А где вы сами возьмете нужные средства, поскольку финансы королевства уже не в ваших руках? Да не дуйтесь вы, не краснейте, а главное, воздержитесь от грубых слов, о которых вы сами пожалеете, так как я пекусь о вашем же благе. Дайте мне обещание не слишком поддерживать Робера, а я со своей стороны попрошу святого отца, чтобы аннаты епископств Валуа и Мэн шли прямо вам, минуя казну.

Сердце графа Валуа терзали ненависть и алчность.

— А какова сумма этих аннатов? — спросил он.

— От десяти до тринадцати тысяч ливров в год, дядюшка; возьмите в расчет, что в последние годы царствования моего отца и во все время царствования Людовика бенефиции вообще не взимались.

Для Карла Валуа, не вылезавшего из долгов, привыкшего к королевскому образу жизни и посулившего непомерно огромное приданое за своими дочерьми, для которых он мечтал о самых выгодных партиях, десять — тринадцать тысяч ливров ежегодного дохода если и не разрешали окончательно финансовых затруднений, то, во всяком случае, давали временную передышку.

— Вы, племянник, как я вижу, человек добрый и понимаете мои нужды,— ответил Карл Валуа.

Получив от Гоше де Шатийона добрые вести, Филипп, не торопясь, возвращался в Париж, делая небольшие переходы, улаживал по дороге всевозможные дела и, наконец, прежде чем въехать в столицу, заглянул в Венсен к королеве Клеменции, чтобы передать ей благословение нового папы.

— Как я счастлива,— воскликнула королева,— что наш дорогой Дюэз взял себе имя Иоанна, ведь то же имя я выбрала своему ребенку. Я дала обет назвать его Иоанном еще на корабле, по дороге во Францию, когда разразилась страшная буря.

Клеменцию по-прежнему не интересовали вопросы власти. Всеми помыслами ее владел покойный супруг и будущее материнство со всеми его заботами. Пребывание в Венсене благотворно сказалось на состоянии Клеменции: она похорошела, к ней вернулись прежние краски, и сейчас, раздобрев на седьмом месяце, она чувствовала себя совсем здоровой, что нередко бывает к концу тяжелой беременности.

— Неподходящее имя для французских королей,— заметил Филипп.— В нашем роду никогда не было Иоаннов.

— Но, брат мой, я говорю вам, что дала обет.

— Что ж, придется уважить ваше желание... Если родится мальчик, он будет зваться Иоанн I.

Прибыв во дворец Ситэ, Филипп направился в покои своей супруги Жанны, которая, сияя счастьем, нянчилась с крошкой Луи-Филиппом, кричавшим, как и подобает кричать в двухмесячном возрасте.

Но графиня Маго, услышав о возвращении зятя, как фурия примчалась во дворец, засучивая на ходу рукава.

— Ох, сынок, пока вы отсутствовали, меня предали! Известно вам, что натворил в Артуа ваш плут Гоше?

— Гоше вовсе не плут, а коннетабль Франции, матушка, и еще недавно вы не считали его плутом. Так что же он наделал?

— Он отступился от меня! — вопила Маго.— Осудил во всем. Ваши посланцы снюхались, как воры на ярмарке, с моими вассалами, посмели потребовать, чтобы я не возвращалась в Артуа... Слышите, это мне, Маго, запрещают возвращаться в мое же собственное графство... прежде чем я не подпишу этот проклятый мирный договор, который я в прошлом декабре отказалась подписать, как ни понуждал меня к этому покойный Людовик. Больше того, они требуют, чтобы я вернула какие-то подати, которые я, по их мнению, неправильно взимала.

— Все это кажется мне вполне справедливым. Мои посланцы строго выполняют мои распоряжения,— спокойно отозвался Филипп.

От удивления Маго даже замолчала и застыла на месте с открытым ртом, выпучив глаза. Но, оправившись от первого потрясения, завопила еще громче:

— Ах, справедливо! Значит, по-вашему, справедливо грабить мои замки, вешать мою стражу, топтать мои нивы?! Значит, это вы так распорядились, значит, вы поддерживаете моих врагов! Ваши распоряжения! Вот уж действительно заплатили мне за все добро, которое я для вас сделала!

На ее лбу вздулась толстая синяя жила, и Филипп подумал, что вечером его теще придется отворить кровь.

— Не знаю, матушка, что вы такое для меня сделали, если не считать того, что отдали мне свою дочь,— возразил он,— и почему я должен терпеть, что вы наносите ущерб моим подданным и ради собственной выгоды ставите под угрозу мир в королевстве.

Маго не сразу нашлась, что ответить, ярость боролась в ее душе с благоразумием. Но, услышав из уст зятя слова: «мои подданные», чисто королевские слова, она забыла все.

— А убить твоего братца,— крикнула она, наступая на Филиппа,— это, по-твоему, ничего не значит?

Десять недель она хранила про себя тайну и выдала ее сейчас в неразумном порыве гнева.

Филипп не отпрянул, не крикнул от ужаса, он только бросился закрывать двери и близоруко оглядывался, боясь обнаружить нежелательного свидетеля, который мог их слышать. Затем запер все замки, вынул ключи и засунул их за пояс. Маго вздрогнула от страха, а когда она увидела медленно приближавшегося к ней Филиппа, увидела его лицо, она совсем перетрусила.

— Стало быть, это вы,— проговорил он негромко,— стало быть, то, о чем шушукаются по всей Франции, правда?

Но Маго была не из тех, кто сдается без боя.

— А как, по-вашему, все это произошло, сын мой? И кому, по-вашему, вы обязаны честью быть регентом, а возможно, рано или поздно и королем? Ну-ну, не прикидывайтесь простачком! Ваш брат отобрал у меня Артуа; Карл Валуа настраивал его против меня; а вы, вы сидели в Лионе, выбирали папу. Подумаешь, нужен мне папа! Не смотрите на меня как блаженненький и не вздумайте уверять, что не одобряете моего поступка! Ничуть вы не любили Людовика и, конечно, рады, что вам досталось после него еще тепленькое местечко! А все благодаря мне, все потому, что я чуточку, совсем чуточку приправила его драже. Но вот уж чего я никак не ожидала — что вы окажетесь еще хуже Людовика!

Филипп опустился в кресло, скрестил на груди свои длинные руки и задумался.

«Рано или поздно, это все равно бы произошло,— подумала Маго.— В каком-то отношении это даже лучше; теперь он у меня в руках».

— Жанна знает? — вдруг спросил Филипп.

— Ничего не знает. Это не женское дело.

— А кто знает, кроме вас?

— Беатриса, моя придворная дама.

— И этого уже много,— отозвался Филипп.

— Ох, не трогайте ее! — вскричала Маго.— Она из могущественной семьи.

— О да, как раз из той семьи, по чьей вине вас так обожают в Артуа! А кроме Беатрисы? Кто вам дал... эту приправу, как вы изволили выразиться?

— Одна колдунья из Арраса, я ее в глаза не видела, а Беатриса ее знает. Я велела нарочно сказать, что хочу избавиться от оленей, которые портят мой парк, и действительно мы их немало потравили.

— Следовало бы найти эту женщину,— заметил Филипп.

— Поняли ли вы наконец,— продолжала Маго,— что теперь вы не можете от меня отступиться? Как только люди увидят, что вы лишили меня своего покровительства, враги мои осмелеют и начнут клеветать...

— Злословить, матушка, злословить...— уточнил Филипп.

— И если меня обвинят, то — да было бы вам из-

вестно — вся тяжесть обвинения падет на вас, люди скажут, что я действовала в ваших интересах, если не по вашему прямому наущению.

— Знаю, матушка, знаю; я как раз об этом и думал.

— Помните, Филипп, ради вас я рисковала загубить свою душу. Так что не будьте неблагодарным.

Филипп даже зашелся от гнева, что случалось с ним весьма редко.

— Нет, это уж слишком, матушка! Вы теперь потребуете, чтобы я вам ноги целовал за то, что вы отравили моего брата! Если бы я знал, что регентство достанется мне такой ценой, я никогда, слышите, никогда не согласился бы. Я отвергаю убийство; никого не следует убивать ради достижения своей цели; к такому средству прибегают плохие политики, и я приказываю вам более не прибегать к нему, пока я ваш сюзерен.

В первое мгновение он чуть было не поддался благородному порыву: немедленно собрать Совет пэров, разоблачить преступление, потребовать достойной кары... Маго, угадавшая по выражению лица Филиппа ход его мыслей, пережила скверную минуту. Но Филипп никогда не следовал своим первым побуждениям, даже самым благим. Поступить так — значит бросить тень не только на свою жену, но и на самого себя. Да и графиня Маго способна возвести на него любой поклеп, лишь бы обелить себя, лишь бы загубить его, не вставшего на ее защиту. Найдется немало желающих воспользоваться удобным случаем и пересмотреть вопрос о регентстве и престолонаследовании. А Филипп успел уже немало сделать ради Франции и мечтал сделать еще больше; он не вправе лишиться власти. В конце концов, брат его, Людовик, был скверным королем, да и убийцей к тому же... Возможно, такова воля провидения, воздавшего убийце за убийство и передавшего Францию в более достойные руки.

— Бог вам судья, матушка, бог вам судья,— произнес он.— Мне хотелось бы только, чтобы адское пламя по вашей милости не коснулось нас еще при жизни. Приходится расплачиваться за ваше преступление, и поскольку я не могу бросить вас в темницу, я и впрямь вынужден стать вам поддержкой... Искусно вы сумели все подстроить. Послезавтра мессир Гоше получит от меня новые распоряжения. Не скрою от вас, что даю их с тяжелой душой.

Маго бросилась было на шею зятю. Но он отстранил ее.

— И запомните хорошенько,— сказал он,— отныне все кушанья, прежде чем поступят ко мне на стол, будут пробоваться трижды, и если я почувствую хоть малейшие желудочные колики, часы вашей жизни будет нетрудно сосчитать. Так что молитесь за мое здоровье.

Маго склонила чело.

— Я так верно буду служить вам, сын мой,— произнесла она,— что рано или поздно вы вернете мне свою любовь.

Глава IV

«КОЛЬ СКОРО НАС ВЫНУЖДАЮТ ВОЕВАТЬ...»

Никто, и в первую очередь Гоше де Шатийон, не мог понять, почему Филипп Пуатье так круто изменил свою политику в отношении графства Артуа. Регент внезапно объявил своих собственных посланцев неправомочными, а подготовленное ими соглашение неприемлемым и потребовал составить новое, которое более благоприятствовало бы графине. Последствия не замедлили сказаться. Переговоры были прерваны, и участники их, представлявшие умеренную часть знати графства Артуа, сразу же присоединились к стану мятежников. Трудно описать их негодование; коннетабль их предал, провел; отныне единственное их оружие — сила.

Граф Робер ликовал.

— Ну что, разве не предупреждал я вас, что с этими мошенниками нельзя вести переговоры? — говорил он всем и каждому.

Собрав свое воинство, он снова двинул его на Аррас.

Гоше, прибывший для переговоров с горсткой людей, едва успел улизнуть из Арраса через Перонские ворота, когда Робер торжественно, под звуки труб, с развернутыми знаменами, вступил в свою столицу через ворота Сент-Омер. Войди он на четверть часа раньше, быть бы коннетаблю Франции в плену. Произошло все это двадцать второго сентября. В тот же день Робер отправил своей тетке Маго следующее послание:

> «Высокочтимой, высокороднейшей даме Маго Артуа, графине Бургундской от Робера Артуа, шевалье. Так как вы препятствовали осуществлению моих законных прав в графстве Артуа, что много мне вредило и тяжелым камнем

на душе лежит, каковое положение терпеть более я не намерен, сим довожу до вашего сведения, что отныне буду сам вершить все дела и надеюсь возвратить себе все свое добро, как только успею».

Робер не был силен в эпистолярном искусстве; дипломатические выверты и тонкости были не по его части, и он весьма гордился своим посланием, полностью выражавшим то, что он хотел сказать.

В Париж коннетабль Франции явился туча тучей и не замедлил высказать графу Филиппу все, что накипело у него на душе. Перед регентом он не чувствовал ни малейшего стеснения — он знал его с пеленок; Гоше прямо так и сказал Филиппу и добавил, что негоже подобным образом обращаться с верным слугой и преданным родственником, который целых двадцать лет командует французской армией. Где это видано, посылать человека заключать договор на одних условиях, а потом менять их!

— До сих пор, ваше высочество, я слыл человеком честным и раз уж давал кому слово, то каждый знал, что сдержу его. А по вашей милости я очутился в роли предателя и плута. Когда я поддерживал вас как будущего регента, я надеялся обнаружить в вас хоть какие-то черты моего покойного государя, вашего батюшки, тем паче, что до этого вы не раз делом доказывали, что пошли в него. А теперь я вижу, что жестоко заблуждался. Неужели вы до такой степени попали под влияние женщины, что меняете мнения, как перчатки?

Филипп старался успокоить коннетабля, уверяя его, что поначалу плохо разобрался в делах и дал неправильные указания. Все равно бесполезно идти на мировую со знатью графства Артуа, пока Робер не сложит оружия. Робер представляет собой вечную угрозу для государства и для всей королевской фамилии, ибо бесчестит ее. Разве не он первый посеял смуту, разве не он распространяет клеветнический слух, что Маго отравила Людовика?

Гоше пожал плечами.

— Но кто же поверит такой ерунде? — вскричал он в сердцах.

— Не вы, Гоше, конечно, не вы,— заметил Филипп,— но многие прислушиваются к клевете с удовольствием, лишь бы нам навредить; а завтра они скажут,

что я, что вы тоже причастны к этой кончине, которую хотят обставить таинственными обстоятельствами. Но ничего, Робер сделал ложный шаг, чего, впрочем, я и ждал. Посмотрите, что он пишет Маго...

Филипп протянул коннетаблю письмо от 22 сентября.

— В этом письме,— продолжал Филипп,— он отказывается признавать решение, вынесенное Парламентом по настоянию моего отца еще в 1309 году. До сих пор он поддерживал врагов графини; а сейчас он бунтует уже против законов королевства. Придется вам снова отправиться в Артуа.

— Нет уж, увольте, наше высочество,— воскликнул Гоше.— Слишком я там осрамился. Улепетывал из Арраса, как старый кабан от гончих, даже помочиться и то не успел. Нет уж, сделайте милость, найдите себе другого, пусть он и улаживает такие дела.

Филипп поднес сплетенные пальцы к губам. «Если бы ты только, Гоше, знал,— думал он,— как мне больно тебя обманывать! Но скажи я тебе всю правду, ты бы еще больше стал меня презирать!» И он повторил:

— Вы поедете в Артуа, Гоше, из любви ко мне и потому что я вас об этом прошу. Возьмите с собой вашего зятя, мессира Миля и на этот раз достаточно вооруженных людей, а также горожан, и затребуйте подкрепление из Пикардии; Роберу объявите, что ему следует предстать перед Парламентом и дать отчет в своих действиях. Одновременно поддержите деньгами и вооруженными людьми тех горожан, которые остались нам верны. А если Робер не подчинится, я сумею привести его к повиновению иным способом... Правитель — такой же человек, как и все прочие,— продолжал Филипп, взяв Гоше за плечи,— он может поначалу сделать ошибку, но самая большая ошибка — упорствовать в своей неправоте. Ремеслу правителя учатся, как любому другому ремеслу, и я пока еще учусь. Простите меня за то, что я поставил вас в неловкое положение.

Ничто так не трогает человека в летах, как откровенное признание юноши в своей неопытности, особенно когда этот юноша стоит много выше вас на иерархической лестнице. Слеза увлажнила глаза Гоше, полуприкрытые морщинистыми, как у черепахи, веками.

— Ах да, я и забыл! — воскликнул Филипп.— Я решил, что вы будете опекуном будущего ребенка королевы Клеменции... нашего короля, если бог пошлет мальчика, и вторым крестным отцом после меня.

— Ваше высочество, ваше высочество!..— растроганно лопотал Гоше.

И он бросился обнимать регента, словно вина за неудачу в Артуа падала только на него, Гоше.

— А насчет крестной матери,— продолжал Филипп,— мы решили с самой королевой, что крестить будет графиня Маго, и это положит конец всем слухам.

Через неделю коннетабль снова отбыл в Артуа.

Как и следовало ожидать, Робер отказался повиноваться регенту и продолжал бесчинствовать вместе со своей вооруженной ордой. Но в октябре счастье изменило ему. Если Робер был великолепным воином, он был скверным стратегом: свои набеги совершал без системы и плана, сегодня бросал людей на север, завтра — на юг, словом, куда ему подсказывало вдохновение. Первый рейтар среди рейтаров, первый кондотьер среди кондотьеров, он был скорее создан для подчиненной роли, как военная сила, направляемая свыше, чем для роли командира, что и доказал пятнадцать лет спустя, когда сражался на стороне Англии против Франции. В графстве Артуа, которое он считал своей родной вотчиной, Робер распоясался, как на вражеской территории, и вел опасную, дикую, лихорадочную жизнь, что вполне отвечало его вкусам. Он наслаждался тем, что при его приближении все трепещет, но не замечал, что сеет вокруг себя ненависть. Слишком много повешенных на первом попавшемся суку, слишком много обезглавленных и зарытых живьем в землю под радостное ржанье его приспешников, слишком много испорченных девушек, на чьей нежной коже сохранились царапины от медных кольчуг, слишком много пожаров отмечало его победоносный путь. Матери, желая утихомирить расхныкавшееся дитя, грозили позвать его светлость Робера; но как только он появлялся поблизости, они хватали своих ребятишек и бежали прятаться в соседний лес.

Городскге ворота забаррикадировали; ремесленники, наученные примером фландрских коммун, точили втихомолку ножи, а старшины поддерживали связь с эмиссарами Гоше. Робер любил бой в открытом поле и презирал осадную войну. Жители Сент-Омера или Кале запирали ворота перед его носом, а он пожимал плечами и грозился:

— Вот вернусь, и все вы у меня передохнете!

И шел сражаться дальше.

Но с деньгами становилось все труднее. Валуа не

отвечал на просьбы Робера, и лишь изредка от него приходили послания, содержавшие изъявление родственных чувств и советы образумиться. Даже Толомей, дражайший банкир Толомеи, молчал. Сам он куда-то уехал, а служащим никаких распоряжений не дал... Папа и тот вмешался в распри; в своем послании, адресованном лично Роберу, а также кое-кому из баронов Артуа, святой отец напоминал им об их долге...

Как-то утром, в конце октября, регент на Совете заявил собравшимся с невозмутимым спокойствием, как и всегда, когда принимал важное решение:

— Наш кузен Робер Артуа позволил себе слишком долго пренебрегать нашей волей. Коль скоро он вынуждает нас воевать, мы подымем против Артуа орифламму в Сен-Дени в последний день октября, и так как мессир Гоше в отлучке, войско, которое я поведу сам, будет находиться под командованием нашего дяди...

Взгляды всех присутствующих обратились к Карлу Валуа, но Филипп продолжал:

— ...нашего дяди, его высочества д'Эвре. Нам было бы весьма желательно поручить командование его высочеству Валуа, который, кстати сказать, не раз доказывал свои таланты военачальника, но он, к сожалению, должен уехать в Мэнские владения, чтобы получить церковные аннаты.

— Благодарю вас, племянник,— ответил Валуа,— вы знаете, что я люблю Робера, и хотя не одобряю этот мятеж, который, на мой взгляд, не что иное, как глупое упрямство, мне было бы неприятно сражаться с ним.

Армия, собранная регентом для похода на Артуа, отнюдь не напоминала то непомерно разбухшее войско, которое шестнадцать месяцев назад, по вине покойного Людовика, увязло во фландрской грязи. Войско, направлявшееся в Артуа, состояло из регулярных частей и из рекрутов, завербованных в королевских владениях. Жалованье было повышено: тридцать су в день дворянину, имевшему право распустить знамя, пятнадцать су коннику, три су пехотинцу. Были призваны не только знать, но и мелкопоместные дворяне. Два маршала — Жан де Корбей и Жан де Бомон, по прозвищу Выгребай Назад, он же сеньор графства Клиши,— собирали войска. Арбалетчики Пьера Галара были готовы к походу. Жоффруа Кокатри уже две недели как получил секретные указания относительно средств передвижения и поставок.

Тридцатого октября Филипп Пуатье взял орифламму в часовне Сен-Дени. Четвертого ноября он был уже в Амьене и послал оттуда второго камергера Робера де Гамаша с эскортом конюших передать своему непокорному кузену последние увещевания.

Глава V

ВОЙСКО РЕГЕНТА БЕРЕТ ПЛЕННОГО

На опустевших глинистых полях догнивали сероватые кучи соломы, оставшиеся от далекой уже теперь жатвы. Тяжелые темные тучи медленно плыли по осеннему небу, и отсюда, с этой равнины, казалось, что там, за дальним ее краем, кончается белый свет. Налетавший порывами пронзительный ветер приносил с собой горьковатый привкус дыма.

Перед Букмезоном, перед тем самым поселком, где три месяца назад граф Робер вступил на землю Артуа, стояла теперь армия регента, построенная в боевом порядке, и вымпелы королевского дома трепетали на верхушках копий на протяжении целого полулье.

Филипп Пуатье, окруженный военачальниками, держался в нескольких шагах от проезжей дороги. Он сидел с обнаженной головой, сложив руки в железных перчатках на луке седла. Конюший держал его шлем.

— Значит, он уверил тебя, что именно сюда приедет с повинной? — обратился регент к Роберу де Гамашу, возвратившемуся после переговоров с графом Артуа.

— Да, ваше высочество,— подтвердил второй камергер.— Он сам выбрал место... «В поле, возле межевого столба с крестом»,— так он мне сказал. И уверял, что будет к концу мессы.

— А ты точно знаешь, что поблизости нет другого столба с крестом? Ведь он способен сыграть плохую шутку: будет ждать где-нибудь в другом месте и заявит, что нас там не было... Скажи, ты действительно веришь, что он прибудет?

— Верю, ваше высочество, он ведь заколебался. Я сообщил ему численность вашего войска, довел до сведения, что коннетабль занял фландрские рубежи и города Севера и что, таким образом, граф Робер зажат в тиски и даже бежать ему некуда. И еще я вручил графу Роберу послание от Карла Валуа, который советует ему сдаться без боя, так как исход дела предрешен, и пишет, что вы сильно гневаетесь на графа Артуа и,

если возьметесь за оружие, ему, пожалуй, не сносить головы. Вот это-то его особенно удручает.

Регент пригнул свой длинный торс к лошадиной холке. Нет, решительно все эти военные доспехи не для него; тяжело таскать на себе двадцать фунтов железа, которое давит на плечи, не дает расправить спину.

— Тогда он уединился со своими баронами,— продолжал Гамаш,— но что они там говорили, мне неизвестно. Однако думаю, что кое-кто из них не прочь его предать, а другие умоляют не покидать их на произвол судьбы. Наконец он вышел ко мне, сообщил свое решение, которое я в точности вам передал, и заверил меня, что питает к его высочеству регенту всяческое уважение и поэтому ни в чем не смеет его ослушаться.

Но Филипп Пуатье не очень этому верил. Эта неизвестно откуда взявшаяся покорность беспокоила его, он опасался ловушки. Близоруко щурясь, он оглядел печальный край, лежавший перед ним.

— Место выбрано неплохо, нас ничего не стоит окружить и напасть с тылу, пока мы торчим здесь и ждем его! Корбей, Бомон! — обратился Филипп к своим маршалам.— Пошлите несколько человек на разведку, пусть проверят фланги, прикажите проехать по долинам: пусть удостоверятся, что ни там, ни на дорогах, ни в нашем тылу не скрывается враг. И когда на той колокольне, сзади нас, пробьет час,— добавил он, обращаясь к Людовику д'Эвре,— а Робера не будет, мы двинемся вперед.

Но через несколько минут по рядам прокатился крик:

— Вот он! Вот он сам!

Регент снова прищурил глаза, но ничего не увидел.

— Прямо против вас, ваше высочество,— кричали ему.— Смотрите вправо по холке коня, вон он на гребне холма едет на вас.

Робер Артуа прибыл на свидание с регентом без своего воинства, без конюшего, даже без слуги. Его огромный, под стать всаднику, жеребец шел шагом, и среди пустынной местности гигант Робер казался еще массивнее, чем всегда. Его богатырский силуэт четко вырисовывался на фоне неба, и чудилось, будто этот великан в алом бархате пронзает своим копьем тучи.

— Да он просто издевается над вами, ваше высочество! Нет, вы только посмотрите, едет — и хоть бы что!

— Пускай себе издевается, пускай! — проговорил Филипп Пуатье.

Люди, посланные на разведку, донесли, что в окрестностях всё спокойно.

— А я думал, что он ожесточится еще больше, когда поймет, что положение его безнадежно,— задумчиво проговорил регент.

Любой другой на месте Филиппа, желая сделать красивый жест, поехал бы навстречу Роберу тоже без конюших и слуг. Но Филипп Пуатье видел свое достоинство в ином и отнюдь не собирался соперничать в рыцарстве, раз явился сюда не как рыцарь, а как государь. Поэтому он ждал, не трогаясь с места, пока Робер Артуа, запыхавшийся, забрызганный, подъедет к нему.

Вся армия затаила дух, и мертвую тишину нарушало лишь позвякивание удил.

Вдруг гигант швырнул свое копье на землю. Регент проследил глазами полет копья, упавшего на скирду, и не сказал ни слова.

Робер отцепил от седла свой шлем и тяжелую шпагу и обеими руками кинул их вслед за копьем на землю.

Регент по-прежнему молчал; он ни разу не поднял глаз на Робера; он не сводил взгляда с валявшегося на земле оружия, будто ждал еще чего-то.

Робер Артуа наконец спешился, шагнул вперед и, содрогаясь каждой жилкой от гнева, преклонил одно колено, стараясь поймать взгляд регента.

— Добрый кузен мой! — вскричал он, широко раскинув руки.

Но Филипп прервал его:

— Вы не голодны, кузен? — спросил он.

И так как Робер ждал трагической сцены обмена благородными речами, рукопожатиями, ждал, что его подымут с колен, вслед за чем наступит примирение, он застыл от неожиданности. А Филипп продолжал:

— Тогда садитесь в седло и поспешим в Амьен, где я продиктую вам свои условия мира. Поедете рядом со мной, а закусим по дороге... Эрон! Гамаш! Подберите оружие нашего кузена.

Но Робер Артуа медлил и, стоя возле коня, оглядывался вокруг.

— Вы что-нибудь ищете? — спросил, не выдержав, регент.

— Нет, ничего я не ищу, Филипп. Просто смотрю на поле, чтобы запомнить его навсегда,— ответил Робер.

И он положил ладонь себе на грудь, на то место, где под кольчугой висел бархатный мешочек, в котором хранились, как священная реликвия, сорванные здесь летним днем колосья, уже полуистлевшие сейчас колоски. Надменная улыбка тронула его губы.

Как только они пустились в путь, обычная самоуверенность вернулась к Роберу.

— Немалую же вы собрали армию, кузен мой, для того, чтобы захватить одного-единственного пленника,— насмешливо проговорил он.

— Возьми я в плен двадцать вражеских полков, кузен,— в тон ему ответил Филипп,— и то я не радовался бы этому так, как вашему обществу... Но скажите мне другое: почему вы сразу же решили сдаться? Ибо, если численное преимущество на моей стороне, то ведь вас никак нельзя упрекнуть в недостатке отваги!

— Я решил, что, если мы начнем войну, плохо придется простому люду.

— До чего же вы вдруг стали чувствительны, Робер! — отозвался Филипп.— А ведь полученные мною из Артуа сведения не слишком доказывают ваше милосердие.

— Наш пресвятой папа удостоил меня посланием и призывал к выполнению моих обязанностей.

— И благочестивы к тому же! — воскликнул регент.

— Я долго размышлял над письмом нашего доброго папы... которого, как слышал, столь хитроумно выбрали... И поскольку он в тех же самых словах, что и вы, заклинал меня одуматься, я и решил доказать, что я верный ваш подданный и добрый христианин.

— Чувствительность, религия, верность! Нет, вы решительно переменились, кузен!

И поглядывая искоса на массивный подбородок Робера, Филипп думал про себя: «Смейся, смейся; боюсь, что ты не будешь так хорохориться, когда узнаешь, на каких условиях я предложу тебе мир».

Но и в Совете, который собрали спешно, сразу же по прибытии в Амьен, Робер держался все той же тактики. Безропотно соглашался на любые предложения, не пытался бунтовать, кляузничать, так что со стороны могло показаться, будто он и не слушает чтеца, оглашавшего пункты договора.

Он обязался вернуть «все замки, крепости, сеньории и все прочее, что отобрал или занял». Обязался возвратить все угодья, захваченные его сторонниками. Обещал

заключить с Маго перемирие до пасхи; тогда графиня выразит свою волю и Совет пэров примет решение, установит права обеих сторон. А пока регент берет графство Артуа под свою руку и разместит там угодное ему число стражей, войск и своих вассалов. И, наконец, вплоть до окончательного решения пэров доходы от графства Артуа будут поступать графу д'Эвре и... графу Валуа...

Услышав этот последний пункт, Робер понял, какой ценой было куплено отступничество главного его союзника. Но даже и тут он бровью не повел и подписал бумагу.

Такая чрезмерная покорность начинала тревожить регента. «Какие еще козни он затевает?» — думал Филипп.

Регент торопился вернуться в Париж ко дню разрешения от бремени вдовствующей королевы и поручил двум своим маршалам с отрядом наемных солдат сменить в Артуа коннетабля и следить на месте за неукоснительным выполнением договора. Робер с улыбкой наблюдал за приготовлениями маршалов в дорогу.

Расчет его был прост. Сдавшись в плен один, он тем самым сохранил свое войско. Фиенн, Суастр, Пикиньи и прочие будут вести малую войну, сеять смуту, чтобы взять врага измором. Не может же регент каждые две недели собирать людей и отправляться в поход — казна не позволит. Таким образом Робер добился нескольких месяцев передышки. Пока что он предпочитал вернуться в Париж и находил, что это возвращение благоприятствует его замыслам. Тем более что, возможно, скоро не будет уже ни регента, ни графини Маго.

И впрямь, Роберу удалось отыскать даму Ферьенн — потому-то он так и улыбался,— даму, поставлявшую яд графине Маго. На ее след его навели два соглядатая регента, которые тоже разыскивали ее. Изабелла Ферьенн с сыном были застигнуты на месте преступления — отмеривали покупателю зелье, чтобы напускать порчу. Люди Робера без лишнего шума убрали соглядатаев регента, и теперь колдунья находилась под стражей в одном из замков Артуа, где и продиктовала подробную и очень содержательную исповедь своих злодеяний.

«Ничего, ты у меня еще попляшешь! — думал Робер, искоса поглядывая на Филиппа.— Я прикажу Жану де Варенну привести ко мне эту даму, возьму ее с собой на Совет пэров, а она расскажет, как ты велел убить своего братца! И даже дражайший твой папа не поможет!»

Весь обратный путь Филипп ни на шаг не отпускал от себя Робера; на привалах они ели за одним столом; остановившись на ночлег в монастыре или королевском замке, спали в двух соседних покоях, и многочисленная стража регента берегла Робера как зеницу ока. Но нельзя безнаказанно пить, есть и спать бок о бок со своим врагом — рано или поздно его присутствие невольно пробудит в любом сердце человеческие чувства; так оно и случилось, и никогда еще два царственных кузена не были так близки между собой, как сейчас. Регент, казалось, простил Роберу весь этот ненужный поход, затеянный по его вине, дорожную усталость и расходы; его даже забавляли вольные шуточки Робера и его наигранное прямодушие.

«Еще день-другой, и этот плут меня от души полюбит! — думал гигант.— Как я его провел, как же славно я его провел!»

Утром одиннадцатого ноября, когда показались наконец заставы Парижа, Филипп вдруг осадил коня.

— Добрый мой кузен,— начал он,— тогда, в Амьене, вы обещали моим маршалам сдать все замки... Но, к великому прискорбию, мне стало известно, что большинство ваших друзей не признают договора и отказываются очистить замки.

Робер с улыбкой широко развел руками, как бы говоря, что тут он бессилен.

— А ведь вы поручились за них,— повторил Филипп.

— Верно, кузен, и подписал все, что вы требовали. Но раз я сложил с себя полномочия, пусть уж ваши маршалы постараются привести моих людей к повиновению.

Регент задумчиво погладил холку своего коня.

— Правда ли, Робер,— спросил он,— что вы прозвали меня Филипп Запри Ворота?

— Правда, кузен, сущая правда,— со смехом подтвердил гигант.— Говорят, что вам без закрытых ворот несподручно править страной.

— Ну что же, кузен,— продолжал регент,— потому-то вас и поместят в тюрьму Шатлэ, и придется вам там посидеть до тех пор, пока я не освобожу последний замок Артуа.

Впервые после своей добровольной сдачи в плен Робер чуть побледнел. Весь его план рухнул, даже отравительница Ферьенн была ему теперь ни к чему.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ТРАУР И КОРОНОВАНИЕ

Глава I

КОРОЛЕВСКАЯ КОРМИЛИЦА

Иоанн I, король Франции, сын Людовика X и королевы Клеменции, родился в Венсенском замке через полгода после смерти своего отца, в ночь с 13 на 14 ноября 1316 года.

Весть о его появлении на свет сразу же распространилась по всему Парижу, и знатные сеньоры вырядились в шелка. В тавернах уже с полудня стоял дым коромыслом, так как для бродяг и пьяниц любое событие — прекрасный повод выпить и покричать. Ювелиры, торговцы шелками, дорогими тканями и позументами, продавцы пряностей, редкой рыбы и заморских диковин радостно потирали руки, прикидывая, какие доходы принесут им общее веселье и празднества.

Казалось, даже улицы расцвели улыбкой. Прохожие останавливали встречных словами:

— Ну, куманек, наконец-то у нас есть король!

Парижане почувствовали прилив свежих сил, а непотребные девки с крашеными желтыми волосами вышли на промысел чуть ли не с полудня, хотя в узких улочках позади Собора Парижской Богоматери, которые отвел в их владение особым эдиктом Людовик Святой, гулял осенний ветер.

А за четыре дня до того в странноприимном доме при монастыре святой Клариссы Мари де Крессэ родила мальчика, весившего больше восьми фунтов, с белокурыми, как у матери, волосами. Закрыв глаза, он жадно, словно щенок, сосал материнскую грудь.

Каждую минуту молоденькие послушницы в белых покрывалах вбегали в келью Мари посмотреть, как она пеленает младенца, полюбоваться ее сияющим лицом, когда она кормит, ее розовой пышной грудью, воочию увидеть чудо материнства, которое они, обреченные на вечное девство, созерцали доныне лишь на церковных витражах.

Если и случалось монахине согрешить, то происходило это совсем не так часто, как уверяли в своих песенках уличные рифмоплеты, и появление новорожденного

младенца в стенах монастыря было всегда настоящим событием.

В этот день ликовала вся обитель, так как капеллан сообщил о рождении короля; веселье, охватившее весь Париж, проникло даже сквозь монастырскую ограду.

— Король зовется Иоанном, как и мое дитя,— твердила Мари.

Она видела в этом доброе предзнаменование. Всему поколению, которому еще предстояло родиться, будут давать имя короля, но самое удивительное то, что имя Иоанн впервые появилось среди имен французских королей. Ко всем этим маленьким Филиппам, маленьким Людовикам прибавятся отныне и навеки маленькие Иоанны. «Но мой — первый»,— думала Мари.

Когда в келью уже проникли ранние осенние сумерки, к Мари вбежала молоденькая монахиня.

— Мадам Мари,— крикнула она,— мать-настоятельница зовет вас в приемную. Там вас ждут!

— Кто?

— Не знаю, не видела. Но, если не ошибаюсь, за вами приехали.

Щеки Мари запылали от радостного волнения.

— Это Гуччо, Гуччо! Это отец...— пояснила она послушницам.— За нами приехал мой супруг.

Она застегнула лиф, быстрым движением поправила сбившиеся волосы перед тусклым оконным стеклом, заменявшим ей зеркало, накинула на плечи плащ и вдруг в нерешительности остановилась перед колыбелькой, стоявшей прямо на полу. Не захватить ли с собой и мальчика, чтобы в первую же минуту встречи обрадовать Гуччо таким чудесным сюрпризом?

— Вы видите, как он, ангелок, спит,— твердили юные послушницы.— Не надо его будить и не берите его вниз, а то простудите. Бегите скорее, мы за ним посмотрим.

— Только не вынимайте его из колыбельки и вообще не трогайте! — наказала девочкам Мари.

Уже на лестнице ее охватила материнская тревога: «Лишь бы они не стали с ним играть и не уронили его!» Но ноги сами несли ее в приемную, и она удивилась легкости своей поступи.

В белом зале, единственным украшением которого было огромное распятие да две свечи, отчего сумерки, залегшие в углах, казались еще гуще, мать-настоятельница, сцепив в рукавах кисти рук, беседовала с мадам Бувилль.

Увидев супругу хранителя чрева, Мари испытала не только разочарование, у нее вдруг почему-то появилась необъяснимая уверенность, что эта сухонькая женщина с лицом, изрезанным продольными морщинами, непременно принесет ей горе.

Всякая другая на месте Мари просто призналась бы себе, что не любит мадам Бувилль; но все чувства Мари были сродни страстям, и, питая к кому-нибудь отвращение или любовь, она прежде всего видела в этом перст судьбы. «Я так и знала, что она пришла причинить мне зло»,— подумала Мари.

Проницательным, недружелюбным взглядом мадам Бувилль оглядела Мари с головы до ног.

— Только четыре дня назад родила,— воскликнула она,— и смотрите-ка, свежа и румяна, как шиповник! Примите мои поздравления, милая; вы, как я вижу, можете начинать все сызнова. И впрямь господь бог снисходит к тем, кто нарушает его святую волю и оставляет все муки на долю наиболее достойных. Знаете ли, матушка,— обратилась мадам Бувилль к настоятельнице,— бедняжка королева мучилась больше тридцати часов! До сих пор у меня в ушах стоят ее крики. Король шел спинкой. Пришлось наложить щипцы. Еще немного, и оба — и мать и младенец — погибли бы. А все потому, что королева не оправилась от горя после смерти супруга. На мой взгляд, просто чудо, что ребенок остался жив. Но когда судьба против человека, все, надо признаться, идет вкривь и вкось! К примеру, Эделина, кастелянша... Впрочем, вы ее знаете...

Настоятельница многозначительно кивнула. Среди маленьких послушниц в ее монастыре находилась одиннадцатилетняя девочка, незаконная дочь Сварливого от Эделины.

— В присутствии Эделины королеве было легче, и мадам Клеменция то и дело требовала ее к себе,— продолжала мадам Бувилль.— Ну так вот, Эделина сломала руку, упав со скамейки, и ее пришлось поместить в больницу. А теперь, в довершение всех бед, кормилица, которую мы выбрали еще за неделю до родов, вдруг объявляет, что у нее пропало молоко; подумайте только, в такую минуту! Ибо королева, как вы понимаете, сама кормить не может, у нее горячка... Мой бедный Юг мечется, суетится, из сил выбился и не знает, на что решиться, так как, согласитесь, не мужское это дело; а сир де Жуанвилль ничего не видит, ничего не помнит.

Слава богу, что еще не скончался у нас на руках. Короче говоря, матушка, мне одной приходится все расхлебывать.

Мари де Крессэ старалась понять, почему ее посвящают в дворцовые тайны, но тут мадам Бувилль подошла к ней и затараторила:

— К счастью, я одна не потеряла голову и вовремя вспомнила, что эта девица, которую сюда привезли, уже разрешилась от бремени... Надеюсь, молока у вас хватает и ваш ребенок прибавляет в весе?

Слова эти мадам Бувилль произнесла таким тоном, будто упрекала молодую мать в отменном здоровье.

— А ну-ка, проверим,— добавила она.

И опытной рукой она потрогала грудь Мари, как щупают на рынке фрукты. Мари не смогла сдержать отвращения и резко отступила.

— Вы вполне можете вскормить двоих,— продолжала мадам Бувилль.— А сейчас вы пойдете за мной, красавица, и накормите короля.

— Не могу, мадам! — воскликнула Мари, сама не зная, как объяснить свой отказ.

— А почему не можете? Не можете потому, что согрешили? Неважно, вы все же девица знатного рода и пусть совершили грех, но не лишились молока. Кроме того, вы хоть отчасти искупите этим ваш проступок.

— Я не совершила греха, мадам, я замужем!

— Только вы одна и утверждаете это, бедняжка! Будь вы замужем, с какой стати вы очутились бы здесь? Но вопрос не в этом. Нам, повторяю, нужна кормилица...

— Не могу, я жду своего супруга, он должен приехать за мной и увезти отсюда. Он велел мне передать, что он скоро приедет и папа ему обещал...

— Папа! Папа! — крикнула супруга хранителя чрева.— Ей-богу, она просто рехнулась! Вообразила себе, что замужем, вообразила, что папа о ней печется... Хватит этих глупых выдумок! Я бы на вашем месте постыдилась даже имя нашего святого отца поминать. Мы немедленно отправляемся в Венсен.

— Нет, мадам, никуда я не поеду,— упорствовала Мари.

Ярость затуманила рассудок мадам Бувилль и, не помня себя, она схватила Мари за ворот и тряхнула ее.

— Нет, вы только полюбуйтесь на это неблагодарное создание! Распутничает, беременеет! О ней заботятся,

спасают ее от рук правосудия, помещают в лучший монастырь, а когда королю Франции требуется кормилица, мы, видите ли, начинаем кривляться! Нечего сказать, хорошие пошли подданные! Знаете ли вы, несчастная, что эту великую честь оспаривают друг у друга самые знатные дамы королевства?!

— Ну так и обращайтесь тогда к этим знатным дамам, раз они достойнее меня,— смело возразила Мари.

— В том-то и горе, что они, дурочки, не согрешили в подходящий момент! Господи, что я такое говорю... Хватит болтать, следуйте за мной!

Если бы дядя Толомеи или сам Бувилль обратились к Мари де Крессэ с такой же просьбой, она, безусловно, дала бы согласие. Сердце у нее было доброе и великодушное, она готова была выкормить любое несчастное дитя, а уж тем более королевское. Помимо природной доброты, ее побудило бы к этому тщеславие и даже личные интересы. Мари — кормилица короля, а Гуччо состоит при папе, значит, все мучительные вопросы уладятся и их ждет счастье. Но супруга хранителя чрева не так взялась за дело. Она говорила с Мари не как со счастливой матерью, а как с преступницей, не как с достойной женщиной, а как с рабой, и, поскольку сама мадам Бувилль по-прежнему была в ее глазах предвестницей бед, Мари даже не пыталась разобраться в своих чувствах и отчаянно отбивалась. Ее темно-голубые глаза заблестели от страха и негодования.

— Я буду кормить только своего сына! — твердила она.

— Ну, это мы еще посмотрим, злое создание! Раз вы не желаете покориться добровольно, я сейчас кликну конюших, и они силой вас повезут.

Тут вмешалась настоятельница. Ее монастырь — святое прибежище, и она не может позволить чинить здесь насилие и самовольничать.

— Я не одобряю поведения моей родственницы,— заметила она,— но ее, как-никак, вверили моему попечению...

— Но кто вверил-то? Я! — воскликнула мадам Бувилль.

— Пусть так, но это не значит, что вы можете действовать силой в стенах монастыря. Мари выйдет отсюда лишь по доброй воле или по приказанию церкви.

— Или короля! Не забудьте, матушка, что ваш монастырь — королевский. Я действую от имени моего суп-

руга; если вам требуется распоряжение коннетабля, который назначен крестным отцом короля,— кстати, коннетабль уже вернулся в Париж,— или распоряжение самого регента, мессир Юг добьется от них соответствующего приказа; правда, мы потеряем три часа, но зато будет по-моему.

Настоятельница отвела мадам Бувилль в сторону и шепнула ей, что Мари не случайно упомянула о папе и что тут есть доля истины.

— Ну и что ж! — прервала ее мадам Бувилль.— Мне важно, чтобы король остался жив; а другой кормилицы у нас сейчас нет.

Она подошла к двери, кликнула сопровождавших ее людей и велела им схватить непокорную.

— Прошу вас засвидетельствовать, мадам,— заметила настоятельница,— что я не давала вам разрешения на это похищение.

Двое конюших грубо поволокли Мари к двери, а она вырывалась и кричала:

— Мой сын! Дайте мне моего сына!

— Она права,— сказала мадам Бувилль.— Пусть берет с собой ребенка. Она так орала, что мы совсем голову потеряли.

Через несколько минут Мари, наспех сложив пожитки и прижимая к груди своего первенца, с рыданиями покинула монастырь.

У входа их ожидали носилки.

— Вот видите! — воскликнула мадам Бувилль.— Ей носилки подают, как принцессе, а она раскричалась, возись тут с ней!

Под мерную рысь мулов, тащивших во мраке деревянный ящик, в окна которого, откидывая занавески, врывался холодный ноябрьский ветер, Мари впервые с благодарностью подумала о своих братьях, заставивших ее при отъезде из Крессэ надеть теплый плащ. А тогда, въезжая в Париж, как страдала она от жары, как ненавидела это тяжелое, грубое одеяние! «Откуда бы я ни уезжала, мне вечно сопутствуют горе и слезы,— думала она.— Неужели я так провинилась, что все ополчилось на меня!»

Сынок ее спал, укрытый плащом. Чувствуя у своей груди это крохотное существо, еще ничего не смыслившее и безмятежно дремавшее, Мари мало-помалу успокоилась. Она увидит королеву Клеменцию, поговорит с ней о Гуччо, покажет ладанку с частицей тела святого

Иоанна. Королева так молода, она прекрасна собой и милостива к обездоленным. «Королева... Я буду кормить дитя королевы»,— думала Мари, дивясь тому, что с ней приключилась столь неожиданная и необычная история, которая поначалу обернулась к ней самой мрачной стороной, в чем была повинна мадам Бувилль, эта грубая и властная женщина.

Проскрипел на петлях подъемный мост, который спешно опустили при их приближении, слабо процокали подковы по толстым доскам, а затем громко зазвенели по мощеному двору... Мари предложили выйти из носилок; она прошла между двух рядов вооруженных солдат, проникла в каменный, плохо освещенный коридор, и тут перед ней появился какой-то толстяк в кольчуге, в котором она не без труда узнала мессира Бувилля. Проходившие по коридору люди говорили шепотом; до слуха Мари донеслось слово «горячка», повторенное несколько раз. Ей сделали знак идти на цыпочках, и наконец чья-то рука раздвинула драпировки.

Несмотря на тяжелую болезнь королевы, спальня ее была убрана согласно ритуалу, установленному для коронованных рожениц. Пора цветов миновала, и по полу разбросали пожелтевшую осеннюю листву, уже гниющую, растоптанную ногами. Возле кровати были разложены подушки, но посетителей не пускали. Главная повитуха, стоя в углу, растирала между пальцев ароматические травы. В очаге на железной треноге кипели какие-то мутные отвары. Комнату освещали лишь отблески пламени, горевшего в очаге, да масляный ночник, висевший над кроватью.

Колыбелька стояла в углу, и оттуда не доносилось ни звука.

Королева Клеменция без сил лежала на спине, простыни туго обтягивали ее поджатые от боли колени. На скулах горел неестественный румянец, густые пряди золотистых волос рассыпались на подушках. Ничего не видящие глаза блестели лихорадочным огнем.

— Пить... Умоляю, пить...— стонала королева.

Повивальная бабка шепнула на ухо мадам Бувилль:

— Ее целый час знобит. Зубы стучат, а губы совсем лиловые стали, как у покойницы. Мы уж думали, она отходит. Бросились ее оттирать, а теперь она, как вы сами видите, огнем горит. От пота все простыни насквозь промокли, надо бы ей белье сменить, да никто не

знает, где ключи от бельевой, кому их Эделина передала.

— Сейчас я найду ключи,— сказала мадам Бувилль.

Она провела Мари в соседнюю, так же жарко натопленную комнату.

— Устраивайтесь здесь,— скомандовала она.

По ее приказу в комнату внесли королевскую колыбельку. Мари еле разглядела короля среди вороха пеленок. Носик у него был крошечный, веки набрякшие, плотно сомкнутые; хилый, вялый, болезненный отпрыск королевского дома лежал не шевелясь. Только низко нагнувшись над колыбелькой, Мари убедилась, что он дышит. Время от времени еле заметная гримаска, какая-то болезненная судорога кривила его личико, и тогда оно казалось не таким безжизненным.

Глядя на это крошечное, едва подававшее признаки жизни существо, чей отец умер, чья мать, возможно, доживает свои последние часы, Мари де Крессэ вдруг почувствовала острую жалость. «Я его спасу, выращу его крепким и сильным»,— пообещала она себе.

И, так как в опочивальне не было второй колыбельки, она положила собственное дитя рядом с королем.

Глава II

ДА СВЕРШИТСЯ ВОЛЯ БОЖИЯ!

Прошли уже целые сутки, а графиня Маго все еще кипела от негодования.

Когда Беатриса д'Ирсон помогала ей одеваться для королевских крестин, Маго дала волю своей ярости и досаде.

— Ну кто бы мог подумать, что такая хилая особа, как Клеменция, доносит младенца до положенного срока? И покрепче ее скидывают до времени. А ведь вот, продержалась все девять месяцев! И неужели она не могла разрешиться от бремени мертворожденным? Как бы не так! Щенок жив и здоров. Могла бы родиться девочка! Так на ж тебе! Родился мальчик. Посуди сама, Беатриса, ну стоит ли так хлопотать, подвергать себя такой опасности, которая еще и сейчас не миновала, чтобы судьба сыграла с нами подобную шутку?

Ибо Маго сумела себя убедить, что отравила Людовика Сварливого лишь затем, чтобы освободить престол Франции для своего зятя и своей дочки. Она даже начинала сожалеть, что не прикончила одновременно с му-

жем и жену, и вся ее ненависть обратилась против новорожденного наследника престола, которого она еще и в глаза не видела, против этого младенца, будущего своего крестника, чье появление на свет стало ей помехой, спутало ее планы.

Эта женщина, знатнейшая из знатных, богачиха, тиранка, по самой своей натуре была закоренелой преступницей. Всякий раз, когда ей требовалось склонить чашу весов на свою сторону, она прибегала к излюбленному оружию — к убийству; ей нравилось вынашивать планы преступления, она жила воспоминаниями о них, в них черпала она свои радости, загораясь при мысли о мучениях жертвы, упиваясь своей изворотливостью и наслаждаясь тайными своими победами. И если одно убийство не оправдывало ее надежд, она горько сетовала на несправедливость судьбы, жалела себя чуть не до слез и сразу же переходила к новым проектам, искала и находила новую жертву — того, кто стоял у нее на пути и должен был поплатиться за это своей головой.

Беатриса д'Ирсон, уже давно научившаяся предупреждать желания своей госпожи, скромно опустила длинные ресницы.

— Я сберегла, мадам,— кротко произнесла она,— немножко того порошка, которым вы нынешней весной так удачно воспользовались для изготовления королевского драже.

— И хорошо сделала! Молодец! И хорошо сделала! — похвалила ее Маго.— Всегда полезно иметь под рукой все необходимое, ведь у нас множество врагов!

Хотя Беатриса славилась высоким ростом, но и ей пришлось приподняться на цыпочки, чтобы накинуть на плечи графине плащ и завязать под ее подбородком завязки.

— Вы будете, мадам, держать младенца на руках... Другой такой случай не скоро представится,— продолжала она.— Ведь это порошок, и на кончике пальца его не заметят.

Эти слова искусительница произнесла томным голосом, как будто речь шла о лакомстве.

— Ну уж нет! — воскликнула Маго.— Только не во время крестин! Так недолго и на себя накликать беду!

— Почему же? Ведь вы отправите на небеса еще безгрешную душу!

— А главное, один бог знает, как мой зятек посмотрит на такие дела. Думаешь, я забыла, какое у него

было лицо, когда я сказала ему всю правду о кончине Людовика? С тех пор он со мной холоден... И так уж меня втихомолку обвиняют во всех смертных грехах. По королю в год — за глаза хватит, подождем-ка еще немного с этим новорожденным.

Малочисленная, чуть ли не тайком собравшаяся кавалькада отправилась в Венсен, где Иоанну I предстояло стать христианином; напрасно знатные бароны, уже заранее раскошелившиеся на праздничную одежду, ждали приглашения на эту торжественную церемонию.

Болезнь королевы, хмурая зимняя погода, а главное то, что король родился не в Париже и не особенно порадовал своим появлением на свет родного дядю — регента, свели высокоторжественную церемонию крестин к простой и поспешно выполненной формальности.

Филипп прибыл в Венсен вместе со своей супругой Жанной, с графиней Маго и Гоше де Шатийоном; их сопровождали конюшие, чтобы держать лошадей. Всю остальную семью даже не потрудились известить. Впрочем, Валуа объезжал свои ленные владения, собирая аннаты, д'Эвре сидел в Артуа и распутывал дела, которые натворил там Робер. А с Карлом де ла Маршем у Филиппа накануне произошло столкновение. Карл в честь рождения короля попросил брата возвести его в пэры Франции, увеличить его удел, а следовательно, и доход.

— Но, брат мой, я ведь регент, не более того,— возразил Филипп.— Лишь один король сможет даровать вам звание пэра... когда он достигнет совершеннолетия.

Бувилль встретил кортеж на красном дворе и первым делом обратился к регенту с вопросом:

— Ни у кого нет оружия, ваше высочество? Никто не имеет при себе кинжала или стилета?

И неизвестно было, кто вызывает в Бувилле большую тревогу — свита регента или родственники короля.

— Я не имею обыкновения, Бувилль, ездить с безоружной стражей,— сухо ответил Филипп.

Бувилль робко, но настойчиво потребовал, чтобы стража осталась во дворе. Такое рвение и излишняя осторожность раздосадовали регента.

— Я весьма ценю, Бувилль, ваши заботы о королеве,— произнес он,— но отныне вы уже не хранитель чрева, и заботиться о короле поручено нам с коннетаблем. Мы оставляем вам ваши полномочия, так не злоупотребляйте же ими.

— Ваше высочество! Ваше высочество! — лепетал Бувилль.— У меня и в мыслях не было оскорбить вас. Но ведь столько разных слухов ходит по королевству... Одного я хочу, чтобы вы воочию могли убедиться, как свято я выполняю свой долг и как горжусь этим.

Толстяк Бувилль не умел скрывать своих чувств. Не удержавшись, он исподтишка кинул взгляд на графиню Маго и сразу же потупился.

«Положительно все и вся относятся ко мне с подозрением и мне не доверяют»,— подумала графиня.

Жанна Пуатье сделала вид, что ничего не заметила. А Гоше де Шатийон, даже не понявший, о чем идет речь, рассеял всеобщее замешательство:

— Да вы, Бувилль, нас здесь совсем заморозите! Пустите-ка нас поскорее внутрь.

Никто не зашел взглянуть на королеву. Слишком тревожные вести о ее здоровье сообщила мадам Бувилль: горячка все еще мучает больную, она жалуется на непереносимые головные боли, и каждую минуту всю ее сводит от позывов к рвоте.

— Живот у нее снова вздулся, будто она еще не разрешилась от бремени,— пояснила мадам Бувилль.— Ни на секунду не может забыться сном, все молит нас, чтобы прекратился колокольный звон, от которого у нее в ушах гудит, и все время говорит с нами, вернее, не с нами, а обращается к своей бабке Марии Венгерской или к покойному своему супругу Людовику. Жалость берет слушать ее; она на наших глазах теряет рассудок, а заставить ее молчать мы не в силах.

Пробыв двадцать лет на посту первого камергера при короле Филиппе Красивом, граф Бувилль приобрел достаточный опыт в проведении торжественных церемоний. Он уже забыл счет крестинам, на которых был распорядителем.

Присутствующим вручили все необходимое для церемонии. Бувилль и двое дворян заткнули за воротник длинные белые полотенца и придерживали их за концы, растянув перед собой во всю длину: одним полотенцем полагалось прикрыть купель со святой водой, другим — купель пустую, третьим — чашу с солью.

Повитуха, принимавшая младенца, держала крестильный чепчик, который следовало надеть на короля после миропомазания.

Потом появилась кормилица с новорожденным на руках.

«Экая красавица!» — подумал коннетабль.

Мадам Бувилль нарядила Мари в розовое бархатное платье, скромно отделанное мехом у ворота и запястий, и не пожалела времени, чтобы обучить ее полагающемуся при обряде церемониалу. Младенец был закутан в мантию, в которую свободно мог бы завернуться взрослый, а сверх нее накинули еще лиловую шелковую вуаль, ниспадавшую как шлейф.

Процессия двинулась к дворцовой часовне. Шествие открывали конюшие с горящими свечами в руках. А позади, шатаясь, еле плелся сенешаль де Жуанвилль, хотя его поддерживали с двух сторон. Однако он вышел из состояния вечной дремоты, узнав, что будущий король, Иоанн, его тезка.

Вся часовня была затянута драпировками, пол вокруг купели застлан лиловым бархатом. Сбоку стоял стол, на котором расстелили беличье одеяло, прикрыв его тонкой простыней, а сверху положили еще шелковые подушечки. С полдюжины жаровен не могли все же нагреть промозглое, холодное помещение.

Мари положила младенца на стол и принялась его распеленывать. Следя за каждым своим движением, боясь отступить от ритуала, она задыхалась от волнения и еле различала лица присутствующих. Могла ли она, блудная дочь, изгнанная с позором из отчего дома, могла ли она даже вообразить себе, что именно ей придется играть на крестинах короля чуть ли не главную роль, стоять рядом с регентом Франции и графиней Артуа? Ослепленная таким несказанным счастьем, вновь повернувшимся к ней лицом, Мари испытывала теперь в отношении мадам Бувилль самую горячую признательность и, отправляясь в часовню, попросила у нее прощения за свою вчерашнюю дерзость.

Разворачивая пеленки, она краем уха услышала, как коннетабль спросил у мадам Бувилль имя кормилицы и откуда она взялась, и сама почувствовала, как вспыхнуло ее лицо.

Капеллан королевы четырежды дунул на тельце младенца, как бы символизируя этим четыре стороны креста, долженствовавшего отогнать сатану с помощью святого духа; потом плюнул себе на указательный палец, омочил слюной ноздри и уши новорожденного, дабы не внимал он наветам дьявола, не вдыхал соблазнов суетного мира и плоти.

Филипп и Маго приподняли младенца за ножки и за

плечики. Филипп, близоруко щурясь, внимательно присматривался к крохотному розовому червячку, который разрушал всю его хитроумную выдумку с правом наследования, смотрел на этот смехотворный символ мужских привилегий, на это ничтожное, но непреодолимое препятствие между ним и престолом Франции.

«В любом случае пятнадцать лет я регент,— пытался утешить себя Филипп.— А за пятнадцать лет все может произойти; да и буду ли я сам жив через пятнадцать лет? И будет ли жить это дитя?»

Но регент — это не король.

Во время вступительных молитв младенец лежал тихо и даже подремывал. И только когда его погрузили в холодную купель, присутствующие впервые услышали его крик; тут уж он начал кричать во все горло, задыхался, и слезы катились по его личику, смешиваясь с каплями святой воды. Трижды его погружали в купель — сначала головой к востоку, потом к северу, потом к югу, дабы получилось изображение святого креста господня, и трижды над его голеньким тельцем простирали руки прочие восприемники и восприемницы — Жанна, Гоше, супруги Бувилли и сенешаль.

Наконец его вынули из ледяной ванны. Он успокоился и не закричал, когда ему помазали святым миром лобик. Младенца положили на шелковые подушки, Мари стала потихоньку обтирать его, а все присутствующие при церемонии сбились у жарко пылавшей жаровни.

Вдруг пронзительный крик Мари нарушил благоговейную тишину часовни.

— Господи! Господи! Он кончается...— крикнула она.

Все бросились к столу. Младенец-король посинел, потом почернел; тельце его напряглось, кулачки судорожно сжались, головка свесилась набок, глаза закатились, так что видны были только одни белки.

Какая-то невидимая рука душила это крошечное несмышленое существо, чья жизнь отлетала прочь среди мерцающих свечей и склонившихся тревожных лиц.

Маго услышала чей-то шепот:

— Это она.

Подняв глаза, она встретила подозрительные взгляды супругов Бувиллей.

«Но кто же это сделал, чтобы потом свалить все на меня?» — подумалось ей.

Тем временем повитуха выхватила ребенка из трясущихся рук Мари и стала приводить его в чувство.

— Он еще не умер, не умер...— твердила она.

Целые две минуты, показавшиеся присутствующим вечностью, младенец не подавал признаков жизни. Сине-черное тельце его было по-прежнему словно окоченевшим, застывшим. Потом внезапно его стали корчить судороги, и головка беспомощно моталась из стороны в сторону. Руки и ноги сводило — они сжимались и разжимались; удивительно было, как в столь крошечном существе живет такая сила — повитуха с трудом удерживала его на месте. Капеллан осенил себя крестным знаменьем, словно отгоняя сатану, и принялся читать отходную. Личико ребенка кривила гримаса, изо рта струйкой текла слюна; синеватость прошла, но зато сменилась не менее ужасной мертвенной бледностью. Вдруг он затих, помочился на платье повитухи, и все решили, что он спасен. Но головенка его снова бессильно свесилась, тельце обмякло и, глядя на его неподвижные члены, каждый подумал: кончается.

— Слава богу, хоть успели его окрестить,— шепнул коннетабль.

Филипп Пуатье машинально сдирал ногтями с руки горячие капли воска.

И вдруг трупик засучил ножками, крикнул, сначала негромко, а потом веселее и задвигал губами, ища грудь: король ожил и хотел теперь есть.

— Сатана не желал без борьбы покинуть его тело,— глубокомысленно заметил капеллан.

— Родимчик, надо вам сказать,— пояснила повитуха,— редко бывает в первые дни жизни. Думаю, произошло это потому, что при родах накладывали щипцы; такие случаи мне известны. И, думаю, потому, что его долго не кормили...

Мари де Крессэ почувствовала себя чуть ли не преступницей. «Если бы я вместо того, чтобы пререкаться с мадам Бувилль, сразу же поехала в Венсен...» — подумала она.

И никому из присутствующих не пришло в голову, что виновато здесь купанье в ледяной воде, недоброе наследие предков, всех этих хромых, слабоумных, эпилептиков, щедро украшавших достославное геральдическое древо.

Поэтому каждый согласился с доводами повитухи, особенно же убедительной показалась ее ссылка на

щипцы, которые, очевидно, повредили не окрепший еще череп младенца.

— Как по-вашему, могут повторяться эти припадки? — осведомилась Маго.

— Боюсь, что да, мадам,— ответила повитуха.— Никто не знает, откуда берется такая напасть и почему она проходит.

— Бедный крошка! — произнесла Маго во всеуслышание.

Короля Иоанна I отнесли в опочивальню, и все уныло разошлись.

На обратном пути Филипп упорно молчал. Во дворце он увел в свои покои тещу и заперся с ней.

— Вы чуть было не стали королем, сын мой,— начала она.

Филипп не ответил.

— И впрямь, после сегодняшней сцены никто не удивится, если ребенок на днях умрет,— сказала Маго.

Филипп по-прежнему молчал.

— Если его не станет, вам все равно придется ждать совершеннолетия Жанны Наваррской.

— Вот уж нет, матушка, нет и нет! — живо возразил Филипп.— Отныне установление, принятое в июле, больше не помеха. Вопрос о наследнике Людовика решен: таковым стал Иоанн. Между покойным братом и мною будет король, и наследником племянника стану именно я.

Маго с восхищением поглядела на зятя. «Должно быть, во время крестин все это сообразил!» — решила она.

— Признайтесь, Филипп, вы всегда мечтали стать королем,— проговорила она вслух.— Когда вы были еще мальчиком, вы ломали ветки и делали себе из них скипетр.

Филипп приподнял голову и улыбнулся теще, не прерывая молчания. Затем сказал серьезным тоном:

— Знаете, матушка, дама Ферьенн исчезла из Арраса, а вместе с нею и те люди, которых я посылал, чтобы они ее похитили и она не наболтала лишнего... Говорят, ее держат в одном из замков Артуа. Более того, я слышал, ваши бароны этим похваляются.

Маго промолчала, размышляя над словами зятя. Хотел ли Филипп просто предупредить ее о грядущей опасности? Или таким образом выразил свою о ней заботу? А возможно, подтверждал свой запрет прибегать к по-

мощи яда? Или, напротив, намекает, что, коль скоро поставщица ядов в заключении, у нее, Маго, тем самым развязаны руки?

— Но ведь он может погибнуть от второго родимчика,— настаивала Маго.

— Предоставим все воле божией, матушка,— проговорил Филипп, давая понять графине, что разговор окончен.

«Да, предоставим воле божией... Или моей? — думала Маго.— Филипп человек осторожный и не будет брать греха на душу, но он меня понял... Больше всего будет хлопот с этим болваном Бувиллем».

Воображение ее уже заработало. Наконец-то впереди забрезжило преступление! И то, что будущей ее жертвой должен был стать невинный младенец, горячило графиню Маго сильнее, чем если бы ей предстояло отправить на тот свет самого заклятого своего врага.

С этого дня графиня Маго начала вероломную, тщательно продуманную кампанию. «Бедняжка король не жилец на этом свете»,— твердила она всем встречным и со слезами на глазах описывала ужасную сцену, происшедшую во время крестин.

— Мы уже решили, что он кончается на наших глазах, еще минута, и так бы оно и вышло. Спросите-ка мессира Гоше, мы с ним были вместе; впервые я видела, чтобы наш храбрец Гоше так побледнел... Впрочем, когда короля будут представлять баронам, каждый сам убедится, что младенец еле жив. А может быть, он уже умер, только от нас скрывают. Не понимаю, чего ради тянут с церемонией и не говорят почему. Ходят слухи, что мессир Бувилль противится потому, что бедняжке королеве... да хранит ее бог!.. совсем плохо. Но ведь королева — это не король.

Близкие к Маго люди, в первую очередь ее кузен Анри дю Сюлли и ее канцлер Тьери д'Ирсон, усиленно разносили эти слухи.

Бароны начинали тревожиться. И впрямь, почему так тянут, почему откладывают торжественную церемонию представления? Крестины, происходившие чуть ли не тайком, чрезмерная бдительность Бувилля, полнейшее молчание вокруг того, что делается в Венсене,— все это указывало на то, что тут кроется какая-то тайна.

По Парижу поползли самые противоречивые слухи. Король родился калекой, поэтому-то его и не хотят никому показывать... Ничего подобного, граф Валуа велел

его похитить и переправил в Неаполь, где король находится в полной безопасности... Нет, королева вовсе не больна, а вернулась к себе на родину...

— Если он скончался, пусть нам так и скажут,— ворчали одни.

— Регент приказал его убрать! — утверждали другие.

— Не мелите чепуху. Не такой регент человек. Просто он не доверяет Валуа.

— И вовсе не регент, а графиня Маго. Она сумеет расправиться с младенцем, если только уже не расправилась. Что-то слишком упорно она твердит, что король не жилец на этом свете.

Зловещий ветер вновь взбудоражил весь королевский дворец. И пока каждый томился под бременем гнусных догадок, грязных подозрений, не щадивших никого и пятнавших всех подряд, регент сохранял невозмутимое спокойствие. Он с головой ушел в государственные дела, и когда с ним заговаривали о племяннике, он в ответ заводил разговор о Фландрии, графстве Артуа и налогах.

Утром девятнадцатого ноября, когда брожение умов достигло высшей точки, многочисленная делегация баронов и ученых мужей Парламента предстала перед Филиппом и попросила, вернее потребовала, дать свое согласие на представление короля. И в глазах тех, кто ждал прямого отказа или туманного обещания отложить церемонию, блестел недобрый огонь.

— Но я, мессиры, желаю этого не меньше вас,— сказал регент.— Мне самому чинят препятствия: противится граф Бувилль.

И, повернувшись к Карлу Валуа, который только накануне возвратился из графства Мэн, куда ездил поправлять свои финансы, Филипп спросил:

— Это вы, дядюшка, запретили Бувиллю показывать нам короля в интересах вашей племянницы Клеменции?

Бывший император Константинопольский даже побагровел от дерзкой, а главное, необъяснимой выходки Филиппа и по обыкновению закричал:

— Но, племянник, скажите ради бога, откуда вы это взяли! Ничего я не требовал и требовать не хочу! Я даже не видел Бувилля и давно не получал от него вестей. И возвратился я как раз, чтобы быть на представлении короля. Напротив, я от души желаю, чтобы оно состоя-

лось, и состоялось по обычаям наших предков. Давно пора...

— В таком случае, мессиры,— произнес регент,— мы все здесь держимся одного мнения и хотим одного... Гоше! Вы присутствовали при рождении моего брата... Верно ли, что королевское дитя представляет баронам крестная мать?

— Конечно, конечно,— поспешно отозвался Карл Валуа; он не мог перенести, что с таким вопросом обращаются не к нему — знатоку, а к кому-то другому.— Я присутствовал при всех представлениях; при вашем, менее торжественном, поскольку вы второй ребенок, при представлении Людовика и, наконец, Карла. И точно так же представляли моих детей. Только крестная мать!

— Ну что ж,— сказал регент,— тогда я немедленно дам знать графине Маго, чтобы она готовилась к церемонии, и прикажу Бувиллю открыть ворота Венсенского замка. Едем в полдень верхами.

Настал наконец для Маго долгожданный час. Одеваясь к предстоящей церемонии, графиня отпустила своих придворных дам, за исключением Беатрисы, которая помогала ей возложить на голову корону: для убийства короля стоило появиться во всем великолепии.

— А через сколько времени, по-твоему, подействует порошок на пятидневного младенца?

— Вот уж не знаю, мадам,— ответила Беатриса.— Для ваших оленей оказалось достаточно полсуток. Король Людовик боролся со смертью целых три дня.

— Слава богу, на этот раз я смогу отвести глаза,— продолжала Маго.— Знаешь, кого я имею в виду? Ту самую кормилицу, которую я видела на крестинах. Красавица, ничего не скажешь. Взялась она неизвестно откуда, и никто не знает, как она очутилась во дворце. Конечно, это Бувилли...

— Все понятно, мадам,— улыбнулась Беатриса.— Если кто-нибудь усомнится в том, что смерть последовала от естественных причин, можно будет обвинить вашу красавицу, и ее четвертуют.

— Ой, где же моя ладанка? — вдруг испуганно воскликнула Маго, шаря у себя за пазухой.— Слава богу, на месте!

Когда она уже выходила из спальни, Беатриса нагнала ее и шепнула на ухо:

— Только смотрите, мадам, не высморкайтесь по рассеянности.

Глава III

ХИТРОУМНЫЙ БУВИЛЛЬ

— Разжигайте огонь,— скомандовал Бувилль.— Затопить все камины, дров не жалеть, пусть и в коридорах будет тепло.

Мессир Бувилль носился по всему замку и, понукая каждого, мешал всем. Он проверял часовых у подъемного моста, велел посыпать красный двор песком и тут же приказал его смести, так как стало еще грязнее; осматривал засовы и замки, уже давно не запиравшиеся. Всю эту бурную деятельность он затеял с единственной целью — заглушить голос тревоги. «Она его убьет, непременно убьет!» — твердил он про себя.

В коридоре он встретил жену.

— Ну как королева? — спросил он.

Королеву Клеменцию соборовали нынче утром.

Злой недуг обезобразил ту, что еще недавно славилась своей сказочной красотой в обоих королевствах. Точеный носик заострился, белоснежная кожа приняла желтый оттенок, по лицу пошли багровые пятна, каждое величиной с серебряную монету; ужасный запах шел от ее постели; мочилась она кровью, дыхание с хрипом вырывалось из груди вперемежку со стонами — так непереносимо мучительно ныли затылок и живот. Теперь она уже почти не приходила в сознание.

— Это четвертый приступ горячки,— пояснила мужу мадам Бувилль.— Повитуха уверяет, что, если королева дотянет до вечера, она, возможно, выживет. Маго предлагала прислать своего личного лекаря, мэтра Павильи.

— Ни за что на свете! Ни за что на свете! — воскликнул граф.— И не думай пускать сюда никого из людей графини.

Мать умирает, над новорожденным нависла угроза, а тут с минуты на минуту явятся двести баронов с вооруженной свитой! То-то начнется суматоха, и какой удобный случай представится для любого преступления!

— Нельзя оставлять младенца в комнате, смежной со спальней королевы,— продолжал Бувилль.— Не могу же я ввести сюда сотню стражников для его охраны, да и проскользнуть за занавеси ничего не стоит.

— Твоя правда. Давай подумаем, куда поместить младенца.

— В королевские покои, туда легко преградить все входы.

Супруги переглянулись, обоим в голову пришла одна и та же мысль: в этих покоях скончался Сварливый.

— Вели приготовить комнату, скажи, чтобы там хорошенько натопили,— решительно произнес Бувилль.

— Ну что ж, дружок, пусть будет по-твоему. Но пойми, если даже ты расставишь полсотни стражников, все равно ты не можешь возражать против того, чтобы младенца несла на руках Маго.

— Я с нее глаз не спущу.

— Но если она уже решилась на злодеяние, она младенца на твоих глазах прикончит, бедный мой Юг. А ты ничего и не заметишь. Пятидневный младенец даже не пикнет. В суматохе воткнет ему иголку в затылок, или даст понюхать яда, или просто удушит шнурком...

— Что же мне тогда делать, ну скажи сама?! — закричал Бувилль.— Не могу же я заявить регенту: «Мы не желаем, чтобы ваша теща несла короля, боимся, мол, что она его прикончит!..»

— Конечно, не можешь! Одно нам остается — молить бога,— бросила мадам Бувилль на ходу.

А граф уныло поплелся в смежную с опочивальней королевы комнату, где устроилась кормилица.

Мари де Крессэ как раз кормила обоих младенцев разом. Жадные ротики громко причмокивали, и крошечные ручонки с мягкими еще ноготками цеплялись за кормящую их грудь. Мари великодушно дала королю левую грудь, ибо слыхала, что она богаче молоком.

— Что с вами, мессир? Вы, как я вижу, совсем приуныли,— обратилась Мари к Бувиллю.

Бувилль, этот престарелый архангел на страже несмышленого младенца, встал рядом с Мари, оперся на эфес длинной шпаги, черно-седые пряди волос печально свисали ему на щеки, кольчуга плотно обтягивала объемистое брюшко.

— До чего слабенький наш король, до чего же он слабенький! — вздохнул он.

— Вовсе нет, мессир, напротив, он крепнет день ото дня, посмотрите, он почти догнал моего. От всех этих снадобий, которыми меня пичкают, мне подчас тошно становится, зато ему они пошли на пользу.

Бувилль протянул огромную руку, загрубевшую от конских поводий и сабельных рукояток, и осторожно погладил маленькую головенку, уже поросшую бесцветным пушком.

— Это будет не такой король, как все прочие, вот увидите...— шепнул он.

Старый слуга Филиппа Красивого не умел иначе выразить своих чувств. С тех пор, как он стал помнить себя, с тех пор, как себя помнил его отец, монархия, держава, Франция — смысл его деятельности и забот — были нерасторжимо слиты в его представлении с длинной и прочной цепью королей, зрелых, могущественных, требовавших безоговорочной преданности, расточающих милости.

Целых двадцать лет стоял он у трона, где восседал монарх, перед коим трепетал весь христианский мир. Ему даже в голову не могло прийти, что эта могучая цепь так быстро ослабнет и воплотится в этом хрупком розовом звене, в этом младенце, с подбородка которого стекало молоко и которого можно раздавить одной рукой.

— Вы правы,— проговорил он,— младенец поправляется; не будь следов от щипцов — впрочем, их уже почти не видно,— его нельзя было бы отличить от вашего сынка, разве что получше приглядеться.

— О нет, мессир,— живо возразила Мари,— мой гораздо тяжелее. Ведь верно, Иоанн второй, ты у нас гораздо тяжелее?

Вдруг краска залила лицо Мари, и она поспешила объяснить:

— Ведь оба они Иоанны, поэтому я и зову своего Иоанном вторым. Скажите, может быть, я не должна этого делать?

Бувилль погладил по голове и второго Иоанна машинальным жестом, подсказанным долголетней придворной учтивостью. Взгляд его перебегал с одного младенца на другого.

Мари решила было, что этот пожилой дворянин загляделся на ее обнаженную грудь, и покраснела еще пуще... «Когда же наконец,— с досадой подумала она,— я отучусь вспыхивать по любому пустяку? Ведь нет ничего неприличного или бесчестного в том, чтобы кормить грудью ребенка!»

Тут в комнату вошла мадам Бувилль, неся приготовленные для церемонии одежды короля. Но Бувилль перехватил жену на полпути и, отведя ее в угол, шепнул:

— Кажется, я нашел выход.

Они начали шептаться. Мадам Бувилль недоверчиво качала головой; раза два она метнула быстрый взгляд в сторону Мари.

— Поговори с ней сам,— наконец сказала она.— Меня она терпеть не может.

Бувилль снова подошел к молодой женщине.

— Мари, дитя мое,— начал он,— вы можете оказать огромную услугу нашему малютке-королю, к которому, как я вижу, вы по-настоящему привязались. Видите ли, сейчас на церемонию представления съедутся бароны. Но мы с супругой боимся, как бы короля не застудили; вспомните-ка, что у него во время крестин был родимчик. И вообразите, что получится, если его снова при всех схватят судороги. Начнут болтать, что он не жилец на этом свете, наши враги и без того стараются распространять такие слухи. Ведь мы, бароны,— прирожденные воины, нам нужен такой король, чтобы даже в младенчестве в нем чувствовалась сила. А ваше дитя и потолще и лучше выглядит. Вот мы и решили показать его баронам вместо настоящего короля.

Мари испуганно вскинула глаза на мадам Бувилль, которая поспешно проговорила:

— Я тут ни при чем. Это придумал мой супруг.

— А не будет ли в том греха, мессир?

— Какой же тут грех, дитя мое? Напротив, оберегать короля — это не грех, а добродетель. И уже не впервые народу представляют крепкого младенца вместо хилого наследника престола,— смело солгал Бувилль, решив покривить душой ради такого случая.

— А вдруг кто-нибудь заметит?

— Да как же заметить? — воскликнула мадам Бувилль.— Оба они беленькие, к тому же все новорожденные на одно лицо и меняются с каждым днем. Ну, скажите, кто знает короля? Мессир Жуанвилль, который ничего не видит, регент, который почти не видит, да коннетабль, который лучше разбирается в лошадях, чем в новорожденных младенцах?

— А графиня Маго не удивится, если не заметит следа от щипцов?

— Да как же она увидит под чепчиком и короной? К тому же сегодня день пасмурный. Боюсь, придется зажечь свечи,— добавил Бувилль, кивая на окно, куда еле пробивался печальный ноябрьский свет.

Мари исчерпала все свои доводы. В глубине души мысль о замене короля собственным ребенком льстила ее самолюбию, да и Бувилля она не подозревала в дурных замыслах. Она с радостью начала обряжать своего Иоанна в королевские одежды — запеленала его в шел-

ковые пеленки, завернула в голубой плащ, затканный золотыми лилиями, надела на него чепчик, а поверх чепца крохотную корону,— все эти предметы входили в обязательное для венценосного младенца приданое.

— Какой же ты у меня хорошенький, Жанно,— твердила Мари.— Господи, да у него корона! Настоящая корона! А ведь придется тебе ее отдать королю, слышишь, сынок, придется отдать!

Она вертела перед люлькой короля своего Иоанна, как тряпичную куклу.

— Посмотрите, государь, посмотрите на вашего молочного брата, на верного вашего слугу, его покажут баронам вместо вас, чтобы вы не простудились.

А про себя она думала: «Поскорее бы рассказать об этом Гуччо... Воображаю, что с ним будет, когда я скажу, что его сын — молочный брат короля и что именно его показывали баронам... Странная у нас с Гуччо судьба, и все-таки я ни с кем бы не поменялась! Как хорошо, что я полюбила его, милого моего ломбардца!»

Но когда из соседней комнаты донесся протяжный стон, радость Мари сразу померкла.

«Королева... боже мой, королева...— подумала она.— А я о ней совсем забыла...»

Вошел конюший и объявил, что кортеж баронов во главе с регентом уже въезжает в ворота замка. Мадам Бувилль выхватила ребенка из рук Мари.

— Я сама отнесу его в королевские покои,— сказала она,— и вручу после окончания церемонии, когда придворные разъедутся по домам. А вы, Мари, отсюда ни шагу, ждите меня здесь. И если кто-нибудь войдет, хотя мы поставили у дверей стражу, и спросит вас, говорите, что ребенок, который остался при вас,— ваше собственное дитя.

Глава IV

«ПЕРЕД ВАМИ КОРОЛЬ, МЕССИРЫ»

Баронам было тесно в большой зале; они переговаривались, кашляли, нетерпеливо переминались с ноги на ногу, устав от долгого стояния. Их свита забила все коридоры. Желая полюбоваться предстоящей церемонией, изо всех дверей выглядывали любопытные.

Сенешаль де Жуанвилль, которого, снисходя к его слабости, подняли с кресла в самую последнюю минуту,

вместе с Бувиллем стоял у дверей королевской опочивальни.

— Объявлять придется вам, мессир сенешаль,— твердил Бувилль.— Ведь вы старше всех соратников Людовика Святого; вам и выпала эта честь.

По лицу Бувилля стекали струйки пота, он чуть не падал от страха.

«Я бы не мог,— думал он,— не мог бы объявить... Голос выдал бы меня...»

В дальнем конце темного коридора он заметил внушительную фигуру графини Маго с короной на голове и в парадной мантии, отчего она казалась настоящей великаншей. Никогда еще Маго Артуа не выглядела такой огромной и такой страшной.

Он бросился в комнату и шепнул жене:

— Пора.

Мадам Бувилль двинулась навстречу графине, под чьей богатырской стопой жалобно скрипели половицы, и вручила ей свою невесомую ношу.

В коридоре было темно, и графиня Маго не стала присматриваться к младенцу. Однако, взяв его на руки, она удивилась, как он потяжелел со дня крестин.

— Да наш маленький король поздоровел,— произнесла она.— Поздравляю вас, душенька.

— Это потому, что мы за ним хорошо ходим, мадам; боимся, как бы нас не упрекнула в нерадивости его крестная мать,— ответила мадам Бувилль самым естественным тоном.

«Нет, решительно сейчас самое время,— подумала Маго,— слишком уж он окреп».

При свете, падавшем из окна, она вдруг увидела бывшего камергера Филиппа Красивого.

— Что это с вами, мессир Бувилль? — осведомилась она.— Вы весь в поту, хотя день не из жарких...

— Я велел повсюду разжечь камины; очевидно, от этого меня и бросило в пот. Мессир регент не дал нам времени привести все в порядок.

Они обменялись взглядом, причем каждый пережил скверную минуту.

— Ну, пора,— спохватилась Маго.— Шествуйте впереди меня.

Бувилль взял за руку старика сенешаля, и оба хранителя чрева медленно направились в залу. Маго шла позади, в нескольких шагах от них. Наступил благоприятный момент, и вряд ли он еще повторится. Старый

сенешаль еле плелся, и, таким образом, у нее было время. Правда, вдоль стен шпалерами стояли придворные дамы и конюшие, сбежавшиеся посмотреть на венценосного малютку, и все глаза были устремлены на графиню, но кто заметит, кто обратит внимание на вполне естественный ее жест?

— Ну, ну, давайте-ка представимся баронам в самом лучшем виде,— обратилась Маго к младенцу, которого несла на сгибе левой руки.— Не опозорим королевства, а главное, не будем пускать слюни.

Она вытащила из сумы, висевшей на поясе, носовой платок и быстро отерла им крохотный слюнявый ротик. Бувилль оглянулся, но Маго, зажав платок в руке, сделала вид, что оправляет на младенце мантию.

— Ну, мы готовы,— произнесла она.

Двери залы распахнулись, и воцарилось молчание. Но сенешаль по слепоте не заметил, что комната набита народом.

— Объявляйте же, мессир, объявляйте,— шептал ему Бувилль.

— А что объявлять? — удивленно спросил Жуанвилль.

— Да что король здесь, понимаете, король!

— Король...— лепетал Жуанвилль.— А знаете, я уже пятому королю служу!

— Конечно, конечно, только объявляйте поскорей,— тревожно торопил его Бувилль.

Маго, стоя за ними, еще раз для верности вытерла губки ребенка.

Сир де Жуанвилль прокашлялся, чтобы очистить горло, и наконец решился; он провозгласил важно и почти разборчиво:

— Мессиры, перед вами король! Перед вами король, мессиры!

— Да здравствует король! — грянули в ответ бароны, впервые произнося это слово после смерти Сварливого.

Маго направилась прямо к регенту, и все члены королевской семьи столпились вокруг них.

— Да он здоровяк... Какой розовый... Просто жирненький...— говорили бароны, проходя мимо этой группы.

— Кто это наговорил, что младенец хилый и не жилец на этом свете? — шепнул Карл Валуа своему сыну Филиппу.

— Да полно-те, французская порода крепкая,— подхватил Карл де ла Марш, слепо подражавший дяде.

Сын Мари де Крессэ и ломбардца чувствовал себя хорошо, даже слишком хорошо, по мнению Маго. «Ну что ему стоит покричать немножко? Хоть бы судороги его взяли, как в прошлый раз»,— думала она. И незаметно старалась ущипнуть его под мантией. Но шелковые пеленки были слишком плотные, и ребенок не ощущал ничего, кроме приятной щекотки. Широко открытыми глазенками он смотрел вокруг, и казалось, все, что он видит здесь, доставляет ему удовольствие. «Вот ведь негодяй! Ничего, ты у меня еще запоешь! Если не сейчас, то ночью... А вдруг Беатрисин порошок выветрился?..»

В глубине залы нарастал гул голосов:

— Нам его отсюда не видно! Мы хотим им полюбоваться!

— Возьмите ребенка, Филипп,— сказала Маго и передала младенца зятю.— У вас руки длиннее моих. Покажите короля его подданным.

Регент взял маленького Иоанна, поднял его над головой, чтобы каждый мог увидеть и вдоволь насладиться лицезрением своего владыки. Вдруг Филипп почувствовал, что по рукам его течет что-то липкое и теплое. Ребенок, икая, срыгнул молоко, которого насосался полчаса назад, но молоко это приобрело зеленоватый оттенок и было перемешано с желчью; личико младенца тоже позеленело, потом стало густо багрового цвета, что не предвещало ничего доброго, головка бессильно запрокинулась назад. Громкий крик ужаса и разочарования вырвался из груди баронов.

— Господи, господи! — воскликнула Маго.— Снова у него начался родимчик!

— Возьмите его,— пробормотал Филипп, сунув ей ребенка, как будто в этом запеленутом существе таилась для него какая-то опасность.

— Так я и знал! — раздался вдруг чей-то голос.

Это крикнул Бувилль. Он весь налился кровью и гневно глядел то на графиню, то на регента.

— Вы были совершенно правы, Бувилль,— отозвался Филипп,— нельзя так рано представлять баронам больного ребенка.

— Так я и знал...— повторил Бувилль.

Но тут жена быстро дернула его за рукав, опасаясь, как бы он не натворил непоправимых глупостей. Их взгляды встретились, и Бувилль сразу успокоился. «Что это я? — подумал он.— Видно, и впрямь я сошел с ума. Ведь настоящий король цел и невредим».

Но если Бувилль предпринял все, что мог, лишь бы удар миновал короля, пусть даже обрушившись на другого, старый слуга Филиппа Красивого как-то не подумал о том, что следует предпринять, коль скоро преступление все же совершится.

Графиня Маго тоже была застигнута врасплох. Она никак не предполагала, что яд подействует так быстро. И заговорила, желая успокоить окружающих:

— Не волнуйтесь, не волнуйтесь! Тогда, на крестинах, мы тоже думали, что он кончается, а он, смотрите-ка, оправился. Страшно видеть родимчик, но у детей он быстро проходит. Повитуха! Пусть кликнут повитуху! — добавила она, решившись на этот рискованный шаг, лишь бы обелить себя в глазах присутствующих.

Регент неловко растопырил руки, стараясь не прикасаться к одежде; он глядел на свои пальцы со страхом и отвращением, боясь притронуться к чему-либо.

Младенец посинел и задыхался.

Среди общей суматохи и отчаяния никто толком не понимал, что надо делать, как все это случилось. Мадам Бувилль бросилась в опочивальню королевы, но остановилась на пороге, пораженная пришедшей ей в голову новой мыслью: «Если я крикну повитуху, она сразу увидит, что мы подменили дитя и что у него на голове нет следа щипцов. Только бы, о господи, только бы с него не сняли чепчик!» Она бегом вернулась обратно, а тем временем все присутствующие устремились к покоям короля.

Помощь самой искусной повитухи была уже ни к чему. Все еще закутанный в затканную лилиями мантию, с крошечной короной, сбившейся на сторону, младенец покоился, как щепочка, на огромной кровати, застланной шелковым покрывалом. Закатив глаза, в мокрых пеленках, с почерневшими губами и с сожженными ядом внутренностями, младенец, которого представили баронам как короля Франции, приказал долго жить.

Глава V

ЛОМБАРДЕЦ В УСЫПАЛЬНИЦЕ СЕН-ДЕНИ

— Что же нам теперь делать?— одновременно произнесли супруги Бувилли.

Они попались в свою же собственную ловушку.

Регент не пожелал оставаться в Венсене. Собрав всех членов королевской фамилии, он предложил им

сесть на коней и сопровождать его в Париж, где состоится Совет. Когда регент уже выезжал из дворца, Бувилль вдруг в отчаянном припадке храбрости бросился к нему.

— Ваше высочество,— закричал он, хватая коня под уздцы.

Но Филипп не дал ему продолжать:

— Знаю, знаю, Бувилль; знаю, что вы разделяете с нами общую печаль, и признателен вам за ваше доброе чувство. Вас, поверьте, мы ни в чем не упрекаем. Ничего не поделаешь! Такова природа человеческая. Я сообщу вам свои распоряжения насчет похорон.

И регент, подняв коня в галоп, проскакал по опущенному мосту. Вряд ли на таком бешеном аллюре сопровождавшие его лица могли обдумать все случившееся.

Большинство баронов поскакали вслед за ним. В Венсене остались лишь бездельники да те, кто поплоше; собравшись группками, они горячо обсуждали событие.

— Пойми,— твердил Бувилль жене,— я обязан был немедленно все ему сказать. Зачем ты меня удержала?

Они отошли к амбразуре окна и тихонько шептались, даже друг другу боясь поверить свои мысли.

— А кормилица? — спросил Бувилль.

— Я за ней сама смотрю. Увела в свою спальню, заперла на ключ, а возле дверей поставила двух человек.

— Она ничего не подозревает?

— Нет.

— Надо бы ей сказать.

— Подождем, пока все разъедутся.

— Нет, я должен был открыть ему...

Толстяка Бувилля терзала совесть — почему, почему не послушался он своего первого порыва? «Если бы я сказал правду перед всеми баронами, если бы сразу привел доказательства...» Но для этого требовалось быть не Бувиллем, а человеком иного склада, скажем, коннетаблем, а главное, не иметь супруги, которая дергает тебя за рукав.

— Но разве могли мы знать,— говорила мадам Бувилль,— что Маго так ловко поведет дело и что ребенок умрет у всех на глазах?

— В сущности,— пробормотал Бувилль,— может, лучше было бы нам представить баронам настоящего, пусть бы свершилось предназначенное судьбой.

— А что, а что я тебе говорила?

— Верно, я не снимаю с себя вины. Ведь мне в голову пришла эта мысль... дурная мысль...

Кто им теперь поверит? Как, кому смогут они объявить, что обманули баронов, что увенчали королевской короной младенца кормилицы? Ведь уже одно это — прямое святотатство.

— Знаешь, чем мы рискуем, если это станет известно?..— шептала мадам Бувилль.— Тем, что Маго отравит и нас с тобой.

— Я уверен, что регент с ней в сговоре. Когда он вытер руки, запачканные младенцем, то сразу бросил тряпку в огонь, я сам видел... Он нас к суду притянет за клевету на Маго.

Отныне все их помыслы занимала единственная мысль, как бы спастись самим.

— Ребенка обрядили? — спросил Бувилль.

— Я сама его обряжала вместе с горничной, пока ты провожал регента,— пояснила супруга.— И поставила возле него четырех конюших. Так что с этой стороны опасаться нечего.

— А королева?

— Я запретила с ней об этом говорить, боюсь, как бы ей не стало хуже. Хотя вряд ли она и поняла бы. Я приказала повитухе ни на шаг не отходить от ее ложа.

В скором времени в Венсен прибыл камергер Гийом де Сериз и объявил де Бувиллю, что регента только что возвели в королевское звание с согласия его дядей, брата и оказавшихся во дворце пэров. Совет заседал недолго.

— А что касается похорон его племянника,— продолжал камергер,— то наш государь Филипп решил, что они состоятся в самое ближайшее время, дабы не длить горе народное. Выставлять гроб новопреставленного не будут. Так как сегодня пятница, а в воскресенье покойников земле не предают, тело завтра же будет перевезено в Сен-Дени. Бальзамировщик уже вызван. А я, мессир, отправляюсь в обратный путь, так как король приказал мне не мешкать.

Бувилль молча глядел вслед удалявшемуся камергеру. «Король, король...» — беззвучно шептал он.

Граф Пуатье стал королем; маленького ломбардца похоронят в королевской усыпальнице в Сен-Дени, а Иоанн I жив и здоров!

Бувилль поплелся в спальню к жене.

— Филипп уже король,— сообщил он.— А мы остались с младенцем-королем на руках...

— Надо, чтобы он исчез...

— Да что ты говоришь?! — негодующе крикнул Бувилль.

— А что я говорю? Ты, видно, совсем рехнулся, Юг! — возразила мадам Бувилль.— Я имею в виду — надо его спрятать.

— Но тогда ему не взойти на престол.

— Зато хоть жив останется. И, возможно, в один прекрасный день... Разве можно знать, что будет...

Но как его спрятать? Кому доверить младенца, не вызвав подозрения? А самое главное — надо вскормить его.

— Кормилица! — вдруг воскликнула мадам Бувилль.— Только кормилица может нам помочь. Пойдем скорее к ней.

Они поступили весьма разумно, подождав отъезда баронов и только после этого сообщив Мари де Крессэ о смерти ее сына. Вопли и крики ее разносились не только по всему замку, но слышны были даже во дворе. А тем, кто услышал ее крики и застыл от ужаса на месте, объявили потом, что это кричала королева. Даже сама королева, выйдя на мгновение из беспамятства, поднялась с подушек и тревожно спросила:

— Что случилось?

Даже почтенный старец, сенешаль де Жуанвилль, и тот, очнувшись от дремоты, задрожал с ног до головы.

— Кого-то убивают,— произнес он,— так кричат только под ножом убийцы, я-то, слава богу, знаю.

А Мари тем временем твердила, не умолкая:

— Я хочу его видеть! Хочу его видеть! Хочу его видеть!

Бувилль с супругой вынуждены были схватить ее, потому что она, обезумев от горя, рвалась из комнаты в дальние покои, где лежал труп ее сына.

Целых два часа супруги пытались успокоить, утешить, а главное, вразумить Мари, десятки раз повторяя одни и те же доводы, но она не слушала.

Напрасно Бувилль клялся, что никак не желал причинить ей такое зло, что во всем виновата графиня Маго, сумевшая осуществить свой преступный замысел. Слова эти запали в голову Мари, хотя вряд ли она поняла их, но со временем они сами всплывут в ее памяти;

однако сейчас все это не имело для нее никакого смысла.

Временами слезы высыхали у нее на глазах, она глядела вдаль невидящим взором, а потом снова начинала громко стонать. Так стонет животное, раздавленное колесами.

Бувилли подумали, что она и впрямь лишилась рассудка. Они уже истощили все свои доводы: принеся в жертву родное дитя, Мари, пусть даже невольно, спасла жизнь королю Франции, потомку прославленной династии Капетингов...

— Вы молоды,— твердила мадам Бувилль,— у вас еще будут дети. Ведь нет женщины, которая не потеряла бы грудное дитя.

И она перечислила всех отпрысков королевской фамилии, погибших в младенчестве на протяжении трех поколений, и начала свой перечень с мертворожденных близнецов, которыми разрешилась от бремени Бланка Кастильская. У Анжуйских, у Куртенэ, у герцогов и графов Бургундских, у Шатийонов, даже в роду самих Бувиллей сколько раз матери горевали над гробом своего младенца и жили затем в радости, окруженные многочисленным потомством! Каждая женщина рожает двенадцать — пятнадцать раз, а выживает не больше половины детей.

— Я вас отлично понимаю,— продолжала мадам Бувилль,— больнее всего потерять первенца.

— Нет, нет, ничего вы не понимаете! — кричала Мари, рыдая.— Этого... этого никто мне никогда не заменит!

Убиенное дитя было плодом ее любви, столь страстного желания, столь пламенной веры, что перед ними отступили все законы и все запреты; в нем воплотилась ее мечта, за него она заплатила дорогой ценой — двумя месяцами оскорблений и четырьмя месяцами заточения в монастыре, его она готовилась, как бесценный дар, вручить тому, на кого пал ее выбор; для нее новорожденный был как бы чудесным деревцем, в котором должна была расцвести вновь ее жизнь, ее трудная, ее волшебная любовь!

— Нет, не можете вы понять! — жалобно твердила она.— Вас ведь не прогнала семья из-за ребенка. Нет, никогда у меня не будет другого!

Когда человек, сраженный горем, начинает говорить о своей беде, описывать ее обычными словами, значит,

он уже смирился. На смену отчаянию, почти физическому ощущению своей муки постепенно приходит душевная боль, жестокое раздумье.

— Я знала, знала, недаром я не хотела сюда идти, знала, что здесь меня ждет беда!

Мадам Бувилль не посмела ей возразить.

— А что скажет Гуччо, когда ему все станет известно? — спрашивала Мари.— Как я могу сообщить ему эту весть?

— Он ничего и не должен знать, дитя мое! — воскликнула мадам Бувилль.— Никто не должен знать, что король остался жив, ибо те, кто нанес удар невинному, не остановятся перед новым преступлением. Вам самой грозит опасность, так как вы действовали заодно с нами. И вы должны хранить тайну, покуда с вас не снимут запрет.

И, повернувшись к мужу, мадам Бувилль шепнула:

— Скорее неси Евангелие.

Когда Бувилль вернулся с тяжелым Евангелием в руках, за которым ему пришлось бегать в часовню, супруги уговорили Мари положить руку на серебряную крышку и поклясться хранить полное молчание: пусть она ничего не говорит даже отцу погибшего ребенка, даже на исповеди пусть молчит о свершившейся трагедии. Лишь Бувилль или его жена могут разрешить ее клятву.

Сломленная горем Мари поклялась во всем, что от нее потребовали. Бувилль обещал выплачивать ей определенное содержание. Но до денег ли ей было!

— А теперь, милочка, вам придется растить короля Франции и говорить всем, что это ваше собственное дитя,— заключила мадам Бувилль.

Мари возмутилась. Она не хотела прикасаться к ребенку, вместо которого убили ее сына. Не желает она оставаться в Венсене. Одного ей хочется — уйти отсюда куда глаза глядят и умереть.

— Не беспокойтесь, вы умрете, и очень скоро, если выдадите вашу тайну. Маго не замедлит вас отравить или велит прикончить ударом кинжала.

— Нет, нет, я ничего не скажу, ведь я обещала! Но отпустите меня, дайте мне уйти!

— Вы уедете, уедете, хорошо! Но не погубите еще и этого младенца. Вы сами видите, что он голоден. Покормите его хоть сегодня,— добавила мадам Бувилль, кладя на руки Мари сына королевы Клеменции.

Когда Мари почувствовала у своей груди ребенка, она зарыдала пуще прежнего. С ужасом и болью ощутила она, что по другую руку не лежит ее собственное дитя, что место его навеки опустело.

— Сберегите его. Он теперь как бы ваш,— внушала ей мадам Бувилль.— И когда придет время, когда он вступит на престол, вам будут возданы такие же почести, как и ему; вы будете его второй матерью.

При таком нагромождении лжи еще одна ложь была не в счет. Впрочем, не обещание будущих почестей, на которые не скупилась жена бывшего хранителя чрева, тронуло Мари, а присутствие этого крохотного существа, лежавшего у нее на руках, и она бессознательно перенесла на него свою материнскую любовь.

Прикоснувшись губами к покрытой белокурым пушком головке ребенка, она машинальным жестом расстегнула корсаж и пробормотала:

— Нет, я не дам тебе погибнуть... маленький мой... маленький мой Иоанн.

Супруги Бувилли с облегчением вздохнули. Они выиграли партию хотя бы на ближайшее время.

— Завтра, когда будут уносить ее дитя, она должна быть уже далеко от Венсена,— шепнула мадам Бувилль мужу.

На следующее утро Мари, совсем обессилевшую от горя и безропотно подчинявшуюся всем распоряжениям мадам Бувилль, отправили с младенцем обратно в монастырь святой Клариссы.

Матушке-настоятельнице мадам Бувилль объяснила, что Мари помутилась в рассудке после кончины ее питомца, короля Иоанна, и что не следует придавать значение ее речам.

— Она нас самих до смерти испугала: вопила в голос, даже собственного ребенка не узнавала.

Мадам Бувилль потребовала, чтобы в келью к Мари никого не допускали, пусть живет себе в полном покое и нерушимой тишине.

— Кто бы к ней ни явился, не пропускайте никого, сначала предупредите меня.

В тот же самый день в Венсен доставили четыре савана — два затканных золотыми лилиями, два с гербами Франции, вышитыми бирюзой, а также восемь локтей черного бархата — все это потребовалось для похорон первого французского короля, нареченного Иоанном. И в гроб действительно положили младенца по

имени Иоанн, в такой крохотный гробик, что после недолгих размышлений его решили везти не на катафалке, где оставалось бы слишком много пустого места, а просто на муле и приторочили деревянный ящик к вьючному седлу.

Мэтр Жоффруа де Флери, королевский казначей, занес в свои книги запись расходов на эти похороны, выразившихся в сумме ста одиннадцати ливров, семнадцати су и восьми денье.

За гробом младенца Иоанна не шествовал, как полагалось, бесконечный кортеж провожающих, не было традиционной панихиды в Соборе Парижской Богоматери. Процессия сразу же отправилась в Сен-Дени, и после заупокойной мессы состоялись похороны. В ногах надгробья Людовика X, которое соорудили еще так недавно, что камень сверкал ослепительной белизной, вырыли узкий ровик и сюда, рядом с останками владык Франции, положили дитя Мари де Крессэ, бедной дворяночки из Иль-де-Франса, и Гуччо Бальони, сиенского купца.

Адам Эрон, первый камергер и дворецкий, подошел к краю маленькой могилки и, глядя на своего господина Филиппа Пуатье, громогласно провозгласил:

— Король умер! Да здравствует король!

Царствование Филиппа V Длинного началось; Жанна Бургундская стала королевой Франции к вящему торжеству ее матушки графини Маго Артуа.

Только три человека во всей французской державе знали, что законный король жив. Одна из знавших эту тайну поклялась молчать на святом Евангелии, а двое других тряслись от страха, как бы их тайна не открылась.

Итак, с этой субботы, пришедшейся на 20 ноября 1316 года, все короли, сменявшие друг друга на престоле Франции, были, по существу, лишь длинной чередой невольных узурпаторов власти.

Глава VI

ФРАНЦИЯ В ЖЕЛЕЗНЫХ РУКАХ

В борьбе за французский престол Филипп V, используя монархические установления, прибег еще и к извечному маневру, именуемому на современном языке государственным переворотом.

В силу личного влияния и благодаря поддержке своего клана Филипп, став регентом, то есть человеком,

облеченным верховной властью, и собрав июльскую ассамблею, навязал ей новый, благоприятный для него закон престолонаследования, но добился этого не сразу и не без существенных оговорок. Исчезновение младенца Иоанна явилось счастливой неожиданностью. Филипп, тут же откинув им самим установленные законы наследования, завладел короной, забыв о всех сроках и оговорках.

Власти, захваченной в подобных обстоятельствах, неизбежно грозит многое, особенно поначалу.

Трудясь над упрочением своего положения, Филипп не имел ни досуга, ни возможности насладиться победой, улицезреть себя на вершине наконец-то воплотившейся в жизнь мечты. Он достиг вершины, но еле удерживался на ее острие.

По всему королевству поползли зловещие слухи, в душе каждого зрели подозрения. Однако люди уже успели убедиться, что у нового короля твердая рука, и все, кто имел основания опасаться этого, сплотились вокруг герцога Бургундского.

А сам герцог срочно примчался в Париж, дабы оспорить право своего будущего тестя на французский престол. Он требовал, чтобы немедленно созвали Совет пэров и признали Жанну Наваррскую королевой.

Филипп продолжал хитрить. За звание регента он предложил герцогу свою дочь и Бургундское графство; за корону он предложил отделить Францию от Наварры, хотя объединение произошло лишь совсем недавно, и посулил закрепить это крохотное пиренейское королевство за дочерью Сварливого, хотя никто не знал, была ли она его законной дочерью.

Но если Жанна, по мнению самого Филиппа, достойна править Наваррой, то почему же она недостойна править Францией? Во всяком случае, так рассуждал герцог Эд и отказался уступить. Очевидно, придется решать этот спор силой.

Эд столь же стремительно поскакал в Дижон и бросил клич от имени своей малолетней племянницы всем баронам Артуа и Пикардии, Бри и Шампани, призывая их не покоряться узурпатору.

В том же духе он обратился к королю Эдуарду II Английскому, который, вопреки вмешательству своей супруги Изабеллы, поспешил подлить масла в огонь, встав на сторону бургундцев. Любое разделение Фран-

ции было выгодно английскому королю, который надеялся прибрать к рукам провинцию Гиэнь.

«Неужели ради этого я разоблачала шашни моих невесток?» — думала королева Изабелла.

Всякий другой на месте Филиппа Длинного пал бы духом, видя, как с севера, востока и юго-запада надвигается угроза. Но молодой король знал, что впереди есть еще несколько месяцев сроку: зимой не воюют, враги его будут ждать весны, если только действительно решатся собрать войско. Поэтому первой заботой Филиппа было как можно скорее короноваться, ибо помазание на царство — лучшая защита властителю.

Поначалу Филипп решил приурочить торжественный обряд ко дню богоявления; короноваться в королевский день казалось ему добрым предзнаменованием; недаром этот день выбрал и его покойный отец. Но ему доложили, что жители Реймса не успеют приготовить все необходимое; тогда Филипп отложил церемонию еще на три дня. Двор отбудет из Парижа первого января, а коронование состоится в воскресенье, девятого.

Со времен Людовика VIII, первого короля, который не был избран при жизни своего предшественника, никогда еще наследник престола не рвался так в Реймс.

Но венчание на царство, этот древний религиозный обряд, казался Филиппу еще недостаточным; он решил поразить воображение народа чем-то новым, небывалым.

Не раз размышлял он над писаниями Эджидио Колонны, наставника Филиппа Красивого, того, кто пестовал сознание Железного Короля... «Размышляя отвлеченно,— писал Эджидио Колонна в своем трактате о принципах власти,— безусловно, предпочтительнее, чтобы короля избирали; лишь разнузданные аппетиты людей и их способ действия заставляют нас предпочесть наследственное право выборному».

— Я хочу взойти на престол с согласия моих подданных,— заявил Филипп Длинный.— И буду чувствовать себя достойным королевского звания лишь при этом условии. И коль скоро кое-кто из высокородной знати чинит мне препятствия, я предоставлю слово малым сим.

Еще покойный отец указал Филиппу правильный путь: в тяжелые для Франции дни он собирал ассамблеи с участием представителей всех классов, всех сословий королевства. И Филипп решил собрать две такие

ассамблеи, но в более расширенном составе, нежели раньше: одна состоится в Париже — для тех, кто пользуется диалектом лангедольским, другая в Бурже — для тех, кто говорит на лангедокском диалекте, и обе соберутся через несколько недель после коронования. И тут он впервые с начала своего правления произнес слова «Генеральные штаты».

Легистам поручили отыскивать и подтасовывать тексты, которые затем предназначалось объявить Генеральным штатам, дабы глас народный подтвердил законность восшествия Филиппа на престол. В первую очередь, понятно, в ход пошло знаменитое изречение коннетабля о том, что лилиям-де негоже прясть и что держава — нечто столь высокое и достойное, что нельзя вручать бразды правления женским рукам. Выдвигались и другие, еще более несуразные аргументы; в частности, легистам велено было исходить из того, что между высокочтимым Людовиком Святым и Жанной Наваррской насчитывается трое преемников, в то время как между Людовиком Святым и Филиппом Длинным их всего лишь двое.

Узнав об этом, Валуа вполне справедливо заметил:

— Но в таком случае почему не я? Ведь от Людовика Святого меня отделяет лишь мой покойный батюшка!

Наконец парламентские советники, которым мессир де Нуайэ не давал ни отдыха ни срока, раскопали, правда не возлагая на свои розыски особых надежд, старинный свод обычаев салических франков, созданный еще до обращения Хлодвига в христианство. В своде этом ни слова не говорилось о передаче королевской власти. По сути дела, это был судебник, свод гражданских и уголовных законов, к тому же весьма примитивно составленный и малопонятный, так как со дня его появления на свет прошло более восьми веков. В нем довольно глухо упоминалось, что наследственные земли делятся поровну между наследниками мужского пола. И все.

Этого оказалось вполне достаточно, чтобы несколько ученых правоведов возвели на столь жалком фундаменте целую систему доказательств и поддержали положение о престолонаследовании, за что и получили соответствующую мзду. Корона Франции переходит лишь к лицам мужского пола, ибо понятие «корона» включает в себя владение землями. И разве не является самым веским доказательством того, что салический закон при-

менялся издавна, тот факт, что одни лишь мужчины являлись наследниками земельных угодий? Тем самым Жанна Наваррская могла быть отстранена от престола даже без ссылки на ее незаконное происхождение, каковое, впрочем, еще не было доказано.

Недаром легисты считались мастерами тарабарщины. Никому и в голову не пришло возразить им, что Капетинги пошли не от салических франков, а от сикамбров и от брюктеров; никому не было охоты копаться в подлинных текстах пресловутого салического закона, тем паче что на него не столько ссылались, сколько начисто его выдумали; закон этот с успехом утвердился в истории после целого века опустошающей войны, в которую по его вине была ввергнута Франция.

Дорого же обошлись стране любовные шашни Маргариты Наваррской!

Но пока что центральная власть не дремала. Филипп уже перестраивал систему управления, призывал на свои Советы представителей богатых горожан и учредил особый клан «рыцарей сопровождения», желая отблагодарить тех, кто, начиная с Лиона, верно служил ему.

У Карла Валуа он перекупил мастерскую по чеканке монеты, находившуюся в Мане, а потом скупил еще десяток мастерских, разбросанных по всей Франции. Теперь вся монета, имевшая хождение в государстве, чеканилась на королевском монетном дворе.

Вспомнив проекты папы Иоанна XXII, которые тот развивал перед ним, еще будучи кардиналом Дюэзом, Филипп подготовил реформу системы штрафов и казначейских сборов. Отныне каждую субботу нотариусы будут вкладывать в государеву казну собранные ими суммы, и Счетная палата установит специальный тариф за регистрацию официальных актов.

Точно такая же судьба постигнет таможни, превотства, городское управление, финансовые операции. Злоупотребления и лихоимство, пышно расцветшие после смерти Железного Короля, сурово пресекались. Во всех слоях общества, даже в самых высших, во всей государственной жизни, в суде, в портах, на рынках и ярмарках почувствовали наконец, что Францию держат крепкие руки... руки двадцатитрехлетнего юноши!

За верность тоже приходится платить. Естественно, что восшествие Филиппа на престол сопровождалось щедрыми подачками.

Дряхлого старца сенешаля де Жуанвилля отправили в его замок Васси, ибо он изъявил желание именно там окончить свои дни. Он чувствовал, что конец его близок. Сын сенешаля Ансо, ставший со времен Лиона ближайшим соратником Филиппа, как-то сказал ему:

— Мой батюшка уверяет, что удивительные дела творились в Венсене в день смерти малолетнего короля и что до него дошли весьма тревожные слухи.

— Знаю, знаю,— живо отозвался Филипп.— Мне самому многое из того, что там творилось в те дни, кажется престранным. Хотите знать мое мнение, Ансо? Мне не хочется плохо говорить о Бувилле, да и доказательств у меня нет, но я не раз думал вот о чем: уж не скончался ли мой племянник еще до нашего прибытия в Венсен и не подсунули ли нам другого ребенка?

— Господи, а на что это было нужно?

— Не знаю... Из страха перед упреками, из боязни, что Валуа или еще кто-нибудь обвинят его. Ибо за ребенком смотрел один Бувилль. И вспомните, как он упорно не желал нам его показывать. Повторяю, все это только догадки, внутреннее мое ощущение, ни на чем, в сущности, не основанное... Но так или иначе, уже слишком поздно...

Помолчав, Филипп добавил:

— Кстати, Ансо, я распорядился, чтобы вам из казны выдали в дар четыре тысячи ливров, и таким образом вы поймете, сколь я признателен вам за вашу постоянную помощь. И если в день коронования мой кузен герцог Бургундский не прибудет в Реймс,— а полагаю, что так оно и случится,— я попрошу вас выполнить положенный обряд и привязать мне шпоры. Вы достаточно знатны для этого.

Нет более подходящего металла для заклепки ртов, чем золото; но Филипп отлично знал, что в иных случаях этот надежный припой требует изящества отделки.

Оставалось еще уладить дело с Робером Артуа. Филипп десятки раз поздравлял себя с тем, что в эти дни, чреватые событиями, его смутьян-родич содержится под стражей. Но нельзя было до бесконечности держать его в тюрьме Шатле. Обычно коронование сопровождается актами милосердия и помилования. Поэтому-то, когда Карл Валуа насел на Филиппа, тот ответил ему с наигранно-благодушным видом доброго владыки:

— Только чтобы вам угодить, дядюшка, я готов дать Роберу свободу...

Он не кончил фразы и, казалось, углубился в какие-то расчеты.

— Но лишь через три дня после моего отъезда в Реймс,— добавил он,— и с запрещением отдаляться от столицы больше чем на двадцать лье.

Глава VII

БЕЗЖАЛОСТНО РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ...

На пути своего восхождения к трону Филипп Длинный перешагнул не только через два трупа: его царственная поступь смела еще две судьбы, разбила жизнь двум женщинам: одной — королеве и другой — безвестной простушке из Нофля.

На следующий день после погребения Лже-Иоанна I в королевской усыпальнице Сен-Дени к Клеменции Венгерской, чьей кончины ждали с минуты на минуту, вернулись признаки сознания и жизни. Какое-то из бесчисленных снадобий оказало свое действие; лихорадка и недуг покинули измученное тело, чтобы уступить место для новых терзаний. Первые слова королевы были о ее сыне, которого она почти не видела. В памяти ее сохранился маленький голенький комочек, и комочек этот растирают розовой водой, кладут в колыбельку...

Когда ей осторожно, со множеством оговорок, сообщили, что видеть ребенка сейчас нельзя, она прошептала:

— Он умер, скажите, умер? Я это знала, чувствовала во время болезни... И это также должно было случиться.

Королева не впала в бурное отчаяние, чего так опасались. Без сил лежала она, откинувшись на подушки, не проронила ни слезинки, лишь на лице ее застыло то выражение трагической иронии, с каким смотрят люди на пепелище пожара, пожравшего все их добро. Губы ее свела странная насмешливая гримаска, и присутствующие испугались, что она потеряла разум.

Беды и так в изобилии рушились на нее: душа королевы уже наполовину омертвела, и как бы судьба ни старалась множить удары, ей не удалось высечь новой боли.

Тяжелее всего приходилось Бувиллю, взявшему на себя фальшивую миссию утешителя, бессильного против беды. Любое ласковое слово Клеменции наполняло его угрызениями.

«Ее дитя живо, и я не смею ей об этом сказать. А ведь я мог бы дать ей такую великую радость!..»

Раз двадцать, побуждаемый жалостью и простой порядочностью, он чуть было не признался Клеменции во всем. Но мадам Бувилль, хорошо изучившая своего малодушного супруга, не оставляла его наедине с королевой.

Зато он облегчал душу, обвиняя в убийстве — и обвиняя справедливо — графиню Маго.

Королева пожимала плечами. Не все ли равно, чья рука нанесла этот последний удар, раз на нее, Клеменцию, ополчились все силы зла?!

— Я усердно молилась, я была доброй, во всяком случае старалась быть,— говорила она,— я свято следовала всем христианским заповедям и пыталась обратить на путь истинный тех, кто был мне дорог. Никогда и никому я не желала зла. А бог покарал меня так, как никого из своих созданий... И злые теперь торжествуют во всем.

Клеменция не возмущалась, не богохульствовала, все былое казалось ей лишь одной огромной ошибкой.

Родителей унесла чума, когда ей, Клеменции, не исполнилось еще и двух лет. Все принцессы в их роду, за редким исключением, нашли свое счастье, даже не достигнув совершеннолетия, а ей пришлось ждать мужа до двадцати двух лет. И наконец ее руки нежданно-негаданно попросил тот, выше которого в ее представлении не было никого на целом свете. Этот брачный союз с Францией ослепил ее своим блеском, одурманил — пусть вымышленной — любовью, вдохнул в нее самые благие намерения. Но уже по пути в новую свою отчизну она чуть не погибла во время бури. А через несколько недель узнала, что сочеталась браком с убийцей, что первую жену короля удушили. Прожив в замужестве всего десять месяцев, она овдовела, но носила под сердцем ребенка. Под предлогом заботы о ее безопасности королеву тотчас же отстранили от власти, превратили в затворницу. Целую неделю она боролась со смертью лишь затем, чтобы, вырвавшись из преддверия ада, узнать, что ребенок ее умер, что его, без сомнения, отравили, как отравили перед тем ее супруга.

Можно ли вообразить себе более плачевную и трагическую участь!

— Люди моей страны верят в злую судьбу. И они правы: мне выпала злая судьба,— повторяла она.— От-

ныне я не смею ничего предпринимать, ни за что браться.

Она исчерпала все данные ей природой добродетели. Любовь, милосердие, надежда, даже вера разом покинули ее. Все равно они пропали бы втуне. Ничего у нее не осталось, чем можно одаривать людей.

Во время болезни Клеменция так настрадалась, столько раз была на пороге смерти, что теперь, обнаружив, что жива, что может свободно дышать, есть, смотреть на стены, на лица, она дивилась этому, как чуду, и черпала в этом единственно живые чувства, на какие еще была способна ее на три четверти отмершая душа.

По мере того как к Клеменции медленно возвращались силы и красота, легендарная ее красота, в ней одновременно пробуждались вкусы и наклонности пожившей, капризной женщины. Казалось, с начала ее болезни прошла не неделя, а сорок лет, хотя по-прежнему очаровательна была внешняя оболочка, все так же золотились кудри и лицо напоминало запрестольный образ, с каждым днем все соблазнительнее становилась эта великолепная грудь, это точеное тело. Но в этом прелестном теле жила стареющая вдова, жадно требовавшая от жизни последних радостей. И требовала их еще одиннадцать лет

Доныне воздержанная в пище и из религиозных соображений, и просто по природе, королева приказывала подавать самые дорогие и редкостные яства и питье. Осыпанная сверх меры дарами покойного мужа, она, которая с трудом соглашалась принимать их, оживлялась теперь при виде ларца с драгоценностями, почти сладострастно перебирала камни, подсчитывала их стоимость, любовалась их чистотой и блеском. Она вызывала к себе ювелиров и, вдруг решив переделать оправу, вместе с ними набрасывала эскизы, подбирала камни. Целые дни она проводила с белошвейками, скупала бесценные восточные ткани, и все ее одеяния были густо пропитаны благовониями.

Выходя из своих покоев, она надевала белое вдовье облачение, зато ее приближенные смущенно отводили глаза, застав королеву, свернувшуюся клубочком перед камином и закутанную в прозрачные покрывала.

Прежняя ее щедрость приняла теперь уродливую форму нелепых даров. У торговцев была круговая порука, они знали, что можно без страха запрашивать любую цену. Слуг и тех охватила жадность. О, конечно,

королеве Клеменции прислуживали на славу. На кухне шли споры, кому подавать ей на стол, ибо за красиво разукрашенный десерт, за миндальное молоко, за «золотую воду» — последнее изобретение кулинарии, куда входили розмарин и гвоздика, выдержанные предварительно в соке граната,— королева могла вдруг кинуть слуге пригоршню золотых монет.

Вскоре ей пришла охота слушать пение, и сколько сказок, лэ и романов нарассказали ей красивые уста! Один менестрель, обладатель статной фигуры и задушевного голоса, развлекавший ее целый час, смущенно опуская взор, чтобы не видеть сквозь кипрские покрывала обнаженное тело королевы, получил от нее столько денег, что мог пировать в тавернах в течение целого месяца.

Бувилль кряхтел, видя такие траты, что не мешало ему самому стать объектом щедрот королевы.

Первого января, которое, по обычаю, было днем взаимных поздравлений и преподнесения подарков, хотя официально новый год начинался на пасху, королева Клеменция вручила Бувиллю богато расшитый кошель, где лежали три сотни золотых монет. Бывший камергер Филиппа Красивого в испуге отпрянул назад.

— Нет, мадам, умоляю вас, не надо, я не заслужил такой милости!

Но нельзя отказываться от даров королевы, если даже королеве этой грозит разорение и если тебе самому приходится гнусно лгать ей в глаза.

Злополучный Бувилль, терзаемый страхом и угрызениями совести, предвидел, что близится час, когда у Клеменции начнутся жесточайшие финансовые затруднения.

В тот же самый день, первого января, к Бувиллю явился с визитом мессир Толомеи. Банкир даже удивился неестественной худобе бывшего камергера, его седине. Одежда болталась на Юге де Бувилле, дряблые щеки печально свисали, взгляд беспокойно блуждал, особенно ослабели его умственные способности.

«Этого человека,— думал банкир,— подтачивает какой-то тайный недуг, и я не удивлюсь, если скоро узнаю, что он смертельно болен. Надо поскорее уладить дела Гуччо».

Толомеи знал придворные обычаи. По случаю нового года он преподнес мадам Бувилль штуку великолепной материи.

— Это чтобы ее отблагодарить,— пояснил он,— за все заботы о той девице, которая родила моему племяннику сына.

Бувилль хотел было отказаться и от этого подарка тоже.

— Нет, нет,— настаивал Толомеи.— Кстати, я хочу побеседовать с вами о нашем деле. Мой племянник скоро возвратится из Авиньона, где наш святой отец папа...

При этих словах Толомеи осенил себя крестным знамением.

— ...где папа удерживал его, чтобы тот привел в порядок его казну. И он хочет забрать свою молодую супругу и свое дитя...

Кровь отхлынула от сердца Бувилля.

— Сейчас, мессир, минуточку,— залепетал он,— я вспомнил, что меня ждет гонец, и я должен немедленно дать ему ответ. Будьте любезны, подождите меня здесь.

И он исчез, зажав штуку материи под мышкой: побежал советоваться с супругой.

— Муж возвращается,— бухнул он.

— Чей муж? — спросила мадам Бувилль.

— Муж кормилицы!

— Но ведь она не замужем.

— Как бы не так! У меня сидит Толомеи. Смотри, что он тебе принес.

— А что он хочет?

— Забрать девицу из монастыря.

— Когда?

— Не знаю. Должно быть, скоро.

— Тогда постарайся узнать, ничего ему не обещай и приходи сюда.

Бувилль снова предстал перед гостем.

— Итак, о чем вы говорили, мессир Толомеи?

— Говорил, что приезжает мой племянник Гуччо и хочет забрать из монастыря, куда вы так любезно ее поместили, свою жену и сына. Теперь им нечего бояться. У Гуччо есть письмо от самого папы. И, думаю, на время он обоснуется в Авиньоне... А жаль, мне бы очень хотелось, чтобы они пожили у меня. Ведь, как вам известно, я еще не видел своего новорожденного внука. Все был в отлучках, объезжал наши отделения и получил только одно письмо, и очень веселое, от молодой мамаши. Вернулся я позавчера и сразу же решил отнести ей кое-какие сладости, но не тут-то было: в монастыре мне даже дверей не открыли.

— Там, видите ли, очень суровый устав,— промямлил Бувилль.— Да мы и сами, следуя вашему желанию, дали строгий наказ.

— Надеюсь, ничего худого не произошло?

— Нет, мессир, нет; ничего, сколько мне известно. Я сразу бы сообщил вам,— ответил Бувилль, чувствуя, что его поджаривают на медленном огне.— А когда ваш племянник возвращается?

— Я жду его через два-три дня.

Бувилль испуганно уставился на банкира.

— Еще раз прошу прощения, я вдруг вспомнил, что королева поручила мне принести ей одну вещь, а я совсем забыл. Я сейчас вернусь, сейчас вернусь.

И он снова скрылся за драпировкой.

«Должно быть, голова у него не в порядке,— подумал Толомеи.— Вот уж удовольствие беседовать с человеком, который каждую минуту куда-то исчезает! Хоть не забыл бы, что я здесь его жду!»

Банкир присел на сундук, пригладил меховую опушку на рукавах и от нечего делать стал высчитывать стоимость находившейся в приемной мебели, что ему и удалось сделать с точностью до десяти ливров, так как времени было больше чем достаточно.

— Вот и я,— вдруг проговорил Бувилль, выныривая из-под драпировок.— Значит, вы говорили мне о своем племяннике? Я ему, знаете ли, многим обязан. В жизни у меня не было такого приятного спутника, как во время поездки в Неаполь! Неаполь...— повторил он растроганно.— Если бы я только мог предвидеть... Несчастная королева, несчастная...

Бувилль бессильно рухнул на сундук рядом с Толомеи и стал утирать толстыми пальцами навернувшиеся на глаза слезы, слезы воспоминаний.

«Ну как вам это понравится! Теперь он начал реветь у меня над ухом!» — подумал банкир. А вслух произнес:

— Я не хотел касаться всех этих трагических происшествий; воображаю, как вы сражены всем случившимся. Я не раз о вас думал...

— Ох, Толомеи, если бы вы только знали!.. Все это настолько страшно, что вы и представить себе не можете; тут не обошлось без вмешательства сатаны...

За драпировкой послышался приглушенный кашель, и Бувилль сразу замолк на самой грани опасных признаний.

«А ведь нас подслушивают»,— решил Толомеи и тут же переменил тему разговора.

— Слава богу, что в таком горе у нас есть утешение — хороший король.

— Конечно, конечно, король у нас хороший,— без особого воодушевления подтвердил Бувилль.

— Я, видите ли, опасался,— начал банкир, стараясь отвести своего собеседника подальше от подозрительной драпировки,— опасался, что новый король прижмет нас, я имею в виду нас, ломбардцев. Ничуть не бывало! Говорят, даже в некоторых сенешальствах он поручил сбор налогов людям наших компаний... А что касается моего племянника, который, должен вам сказать, немало потрудился, то я хочу, чтобы за все выпавшие на его долю испытания он по приезде в Париж встретился со своей красавицей и сынком у меня в доме. Я уже велел приготовить покои для этой прелестной четы. О теперешних молодых людях часто злословят. Не верят, что они способны на искреннюю, преданную любовь. А эти двое, позвольте вам заметить, крепко любят друг друга. Вы посмотрели бы их письма! А если свадьба состоялась и не по всем правилам — что ж! — повторим церемонию, и прошу вас быть на их бракосочетании свидетелем, если, конечно, для вас это не зазорно.

— Напротив, для меня это великая честь, мессир,— отозвался Бувилль, поглядывая на драпировку с таким видом, словно по ней ползет паук.— Но ведь есть также семья.

— Какая семья?

— Ну да, семья, семья кормилицы.

— Какой кормилицы? — переспросил окончательно запутавшийся Толомеи.

Снова за драпировкой раздалось приглушенное покашливание. Бувилль даже в лице переменился, залепетал что-то, стал заикаться.

— Видите ли, мессир... Да, да, я хотел сказать... Что же я, бишь, хотел сказать?.. Да, я сразу хотел вам сообщить, что... но из-за разных этих дел запамятовал... Ах, да, вот что я хочу вам сказать... Ваша... жена вашего племянника, коль скоро, по вашим словам, они обвенчаны, так вот мы ее попросили... Ну, нам нужна была кормилица. Так вот, по доброй своей воле, заметьте, по доброй воле, она уступила просьбам моей жены и кормила маленького короля... увы, недолго, всего неделю.

— Стало быть, она была здесь? Вы брали ее из монастыря?

— И отвезли обратно! Я не мог сообщить вам об этом раньше... времени не было. И к тому же все это продолжалось недолго.

— Но, мессир, чего же вы стыдитесь, вы правильно поступили. Ах, наша красотка Мари! Значит, она кормила короля? Миссия, надо сказать, удивительная и почетная, весьма почетная! Жаль только, что кормить пришлось ей так недолго,— произнес Толомеи, сожалея о всех упущенных в связи с таким чрезвычайным обстоятельством выгодах.— Значит, вам нетрудно снова взять ее из монастыря?

— В том-то и дело, что нет. Для того чтобы она навсегда покинула святую обитель, требуется согласие семьи. Вы виделись с ее родными?

— Нет. Братья, которые поначалу устроили шум, по-моему, были рады спихнуть ее мне на руки и даже глаз теперь не кажут.

— А где они живут?

— У себя в поместье, в Крессэ.

— Крессэ, Крессэ... А где находится это самое Крессэ?

— Возле Нофля, где у меня есть отделение.

— Крессэ... Нофль... Чудесно, чудесно.

— Разрешите заметить, мессир, но вы все-таки странный человек! — не сдержавшись, воскликнул Толомеи.— Я поручаю вашей заботе девицу, рассказываю вам о ней все, как на духу; вы берете ее в кормилицы к королевскому сыну, она живет здесь при вас восемь, десять дней...

— Пять,— уточнил Бувилль.

— Пусть будет пять,— продолжал Толомеи,— и вы даже представления не имеете ни откуда она родом, ни как ее зовут!

— Да нет, знаю, знал прекрасно,— отозвался Бувилль и даже побагровел.— Но временами, видите ли, все у меня из головы вылетает.

Ему неловко было в третий раз бежать за советом к супруге. И почему она, вместо того чтобы стоять за драпировкой, не придет ему на помощь? А потом еще будет пилить мужа за то, что он наболтал лишнего! Впрочем, если не выходит, значит, так и нужно.

— Этот Толомеи — единственный человек, которого я опасаюсь,— внушала жена Бувиллю.— У ломбардца чутье потоньше, чем у целой своры гончих. Если он будет говорить с тобой, дурачком, наедине, он не станет

ничего опасаться, да и мне потом легче будет повернуть дело в нашу пользу.

«С дурачком... И верно, я совсем дураком стал,— думал Бувилль.— Вот поди ж ты! А раньше с королями умел говорить, участвовал в обсуждении государственных дел. Меня посылали устраивать брак Людовика с мадам Клеменцией. Я занимался конклавом и удачно хитрил с Дюэзом...» — вот это последнее соображение и спасло Бувилля.

— Вы, кажется, сказали, что у вашего племянника есть письмо от святого папы? — проговорил он.— Чудесно, значит, все в порядке. Пускай сам Гуччо за ней приедет, пусть покажет письмо. Тогда все мы останемся в стороне и никто не сумеет нас упрекнуть или затеять с нами тяжбу. Шутка ли, сам папа! Тут никто возразить не посмеет. Через два или три дня, так вы, кажется, сказали? Что ж, пожелаем, чтобы все прошло гладко. И большое вам спасибо за прекрасную ткань; уверен, славная моя супруга сумеет оценить по достоинству ваш подарок. А теперь до свидания, мессир, остаюсь вашим покорным слугой.

Эта тирада совсем подкосила Бувилля, будто он ходил в атаку один против многочисленных врагов.

По дороге из Венсена Толомеи думал: «Или мне все налгали,— а почему лгали, я не знаю,— или старик просто впадает в детство. Что ж, подождем Гуччо».

Но мадам Бувилль не стала ждать. Она тут же велела запрячь мулов в носилки и отправилась в предместье Сен-Марсель. Здесь она заперлась в келье с Мари; убив ее ребенка, она требовала теперь у несчастной отречься от своей любви.

— Вы поклялись хранить тайну на святом Евангелии,— твердила она.— А способны ли вы сохранить тайну от этого человека? Неужели у вас хватит дерзости жить с мужем (теперь мадам Бувилль готова была на все, даже признать Гуччо законным мужем Мари) и обманывать его, уверяя, что он отец чужого ребенка? Скрывать такие вещи от своего супруга тяжкий грех! А когда наконец восторжествует правда и короля призовут на престол, что вы тогда скажете вашему мужу? Вы честная женщина, дочь благородных родителей, и вы не пойдете на подобную низость.

Все эти вопросы Мари сотни, тысячи раз сама ставила перед собой, каждый час, каждую минуту своего затворнического существования. Ни о чем другом она не

думала, и мысли эти чуть не свели ее с ума. И она уже знала наперед свой ответ. Знала, что, очутившись в объятиях Гуччо, не сможет ничего утаить, и вовсе не потому, что это будет «тяжкий грех», как выразилась мадам Бувилль, но потому, что сама любовь не потерпела бы столь жестокой лжи.

— Гуччо меня поймет, Гуччо простит. Я объясню ему, что моей вины тут нет; он поможет мне нести это бремя. Гуччо никому ничего не скажет, мадам, я могу поклясться за него, как я клялась за себя.

— Можно клясться лишь за себя, дитя мое. А тем более нельзя клясться за ломбардца; неужели вы верите, что он будет молчать? Да он первым делом постарается извлечь из этого выгоду.

— Мадам, не оскорбляйте его!

— Вовсе я его не оскорбляю, милочка, но я знаю людей. Вы дали клятву ничего не говорить даже на святой исповеди. На вашем попечении находится король Франции; и мы разрешим вашу клятву, когда придет время. Но не раньше.

— Молю, мадам, возьмите у меня короля и дайте мне свободу.

— Не я вам вручила младенца, на то была воля божия. Это дар господень, врученный вам на сохранение. Неужели вы предали бы слугам иродовым Иисуса Христа, которого вам поручили бы сберечь во время избиения младенцев?.. Это дитя должно жить. Мой супруг обязан иметь вас и дитя под наблюдением, чтобы в любую минуту найти, а как прикажете ему поступить, если вы укатите в Авиньон?

— Я попрошу Гуччо поселиться там, где вы потребуете; уверяю вас, он не проговорится.

— Не проговорится лишь потому, что вы его никогда не увидите!

Их спор, прерывавшийся лишь на время кормления ребенка, длился до самого вечера. Обе женщины бились, как два зверя, захлопнутые одной ловушкой. Но у мадам Бувилль зубы и когти оказались крепче, чем у Мари.

— Что же со мной будет? Неужели вы заточите меня в монастыре до конца моих дней? — стонала Мари.

«С огромным удовольствием заточила бы,— думала мадам Бувилль.— Но ведь твой муженек везет письмо от самого папы...»

— А если семья согласится принять вас обратно? —

рискнула она наконец.— Думаю, что мессир Юг сумеет добиться согласия ваших братьев.

Вернуться в Крессэ к враждебно настроенной родне, да еще с ребенком на руках, на которого все будут коситься, как на плод греховной любви, тогда как нет во всей Франции другого дитяти, столь заслуживающего почета и уважения! Отречься от всего, молчать, стариться с единой мыслью о чудовищно злом роке, о безнадежной гибели любви, которая, казалось, никогда не иссякнет! Все ее мечты безжалостно разбиты.

Мари возмутилась и обрела ту силу, что помогла ей презреть законы человеческие, родную семью, ту силу, что толкнула ее в объятия любимого. Она наотрез отказалась повиноваться мадам Бувилль.

— Я увижусь с Гуччо, я буду ему принадлежать, я буду с ним вместе! — кричала она.

Тут заговорила мадам Бувилль, сопровождая свои слова размеренными ударами сухонького кулачка по ручке кресла.

— Никогда вы не увидите вашего Гуччо, потому что, как только он посмеет приблизиться к монастырю или к другому какому-нибудь месту, куда мы сочтем благоразумным вас поместить, и как только вы заговорите с ним, это будет последняя минута его жизни. Мой супруг, да было бы вам известно, становится грозным, когда речь заходит о спасении короля, и начинает энергично действовать. Если уж вы так настаиваете на встрече с вашим Гуччо, пожалуйста, любуйтесь на него, но запомните, что он будет лежать с кинжалом между лопаток.

Мари бессильно поникла в кресле.

— Довольно и того, что погиб ребенок,— прошептала она,— так неужели еще должен погибнуть отец?

— Это зависит только от вас,— сказала мадам Бувилль.

— Не думала я, что в королевском дворе за полушку убивают людей. Хорош ваш двор, а ведь все государство его уважает. А вам я вот что скажу: я вас ненавижу.

— Вы несправедливы ко мне, Мари. Не скрою, бремя мое тяжко, но я защищаю вас от вас же самой. Садитесь и напишите то, что я вам продиктую.

Мари растерялась, сдалась; чувствуя мучительную боль в висках, почти ослепнув от слез, она с трудом нацарапала несколько фраз. Даже предположить она не могла, что ей придется когда-нибудь писать Гуччо

такое письмо. Ее послание мадам Бувилль решила доставить Толомеи, чтобы тот сам вручил его племяннику.

В своем письме Мари сообщала, что стыдится и ужасается совершенному ею греху, что хочет посвятить всю свою жизнь ребенку, зачатому во грехе, что никогда больше не поддастся голосу плоти и презирает того, кто совратил ее с пути истинного. И что запрещает Гуччо пытаться увидеть ее, где бы она ни находилась.

Ей хотелось сделать хотя бы в конце приписку: «Клянусь, никогда я не буду принадлежать никому, кроме вас, не доверюсь никому другому». Но мадам Бувилль запротестовала.

— Нельзя, а то он решит, что вы его еще любите. Ну, живо подпишите письмо и отдайте его мне.

Мари даже не заметила, когда и как мадам Бувилль ушла.

«Он возненавидит меня. Он станет меня презирать. И никогда он не узнает, что я сделала это для его спасения!» — подумала она, услышав стук захлопнувшейся монастырской калитки.

Глава VIII

ОТЪЕЗДЫ

На другой же день в замок Крессэ прискакал гонец с лилиями, вышитыми на левом рукаве, и королевским гербом на вороте. Появление его произвело всеобщий переполох. Местные жители почтительно именовали его «ваша светлость», а братья Крессэ, прочитав краткое послание, срочно вызывавшее их в Венсен, решили, что их приглашают командовать королевскими егерями или уже назначили сенешалями.

— Ничего удивительного тут нет,— говорила мадам Элиабель.— Наконец-то вспомнили наши заслуги и нашу службу королям Франции в течение трех столетий. Новый король, по-видимому, знает, где искать достойных людей! Отправляйтесь в путь, дети мои; оденьтесь в парадное платье и скачите во весь дух! Есть все-таки справедливость на небесах, и пусть хоть это утешит нас за тот позор, которым покрыла нашу семью ваша сестрица.

Мадам Элиабель еще не оправилась после болезни, поразившей ее летом. Она отяжелела, утратила былую бойкость и проявляла свою власть лишь над судомойкой. Управление их небольшим поместьем она передала сыновьям, что мало способствовало его процветанию.

Братья Крессэ двинулись в путь, полные самых тщеславных надежд. Лошадь Пьера уже под Венсеном начала так храпеть, что, казалось, совершает свой последний путь.

— Я хочу поговорить с вами, юные мессиры, о весьма важных вещах,— такими словами встретил их Бувилль.

Вслед за тем им поднесли вино с пряностями и леденцы.

Как истая деревенщина, братья Крессэ пристроились на самом кончике сиденья и робко отхлебывали вино из серебряных кубков.

— А вон и королева,— произнес вдруг Бувилль.— Сейчас ей немножко полегче, и она вышла подышать свежим воздухом.

Братья Крессэ, затаив дыхание, вытянули шеи и поглядели сквозь зеленоватое оконное стекло, но увидели лишь белую фигуру в широком плаще,— это Клеменция медленно прогуливалась по аллеям в сопровождении слуг. Потом братья многозначительно переглянулись и покачали головой. Шутка ли, они видели королеву!

— А поговорить я с вами хочу о вашей юной сестре,— продолжал Бувилль.— Расположены ли вы принять ее обратно? Но прежде хочу вам сообщить, что она кормила ребенка королевы.

И Бувилль по возможности кратко рассказал им об известных событиях то, что считал нужным рассказать.

— Ах, да, у меня для вас есть и еще одна добрая весть,— добавил он.— Тот итальянец, который ее обрюхатил... так вот, она не желает его больше видеть. Она поняла свою вину и, как девица благородного происхождения, не хочет снизойти до супружества с ломбардцем, как бы он ни был хорош собой. Ибо, не скрою, он весьма милый юноша и смышленый к тому же...

— Но в конце концов, он ломбардец, а этим все сказано,— прервала Бувилля супруга, которая на сей раз присутствовала при разговоре,— другими словами, человек без чести и совести, что он и доказал своим поведением.

Бувилль потупился.

«Ну вот, теперь я и тебя предал, друг мой Гуччо, милый мой спутник! Уж не суждено ли мне окончить свои дни, отрекаясь от всех, кто дарил меня дружбой?» — думал он. И умолк, предоставив жене вести переговоры.

Братья, а особенно старший, Жан, были разочарованы. Они ждали невесть чего, а оказывается, речь идет лишь об их сестре. Неужели каждое сколько-нибудь значительное событие в их жизни связано с ней? Они почти завидовали Мари. Кормилица короля! И подумать только, что сам первый камергер интересуется ее судьбой! Кто бы мог себе представить, что так будет!

Стрекот мадам Бувилль не давал им опомниться.

— Долг христианина,— тараторила почтенная дама,— помочь грешнику в его раскаянии. Ведите себя, как и подобает благородным дворянам. Кто знает, возможно, на то была воля господня, чтоб ваша сестра разрешилась от бремени в положенную минуту, хоть и не было от этого особого проку, поскольку младенец-король скончался; но, так или иначе, она нам очень пригодилась. Желая доказать свою признательность, королева Клеменция велела выдавать ребенку кормилицы из вдовьей казны ежегодно по пятьдесят ливров. Сверх того, ему единовременно вручают в дар триста ливров золотом. Эти деньги — вот они здесь, в вышитом кошельке.

Братьям Крессэ не удалось скрыть охватившего их волнения. Целое состояние свалилось на них с небес, теперь можно будет починить каменную ограду ветхого замка, знать, что ты будешь сыт в течение всего года, купить доспехи и экипировать хоть десяток сервов, чтобы не ударить в грязь лицом, когда их позовут в поход! О, Крессэ еще прославятся, еще сумеют показать себя в бою!

— Поймите меня хорошенько,— уточнила мадам Бувилль,— эти деньги дарованы младенцу. Если с ним будут плохо обращаться или если с ним произойдет несчастье, ежегодное пособие, само собой разумеется, выплачиваться не будет. То обстоятельство, что он молочный брат короля, ставит его выше прочих детей, и вам следует помнить, что он не простой дворянин.

— Конечно, конечно, я согласен... Раз Мари покаялась и раз мессир и вы, мадам, люди столь высокого положения, просите нас ее простить, мы встретим ее с распростертыми объятиями...— произнес Жан-бородач, проявив в порыве признательности отнюдь не свойственную ему велеречивость.— Покровительство королевы снимает с нее бремя греха. И пускай попробует дворянин или смерд хихикать мне вслед — пополам разрублю!

— А что скажет матушка? — спросил младший Крессэ.

— Не беспокойся, я сумею ее убедить. Не забывайте, что после смерти отца я глава семьи,— ответил Жан.

— А сейчас вы, само собой разумеется,— подхватила мадам Бувилль,— поклянетесь на святом Евангелии не слушать, не разглашать того, что, возможно, расскажет вам ваша сестра о происходивших здесь событиях во время ее пребывания в Венсене, так как все это касается державы, а следовательно, должно оставаться в тайне. Впрочем, ничего она не могла видеть, просто кормила ребенка! Но у вашей сестры сумасбродная голова, и она сочиняет разные сказки. Впрочем, вы сами имели случай в том убедиться... Юг! Принеси Евангелие.

Справа — священное писание, слева — кошель с золотыми монетами, напротив — королева, прогуливающаяся по саду... Братья Крессэ поклялись хранить тайну насчет всех обстоятельств смерти Иоанна I, холить, кормить и защищать дитя, рожденное сестрой, а равно не пускать на порог ее соблазнителя.

— С превеликим удовольствием! Не беспокойтесь, не пустим! — крикнул старший Крессэ.

Младший, Пьер, произносил слова клятвы менее уверенным тоном, подобная неблагодарность ему претила. «Не будь Гуччо...» — невольно подумалось ему.

— Впрочем, мы будем следить, как вы соблюдаете клятву,— поспешила добавить мадам Бувилль.

Она предложила братьям немедленно отправиться в монастырь и вызвалась их сопровождать.

— Не стоит так беспокоиться, мадам,— сказал Жан де Крессэ,— мы и сами доберемся.

— Нет, нет, я обязательно должна с вами ехать. Без моего приказа настоятельница не выпустит Мари.

Лицо бородача омрачилось. Он задумался.

— В чем дело?— нетерпеливо спросила мадам Бувилль.— Мой план вас не устраивает?

— Да нет... только я сначала хотел купить мула, а то нашей сестре не на чем ехать.

Когда Мари была беременна, Жан без зазрения совести вез ее из Нофля в Париж на крупе своей кобылы; но теперь, когда они разбогатели по ее милости, он решил обставить возвращение сестры под отчий кров как можно торжественнее. Но мул, находившийся в распоряжении мадам Элиабель, подох еще в прошлом месяце.

— Ну, это пустяки,— сказала мадам Бувилль.— Мы вам его дадим. Юг, скажи, чтобы оседлали мула.

Бувилль проводил до подъемного моста свою супругу и братьев Крессэ.

«Господи, хоть бы умереть поскорее, чтобы разом покончить с ложью и страхом»,— думал несчастный старик, дрожа всем телом, утратившим былую дородность, и с тоской глядя на обнаженный осенью лес.

* * *

«Париж! Наконец-то Париж!» — твердил про себя Гуччо Бальони, въезжая через заставу Сен-Жак.

Угрюмо встретил его скованный морозом Париж; обычно после празднования Нового года жизнь в столице замирала, а в этом году и подавно — в связи с отъездом королевского двора.

Но юный путешественник, прожив в разлуке с Парижем целых полгода, не видел клочьев тумана, лениво цеплявшегося за гребни крыш, не замечал, что на прежде оживленных улицах лишь изредка встречались окоченевшие прохожие; в его глазах город был залит солнцем, был самой надеждой, ибо эти три слова: «наконец-то Париж», которые Гуччо повторял про себя, звучали как сулящий счастье припев: «Наконец-то я увижу Мари!»

Пускаясь в дальнюю дорогу, Гуччо надел подбитую мехом шубу и поверх ее плащ с капюшоном из верблюжьей шерсти. При каждом шаге лошади он чувствовал у левого бедра приятную тяжесть расшитого золотом кошеля, прицепленного к поясу и наполненного доверху монетами с изображением папы; на голове его красовалась модная шляпа из красного фетра с приподнятыми сзади полями, выступающая надо лбом в виде лодочки. Трудно было дамам устоять против такого щеголя. И трудно было представить себе, что человек может испытывать более сильную жажду жизни, так гореть нетерпением.

Во дворе дома по Ломбардской улице он легко соскочил с седла и, чуть выбрасывая вперед правую ногу, плохо гнувшуюся после марсельского происшествия, взбежал на крыльцо и бросился в объятия банкира Толомеи.

— Дядюшка, дорогой дядюшка! Вы видели моего сына? Ну как он? А Мари, трудные у нее были роды или нет? Что она вам сказала? Когда она меня ждет?

Толомеи молча протянул племяннику письмо Мари. Гуччо прочитал его два раза, перечитал в третий раз... Дойдя до слов: «Знайте же, что мне отвратителен мой

грех и я не желаю больше видеть того, кто покрыл меня позором. И я намерена искупить бесчестье»,— он воскликнул:

— Это неправда, это просто немыслимо! Не она это писала!

— Разве это не ее почерк? — спросил Толомеи.

— Ее!

Банкир положил руку на плечо племянника.

— Я хотел предупредить тебя заранее, но не смог,— произнес он.— Письмо это я получил только позавчера, на следующий день после визита к Бувиллю...

Гуччо, судорожно сжав зубы, ничего не слушал, глаза его, устремленные в одну точку, горели. Потом он спросил у дяди, где находится монастырь.

— В предместье Сен-Марсель? Немедленно туда! — воскликнул он.

Гуччо велел подать коня, которого еще не успели расседлать, пересек город, ничего не видя, и смело позвонил у ворот монастыря святой Клариссы. Там ему ответили, что какие-то два дворянина — один из них с бородой — увезли вчера девицу де Крессэ. И напрасно потрясал Гуччо посланием с папской печатью, напрасно бушевал и скандалил — больше он от сестры-привратницы ничего не добился.

— Где настоятельница? Мне необходимо видеть мать-настоятельницу!

— По уставу мужчинам запрещается проникать за ограду монастыря.

В конце концов Гуччо пригрозили, что пошлют за городской стражей.

Задыхаясь от ярости, с землистым и вдруг до неузнаваемости изменившимся лицом, Гуччо вернулся на Ломбардскую улицу.

— Это ее братья, эти гуляки, увезли Мари! — сообщил он Толомеи.— Ах, слишком долго я был в отсутствии! Но хороша и ее верность! Клялась ждать меня, а не выдержала и полугода! А ведь благородные дамы, по крайней мере так пишут в романах, по десять лет ждут, когда их рыцарь вернется из крестового похода. Конечно, стоит ли ждать какого-то ломбардца! Поверьте, дядюшка, дело лишь в этом! Перечтите-ка ее письмо, вдумайтесь в каждое слово. Одни лишь оскорбления и презрение ко мне. Ее могли силой принудить не видеться со мной, но чтобы так плюнуть мне в лицо... Ну и пусть! Мы, дядя, богаты, у нас двенадцать тысяч флори-

нов; самые знатные бароны к нам льнут, лишь бы мы заплатили их долги, сам папа держал меня при себе как советника во время конклава, а эта голь перекатная плюет мне в лицо с высоты своего глиняного замка, который можно свалить одним щелчком! Стоило только этим двум паршивцам появиться, и их сестрица тут же от меня отреклась. Нет, глубоко ошибается тот, кто верит, будто дочка может не походить на своих родителей.

У таких людей, как Гуччо, печаль легко переходит в гнев, и именно уязвленная гордость уберегла его от отчаяния. Он перестал любить, но не перестал мучиться.

— Ничего не понимаю,— уныло сказал Толомеи.— Она ведь так тебя любила, так радовалась, что вы будете вместе. Вот уж никогда бы не подумал... Теперь я понимаю, почему Бувилль тогда мямлил. Он, конечно, уже знал что-то. И, однако, она мне такие письма писала! Но выходит, что после моего визита он предупредил братьев Мари... Ничего не понимаю. Хочешь, я повидаю Бувилля?

— Ничего я не хочу, ничего! — кричал Гуччо.— Я и так надоел высокопоставленным особам, носясь с этой обманщицей, с этой шлюхой... Даже папе, у которого я выклянчил для нее защиту и покровительство... Любила, говоришь? Она тебя улещивала, когда думала, что родные от нее отреклись, и мы с тобой были единственным ее прибежищем. А ведь мы с нею венчаны! Конечно, ей не терпелось стать моей, однако только с благословения священника. Ты говоришь, что она прожила у королевы Клеменции пять дней, кормила ее ребенка! Очевидно, эта должность вскружила ей голову. Как будто нельзя было ее заменить любой служанкой! Я тоже состоял при королеве, я ей еще больше помог! Спас ее во время шторма...

В приступе ярости Гуччо говорил бессвязно и, выбрасывая вперед негнущуюся ногу, прошагал по дядиному кабинету чуть ли не четверть лье.

— Может быть, ты повидаешься с королевой?..

— Ни с королевой и вообще ни с кем! Пускай Мари возвращается в свой замок, то бишь в свинарник, где в навозе утонуть можно. Ей, конечно, уже подыскали мужа, славного муженька под стать ее боровам-братцам. Какого-нибудь волосатого рыцаря, от которого разит конюшней, и он, рогач проклятый, будет воспитывать моего сына! И если она у меня в ногах будет валяться, я на нее и не взгляну, слышишь, даже не взгляну!

— Думаю, если бы она сейчас вошла, ты запел бы по-другому,— кротко заметил Толомеи.

Гуччо побледнел и закрыл глаза ладонями... «Мари, моя красавица...» Он увидел ее такой, как тогда, в его комнате в Нофле, увидел ее близко, совсем рядом; успел заметить даже золотистые искорки в ее темно-голубых глазах. Как поверить, что в таких глазах могла таиться измена?

— Я уеду, дядя!

— Вернешься в Авиньон?

— Нет, там меня на смех подымут! Ведь пойми, я всем и каждому объявил, что вернусь с супругой; говорил о ней как о святой, расписывал ее добродетели. Да папа первый спросит меня, что произошло...

— Боккаччо говорил мне как-то, что Перуцци хотят передать сбор налогов в сенешальстве Каркассон...

— Нет, только не Каркассон, только не Авиньон...

— И Париж тоже нет,— печально закончил Толомеи.

На закате жизни у любого человека, даже у самого отъявленного эгоиста, наступает минута, когда он устает трудиться только ради себя. Банкир, с радостью ожидавший появления в своем доме хорошенькой племянницы, уже мечтавший о счастье жить в кругу семьи, понял, что мечты его грубо разбиты, а впереди маячит долгая одинокая старость.

— Нет, я хочу уехать,— продолжал Гуччо.— Хватит с меня этой Франции, которая жиреет благодаря нам и нас же еще презирает, потому что мы итальянцы. Ну что я получил от Франции, скажи сам!.. Сломал ногу, четыре месяца провалялся в марсельской больнице, шесть недель просидел на запоре в церкви, а в довершение всего... еще и это! Давно пора бы понять, что Франция мне хуже чумы. Вспомни-ка сам! На следующий день после приезда в Париж я едва не сбил с ног на улице короля Филиппа Красивого. А это, согласись, плохое предзнаменование! Не говоря уже о двух морских путешествиях, когда я чуть было не погиб; а сколько времени я потратил зря, считая медные гроши в этой грязной дыре, в Нофле, только потому, что воображал, что влюблен.

— Все же у тебя останутся от Франции и хорошие воспоминания,— заметил Толомеи.

— Ба! В мои годы воспоминания не нужны. Я хочу возвратиться в родную Сиену, где хватит красивых де-

вушек; таких красавиц во всем свете нет, по крайней мере все уверяют меня в этом, когда я говорю, что родом из Сиены. И уж, во всяком случае, не такие шлюхи, как здешние! Батюшка послал меня к тебе учиться: думаю, что теперь я уже достаточно учен.

Толомеи приоткрыл левый глаз, и племянник увидел, что он затуманен печалью.

— Возможно, ты и прав,— сказал он.— Вдали от Парижа твоя боль пройдет скорее. Но не жалей ни о чем, Гуччо. Ты действительно многому научился. Ты жил, путешествовал, ты видел горе и нищету простых людей, узнал слабости великих мира сего. Был при четырех дворах, которые управляют Европой, я имею в виду Париж, Лондон, Неаполь и Авиньон. Не многим посчастливилось принять участие в конклаве, пусть даже тебе пришлось посидеть для этого взаперти. Ты поднаторел в делах. Получишь от меня свою часть: сумма, надо сказать, кругленькая. Конечно, из-за любви ты натворил глупостей и, как всякий, кто много путешествовал, оставил по дороге незаконнорожденного отпрыска... А тебе ведь всего двадцать... Когда ты собираешься уехать?

— Завтра, дядя Спинелло, завтра, если вы не возражаете. Но я вернусь! — добавил Гуччо грозно.

— Надеюсь, сынок, что так и будет! Надеюсь, ты еще повидаешь старика дядю, не дашь ему умереть в одиночестве.

— Рано или поздно я вернусь, чтобы похитить своего сына. В конце концов, он такой же мой, как и этих Крессэ! С какой стати я оставлю его у них? Для того чтобы они растили его в своей конюшне, как паршивого безродного щенка? Я его украду, слышишь, и этим накажу Мари! Ты сам знаешь, что о нас говорят: месть тосканца...

Топот ног, донесшийся с нижнего этажа, помешал Гуччо докончить фразу. Весь деревянный дом сотрясался от фундамента до крыши, словно во двор въехал десяток повозок. Захлопали двери.

Дядя с племянником бросились к винтовой лестнице, так как грохот и топот шли теперь оттуда. Чей-то голос прогремел снизу:

— Банкир! Где ты, банкир? Мне нужны деньги.

И его светлость Робер Артуа появился на верхних ступеньках лестницы.

— Смотри на меня, смотри на меня хорошенько,

дружище банкир, я только что вышел из тюрьмы! — гремел новоприбывший.— Не веришь? Мой любимый, мой обожаемый, мой косоглазый кузен... то бишь, я хочу сказать, король... кажется, он уже королем успел стать... наконец-то удосужился вспомнить, что я гнию в темнице, куда сам же меня бросил, и вернул мне — что за славный мальчик! — свободу.

— Милости просим, ваша светлость,— проговорил Толомеи без особого воодушевления.

И он поклонился, все еще не веря, что за Робером не следует целая толпа; трудно было представить, что такой чудовищный грохот может произвести один человек.

Пригнув голову, чтобы не стукнуться о дверную притолоку, граф Артуа вошел в кабинет банкира и первым делом направился к зеркалу.

— Ого! Ну и вид — настоящий мертвец,— проговорил он, хватая себя обеими руками за щеки.— Чуть было совсем не зачах. Семь недель, представь себе, семь недель видеть дневной свет лишь через окошко, забранное железными прутьями толщиной в ослиный хвост. Дважды в день какое-то месиво, от одного вида которого колики начинаются. Хорошо еще, мой славный Лорме передавал мне кушанья своего приготовления, а то бы я давно ноги протянул. А постель... и не говорите! Из уважения к моей королевской крови решили меня осчастливить — принесли кровать. Пришлось выломать деревянную спинку, чтобы можно было ноги вытянуть! Терпение, терпение, все это зачтется моему дражайшему кузену.

В действительности Робер не похудел ни на золотник, пребывание в тюрьме отнюдь не подточило его мощный организм. Правда, былой румянец несколько поблек, зато в серых глазах с жестким, кремневым отливом сверкала лютая злоба.

— Ну и свободу мне даровали! «Вы свободны, ваша светлость...— продолжал великан, передразнивая начальника тюрьмы Шатле.— Но... вы не имеете права удаляться от Парижа больше чем на двадцать лье; но королевские сержанты должны быть извещены, если вы направитесь в ваше графство». Другими словами: «Сиди, Робер, здесь, в Париже, шляйся по улицам под приемотром стражи или прозябай себе в Конше. Но ни шагу в Артуа и ни шагу в Реймс! Твое присутствие на коронации нежелательно, совсем нежелательно! А то, чего доброго, пропоешь там какой-нибудь псалом, который не всем придется по вкусу!» И ведь день-то какой

выбрали для моего освобождения. Ни часом раньше, ни часом позже. Весь двор в отъезде, ни души во дворце, ни души у Валуа... Карл тоже бросил меня на произвол судьбы! И вот торчу один, город словно вымер, в кармане ни гроша, не на что даже поужинать и нанять девицу для утоления любовного пыла! Ибо семь недель, видишь ли, банкир... да нет, тебе этого не понять, такие вещи тебя уже не волнуют. Прошу заметить, покуда меня не выманили из Артуа, я там неплохо погулял и поэтому сидел более или менее спокойно; надо думать, что я успел там изготовить себе немало будущих вассалов, которые так никогда и не узнают, что, говоря о Филиппе-Августе, имеют полное право величать его прадедушкой. Но вот в какой странности я убедился, и пускай эти крысы — магистры и философы — подумают над этим вопросом: почему мужчина устроен так, что чем больше он себя расходует, тем больше ему этого самого требуется?

Он громко захохотал, опустился на дубовое кресло, угрожающе крякнувшее под его тяжестью, и тут только заметил Гуччо.

— А как ваши любовные дела, миленький? — спросил он, очевидно, не вкладывая в свой вопрос особого смысла, просто как другие говорят «здравствуйте».

— Любовные дела! Не стоит об этом говорить, ваша светлость! — хмуро отозвался Гуччо, недовольный тем, что ему пришлось прервать свои излияния под напором еще более буйных страстей.

Толомеи незаметно подмигнул графу Артуа, показывая, что этой темы касаться не следует.

— Так вот оно что! — бухнул Робер со своей обычной деликатностью.— Красотка вас бросила? Живо, дайте мне ее адрес, помчусь немедленно к ней! И не стройте такой похоронной мины — все женщины шлюхи.

— Вы правы, ваша светлость, все до одной!

— Ну так в чем же тогда дело?.. Будем веселиться с настоящими шлюхами, они хоть не скрывают этого. Банкир, мне деньги нужны. Сто ливров. И я поведу твоего племянника ужинать, чтобы прогнать его черные мысли. Сто ливров!.. Знаю, знаю, сейчас вы скажете, что я вам и так должен и что никогда я с вами не расплачусь,— вот и ошиблись. В самом ближайшем времени Робер Артуа предстанет перед вами более могущественным, чем когда-либо. Пускай милейший кузен Филипп натягивает корону хоть на самый нос, все равно

при моей помощи она слетит с его башки. Ибо я хочу сообщить тебе нечто, что подороже твоих ста ливров, а главное, поможет тебе впредь давать деньги с разбором... К чему приговаривают по закону цареубийц? К повешению, четвертованию, отсечению головы? Так вот, скоро вы увидите премиленькое зрелище: мою жирную распутницу тетку Маго, раздетую донага, разорвут на части четыре лошади, и подлые ее потроха вывалятся на пыльную землю. И ее барсука-зятька заодно! Жаль, что нельзя казнить их дважды. Ведь они, мошенники, двоих угробили. Когда я сидел в Шатле, я, конечно, молчал, потому что меня преспокойно могли прирезать ночью, не хуже борова. Но заключение не помешало мне быть в курсе дела. Лорме... верный мой Лорме — все он. Какой же славный малый! Ну так слушайте...

Неутомимый болтун наверстывал теперь семинедельное вынужденное молчание и делал паузы лишь затем, чтобы перевести дух.

— Так слушайте меня хорошенько,— продолжал он.— Пункт первый: Людовик отбирает у Маго графство Артуа и отдает его мне; Маго тут же велит его отравить. Пункт второй: Маго в поисках высокого покровителя проталкивает в регенты Филиппа, отстранив Валуа, который, бесспорно, держал бы мою руку. Пункт третий: Филипп проводит свой закон о наследовании, по которому женщины не имеют права восходить на престол Франции, но не лишает их права наследовать земли, нет, вы только вдумайтесь, что это значит! Пункт четвертый: став регентом, Филипп собирает войска, дабы отнять у меня графство Артуа, которое я успел отобрать почти целиком. Но дураков нет, я еду один и сдаюсь в плен. А тут родит королева Клеменция; этой компании нужно иметь свободные руки, вот меня и берут под стражу. Пункт пятый: королева разрешается от бремени сыном. Получилась промашка! Ворота Венсена держат на запоре, младенца скрывают от баронов, повсюду распространяют слухи, что он-де не жилец на этом свете, склоняют на свою сторону какую-нибудь повитуху или кормилицу: то ли запугивают ее, то ли покупают и приканчивают второго короля. После чего едут короноваться в Реймс... Вот, друзья мои, как добиваются короны. И все ради того, чтобы не возвращать мне моего графства Артуа!

При слове «кормилица» Толомеи и Гуччо тревожно переглянулись.

— Все так думают,— продолжал Робер,— но вслух заявить боятся за неимением прямых доказательств. А вот у меня доказательства есть! Есть у меня живая свидетельница — одна дама, торгующая ядами. Хотелось бы мне послушать, как взвоет в испанском сапоге некая Беатриса д'Ирсон, которая во всем этом деле самая главная сводница и есть, главная пособница сатаны. Пора положить этому конец, а то нас всех передушат.

— Пятьдесят ливров, ваша светлость; могу вам вручить пятьдесят ливров.

— Ох, и скупец!

— Последние отдаю.

— Ну, быть по сему. Значит, пятьдесят за тобой. Маго за меня расплатится, да еще с процентами.

— Гуччо,— обратился к племяннику Толомеи,— помоги мне отсчитать пятьдесят ливров для его светлости.

И он вышел, сопровождаемый племянником, в соседнюю комнату.

— Дядюшка,— зашептал Гуччо,— вы верите тому, что он наболтал?

— Не знаю, сынок, не знаю; думаю только, что ты правильно поступил, решив уехать. Неразумно мешаться в дела, которые дурно пахнут. Странное поведение Бувилля, внезапное бегство Мари... Разумеется, нельзя принимать всерьез все бредни этого одержимого, но я уже не в первый раз замечаю, что, когда речь идет о каком-нибудь злодеянии, он всегда оказывается почти прав; он и сам на этот счет первый мастер, у него нюх на преступления. Вспомни-ка дело о прелюбодеянии принцесс; ведь это он его открыл и нам об этом сказал. А твоя Мари...— банкир неопределенным жестом развел свои жирные руки,— возможно, она не так уж наивна и не так искренна, как нам казалось. Во всяком случае, какая-то тайна тут есть.

— После ее лживого письма во все можно поверить,— произнес Гуччо, который по-прежнему не мог собраться с мыслями.

— Не верь ничему, не старайся узнать истину, уезжай. Вот тебе мой совет.

Когда его светлость стал обладателем пятидесяти ливров, он пристал к Гуччо, чтобы тот принял участие в пиршестве, которым он решил отпраздновать свое освобождение. Ему требуется собутыльник, ни за что он не проведет вечер в одиночестве, лучше уж напиться вместе со своим конем.

Он так усиленно звал Гуччо, что Толомеи в конце концов шепнул племяннику:

— Иди, а то он на нас обидится. Но смотри, держи язык за зубами.

Итак, этот злосчастный день Гуччо закончил в таверне, хозяин коей выплачивал определенную мзду городским стражникам, и те смотрели сквозь пальцы на то, что здесь торговали также и живым товаром. Впрочем, любое слово, которое произносилось в таверне, завтра же становилось известно стражникам.

Граф Артуа был в ударе, пил без перерыва, ел с редкостным аппетитом, орал, сквернословил, трогательно ухаживал за своим юным сотрапезником, задирал на заду юбки непотребных девиц, чтобы Гуччо мог полюбоваться, как выражался Робер, «настоящим лицом тетушки Маго».

Гуччо не отставал от него и скоро окончательно опьянел. Растрепанный, с неестественно блестящими глазами, он кричал, размахивая непослушными руками.

— Мне тоже кое-что известно! Если бы только я заговорил...

— Ну, говори, говори же!

Но, как ни пьян был Гуччо, где-то в глубине сознания еще не окончательно угас огонек благоразумия.

— Папа...— бормотал он.— Я кое-что про папу знаю.

Вдруг он заплакал в три ручья, припав к плечу гулящей девки, потом ни с того ни с сего закатил ей оплеуху, словно в ней воплотилось для него в эту минуту все женское вероломство.

— Но я еще вернусь... я его еще украду!

— Кого украдешь? Папу?

— Нет, своего ребенка.

Пирующие уже не понимали, что говорят, в глазах у них все кружилось, и девицы, предоставленные гостям услужливым хозяином, успели раздеться донага, как вдруг к Роберу приблизился Лорме и шепнул ему:

— Там у дверей стоит какой-то человек, видать, шпионит за нами.

— Убей его! — небрежно бросил великан.

— Слушаюсь, ваша светлость.

Так мадам Бувилль лишилась одного из своих слуг, которого она отрядила следить за молодым итальянцем.

А Гуччо никогда не узнает, что Мари, решившись пожертвовать своим счастьем, возможно, спасла его от гибели, а то плыть бы ему брюхом вверх по Сене.

Растянувшись на грязном ложе возле той самой девицы, которой он дал оплеуху и которая, кстати сказать, оказалась весьма догадливой насчет того, как надо утешать огорченных мужчин, Гуччо клял Мари и, обнимая продажное тело, верил, что мстит за вероломство любимой.

— Верно ты говоришь. Я тоже баб терпеть не могу, все они знаешь какие вруньи! — поддакивала девица, черты лица которой так и не удалось запомнить Гуччо.

На следующий день Гуччо, вялый, храня в душе и во всем теле отвратительный след вчерашнего пиршества, нахлобучил шляпу на лоб и отправился в Италию. С собой он увозил целое состояние — заемное письмо за подписью дяди, где указывалась часть прибылей от тех дел, которые Гуччо вел в течение двух лет.

В тот же день король Филипп V, его супруга Жанна, графиня Маго и весь королевский двор прибыли в Реймс.

Ворота замка Крессэ наглухо закрылись за неутешной красавицей Мари, жизнь для которой стала бесконечной безрадостной стужей.

Настоящий король Франции будет расти в Крессэ, как растут все незаконнорожденные дети. На этом грязном дворе, среди домашних уток, он сделает свои первые шаги, будет валяться на лугу, где желтеют ирисы, цветущие вдоль берегов Модры, на том самом лугу, где Мари всякий раз чудилось лицо ее соблазнителя-сиенца и скоротечные минуты навеки умершей любви. Она сдержит свою клятву и только через тридцать лет, на смертном одре, откроет тайну одному испанскому монаху, случайно забредшему в их края.

Странная участь выпала на долю Мари де Крессэ. Любила — и обречена была на одиночество, покинула единственный раз отчий кров — и попала, ни в чем не повинная, робкая, в самую гущу династической драмы. А исповеди ее суждено было в один прекрасный день взбудоражить всю Европу.

Глава IX

НАКАНУНЕ КОРОНОВАНИЯ

Городские ворота Реймса, украшенные королевскими гербами, выкрасили заново. Вдоль улиц растянули яркие драпировки, ковры и шелка — впрочем, те самые, что и полтора года назад в честь коронования Людови-

ка X. Возле дворца архиепископа спешно возвели три деревянных зала: один для королевского стола, другой для стола королевы и третий для вельмож, чтобы было где попировать всему двору.

Реймские горожане, вынужденные раскошеливаться по случаю коронации, считали, что получается чересчур уж накладно.

— Если короли так часто начнут помирать,— говорили они,— и если каждый год нам выпадет честь короновать нового, нам самим скоро придется обедать раз в год, да и то продав с себя последнюю рубашку! Да, дорого обошелся нам Хлодвиг, решив принять христианство в Реймсе! Если какому-нибудь другому городу так уж захочется приобрести у нас склянку с миром, мы дорожиться не станем.

Но отцов города одолевали не только денежные заботы, надо было достать в разгар зимы припасы, необходимые для пиршества, да еще в огромном количестве! Реймским горожанам вменялось в обязанность поставить восемьдесят два быка, двести сорок баранов, четыреста двадцать пять телят, семьдесят восемь свиней, восемьсот зайцев и кроликов, восемьсот каплунов, тысячу восемьсот двадцать гусей, более десяти тысяч кур и сорок тысяч яиц, не говоря уже о бочонках с осетриной, которые доставлялись из Малина, о четырех тысячах раков зимнего улова, а там еще семга, щуки, лини, лещи, окуни и карпы, три тысячи пятьсот угрей, предназначенных для изготовления пятиста паштетов. Уже припасено было две тысячи сыров, и реймцы в душе лелеяли надежду, что трехсот бочек вина,— слава богу, хоть вино производилось здесь, на месте! — хватит, чтобы утолить жажду гостей, намеревавшихся пировать в Реймсе три дня, а то и более.

Камергеры, прибывшие заранее, чтобы установить порядок церемониала, предъявили непомерные требования. Взяли, например, и заявили, что на стол необходимо подать разом три сотни жареных цапель! Камергеры эти, в сущности, ничем не отличались от своего господина, от своего торопыги-короля, который что ни день требовал коронования, словно речь шла об обыкновенной мессе за два лиарда во исцеление сломанной ноги!

С утра до вечера кондитеры возводили крепости из миндального теста, окрашенного в цвета Франции.

Позвольте, а как же горчица? В том-то и дело, что горчицу не успели доставить. А требовалось ее ни боль-

ше и ни меньше как тридцать один сетье[1]. Кроме того, не будут ведь гости есть с ладони. К великой досаде устроителей, пятьдесят тысяч деревянных мисок, оставшихся от предыдущего коронования, продали за смехотворно низкую цену; гораздо разумнее было бы их хорошенько помыть и спрятать про запас. А что касается четырех тысяч кувшинов, то их раскрали или разбили. Белошвейки, не разгибая спины, подрубали скатерти, на которые пошло две тысячи шестьсот локтей полотна. И уже сейчас ясно было, что расходы на коронацию обойдутся городу в круглую сумму — примерно в десять тысяч ливров.

Но, откровенно говоря, жители Реймса при всех этих тратах все же надеялись извлечь из предстоящих празднеств немалую выгоду, так как на коронование обычно собиралось множество купцов — ломбардцев и евреев, плативших городу налог за право торговли.

Подобно всем королевским празднествам, коронование протекало в шумной атмосфере кермессы. В такие торжественные дни народ беспрерывно угощали различными зрелищами и увеселениями, и посмотреть на них съезжались издалека. Жены требовали от мужей новых нарядов; щеголи толпились в ювелирных лавках; вышивки, самые дорогие ткани, меха — всё бралось нарасхват. Счастье само шло в руки расторопным людям, и если торговец не зевал и умел угодить покупателям, он за одну неделю зарабатывал столько, что ему с лихвой хватало на пять лет.

Новый король выбрал себе в качестве резиденции архиепископский дворец, перед которым круглые сутки толпились зеваки, надеясь узреть земных владык или поахать при виде обитой алым бархатом кареты королевы.

Окруженная придворными дамами, королева Жанна с оживленно счастливым лицом — такие лица бывают лишь у тех, кого судьба сверх меры осыпала благодеяниями,— лично следила за тем, как выгружают ее багаж, состоявший из двенадцати сундуков, четырех баулов, кофра с обувью и еще одного — с пряностями. Несомненно, такого роскошного гардероба никогда еще не имела во Франции ни одна знатная дама. Особое платье предназначалось не только для каждого дня

[1] Сетье — старинная французская мера объема, около пол-литра. — *Прим. ред.*

праздничной церемонии, но чуть ли не для каждого часа этой триумфальной поездки.

Королева в накидке из золототканого сукна, подбитой горностаем, торжественно въехала в Реймс, где на каждой улице королевскую чету ждали представления, мистерии, игрища. Накануне коронования устраивался торжественный ужин, и сейчас к столу королева выйдет в платье лилового бархата с беличьей опушкой. На утро для коронации приготовлено платье из турецкой золотистой парчи, алая накидка и пурпурный казакин; для обеда — платье, расшитое лилиями Франции; для ужина — тоже затканное золотом платье и два горностаевых плаща: один белый с черными хвостиками, другой черный, а хвостики белые.

Послезавтра она наденет зеленое бархатное платье, потом сменит его на другое — из лазурной парчи с беличьей пелеринкой. Ни разу не появится она на людях, не сменив наряда и драгоценностей.

Все эти сокровища были разложены в комнате, убранство для которой тоже привезли из Парижа: белая шелковая обивка для стен, расшитая золотыми попугаями в количестве тысячи трехсот двадцати одного, в центре гербы графов Бургундских — лев на пурпуровом фоне,— балдахин над кроватью, стеганое парадное одеяло и подушки — все изукрашенное серебряными трилистниками в количестве семи тысяч. На полу ковры — тоже с гербами Бургундии и Франции.

Несколько раз Жанна вбегала в покои мужа и требовала, чтобы он полюбовался красивой тканью, изяществом отделки.

— Дорогой сир, любимый! — восклицала она.— Если бы вы только знали, как я счастлива благодаря вам!

Не склонная по природе к чувствительности и душевным излияниям, Жанна все же не могла сдержать слез умиления. Она дивилась собственной своей участи, с ужасом вспоминая недавние времена, когда ее, узницу, держали в Дурдане. Какая чудесная превратность судьбы, а ведь с тех пор не прошло и полутора лет! Она вспомнила покойницу Маргариту, вспомнила родную сестру, Бланку Бургундскую, по-прежнему томившуюся в Шато-Гайаре... «Бедная Бланка, она так любила наряды! Вот бы порадовалась сейчас!» — думала Жанна, примеривая золотой пояс, усыпанный рубинами и изумрудами.

Но Филипп озабоченно хмурился, и восторги жены

лишь усиливали его дурное настроение, так как он вместе со своим главным казначеем просматривал счета.

— Я очень рад, душенька, что все это вам нравится,— наконец промолвил он.— Но я, видите ли, следую примеру отца, который, как вам известно, был весьма скромен в личных своих расходах, но не скупился, когда речь шла о величии королевства. Появляйтесь повсюду в роскошных убранствах, они принадлежат не только вам, но и народу, ибо благодаря его трудам вы имеете все эти наряды; и берегите свои платья, так как вам еще не скоро удастся сшить новые. После коронования нам придется сократить свои личные расходы.

— Филипп, неужели даже ради такого дня вы ничего не сделаете для моей сестры Бланки? — спросила Жанна.

— Я уже сделал, сделал. Ей возвращается титул принцессы, но при условии, что она не покинет места заточения. Должна же быть разница между Бланкой, которая согрешила, и вами, Жанна, которая не нарушила супружеского долга и на которую возвели напраслину.

При последних словах Филипп пристально посмотрел на жену, и в глазах его читалась не столько уверенность любящего супруга, сколько забота о королевском престиже.

— К тому же ее супруг,— добавил Филипп,— сейчас не особенно нас радует. Бог послал мне скверного брата.

Жанна поняла, что настаивать бесполезно и что лучше не касаться впредь этого вопроса. Пока Филипп будет править Францией, он не согласится освободить Бланку.

Жанна удалилась, и Филипп снова погрузился в изучение длинной колонки цифр, представленных главным казначеем Жоффруа де Флери.

Список не ограничивался расходами на гардероб королевской четы, тем более что Филипп получил достаточно подарков. Так, например, платье пепельного цвета, которое он надел для ужина, преподнесла его бабка Мария Брабантская, вдова Филиппа Третьего; а Маго не поскупилась на штуку пестрого сукна, из которого нашили платьица принцессам и крошке Луи-Филиппу. Но по сравнению со всем прочим это капля в море.

Королю пришлось заново обмундировать свою личную охрану, другими словами, пятьдесят четырех человек и их начальника Пьера де Галара — капитана ар-

балетчиков. Камергеры — Адам Эрон, Робер де Гамаш, Гийом де Сериз — получили каждый по десяти локтей полосатой ткани, выписанной из Дуэ, для новых камзолов. Ловчие — Анри де Медон, Фюран де ла Фуайи, Жанно Мальженест — тоже были заново экипированы, равно как и все лучники. И так как после коронования полагается посвящать в рыцари двадцать человек, значит, потребуется еще двадцать костюмов. Раздачи одежды в качестве даров требовал обычай; и тот же обычай требовал, чтобы новый король добавил к раке Сен-Дени золотую лилию, увенчанную изумрудами и рубинами.

— Каков итог? — спросил Филипп.

— Восемь тысяч пятьсот сорок восемь ливров тринадцать су и одиннадцать денье, сир,— ответил казначей.— Может быть, потребовать налог в связи с таким радостным событием, как ваше восшествие на престол?

— Оно будет куда более радостным, если я не обложу народ новыми податями. Постараемся выйти из положения иным путем,— сказал король.

Но как раз в эту минуту доложили о прибытии графа Валуа. Филипп воздел обе руки к потолку.

— Вот о ком мы забыли, подводя счета. Вот увидите, Жоффруа, вот увидите сами! Один этот дядюшка обойдется мне дороже, чем десяток коронований! Не беспокойтесь, выторгует у меня все, что ему надо. Оставьте-ка нас наедине.

До чего же блистателен был нынче его высочество Карл Валуа! Весь в золотом шитье, весь в позументах, казавшийся еще толще в мехах и камзоле, украшенном драгоценными камнями! Если бы жители Реймса не знали, что их новый владыка молод и тощ, они непременно приняли бы этого сеньора за самого короля.

— Дорогой племянник,— начал Валуа,— как видите, я весьма удручен... удручен за вас. Ваш зять, король английский, не прибудет на коронование.

— Уже очень давно, дядюшка, заморские короли не присутствуют на наших коронациях,— ответил Филипп.

— Вы правы, но они посылают вместо себя кого-нибудь из родственников или знатных вельмож, чтобы представлять герцогов Гиэньских. А Эдуард никого не соблаговолил послать, и это равносильно тому, что он не признает вашего права на престол. Граф Фландрский, которого вы надеялись умягчить новым сентябрьским договором, тоже не будет присутствовать, не будет и герцога Бретонского.

— Знаю, дядюшка, знаю.

— Не стоит уж и говорить о герцоге Бургундском. Нам заранее было известно, что он не явится. Но зато только что прибыла его матушка, наша тетка Агнесса, и, боюсь, вовсе не за тем, чтобы поддержать вас.

— Знаю, дядюшка, знаю,— повторил Филипп.

Неожиданное прибытие последней оставшейся в живых дочери Людовика Святого тревожило Филиппа, хотя он старался не показывать виду. Сначала он подумал, что герцогиня Агнесса приехала с целью что-нибудь выторговать. Но она не торопилась открыть свои карты, и племянник в свою очередь решил не делать первого шага. «Если бы народ, который приветствует меня на улицах и завидует мне, знал, среди какой вражды и угроз приходится мне жить!» — подумал он.

— Так что из шести светских пэров Франции, которым завтра полагается держать над вашей головой корону,— продолжал Валуа,— не явится ни одного...

— Как же так, дядюшка, вы забыли графиню Артуа... и себя...

Валуа злобно пожал плечами.

— Графиня Артуа! — крикнул он.— Женщина будет держать корону, когда вы, вы сами, Филипп, добились своих прав, запретив женщинам короноваться.

— Держать корону — не значит надеть ее на себя,— возразил Филипп.

— За то, что Маго помогла вам стать королем, вы готовы ее всячески возносить! Но ведь вы тем самым как бы подтверждаете лживые выдумки, которые ходят по всей стране. Ладно, не будем касаться прошлого, но скажите, Филипп, разве, по-вашему, не должен быть пэром графства Артуа ваш кузен Робер?

Филипп сделал вид, что не придает никакого значения вопросу дяди.

— Во всяком случае, церковные пэры собрались.

— Собрались, собрались...— передразнил племянника Валуа, играя перстнями.— Итак, из полагающихся шести будет только пятеро. И что, по-вашему, сделают эти самые церковные пэры, когда увидят, что со стороны пэров королевства лишь одна рука — и какая! — поднимется для возложения короны...

— А себя, дядюшка, вы, значит, в счет не принимаете?

Тут уж Валуа сделал вид, что не считает нужным отвечать на такой вопрос.

— Даже родной брат сердит на вас,— добавил он.

— И сердит лишь потому,— кротко заметил Филипп,— что еще не знает, дражайший дядюшка, договоримся ли мы с вами, и думает, что в угоду вам надо мне вредить... Но успокойтесь, он будет возведен в пэры, и не позже завтрашнего дня.

— А почему бы вам не дать ему во владение одновременно и пэрство? Ваш батюшка сделал это для меня, а ваш брат Людовик — для вас. Все-таки мне приятнее, что я не один буду вас поддерживать.

«Или меня предавать...» — подумал Филипп, а вслух произнес:

— Вы пришли ко мне просить за Робера или Карла или хотите поговорить со мной о ваших делах?

Валуа выдержал паузу, приосанился и стал разглядывать брильянт, блестевший на указательном пальце.

«Пятьдесят... или сто тысяч? — думал Филипп.— На других мне плевать. Но он мне нужен, и он это знает. Если он откажется и устроит скандал, боюсь, придется отложить коронование».

— Вы же сами видите, Филипп,— подумав, произнес Валуа,— что я на вас не сержусь, напротив, я изрядно поистратился, пришлось сделать костюм себе и свите, чтобы вас не осрамить. Но коль скоро все прочие пэры будут отсутствовать, думаю, что и мне лучше уехать. Что скажут люди, если я один перейду на вашу сторону? Скажут прямо, что вы меня купили.

— Очень жаль, дядюшка, очень... Но что поделаешь. И в самом деле, я не могу принудить вас, если вы против. Возможно, уже пришло время отказаться от обычая, согласно которому пэры решают судьбу короны...

— Опомнитесь, Филипп! — закричал Валуа.

— ...и если уж приходится спрашивать чьего-нибудь согласия,— продолжал, словно не слыша его слов, Филипп,— то лучше испрашивать его не у полдюжины знатных баронов, а у народа, дядюшка, который поставляет нам солдат и пополняет нашу казну. Пускай этим ведают новые Штаты, которые я собираюсь созвать.

Валуа, не выдержав, сорвался с места и закричал:

— Вы кощунствуете, Филипп, или просто лишились рассудка! Где это видано, чтобы подданные выбирали монарха? Нечего сказать, готовите вы нам сюрприз с вашими Штатами! Вы просто повторяете мысли Мариньи, который вышел из простонародья и немало навредил вашему отцу. А я вам вот что скажу: если вы

введете такое новшество, то через пятьдесят лет народ обойдется без нас и выберет себе в короли какого-нибудь разбогатевшего горожанина, кого-нибудь из ученых мужей Парламента или мясника, разжившегося на кражах. Нет, племянник, нет, на сей раз я твердо решил, я не буду держать корону такого короля, который не нуждается в нашей поддержке и который, сверх того, готов отдать свою корону в лапы смердов!

Весь побагровев от негодования, Валуа зашагал по королевской опочивальне.

«Пятьдесят... или сто тысяч? — снова подумал Филипп.— На какую сумму он метит?»

— Хорошо, дядюшка, не хотите — не держите,— произнес он.— Но в таком случае я с вашего соизволения велю кликнуть главного казначея.

— Это еще зачем?

— Чтобы он внес кое-какие изменения в список лиц, представленных к наградам, который я собирался подписать завтра в честь восшествия на престол. Кстати сказать, первым в списке шли вы, дядюшка, так как вам назначено... сто тысяч ливров.

Удар попал в цель. Валуа круто остановился и даже руки растопырил.

Филипп понял, что партия выиграна, и как ни дорого обошлась ему эта победа, он лишь усилием воли заставил себя не рассмеяться при виде ошеломленной физиономии родного дядюшки. Но тот быстро вышел из положения. Слова Филиппа застали его в самый разгар гневных обличений, и он снова начал обличать. Гнев служил Карлу Валуа надежным оружием, дабы сбить собеседника с толку и спутать его доводы, когда собственные доводы оказались неубедительными.

— Все зло идет от Эда,— снова заговорил он.— Я не одобряю его действий и прямо напишу ему об этом! Какая надобность графу Фландрскому и герцогу Бретонскому держать его руку и отвергать вас? Когда король приказывает тебе явиться, чтобы держать корону, потрудись явиться! Я ведь приехал. И впрямь, эти бароны злоупотребляют своими правами. Власть и в самом деле может перейти таким образом к нашим вассалам и горожанам. А чего спрашивать с короля Эдуарда Английского? Ну можно ли доверять мужчине, который ведет себя, как женщина? Я буду с вами, чтобы проучить их. А вашу награду соглашаюсь принять просто из чувства справедливости. Ибо справедливость требует, чтобы те,

которые хранят верность королю, видели с его стороны иное обращение, чем те, которые короля предают. Вы успешно правите страной. А этот... этот дар, который я рассматриваю как знак уважения ко мне, когда вы подпишете указ?

— Тут же, дядюшка, если вам угодно, но помечен он будет завтрашним числом,— ответил король.

Третий раз, и опять-таки с помощью денег, ему удалось обуздать графа Валуа.

— Пора, пора мне короноваться,— обратился Филипп к казначею после ухода Карла Валуа.— Если мне придется еще раз вступить с ним в спор, боюсь, что я вынужден буду продать свое королевство.

И так как Флери удивился размерам обещанной суммы, Филипп произнес:

— Успокойтесь, Жоффруа, успокойтесь, ведь я ни словом не обмолвился, когда дар будет выплачен. Дядя будет получать деньги мелкими суммами... Зато может брать под эту сумму в долг... А теперь пора ужинать.

По торжественному церемониалу король после вечерней трапезы в сопровождении приближенных и капитула должен был отправиться в собор, чтобы сосредоточиться мыслями и помолиться. Церковь была уже готова к приему высокого гостя, стены задрапированы, сотни свечей зажжены и перед хорами воздвигнут большой помост. Филипп молился недолго, зато провел в церкви немало времени, желая расспросить еще раз о ходе церемонии и о том, что полагается делать ему самому. Он собственноручно проверил, хорошо ли запираются боковые двери, осведомился, как и где будет размещена охрана и какие места отводятся для участников церемонии.

— Светские пэры, члены королевской фамилии и высшие сановники разместятся на помосте,— пояснили ему.— Коннетабль будет находиться при вас, а канцлер по другую сторону, около королевы. Трон напротив вашего трона предназначен для архиепископа Реймского, а скамьи, расставленные вокруг главного алтаря, отведены для пэров церкви.

Филипп медленно прошелся по помосту, откинул носком загнувшийся кончик ковра.

«Как все это странно,— думал он.— На этом самом месте я присутствовал в прошлом году на короновании моего брата... И не обратил внимания на все эти подробности».

Он присел, но не на королевский трон: какой-то суеверный страх помешал ему это сделать. «Завтра... завтра я действительно стану королем». Он подумал о своем отце, о длинной череде предков, короновавшихся до него в этом соборе; подумал о старшем брате, ставшем жертвой преступления, в котором он, Филипп, неповинен, но именно его плодами сейчас пользуется; подумал еще об одном преступлении, жертвой которого стал малый ребенок; и на сей раз он не сказал прямо: «Убий!» — и все-таки стал молчаливым соучастником убийства, чуть ли не его вдохновителем... Он подумал о смерти, о собственной своей смерти, подумал о миллионах людей, своих подданных, о миллионах отцов, сыновей, братьев, которыми отныне ему суждено править.

«Неужели все, подобно мне, способны на преступление, если для такового представится случай, и невинны лишь по неспособности действовать, неужели готовы они служить злу, лишь бы удовлетворить свое честолюбие? Однако в Лионе я давал обет быть справедливым. Но так ли это?.. Вообще ли низка человеческая природа или такими нас делает трон? Или эта безмерная грязь и мерзость — неизбежная дань, которую мы платим за право носить корону?.. Зачем господь бог создал нас смертными, ведь смерть повинна в нашей гнусности: слишком мы ее боимся и слишком охотно пользуемся ею как своим орудием... Возможно, еще нынче ночью меня попытаются убить».

Филипп поглядел на широкие дрожащие полосы тени у высоких стрелок свода, залегшие между потолочными балками. Он не испытывал раскаяния, но не испытывал и счастья при мысли о королевской власти.

«Так вот что подразумевают под словами «молитвенное бдение» и вот почему нам советуют провести ночь перед коронованием в церкви!»

Он здраво судил о себе: скверный человек, но со всеми задатками великого государя.

Спать ему не хотелось, он охотно остался бы еще здесь, в соборе, чтобы на досуге предаться размышлениям о самом себе, об участи людской, о причинах деяний наших и поставить перед собой единственно важные в мире вопросы, на которые никогда не будет ответа.

— Сколько времени продлится церемония? — спросил он.

— Полных два часа, сир.

— Вот как! Тогда попытаемся уснуть. Завтра мы должны быть бодрыми.

Но во дворце архиепископа Филипп, не заглянув к себе, прошел в опочивальню королевы и присел на край ее постели. Он заговорил с ней о пустяках, рассказывая, как распределены места в соборе, осведомился о туалете принцесс.

Жанна слушала мужа, борясь со сном. Ей стоило немалых усилий вникать в его слова; но даже сквозь одолевавшую ее дремоту она догадалась, что муж ищет у нее защиты от нервного напряжения и от тоскливого страха.

— Друг мой,— сказала она,— может быть, вы останетесь сегодня со мной?

Он нерешительно пожал плечами.

— Не могу, я не предупредил камергера,— ответил он.

— Но ведь вы король, Филипп,— улыбнулась Жанна,— и можете давать камергеру любые распоряжения.

Филипп решился не сразу. Этот юноша, умевший силою оружия или деньгами укрощать самых могущественных вассалов, стеснялся сказать слугам, что он передумал и останется на ночь в спальне королевы.

Наконец он кликнул служанку, дремавшую в соседней комнате, и послал ее предупредить Адама Эрона, чтобы тот не ждал и не ложился сегодня ночью у дверей королевской опочивальни.

Потом, раздевшись среди золоченых попугаев и серебряных трилистников, он скользнул под одеяло. И непобедимый страх и тоска, от которых не мог уберечь его целый полк коннетаблей, ибо тосковал и страшился не король, а простой человек, утихли от близости этого женского тела, этих крепких длинных ног, этого покорного лона и горячей груди.

— Душенька,— шепнул Филипп, зарывшись лицом в волосы Жанны,— скажи, ты мне изменяла? Отвечай без боязни, ибо, даже если ты была мне неверна, знай, что я тебя прощаю навеки.

Жанна обвила обеими руками худощавый, сильный стан мужа, чувствуя под пальцами его ребра.

— Никогда, Филипп, клянусь тебе в том,— ответила она.— Я призналась тебе, что испытывала соблазн, но не поддалась.

— Спасибо тебе, душенька,— шепнул Филипп.— Теперь полнота моего царствования неоспорима.

И в самом деле, он почувствовал себя вполне королем, ибо он был подобен всем мужчинам своего королевства: ему нужна была женщина, женщина, принадлежавшая ему всецело.

Глава X

РЕЙМСКИЕ КОЛОКОЛА

Несколько часов спустя Филипп в длинном одеянии пурпурного бархата уже возлежал на парадном ложе, украшенном гербами Франции, и, сложив на груди руки, ждал епископов, которые поведут его в собор.

Первый камергер Адам Эрон, тоже в праздничной одежде, стоял возле королевского ложа. Тусклое январское утро заливало опочивальню молочным светом.

В дверь постучали.

— К кому вы пришли? — спросил камергер.

— К королю.

— А кто его хочет видеть?

— Его брат.

Филипп и Адам Эрон досадливо и удивленно переглянулись.

— Хорошо. Пусть войдет,— сказал Филипп, приподнявшись на подушках.

— У вас, сир, осталось мало времени...— заметил камергер.

Незаметным движением век Филипп успокоил камергера, и тот понял: беседа братьев продлится недолго.

Красавец Карл де ла Марш еще не успел снять дорожного платья. Он только что прибыл в Реймс и, заглянув на минутку к своему дяде Валуа, отправился к королю. Его лицо дышало гневом, даже по походке чувствовалось, что он еле себя сдерживает.

Но как ни велика была его ярость, вид старшего брата, облаченного в пурпур и возлежащего на ложе в ритуальной позе коронуемого, внушил ему невольное уважение; он остановился, глаза его округлились.

«Как бы ему хотелось быть на моем месте»,— подумал Филипп. А вслух произнес:

— Итак, вы прибыли, мой дорогой брат. Весьма признателен вам за то, что вы правильно поняли ваш долг и заставили замолчать злые языки, распространявшие клевету о том, будто вы не пожелали присутствовать на моем короновании. Весьма вам признателен. А теперь

поспешите переодеться, потому что вы не можете явиться в таком виде в собор. А то опоздаете.

— Брат мой,— ответил де ла Марш,— сначала мне надо побеседовать с вами о важных вещах.

— О важных вообще или важных для вас? Самое важное сейчас — это не заставлять ждать клир. Через несколько минут за мной явятся епископы.

— Ну и что ж, пускай подождут!— крикнул Карл.— Каждый находит случай и время поговорить с вами, чтобы добиться своей выгоды, и каждого вы выслушиваете. Только меня одного вы не принимаете в расчет; но на сей раз вы меня выслушаете!

— Тогда давайте поговорим, Карл,— произнес Филипп, садясь на край постели.— Но, предупреждаю, времени у нас мало.

Карл мотнул головой, как бы говоря: «Там видно будет»,— уселся в кресло и, стараясь придать себе независимый вид, напыжился, вздернув кверху подбородок.

«Бедняга Карл,— подумал Филипп,— теперь он старается подражать нашему уважаемому дядюшке Валуа; но ему явно не хватает дородности».

— Филипп,— начал де ла Марш,— я десятки раз просил вас дать мне во владение пэрство, просил увеличить мой удел, равно как и мои доходы. Просил я вас об этом или нет?

— Ну и семейка! — пробормотал Филипп.

— А вы притворялись, что не слышите. Повторяю вам в последний раз: я прибыл в Реймс, но присутствовать на вашем короновании буду лишь в качестве пэра. Иначе я сейчас же уезжаю обратно.

Филипп с минуту молча глядел на брата, и под этим пристальным взглядом Карл вдруг почувствовал, что теряет всю свою самоуверенность, весь свой апломб, даже ростом становится меньше, тает, как лед под солнцем. Только в присутствии их отца, Филиппа Красивого, Карл так остро испытывал чувство собственного ничтожества.

— Сейчас, Карл,— сказал Филипп, поднялся с постели и, сделав знак рукой Адаму Эрону, отошел с ним в угол комнаты.

— Адам,— спросил он, понизив голос,— бароны, которые должны были доставить мирницу из аббатства Сен-Реми, уже возвратились?

— Да, сир, они в соборе вместе с духовенством.

— Прекрасно. Тогда ворота города... ну, словом, как в Лионе.

И он трижды, почти незаметным для глаз движением, повернул кисть руки, и Эрон понял, что это означает: решетки, запоры, ключи.

— В день коронования, сир? — удивленно пробормотал Эрон.

— Именно в день коронования. И действуйте быстро.

Когда камергер вышел, Филипп снова улегся на свое ложе.

— Ну, брат мой, что же вы у меня просили?

— Пэрство, Филипп.

— Ах, да... пэрство. Что ж, брат мой, я согласен... пожалуйста... только не сейчас, вы слишком много кричали о своих требованиях. Если я вам уступлю, люди скажут, что я действовал не по своей воле, а по принуждению, и каждого это побудит действовать по вашему примеру. Итак, знайте, что отныне не будет больше уделов, нарочно созданных или приращенных, прежде чем не будет издан ордонанс, объявляющий, что любая часть неотделима от королевства.

— Но ведь вам не нужно больше ваше пэрство Пуатье! Почему бы вам не отдать его мне? Согласитесь, что моя часть недостаточна!

— Недостаточна?! — закричал Филипп, поддавшись гневу.— Вы сын короля, вы королевский брат! Неужели вы и в самом деле воображаете, что этого недостаточно для человека ваших умственных способностей и ваших заслуг?

— Моих заслуг?

— Да, ваших, а они невелики. Пришло время сказать вам в лицо: вы просто дурачок; вы и всегда были дурачком и с возрастом не набрались ума. Когда вы были еще совсем ребенком, уже тогда все видели вашу глупость и скудоумие, недаром наша покойная матушка — святая женщина! — стыдилась вас и даже прозвала гусенком. Вспомните, Карл, гусенком! Вы были гусенком, гусенком и остались. Наш отец включил вас в свой Совет, а чему вы там научились? Сидели и считали мух, когда обсуждались государственные вопросы, и я не припомню, чтобы вы хоть раз произнесли дельное слово, а если и начинали говорить, отец и мессир Ангерран только плечами пожимали. Неужели вы воображаете, что я так уж стремлюсь сделать вас более могущест-

венным в благодарность за ту помощь, которую вы мне оказывали, интригуя против меня в течение полугода? Вы всего бы могли добиться, если бы избрали другой путь. Вы считаете себя сильной натурой и думаете, что все будут перед вами гнуть шею? Но никто не забыл, каким слюнтяем вы себя показали в Мобюиссоне, как блеяли во весь голос: «Бланка, Бланка!» — и перед целым двором оплакивали свой позор.

— И это вы мне говорите, Филипп? — воскликнул Карл, вскакивая с кресла, и лицо его перекосилось.— Вы, чья жена...

— Ни слова против Жанны, ни слова против королевы,— прервал его Филипп, угрожающе подымая руку.— Я знаю, что, желая мне навредить и не быть одному в дураках, вы по-прежнему сеете лживые сплетни.

— Вы нарочно оправдывали Жанну, потому что хотели сохранить за собой Бургундию, потому что для вас и раньше и теперь ваши интересы выше чести. Но, возможно, моя неверная жена мне тоже может быть коечем полезна!

— Что вы хотите этим сказать?

— То, что сказал! — отрезал Карл де ла Марш.— И я заявляю: если вы желаете видеть меня на вашем короновании, то я соглашусь присутствовать на церемонии лишь в качестве пэра. Пэрство — или я уезжаю!

В комнату вошел Адам Эрон и кивнул головой, давая знать королю, что его распоряжения выполнены. Филипп поблагодарил его столь же неприметным движением головы.

— Что ж, уезжайте, брат мой,— произнес Филипп.— Сегодня мне необходим лишь один человек: архиепископ Реймский, который венчает меня на царство. Вы пока еще не архиепископ, надеюсь? Тогда уезжайте, если вам угодно.

— Но почему, почему,— воскликнул Карл,— наш дядя Валуа всегда добивается своего, а я никогда?

Через полуоткрытые двери донеслось пение приближавшейся процессии.

«Подумать только, что после моей смерти этот болван станет регентом!» — подумал Филипп. Затем положил руку на плечо брата:

— Если бы вы вредили королевству Французскому столь же долго, как наш дядя, вы могли бы тоже потребовать для себя такой цены. Но, слава богу, вы, при вашем скудоумии, не столь проворны, как он.

Взглядом он указал брату на дверь, и граф де ла Марш, мертвенно бледный, сжигаемый бессильной яростью, вышел из комнаты и вынужден был посторониться перед бесконечной процессией духовенства.

Филипп поспешно подошел к ложу и улегся в подобающей позе, сложив руки на груди и опустив веки.

В дверь постучали: на сей раз стучали епископы своими посохами.

— За кем вы пришли? — спросил Адам Эрон.

— За королем,— торжественно провозгласили за дверью.

— А кто его хочет видеть?

— Пэры-епископы.

Дверь распахнулась, епископ Лангрский и епископ Бовэзский вошли в королевскую опочивальню в митрах, с ковчежцами на шее. Они приблизились к ложу, помогли королю встать на ноги, окропили его святой водой и, когда он преклонил колена на шелковый квадратный коврик, прочитали над ним молитву.

Затем Адам Эрон возложил на плечи Филиппа плащ из пурпурного бархата, такой же, как и его одеяние. И вдруг послышались сердитые восклицания — это повздорили между собой епископы за право старшинства. По обычаю справа от короля должен идти епископ Лаонский. Но как раз в это время в Лаоне не было епископа. Епископ Лангрский, Гийом дю Дюрфор, должен был заменить отсутствующего. Но Филипп велел идти по правую руку епископу Бовэзскому. Для этого у него имелось две причины: первая — епископ Лангрский охотно привечал в своей епархии бывших тамплиеров, назначая их на духовные должности; с другой стороны, епископ Бовэзский был из рода Мариньи — родственник великого Ангеррана и его брата архиепископа Санского. Поэтому Филипп считал своим долгом оказать уважение если не ему лично, то славному его имени.

В итоге всех этих пререканий справа у короля оказалось два прелата, а слева ни одного.

— Я старейший епископ, я должен стоять одесную,— твердил Гийом де Дюрфор.

— Епархия Бовэ более древняя, нежели Лангрская,— возражал Мариньи.

Их физиономии под митрами уже зловеще побагровели.

— Ваши святейшества, слово за королем,— утихомирил их Филипп.

Дюрфору пришлось повиноваться и уступить место.

«Одним недовольным больше»,— подумалось Филиппу.

Так они спустились среди золотых крестов, горящих свечей и ладана на улицу, где уже ожидала свита во главе с королевой. Процессия двинулась пешком к собору.

Приветственные клики неслись по пути следования короля. Филипп был бледен и близоруко щурился. Реймская земля показалась ему вдруг странно твердой, словно он шагал по мрамору.

На паперти собора процессия остановилась, снова прочитали молитву, затем под рев органа Филипп проследовал в неф, к алтарю, к высокому помосту, к трону, на который он сел теперь без колебания. И сев, первым делом указал королеве место, уготованное справа от трона.

Собор был битком набит. Со своего места Филиппу было видно лишь море корон, торсов и плеч, расшитых золотом и усеянных драгоценностями, да жирная позолота риз, переливавшихся в мерцании свечей. Словно некий звездный полог расстилался у его ног.

Он обвел взглядом помост и повернул голову сначала влево, потом вправо, стараясь разглядеть, кто там находится. И разглядел Карла Валуа, разглядел Маго, огромную, всю в парче и бархате; она ему улыбнулась. Людовик д'Эвре держался несколько поодаль. Но Филипп не заметил ни Карла де ла Марша, ни Филиппа Валуа, которого отец тоже напрасно искал взором.

Архиепископ Реймский, Робер де Куртенэ, с трудом поднялся в своем тяжелом облачении с трона, стоявшего напротив королевского; Филипп последовал его примеру и распростерся перед алтарем.

Все время, пока длилась служба, Филипп упорно думал: «Действительно ли успели запереть все ворота? Выполнен ли мой приказ? Не такой человек наш Карл, чтобы усидеть дома, когда его брата коронуют. И почему не пришел Филипп Валуа? Какой еще сюрприз они мне готовят? Надо бы оставить Галара на улице, чтобы ему легче было командовать арбалетчиками».

А тем временем, пока король тревожно вопрошал себя о том, что поделывает его младший брат, тот барахтался в болоте.

Выбежав в ярости из королевских покоев, Карл де ла Марш поспешил к дому, где остановились Валуа. Дя-

ди уже не оказалось — он уехал в собор. Карл застал Филиппа, который заканчивал свой туалет и тоже собирался отправиться на коронование. Ему-то Карл, задыхаясь от бега и злобы, поведал о «вероломстве», как он выразился, своего брата.

Оба кузена были схожи между собой, только Филипп Валуа был повыше ростом и покрепче телосложением; но в смысле умственных способностей они подходили друг другу, ибо оба отличались непомерным тщеславием и глупостью.

— Если он посмел так поступить, я тоже не пойду на церемонию, я уеду вместе с тобой,— заявил Валуа младший.

После чего кузены в сопровождении свиты гордо поскакали к городским воротам. Однако их высочествам пришлось спасовать перед городскими сержантами.

— Въезд и выезд запрещены. Приказ короля.

— Запрещены даже принцам Франции?

— Даже принцам; приказ короля.

— Ах, вот как! Он хочет нас принудить! — закричал Филипп Валуа, который усмотрел в поведении стражников посягательство на свою личную честь.— Что ж, мы все равно уйдем!

— Как же ты уйдешь, если ворота на запоре?

— Сделаем вид, что возвращаемся домой, и предоставь действовать мне.

Тут уже началось чистое мальчишество: конюших молодого графа Валуа отрядили за лестницами, которые приставили в одном из тупичков к стене, где, по-видимому, не было охраны. И вот оба кузена, выставив зады, пошли на штурм реймской стены, не подозревая, что по ту сторону тянутся непроходимые Вельские болота. Они по веревке спустились в ров. Карл де ла Марш оступился и шлепнулся в грязную-ледяную воду. Так бы он и окончил свои дни в этой яме, если бы Филипп Валуа, шести футов ростом и крепкого телосложения, не выудил кузена. Вслед за тем они, как слепцы, побрели по болоту. И речи быть не могло о том, чтобы вернуться. Идти вперед или отступить в данном случае было одно и то же. Они смело поставили на карту свою жизнь и целых три часа потратили на то, чтобы выбраться из этой трясины. Конюшие, последовавшие за ними, тоже барахтались в грязи и, не стесняясь, вслух поносили своих господ.

— Если нам удастся выйти отсюда живыми,— кри-

чал Карл де ла Марш, желая приободрить себя и своих спутников,— я знаю, куда ехать, знаю! Прямо в Шато-Гайар!

Валуа-сын, обливавшийся потом, несмотря на ледяной ветер, высунул из-за тростника свою глуповатую физиономию.

— Значит, до сих пор тебе дорога Бланка? — спросил он.

— Ничуть не дорога, но мне надо кое-что у нее узнать. Она одна может нам сказать, действительно ли дочь Людовика незаконнорожденная и не рогат ли сам Филипп. Как только она это засвидетельствует, я, в свою очередь, осрамлю братца и добьюсь коронования Жанны, дочери Людовика.

Гулкий перезвон реймских колоколов достиг их слуха.

— Только подумать, что ради него бьют во все колокола!— завопил Карл де ла Марш, увязнув по пояс в грязи и указывая рукой в направлении города.

...А в соборе тем временем камергеры сняли с короля одежду. Филипп Длинный стоял перед алтарем совсем раздетый, если не считать двух рубах, надетых прямо на голое тело, одна на другую,— из тонкого полотна и из шелка,— причем обе с большим вырезом у шеи и под мышками. Прежде чем короля облекали властью, ему вменялось в обязанность показаться перед сборищем своих подданных почти голым и, сверх того, как в данном случае, дрожащим от холода.

Атрибуты власти были разложены в алтаре на аналое под охраной аббата из Сен-Дени, который и доставил их сюда. Камергер Адам Эрон принял из рук аббата длинные шелковые штаны, расшитые лилиями, и помог королю надеть их, так же как и туфли, тоже расшитые золотом. Затем Ансо де Жуанвилль, за отсутствием герцога Бургундского, прикрепил к ногам короля золотые шпоры и тут же их снял. Архиепископ благословил длинный меч, принадлежавший, по поверью, еще Карлу Великому, и повесил его на перевязи через плечо короля со словами:

— Accipe hunc gladium cum Dei benedictione...[1]

— Гоше, приблизься,— приказал король.

Гоше де Шатийон выступил вперед, и король, сняв с себя меч, передал его коннетаблю.

[1] Вручаю тебе меч сей с благословением господним... (*Лат.*)

Никогда еще в истории королевства Французского ни на одном короновании не было коннетабля, столь достойного, как Гоше, чтобы принять из рук своего владыки знаки воинской мощи. Для них обоих это был не просто ритуальный жест, недаром они обменялись долгим взглядом. Символ здесь становился реальностью.

Кончиком золотой иглы архиепископ взял из священного сосуда, который протянул ему аббат из Сен-Реми, частицу масла, посланного, по уверениям духовенства, с небес, смешал его пальцем с елеем, приготовленным в дискосе. Затем архиепископ помазал Филиппа на царство, коснувшись пальцем, смоченным в елее, его макушки, груди, спины и подмышек. Адам Эрон продернул шнурки в колечки и застегнул застежки на обеих рубахах. После окончания церемонии нижнюю полотняную рубаху полагалось сжечь, ибо ее коснулся священный елей.

Король надел одежды, разложенные на алтаре: сначала камзол алого атласа с серебряной шнуровкой, затем тунику голубого атласа, унизанную жемчугом и расшитую золотыми лилиями, поверх нее мантию из той же ткани, а поверх еще широкий квадратный плащ, скрепленный на правом плече золотой пряжкой. С каждым новым одеянием Филипп чувствовал, как растет тяжесть, давящая на его плечи. Архиепископ помазал Филиппу руки, надел ему на палец королевский перстень, вложил в правую руку золотой скипетр, а в левую руку — символическую длань правосудия. Преклонив колена перед дарохранительницей, прелат наконец взял корону, а первый камергер тем временем начал вызывать присутствующих на церемонии пэров.

— Могущественный и великолепный сеньор, граф...

Вдруг чей-то громкий, властный голос прозвучал в нефе:

— Остановись, архиепископ! Не смей венчать сего узурпатора, так приказывает тебе дочь Людовика Святого.

Гул изумления пробежал под сводами собора. Все головы обратились к нефу, откуда раздался крик. Приглашенные, находившиеся на помосте, и священнослужители тревожно переглянулись. Толпа расступилась.

В сопровождении своих вельмож шла, направляясь к алтарю, высокая женщина, еще прекрасная собой, с решительно выставленным подбородком, со светлыми

глазами, искрившимися от гнева, в скромной диадеме и вдовьем покрывале на пышных седых волосах.

Вслед ей несся шепот:

— Это герцогиня Агнесса, это она!

Гости тянули шею, чтобы получше разглядеть герцогиню. И каждый дивился, что она еще так моложава на вид, что так тверда ее поступь, ибо была она родной дочерью Людовика Святого, и всем казалось, что она рождена еще в незапамятные времена; каждый считал, что эта прабабка, похожая на призрак, еле волочит ноги где-то в бургундском замке. И вдруг она появилась здесь, в соборе,— живая, властная женщина пятидесяти семи лет от роду.

— Остановись, архиепископ,— повторила она, не дойдя нескольких шагов до алтаря.— А вы все слушайте меня! Читайте, Мелло,— приказала она шедшему за ней следом советнику.

Гийом де Мелло развернул пергамент и начал читать:

«Мы, высокородная дама Агнесса Французская, герцогиня Бургундская, дочь короля Людовика Святого, от нашего имени и от имени нашего сына, высокородного и могущественного герцога Эда, обращаемся к вам, бароны и сеньоры, здесь присутствующие, а также находящиеся за стенами Реймса, в королевстве Французском, дабы не признали вы королем графа де Пуатье, который не является законным наследником престола, и воспрепятствовали бы коронованию и отсрочили бы церемонию, пока не будут признаны права Жанны Французской и Наваррской, дочери и наследницы почившего в бозе короля и нашей родной дочери».

Смятение среди вельмож усилилось, и по собору пополз зловещий шепот. Приглашенные сбились в кучу.

Архиепископ застыл с короной в руках, не зная, то ли положить ее обратно на алтарь, то ли продолжать церемонию.

Филипп стоял неподвижно, с непокрытой головой, сгибаясь под тяжестью сорока фунтов золота и парчи, неловко держа в руках символы Власти и Правосудия. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким беспомощным, таким уязвимым, таким одиноким. Рука в железной перчатке сжала его сердце. Его спокойствие наводило ужас. Сделай он хоть один жест, разомкни в эту минуту уста, затей спор — и неизбежна сумятица, если не поражение. Он замер, стал как бы частью пышных

своих одеяний, будто битва эта шла где-то далеко у его ног.

До него донесся тревожный шепот церковников:

— Что же нам теперь делать?

Прелат из Лангра, в памяти коего еще свежо было нанесенное ему нынче утром оскорбление, склонялся к тому, чтобы прекратить церемонию.

— Уйдем и обсудим положение,— предложил еще кто-то.

— Нельзя: он уже помазанник божий, то есть король, коронуйте его,— возразил епископ Бовэзский.

Графиня Маго нагнулась к своей дочери Жанне и шепнула ей на ухо:

— Вот мерзавка! Чтоб она сдохла!

В воздухе запахло ядом...

Коннетабль, кинув из-под своих морщинистых, как у черепахи, век повелительный взгляд на Адама Эрона, приказал ему продолжать перекличку.

— Могущественный и великолепный сеньор, граф Валуа, пэр королевства! — провозгласил камергер.

Теперь все взоры устремились на дядю короля. Если он ответит на призыв, Филипп выиграл партию; значит, Валуа дает поруку от лица пэров королевства, то есть от лица реальной власти. Если же он не откликнется, Филипп проиграл.

Валуа не спешил откликнуться на призыв, и архиепископ, родом из семейства Куртенэ, состоявшего в родстве с графом, выжидал его решения.

Тут Филипп впервые шевельнулся — повернул голову в сторону дяди, и взгляд, брошенный на Валуа, стоил ста тысяч ливров. Никогда бургундка не даст и половины!

Бывший император Константинопольский поднялся и, недовольно хмурясь, встал позади племянника.

«Как хорошо, что я не поскупился!» — подумал Филипп.

— Благородная и могущественная дама Маго, графиня д'Артуа, пэр королевства! — провозгласил Адам Эрон.

Архиепископ поднял тяжелый золотой обруч, украшенный спереди крестом, и наконец произнес долгожданные слова:

— Coronet te Deus [1].

[1] Венчает тебя господь (*лат.*).

Одному из пэров Франции полагалось взять корону и держать ее над головой короля, а всем прочим пэрам лишь прикасаться к ней чисто символически — пальцем. Валуа потянулся было к короне, но Филипп движением скипетра остановил его.

— Корону будете держать вы, матушка,— обратился он к Маго.

— Благодарю вас, сын мой,— шепнула великанша.

Выбрав графиню Маго для этой почетной миссии на глазах у всего народа, Филипп заплатил ей тем самым за оба цареубийства. Таким образом она становилась первым из пэров Франции, и графство Артуа навечно переходило в ее владение.

— Никогда Бургундия не склонит выи! — крикнула герцогиня Агнесса.

И, созвав свою свиту, она зашагала к дверям, а Маго и Валуа тем временем медленно повели Филиппа к трону.

Когда он опустился на трон и положил ноги на шелковую подушку, архиепископ снял митру и, поцеловав короля в уста, возгласил:

— Vivat rex in aeternum! [1]

Все прочие пэры последовали его примеру и тоже провозгласили:

— Vivat rex in aeternum!

Филипп чувствовал усталость. После семи месяцев непрестанной борьбы он выиграл теперь последний бой и достиг высшей власти, которую уже никто не мог у него оспорить.

Колокольный звон, славивший нового короля, разрывал воздух над Реймсом, за стенами собора вопил народ, желая Филиппу славной и долгой жизни; все его противники были укрощены. У него сын, который унаследует отцовский престол, у него счастливая супруга, которая делит с ним все тяготы и радости. Ему принадлежит французская держава.

«Как я устал, до чего же я устал!» — думал Филипп.

Этот двадцатитрехлетний король, который добился власти своим упорством и волей, который пользовался плодами преступления, этот король, обладавший неоспоримыми качествами великого монарха, казалось, достиг вершин.

Начиналась пора возмездий.

[1] Да здравствует король во веки веков! (*Лат.*)

СОДЕРЖАНИЕ

Яд и корона. *Пер. с франц. Н. Жарковой* . 3

Негоже лилиям прясть. *Пер. с франц. Н. Жарковой* 199

Отпечатано в типографии изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, просп. Ленина, 49.

Морис Дрюон

ЯД И КОРОНА

НЕГОЖЕ ЛИЛИЯМ ПРЯСТЬ

Романы

Редактор *Т. Я. Шипова*
Оформление *Б. Н. Осенчакова*
Рисунки *В. Б. Мартусевича*
Художественный редактор *Б. Г. Смирнов*
Технический редактор *В. И. Демьяненко*
Корректор *Т. В. Мельникова*

Сдано в набор 23.01.81. Подписано к печати 07.05.81. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 3. Гарн. «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,68. Уч.-изд. л. 24,57. Тираж 1 500 000 экз. (2-й завод — 400 001—800 000). Заказ № 267. Цена 2 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Набрано в ордена Трудового Красного Знамени типографии им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

2 р. 80 к.


Морис
Дрюон